В. В. ВИНОГРАДОВ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XVII-XIX ВВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА • 1934

В. В. ВИНОГРАДОВ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

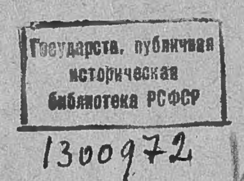
XVII—XIX ВВ

ПОСОБИЕ
ДЛЯ ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Допущено Наркомпросом
РСФСР



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА · 1934



Ответственный редактор *Е. С. Истрина.*
Технический редактор *В. В. Чешихина.*

Сдано в набор 13/V 1934 г.
Подписано к печати 8/IX 1934 г.

Формат 62 × 94/16. Бумага № 5 флатовая Окуловской фабрики Тираж 10 000.
Издат. листов 18. Бум. листов 9. Авт. л. 23,9 Тип. зн. в 1 бум. л. 107200.

У-40. Учгиз № 5844. Заказ № 1859.
Ленгорлит № 23699

2-я типография „Печатный Двор“ треста „Полиграфкнига“. Ленинград. Гатчинская, 26.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Обобщающий курс по истории русского литературного языка XVII — XIX вв. отвечает ясно определившейся потребности и будет встречен несомненно с живым интересом в широких кругах научных работников по языку и литературе, учащихся высших учебных заведений, педагогов-словесников и в среде писателей. Он займет в нашей научной литературе более значительное место, чем только „учебное пособие“.

Построение такого курса — задача далеко не легкая. История русского литературного языка — область почти не исследованная, как говорит и сам автор в своем предисловии. Не изучены материалы (в отличие от материалов по древне-русскому языку), не выработаны методы исследования, не намечены даже проблемы изучения. В книге должны быть разработаны все эти стороны, притом так, чтобы она отвечала требованиям марксистской методологии, раскрывая ее на конкретном, показательном языковом материале. Задача нелегкая, — и вряд ли можно ждать ее точного решения в настоящих условиях, а тем более ждать такого решения от отдельной книги, представляющей первый опыт в данной области.

Факт изменения и последовательного развития русского литературного языка не подлежал, конечно, никакому сомнению и в дореволюционной лингвистике. Но литературный язык принимался как нечто единое, развитие которого шло по прямой линии, обнаруживаясь в трудах крупнейших литературных деятелей, писателей-классиков.

Настоящая книга решительно сходит с этого пути устарелой методологии. Вместо прямолинейного развития автор стремится показать всю сложность процесса истории языка, отмечая в ней моменты резких кризисов, распада одних систем и трансформации их в другие, раскрывая на конкретном материале противоречия в той или иной системе, намечая ведущие линии в борьбе противоречий. В этом сложном процессе языкового развития немалую роль играют отдельные личности, но их деятельность представляется также в развитии, в движении, а не с точки зрения лишь их достижений по установке литературных норм, как это обычно встречалось раньше.

Показ всей сложности процесса развития литературного языка и позиций, занимаемых в нем отдельными литературными деятелями, может быть дан только на базе общественных отношений и общественных группировок, — сторона, остававшаяся почти вне поля внимания дореволюционных исследователей литературного языка.

За последние годы в некоторых статьях по литературному языку эта сторона выдвигалась в достаточной мере („Очерки по языку“ Л. Якубинского и А. Иванова, статьи Б. А. Ларина и др.), но не было еще попытки представить на базе общественных группировок историю литературного языка за длинный период более двух столетий. Легче всего здесь говорить о языке высших классов и об элементах крестьянской речи в литературном языке; для этих группировок в отдельные периоды можно дать немало ярких и убедительных примеров, отмечавшихся и дореволюционными исследователями.

Автор стремится связать сложные линии развития литературного языка с разнообразными общественными группами, менявшимися в процессе общественного развития; но эти сложные отношения не получили в книге достаточно четкого освещения, не определены в ней до конца, и недаром в их терминологии особенно широко используется прием кавычек, указывающих на условность определений и терминов; эти сложные отношения не получили пока достаточного освещения и в трудах по истории России XVIII—XIX вв.

Представление о едином литературном языке и о прямой линии развития его разрушается также наличием стилей, как функциональных разновидностей речи. Вопросы стиля в истории литературного языка занимают до сих пор главным образом исследователей литературы, связывающих эти вопросы с литературными направлениями (ср. работу Г. Гуковского „Русская поэзия XVIII в.“, А. Камегулова „Стиль Гл. Успенского“ и др.). Но современный лингвист, изучающий язык в его общественных функциях, тоже не может пройти мимо стилей в построении истории литературного языка, сближая во многом свою работу с работой историков литературы и используя материал последней.

Тут встает новый важный вопрос: какое место занимает художественная литература в развитии литературного языка? Нередко понятие литературного языка сводится к понятию языка писателей, а имеющиеся исследования по истории литературного языка почти без исключения ограничиваются темами по языку отдельных писателей. „Деловой язык“ в его противоположности языку „славянорусскому“ занимал внимание лингвистов только для истории языка древнерусского, до начала XVIII в.; разговорный язык привлекался к изучению лишь с точки зрения материала, из которого черпались структурные элементы в язык литературный в узком смысле этого слова. Современная лингвистика, изучая язык в его общественной обусловленности и функциональности, исходит из понятия национального языка, в который включаются уже отдельные классово-стилевые разновидности; эти разновидности систематизируются по линии языка разговорного, публицистически-делового и литературно-художественного, причем взаимодействие между ними поразному проявляется в процессе общественного развития, и язык литературно-художественный не всегда занимает первое место в общей системе национального языка; это вполне очевидно для нашей революционной эпохи.

Историческое освещение вопроса о месте и роли языка художественной литературы в разные периоды бросает свет и на современную „дискуссию о языке“, для которой найдется немало материала в настоящей книге.

Когда в 1908 г. вышел „Очерк истории современного литературного русского языка“ проф. Будде, он никого не удовлетворил; в нем не было дано языковой системы, не было внутреннего значения в коллекциях тех фактов, о которых говорил автор. Языковые факты давались вне общественной функции языка, вне отношения к идеологии, к мышлению; недаром характеристика „языковых особенностей“ начиналась с явлений фонетических и морфологических, лишь частично подходя к лексике (но не к семантике). Современная лингвистика выдвигает на первый план семантическую сторону языка, и на место перечня разнообразных „особенностей“ становится смена семантических систем, определяющая собой лексический состав языка в его разновидностях. Книга В. В. Виноградова дает в этом разделе много нового и ценного, хотя в ней и не всегда удается избежать перечней „броских“ (по выражению автора) особенностей: это приходится делать в отношении к тем языковым разновидностям, которые наименее изучены, наименее определены как система.

Дореволюционная русская лингвистика сделала очень мало в области истории русского литературного языка; нет руководящих научных исследований, нет обобщающих курсов, отвечающих минимальным методологическим требованиям. Но в то же время имеется богатый и яркий материал, как раз освещающий общественную сторону языка, его классовую диференциацию, идеологическую его сторону. Обращение к высказываниям современников о литературном языке, к разного рода журнальным статьям, к журнальной критике, к словарным трудам, к трудам грамматическим и т. п., — это обращение заполняет пробелы в области научно-лингвистических изысканий. Приходится удивляться, как мало лингвисты пользовались до сих пор этим богатейшим материалом.

Книга В. В. Виноградова обильно черпает из этого материала; иногда высказывания современников несколько даже заслоняют собой взгляды автора, цитата сливается с основным изложением, испещряемым к тому же устаревшей лексикой — в кавычках. Но обильный, разнообразный, частью малоизвестный до сих пор материал трудно еще уложить в стройную систему.

Курс истории русского литературного языка входит в преподавание отделений языка и литературы высших учебных заведений уже лет десять. Но он проводился все это время почти без пособий — по лекциям преподавателя да по отдельным случайным материалам, имевшимся нередко всего в одном-двух экземплярах. Лекции преподавателей во многих случаях тоже носили случайный характер, по той же причине — отсутствия руководящих пособий, а зачастую (в провинциальных учебных заведениях) и основных источников для самостоятельной исследовательской работы. Очевидно, что ни лекционные курсы, ни тем более знания студентов не могли в общей массе быть достаточно систематичными и глубокими.

Книга В. В. Виноградова сразу ставит преподавание этого важного предмета на твердую почву. Книга эта — учебное пособие для студентов и вместе с тем научное исследование, ориентирующее преподавателя в его исследовательской работе и вызывающее его на дальнейшую работу по ряду поставленных автором проблем, по пересмотру его положений, по дальнейшему изучению так мало еще изученных материалов, наконец, — по продолжению этой истории вплоть до современности.

Книга много дает, но она немало и требует; она требует от студента самостоятельной работы над источниками; занятия по ней необходимо должны сопровождаться семинарскими занятиями по разработке указываемых в ней или других соответствующих материалов. Надо ждать в ближайшем будущем издания таких материалов в виде хрестоматии, как надо ждать таких же обстоятельных работ по истории древнерусского языка и по другим разделам языкознания.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

История русского литературного языка — область почти неисследованная. Курса истории литературного языка нет. „Очерк истории современного литературного русского языка" проф. Е. Ф. Будде (СПБ., 1908 г.) является случайной коллекцией разрозненных фонетических и морфологических (кое-где и лексических) фактов, начиная с середины XVIII в. и кончая творчеством Пушкина. Само понятие литературного языка не вполне ясно в научной традиции. Указание на то, что литературный язык — это язык господствующего класса, язык его интеллигенции, является слишком общим, так как содержание и объем самого понятия „литературности" остаются неопределенными.

Существуют в пределах национального языка три разных социально-языковых системы, претендующие на общее, надклассовое значение, хотя они находятся между собою в тесном соотношении и взаимодействии, внедряясь одна в другую: разговорный язык господствующего класса и интеллигенции с его социально-групповыми и стилистическими расслоениями, национальный письменный язык с его жанрами и стилистическими контекстами и язык литературы с его художественными делениями. Взаимоотношение этих систем исторически меняется. Язык литературы бывает книжным, письменным, но может быть только писаным, так как его связи с разговорно-бытовой речью обусловлены культурно-исторически и социологически. Предлагаемый очерк истории русского литературного языка представляет попытку проследить историческое взаимодействие и меняющееся соотношение этих систем, от конца XVII в. до конца XIX в. Он не столько подводит итоги изучению русской литературной речи, сколько намечает (пока, к сожалению, во многих отношениях проблематически) пути этого изучения.

Проф. *Викт. Виноградов.*

I.

Старина и новизна в русском литературном языке XVII в. Распад системы церковно-славянского языка, его европеизация и национальная демократизация.

§ 1. Кризис системы церковно-славянского языка в XVII в.

Русским литературным языком эпохи феодализма был язык церковно-славянский. Во второй половине XVII в. резко обозначился внутренний распад системы церковно-славянского языка, наметившийся еще в XVI в. Изменения в структуре церковно-книжной речи были связаны с ростом литературного значения „светских“ — деловых, публицистических, повествовательных — стилей русского письменного языка и с расширением литературных прав бытового просторечия.[1] Интересна, напр., выразившаяся в исправлении книг при участии Максима Грека (XVI в.) тенденция к сближению и „согласованию“ церковно-славянского языка с русскою разговорно-бытовою речью. Эта тенденция очень рельефно выступает в таких примерах правки текста псалтыри: вместо ***вскую шаташася*** *языци* — ***чесо ради возъяришася*** *языци* (2, 1); *зане* ***гонях*** *благостыню* — ***держахся*** *благостыни* (37, 21); ***цену*** *мою совещаша отринути* — ***честь*** *мою совещаша отринути* (61, 5); ***внегда разнствит*** *небесный* ***цари*** *на ней* — ***егда разделит*** *небесный* ***царей*** *на ней* (67, 15) и мн. др. под.; ср. также замену аориста и имперфекта, особенно 2-го лица ед. ч., формами прошедшего сложного, напр: *аще* ***видел*** *еси татя* — ***текл*** *еси с ним* вместо *видяше, течаше* и т. п.[2].

Но от этих сдвигов средневековый дуализм в сфере письменно-словесного выражения не сглаживается: литературные функции продолжает по преимуществу отправлять церковно-славянский язык (т. е. в основе язык византийско-болгарский, но уже имевший свою сложную историю на русской почве), а стили русского делового, публицистического и повествовательного языка, несколько приспособляясь к церковно-славянской системе, размещаются по периферии „книжности“, „письменности“, а чаще остаются в сфере официального делопроизводства и бытового общения.

---

[1] Под „просторечием“ разумеется устная фамильярно-бытовая речь высших слоев общества с ее классовыми и групповыми делениями. Подробнее см. § 10.

[2] В. Иконников, Максим Грек и его время, Киев, 1915 г., с. 172. Митр. Филарет, Максим Грек, „Москвитянин“, 1842 г., 11, стр. 68. Описание рукописей Синод. библ., отд. II, ч. I, № 76.

Вильгельм Лудольф, автор русской грамматики, изданной в Оксфорде в 1696 г.[1], в таких красках изображает общественно-идеологическое соотношение двух языков: „У русских знание славянского языка необходимо, так как не только священное писание и богослужебные книги у них на славянском языке, но без его пособия нельзя ни писать, ни рассуждать о предметах учености и познаний. Поэтому чем ученее кто желает прослыть перед другими, тем более наполняет свою речь и писание славянизмами, хотя иные и посмеиваются над теми, кто чересчур злоупотребляет славянской речью в обыкновенном разговоре". Лудольфу представляется, что единственной книгой, написанной на народном языке, является „Уложение царя Алексея Михайловича". Поэтому Лудольф такой бытовой поговоркой характеризует сферу применения церковно-славянского и национально-гражданского языков: „Разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски". Ведь „подобно тому как никто из русских не может ученым образом ни писать, ни рассуждать без помощи славянского языка, так, наоборот, никто ничего не поделает в делах домашних и семейных (domestica et familiaria negotia) с одним только славянским языком, потому что названия большей части общеупотребительных вещей не находятся в книгах, из которых можно черпать знание славянского языка". Лудольфу как европейцу такое положение вещей кажется ненормальным. Он выражает надежду, что русские оценят значение национального языка и „по примеру других народов будут стараться разрабатывать свой собственный язык и издавать на нем хорошие книги". Этот призыв к буржуазной национализации литературной речи звучит особенно внушительно в связи с указаниями на непонятность церковно-славянского языка для широких масс (Praefatio). Между тем рост политического значения новых общественных классов — дворянства и буржуазии — не мог не отразиться на соотношении стилей литературно-церковного и общественно-обиходного языков, не мог не усилить притязаний национально-бытового языка на более значительную роль в системе литературного выражения. Этому процессу, естественно, сопутствовал как противодействие, как антитезис процесс усиления „славянщизны" в языке высших слоев духовенства и боярства.

Московские книжники старались „искусственно возвратиться к той чистой славянской речи, от которой удалял их вседневный обычай; вследствие того так называемая славянщизна, несмотря на всю недостаточность в образовательном отношении, сознаваемую отчасти даже в то время, снова укрепилась в письменной и печатной словесности русской"[2].

Но в ту же эпоху развивался параллельно с процессом национализации и демократизации литературного языка другой процесс — процесс „европеизации". Соотношение этих двух сил в разных общественных группах было неодинаково, сложно и противоречиво. В одних социальных слоях (преимущественно в среде передового дворянства и буржуазии) процесс европеизации вступал в синтез и взаимодействие с процессом национали-

---

[1] Henrici Wilhelmi Ludolfi, Grammatica Russica, Oxonii, MДCXCVI. Биографические сведения о Лудольфе см. у А. Н. Чудинова, Очерк истории языкознания в связи с историей обучения родному языку, Воронеж, 1872 г.

[2] Л. Н. Майков, Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий, СПБ, 1889 г., стр. 12.

зации, т. е. руссификации литературного языка. В других социальных слоях (преимущественно в консервативной среде сановного духовенства и в некоторых кругах боярства) борьба за „архаические" высокие стили „славенского" языка обострялась борьбой одновременно и с демократизацией и с европеизацией литературной речи. Напротив, в кругах нечиновного, преимущественно провинциального духовенства, демократического монашества, мелкой буржуазии и в некоторых слоях боярства (особенно среди женщин, более далеких от церковно-богословской риторики и „философии"), назревала потребность национально-демократической реформы старого церковно-славянского языка при условии охраны его „чистоты" и при условии свободы от западноевропейских влияний. Все эти течения сталкивались и смешивались. Внутри самой системы церковно-славянского языка происходило пестрое и противоречивое стилистическое расслоение. Отражения „европейского мышления" проникали в самый церковно-литературный язык и углубляли в нем идеологические и структурно-стилистические противоречия.

Дело в том, что к XVII в. продолжали существовать два основных центра церковно-славянской традиции — Москва и Киев, каждый из которых имел свой район влияния. При этом традиция московская несколько отличалась от киевской. В XVII в. киевская традиция церковно-славянского языка возобладала над московской. Киев был не только центром охранения церковно-славянской традиции, но и тем местом, где церковно-славянский язык русской редакции впервые стал подвергаться систематической нормализации (ср. составление грамматики украинским ученым Мелетием Смотрицким). Именно в Киеве раньше всего и наиболее ярко проявилось расширение сферы применения церковно-славянского языка и распространение его на светскую литературу. Первые попытки писать рифмованные стихи (вирши) на церковно-славянском языке были сделаны украинскими учеными. Украинские ученые риторы и проповедники оказали большое влияние на риторику XVIII в. с ее славянизмами. Наконец, к украинским школьным интермедиям на церковно-славянском языке восходит русская драма и комедия. При этом необходимо учесть, что, приспосабливаясь к новым условиям своего применения, киевская традиция церковно-славянского языка сама несколько изменилась, впитав в себя некоторые черты московской традиции. Таким образом, в XVII в. преимущественно через Киев шло на Москву западноевропейское схоластическое образование, которое на Украине восторжествовало над восточно-византийским просвещением. В атмосфере московской литературно-языковой жизни борьба между Западом и Востоком должна была прежде всего проявиться в столкновении „еллино-славянских" (т. е. опирающихся на византийскую христианскую культуру) стилей церковно-литературного языка со стилями церковно-книжной речи, шедшими из Украины и ориентирующимися на латинский язык — научный и религиозно-культовый язык западноевропейского средневековья. Другие западноевропейские течения, шедшие из Польши, усложнили процесс взаимодействия между церковно-литературным и светски-деловым языком. Обозначился кризис в системе русского литературного языка.

Такова в общих чертах картина стилистического брожения в русском литературном языке XVII в. Она должна быть шире раскрыта и разъяснена интерпретацией ее отдельных частей. Прежде всего необходимо

осветить социальные основы борьбы стилей в системе церковно-литературного языка[1].

§ 2. Византийские („еллино-славянские“) стили церковно-литературного языка.

В противовес надвигающейся на литературный язык волне буржуазно-дворянской европеизации усиливается архаическое течение в сфере церковно-литературной речи. Высшее духовенство и боярство культивируют „высокие“ риторические стили церковно-славянского языка, продолжающие традицию византийского „витийства“. Связь московского церковно-славянского языка с греческим по „внутренним формам“ живо ощущалась образованными книжниками-консерваторами из монашества, духовенства и знати в XVII в. М. Сменцовский в „приложениях“ к своему исследованию „Братья Лихуды“[2] напечатал замечательное „рассуждение“. „Учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и феологии и стихотворному художеству и оттуду познавати божественная писания, или и не учася сим хитростем, в простоте богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати; и которого языка учению учитися нам: славяном, потребнее и полезншее латинского или греческого?“ Горячо защищая учение как „свет путеводящий к богознанию“ („учение — свет, неучение же тьма“), автор трактата (по предположению Сменцовского, инок Евфимий) настаивает на необходимости знания греческого и славянского языков. Помимо религиозно-исторических соображений связь этих языков обосновывается сопоставлением их структуры. Отмечается в них общность графических и грамматических форм: „По самым стихием, или письменем, и по осми частем грамматики и сочинению тех (т. е. по синтаксису) свойствен (т. е. родственен) греческий язык славенскому“ (VIII). Путем анализа алфавита и особенно грамматических категорий автор доказывает, что латинский строй от греческого и славянского, как „козлище инородное“, разнится, „греческая же письмена и славенская, яко овча с матерню, обоя между собою подобствуют и согласуются“ (IX). В латинском языке среди „частей речи“ лишнее — м е ж д о м е т и е (interjectio). „И сие латинское interjectio греческу и славенску языку не нуждно, понеже в сих двох языцех н а р е ч и е наполняет (т. е. включает в себя) тое“ (X). Правда, греческий член („арфр“), отсутствующий в латинском языке, не имеет соответствия и в „славенском“, но автор тонким подбором примеров поясняет пользу члена и для „славен“, которым он облегчает распознавание общих значений имен от их символического применения к божеству в греческом тексте „священного писания“ (theos и ho theos, prophētes и ho prophētes)[3] и т. п.

---

[1] Слово *стиль* употребляется в дальнейшем изложении в двух значениях: 1) стиль как система присущих классу, общественной группе или отдельной литературной личности норм словесного выражения и норм „лингвистического вкуса“ (т. е. оценок целесообразности выражения) и 2) стиль как функциональная разновидность той или иной языковой системы в пределах речи одного класса, одной группы (напр., канцелярский, газетно-публицистический стиль).

[2] СПБ, 1899 г., стр. VI, XXVI.

[3] Указывается на невозможность без присоединения члена определить значение слова *дух* в следующих выражениях: *Ведяше христа дух в пустыню, не в меру дает бог духа; рожденное от духа дух есть; глаголы, яже аз глаголах, дух суть и жизнь суть...*

Точно так же наличие причастия от глагола существования *(быть)* в греческом и славянском языках (*сый*, ho ōn) рассматривается в религиозном аспекте как очевидный симптом превосходства этих языков над латинским. „Латины же место *сый*, причастия единыя части (т. е. вместо одной категории причастия), глаголют две части — местоимение и глагол (qui sum, es, est): *иже есмь, иже есть, иже бысть*. Подобнѣ и поляки от латинского языка и учения глаголют (место *сый*): *который есмь, который есть и был*, иже не знаменует вечности, но наченшееся что и кончущееся; *сый* же и *бе* являют божественное существо безначальное и бесконечное“ (XIII). Таким образом, преимущество причастия *сый* (греческое ho ōn) перед описательными оборотами *иже есть, который есть* усматривается в том, что причастие обозначает вечное пребывание, а те указывают на нечто, имеющее конец и начало.

Раскрывая согласие в основных формах грамматической мысли между греческим и славянским языками, автор предостерегает от латино-польского влияния, горестно констатируя его наличие в русской литературной речи конца XVII в.: „Начинаются латинские и полские пословицы славенского языка в писаниих появлятися; древне же отнюд таковых глаголаний славяне удаляхуся, зане речением обыкоша и нравы последовати (т. е. влияние на язык сопровождается влиянием на нравы). Таково бо латинское учение прелестно, яко нож медом намазанный: изначала лижущим сладок и безбеден (т. е. безопасен) мнится и елико болши облизуется, толико ближше гортаню ближится и удобно лижущего заколет и смерти предаст“ (XIV).

„Несвойство“ славянам и „далечность“ латинского языка доказываются следующими соображениями:

Во-первых, в латинском языке отсутствуют соответствия основным религиозным понятиям, а это — явный знак „скудости“ его и „убожества“. Ср., напр., невозможность на латинском языке выразить адэкватным понятием слово *ипостась*, отличить *ипостась* от существа, от *лица*; „*лице* же гречески не *ипостась*, но prosōpon“, а латинцы, не имея соответствующего слова, „вместо (ипостасей) *лица* вводят“ (XIV).

Во-вторых, латинскому языку свойственна искаженная („растленная“) передача греческих слов, к которым он принужден прибегать из-за своей бедности. Напр.: *бискуп* вместо *епископ*, *кроника* вместо *хроника*, *поэтика* вместо *пиитика*, *пурпура* вместо *порфира* и т. д. Как одна из причин искажений, выставляется отсутствие в латинском языке „стихии *и*“, равной греческому ē (η): *клер, клерик* вместо *клир, клирик; метрополит* вместо *митрополит; псалтерь, Грегор, Михаель, академия* вместо *академиа; планета* и пр.; „паче же самого сына божия спасительное имя *Иисус* глаголют *Иезус*... песнь божественную, ангелы поемую, *аллилуиа* глаголют латинницы *алелюя*“... между тем „славенский же язык и учение купно со греческим имут оную стихию (т. е. букву и звук *и*), и добре оба тии языцы вся имена зовут“ (XV).

В-третьих, наконец, латинский язык неспособен к точной и прямой передаче греческих и славянских слов и понятий. Напр., для передачи слова *архимандрит* латинский язык принужден прибегать к „окружным речениям“, перифразам: „qui pluribus monachis praeest — *иже многим монахам предстательствует*“ (XV), т. е. кто начальствует над многими мона-

хами. Поэтому латинский язык совершенно непригоден к переводам с греческого и славянского языков. Вывод ясен: „Язык латинский без греческого ничто же могущ высоких разумений (т. е. бессилен в сфере высокой мысли), паче же о богословии писати и глаголати, и велми сам собою непотребен нам, славяном, и ничто же воспользует нас, но паче пошлит и далече от истины в богословии отведет и к западных зломудрию тайно и внезапно привлечет“ (XXI).

Эти замечания для историка русского литературного языка любопытны как документ, отражающий, хоть и искривленно, с полемической однобокостью, структурные формы языкового сознания русского книжника-„восточника“ из среды духовенства в конце XVII в., и вместе с тем как ключ к скрытой религиозной символике грамматических категорий, которыми скреплялась языковая система церковно-письменного московского языка. Характерна тенденция представить греческую стихию в церковнославянском языке как органический элемент русской национальной культуры и русского национального языка: „И свой народ, начен от благородных до простых и самых, глаголю, поселян, услышавше учение греческое, возрадуются и похвалят... Аще же услышится в народе, паче же в простаках, латинское учение, не вем, коего блага надеятися, точию, избави боже, всякия противности“ (XXVI).

Еще более отчетливо в этом рассуждении описаны общие для греческого и церковно-славянского языков формы лексики и семантики. Автор прежде всего дает понять читателю богатство и разнообразие греческих слов, усвоенных славянами и ставших для них привычными. Тут и церковно-богослужебная терминология (*евангелие*, *апокалипсис*, *апостол*, *октоих*, *триодь*, *тропарь*, *кафисма* и т. п.), и названия чинов церковной иерархии (*патриарх*, *митрополит*, *архиепископ*, *игумен*, *иерей*, *диакон* и т. п.), и христианские святцы (*Алексий*, *Афанасий*, *Василий* и т. п.), и все слова, относящиеся к предметам, к „обстановке“, к одежде культа (*стихарь*, *епитрахиль*, *просфора*, *икона* и т. п.), и вся научная терминология (*хронограф*, *грамматика*, *диалектика*, *феология*, *арифметика*, *лексикон*, *орфография*, *этимология*, *синтаксис*, *просодия* и т. п.). Кроме лексических совпадений, близость этих языков подтверждается ссылкой на морфологические снимки, „кальки“, греческих слов в церковно-славянском языке и указанием на одинаковость морфологического состава многих греческих и славянских лексем: *евангелие — благовестие; апокалипсис — откровение; патриарх — отценачальник; омофорий — раменоносивое; Стефан — венец; порфира — червленица; Феодор — богодар*. Отсюда вытекает вывод о необыкновенной приспособленности славянского языка к переводам с греческого: „Аще случится и преложити что на славенский с греческа, удобно и благостройно и чинно прелагается, и орфография цела хранится“ (XV). А „учение греческое наипаче в богословии — истина и свет“ (XXII). Поэтому автор верит в торжество „согласия“ и „купночинности“, когда „изучится народ российский художеству грамматики, риторики, и прочих по-гречески и славенски и егда (появятся) лексиконы греко-славенские (которые „уже и начашася“) и оттуду известно познается российскому народу греческий диалект“ (XXIV).

Таким образом, основа сопоставлений — не сравнительно-исторический метод, а культурно-общественное сознание живой конструктивной связи между системами двух языков в процессе перевода и религиозно-фило-

софской интерпретации основных богословских понятий. В этом смысле и Лихуды писали в „Акосе“, что не знающий греческого языка „ниже славянский диалект весть, ниже познати может искреннее намерение и разум (т. е. смысл) божественных писаний и отцов, на славянский диалект претолкованных“. Ведь человек, не искушенный в тонкостях риторики и грамматики „еллинского диалекта“, „вне намерения ходит и, увы, яко кораблец какий малый или великий на велицем мори есть, не имеяй знамя ветроуказательное (т. е. компаса); помышляя бо прямо к востоку плыти, оле на западе обретаемся“[1].

Для „еллино-славянских“ стилей имел основное организующее значение прием морфологического, синтаксического, семантического и фразеологического отражения греческого языка. Очень типичны в этом смысле рассуждения Епифания Славинецкого, почему он в символе веры перевел, между прочим, *из десных отца* вместо *одесную отца* и *укрестованного* вместо *распятого*: „*Ек* (из) греческое не знаменует *о*, сочиняющееся винительному падежу (т. е. греческий предлог *ек* не соответствует славянскому предлогу *о* с вин. пад.), убо в славенском писатися не лепо есть *одесную*“. Также греческому род. пад. множ. ч. deksiōn, соответствует по-славянски — *десных*. „Тем же аще бы предлог сей *о* приложился греческому deksiōn, сице приложилося (т. е. получилось бы в результате присоединения): *не одесную*, но *одесная*. Судящии да судят, что есть лучшее, еда *одесная* или *из десных*, яко же есть в греческом... *Укрестованнаго*. Аще *пяло* — *распяло* тожде есть еже *крест*, убо тожде *распятаго* и *укрестованнаго*. Аще же *пяло* не есть тожде, еже и *крест*, убо ниже тожде есть и *распятаго* и *укрестованнаго*. Тем же аще *пяло* или *распяло* разнствует от *креста*, убо и *распятый* от *укрестованнаго* разнствует. Судящии да рассудят праведно — или тожде или не тожде быти *распятаго* и *укрестованнаго*, и аще не тожде, да отложат убо *распятаго*, примут же *укрестованнаго*, согласующееся греческому сущему“ (т. е. форма: *укрестованного* вполне соответствует греческому тексту)[2].

„Еллино-славянские“ стили русского литературного языка XVII в., по определению переводчика Ф. Поликарпова, отличались „необыкновенною славянщизною“[3]. В них культивируются „высота словес“ и „извитие словес“[4], т. е. преобладают торжественные, нередко искусственно составленные слова (ср., напр., пристрастие „еллинистов“ к сложным словам типа: *разнопестровидный*, *разумоподательный*, *верокрепительный* и т. п. — у Ф. Поликарпова; *рукохудожествовать*, *адоплетенный*, *тельцо-*

---

[1] „Акос“, л. 59 об. — 60, Сменцовский, стр. 275. Ср. также трактат, вышедший из партии „восточников“: „Довод вкратце, яко учение и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинский язык и учения, и чем пользует славенскому народу“. См. Н. Каптерев, О греко-латинских школах в Москве в XVII в. до открытия Славяно-греко-латинской академии (Творения св. отцев в рус. пер., кн. IV, с. 635, М., 1889 г.).

[2] Н. Засадкевич, Мелетий Смотрицкий как филолог, стр. 164. Образцов, Киевские ученые в Великороссии, „Эпоха“, 1865 г., № 1, стр. 6—7.

[3] С. Браиловский, Ф. П. Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии, „Журн. мин. нар. просв.“, 1894 г., № 9, стр. 31.

[4] Ср. наблюдения над разновидностями высокого слога в исторической беллетристике XVI—XVII вв. у А. С. Орлова, О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв., „Изв. отд. рус. яз. и слов Ак. наук“, 1908 г., т. XIII, кн. 4.

лияние и др. — у Епифания Славинецкого; *гордовысоковыйствовати, всевидомиротворокружная* и т. п. — у Кариона Истомина[1]), риторически изощренные, цветистые фразеологические обороты (ср. у Кар. Истомина: *бума воздержания, богокованный целомудрого воздержания гвоздь* и др.) и запутанные синтаксические конструкции. Грамматические формы образуются и употребляются в точном соответствии с нормами, определенными грамматикой М. Смотрицкого. Соблюдается тот „грамматический чин“, который сложился в результате искусственной регламентации церковно-славянского языка по позднейшим памятникам русской и украинской редакции, напр.: 1) различение им. сущ. мужского рода одушевленных от неодушевленных по форме вин.-род. пад.; 2) образование по образцу греческого языка форм „причастодетия“ вроде *читательно*; 3) широкое распространение формы деепричастия, которое понимается как несклоняемая форма нечленного причастия, „знаменованием от причастий по толику различествующая, поколику прилагательное, усеченное от целого, различествовати обыче“, напр.: *читая, читав, прочтущ, чтом, чтен, читаем* и пр.; 4) употребление приспособленных к греческому языку форм шести времен, из которых на долю прошедшего времени приходится четыре формы: преходящее — *бих, биен есмь*, прешедшее — *бияx, биян есмь* или *быx*, мимошедшее — *бяах, биян бывах*, непредельное — *побих, побиен быx*, и к которым присоединяется русское прошедшее сложное: *чел есмь, читал есмь, прочитал есмь;* 5) употребление шести наклонений и т. п.[2].

„В языке славянском, с которым мы имеем дело в грамматике Мелетия Смотрицкого, — пишет П. И. Житецкий, — нужно различать элементы действительно славянские от элементов мнимо славянских, к которым относятся, во-первых, формы фиктивные, придуманные Смотрицким по аналогии с латинскими, греческими или же с подлинными славянскими формами; во-вторых, формы русские, усвоенные славянскому языку без всякого основания[3]. В синтаксисе также „господствуют грецизмы, внесенные в исправленный текст Библии“. Таковы, напр. (по словам Ф. И. Буслаева), кроме возобладавшей формы множ. ч. прил. среднего рода вместо ед. ч. (ср. в пословице XVII в: *крадый* ***чужая*** *не обогатеет*), одно отрицание вместо двойного—при отрицательных местоимениях, наречиях и частицах, вроде: *и без него* ***ничтоже быть***. (Ср. даже у Кантемира в начале XVIII в. следы этой особенности: *хотя внутрь* ***никто видел*** *живо тело* — сатира I, стих 69—вместо *никто не видел*); член с предлогом перед неопределенным наклонением, напр., *слетайтеся* ***ко еже*** *созерцати красоту* (Ф. Поликарпов)[4]. Правда,

---

[1] С. Браиловский, Один из пестрых XVII столетия, СПБ, 1902 г., стр. 331.

[2] Н. Засадкевич, Мелетий Смотрицкий как филолог, Одесса, 18*3 г., стр. 90—96. П. И. Житецкий, Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в., Киев, 1889 г., с. 19—21. С. К. Булич, Церковно-славянские элементы в русском литературном и народном языке, СПБ, 1899 г. Ср. критику грецизмов в церковно-славянском языке вообще и в грамматике Мелетия Смотрицкого в частности в предисловии к грамматике Ю. Крижанича. Ср. Арс. Маркевич, Юрий Крижанич и его литературная деятельность, Варшава, 1876 г., гл. IV.

[3] П. И. Житецкий, Очерк литер. истории, стр. 23.

[4] Ф. Буслаев, Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков, М., 1861 г., стр. 1310. Ср. Историческую грамматику русского языка, составленную Ф. Буслаевым, М., 1868 г., стр. 210, 327, 357.

грамматика М. Смотрицкого была нормой построения речи и у украинских книжников, но там она, по словам ак. Л. Н. Майкова, „не успела приобрести себе такого регулирующего авторитета“ [1] вследствие огромного влияния „шляхетских“ и буржуазных вкусов на систему украинского литературно-славянского языка. А в Москве предписания этой грамматики, изданной в 1648 г. с дополнениями и изменениями, стали у консервативных групп „восточников“ (т. е. сторонников византийских традиций) непререкаемой нормой литературности. Недаром в предисловии к московскому изданию грамматики М. Смотрицкого приводились такие предупреждения Силуана, ученика Максима Грека: „Вем многих от тщеславия в таково безумие пришедших, яко не ведети ничесого грамматичного устроения, ниже родов, ниже времен, ниже окончаний и прочих таковых, яже изложиша премудрейшие учители“ [2].

Под влиянием этих стремлений к реставрации „старины“ восстанавливается, напр., употребление прошедших времен в соответствии с грамматическими правилами.

Грамматика М. Смотрицкого уже содержит в себе указания на „падение специальных аористического и имперфектного оттенков“ (С. К. Булич). Видовые различия здесь играют существенную роль в классификации и разграничении форм прошедшего времени, хотя морфологическая структура прошедших времен, способы их образования приспособлены к парадигмам аориста и имперфекта. Так, „непредельное“ время представляет собой, большей частью, формы аориста от основы совершенного вида с приставкой *(прочтох, побих)*; „преходящее“ по форме соответствует бесприставочному аористу *(творих, бих)*; „прошедшее учащательного вида“ похоже на форму имперфекта, но явно отличается от имперфекта видовыми оттенками значения *(творях, читах* и т. п.); „мимошедшее“ напоминает нестяженные образования имперфекта *(творяах, читаах, биях* и т. п.) [3]. Все эти формы культивируются в высоких стилях церковно-славянского языка второй половины XVII в. Напр.: *„где же онех великих труды и всенощная пения* ***бяху****, тамо* ***благоволи*** *тебе бог стати“* (в челобитной неизвестного к патриарху Иосифу в половине XVII в.) [4]; *„идеже тех великих отец* ***бяху*** *нозе неподвижным стоянием претруждены..., тамо* ***бяше*** *и святого их в житии покоя дом“* (ibid.). Ср. тут же употребление „непредельного времени“ (т. е. аориста от основы совершенного вида с приставкой): *„сладце и радостно* ***претерпеша****“* (там же); в рассуждении о греческом и славянском языках конца XVII в.: *„древне же отнюдь таковых глаголаний славяне* ***удаляхуся*** *зане речением* ***обыкоша*** *и нравы последовати“* [5] и др. под.; ср. в „Четьих-Минеях“ Димитрия Ростовского: *„****отдаяхом*** *дети наша змию“* и др.

---

[1] „Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетия“, СПБ, 1889 г., стр. 12.

[2] Ср. также требование, предъявляемое старцем Арсением Глухим к справщикам (20-е годы XVII в.): „осмь частей слова разумети и к сим пристоящая, сиречь роды, и числа, и времена, и лица, звания же и залоги“. А. Прозоровский, Сильвестр Медведев, М., 1896 г., стр. 69.

[3] Ср. подробнее у С. К. Булича, Церковно-славянские элементы в современном литературном и народном русском языке, СПБ, 1899 г., стр. 369—373.

[4] Проф. Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов, Сергиев посад 1913 г., стр. 174.

[5] М. Сменцовский, Братья Лихуды, СПБ, 1899 г., приложения, стр. XIV.

В трактате „О исправлении в преждепечатных книгах минеях“ [1] не только применяются формы времен соответственно грамматике М. Смотрицкого, но и комментируются в согласии с ее правилами. Напр.: „*каково опаство* **имяху** *святии преписывати, наипаче же преводити с языка на ин язык; главизна веры нашея* **сложися** *еллинским диалектом; прежде* **пояху;** *и* **бысть** — времене прешедшего“ [2] и др. под. Характерна также замена форм 2-го лица ед. ч. аориста и имперфекта формами прошедшего сложного, так как соответствующие формы аориста и имперфекта прикрепляются теперь исключительно к 3-му лицу: „*обрезася* и *обрезоваше* и *показася* — третьего лица“ (стр. 116). [3]

Но еще более показателен, как иллюстрация социально-языкового разброда во второй половине XVII в., протест против таких замен со стороны раскольничьих справщиков, обращенный к „московским грамматикам“: „Нрав по грехом таков у нынешних московских грамматиков, что новое ни объявится, затем и пошли, а старое свое доброе покинув...“, — говорит в своей челобитной справщик Савватий. „Нас уничижают, а и сами справщики грамматики не умеют, и обычай имеют тою своею мелкою грамматикою бога определять мимошедшими времяны... В воскресном тропаре на Пасху прежде сего печатали: и на престоле *беаше* христе со отцом и духом, се ныне в новой триоде напечатали мимошедшим временем: и на престоле *был еси* христе со отцем и духом. Яко же иногда *был,* иногда *есть.* А сего не разумеют, яко лепо богу всегда быти“ [4]. В этом заявлении сказывается совершенно иное, несогласное с грамматикой М. Смотрицкого понимание значений форм времени.

Но для кругов московской духовной знати и боярства следование нормам грамматики Смотрицкого в высоком церковном слоге становилось признаком „литературности“ языка. И в этой стилистической оценке сходились „восточники“, т. е. сторонники „еллино-славянских“ стилей, с московскими „западниками“, отстаивавшими латинскую культуру и юго-западное просвещение. Так, в трактате грекофильского направления „О исправлении в преждепечатных книгах“ часто встречается „причастодетие“: *относительно* (71) [5], *показательно зде* (97), *отвещательно было бы* (118), *разуметельно* (65) и т. п.; подчеркивается более тщательное и тонкое употребление степеней сравнения; „не бо бе древле изъяснена на славянском языце, яко ныне“ (93); функции деепричастия сопоставляются с значениями греческого причастия (64) и т. п. Интересно также

---

[1] Ср. К. Никольский, Материалы для истории исправления богослужебных книг. Памятники древней письменности, вып. CXV.

[2] Ср. у М. Смотрицкого спряжение форм „прешедшего“ времени от *быти: бых, был, бысть, бяше, быхом, бысте, быша-бяху,* „преходящего“: *бых, был, бѣ, бѣхом, бѣсть, бѣху-бѣша.*

[3] Ср. замечание: „Обретошася второго лица глаголы премножайши третиим лицем писаны“ (стр. 79). Ср. замену форм 2-го лица формами прошедшего сложного и в грамматике Л. Зизания и в грамматике М. Смотрицкого. См. у С. К. Булича, Церковно-славянские элементы, стр. 365, 369.

[4] Три челобитные раскольников, СПБ, 1862 г., стр. 23. Ср. П. И. Житецкий, К истории литературной русской речи в XVIII в., „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, т. VIII, 1903 г., кн. 2. Отнесение формы *был еси* к „мимошедшему“ времени совпадает с пониманием форм времени в грамматике Л. Зизания.

[5] Здесь и дальше указываются страницы трактата.

сопоставление „еллино-славянских“ синтаксических оборотов с просторечными. Напр.: *тяжек нам есть к видению*... попросту рещи: *тяжко и видети праведнаго* (63). С другой стороны, и язык и „грамматичные правила“ такого западника, сторонника латинского учения, как Сильвестр Медведев, обнаруживают ближайшую связь с грамматическими нормами, утвердившимися под влиянием грамматики М. Смотрицкого. Напр., толкуя „разум грамматичный“ формы *преложив*, Сильвестр Медведев в определении функций деепричастия повторяет грамматику М. Смотрицкого: „Речение *преложив* есть деепричастие времене прошедшего, а деепричастие делается из причастия, — и тако деепричастия от причастия разнятся, якоже прилагательная имена целая от усеченных, якоже *праведный* и *праведен*“ [1]. Точно так же Сильвестр Медведев пользуется категорией „причастодетия“ и даже среди им. прил. как особую разновидность отмечает имя прил. „причастодетельное“ (т. е. с суффиксом *-тельный*) [2]. Вместе с тем любопытно, что выученик Киево-могилянской коллегии Симеон Полоцкий, попавши в Москву, старается „вычистить“ свой язык, приспособить его к грамматическим нормам московского церковно-славянского языка. Об этом сам Симеон Полоцкий говорит в виршах предисловия к „Рифмологиону“:

Писах в начале по языку тому,
Иже свойственный бе моему дому.
Таже увидев многу пользу быти
Славенскому ся чистому учити.
Взях грамматику, прилежах читати;
Бог же удобно даде ю ми знати...
Тако славенским речем приложихся;
Елико дал бог, знати научихся;
Сочинение возмогох познати
И образная в славенском держати.

Но „образная“, т. е. символы, метафоры и другие формы иносказательного выражения, вообще семантика, фразеология и синтаксис клали резкую грань между „еллино-славянскими“ и латино-славянскими стилями. Однако в сфере морфологической, а отчасти и лексической, для восточников и западников XVII в. одинаково знаменательно стремление к архаической регламентации высокого церковного слога. На этой почве и произошло сближение московского церковно-славянского языка с юго-западным (киевским) церковно-славянским языком в деле исправления текста богослужебных книг.

Но сами по себе „еллино-славянские“ стили, с усилением процессов буржуазно-дворянской национализации и европеизации русского языка в конце XVII в. и особенно в начале XVIII в., все более и более теряют свое организующее значение в системе литературной речи. Они продолжают жить как разновидность высоких стилей „славенского диалекта“ и принимают узкий, профессионально-церковный или научно-богословский характер. „Еллинский язык, — писал иеромонах Серафим в начале XVIII в., — нужен есть и разумеется от всех людей, ради свойств наук, особливо

---

[1] А. Прозоровский, Сильвестр Медведев, М., 1896 г., стр. 84.

[2] Там же, стр. 86. Ср., впрочем, отнесение этого синтаксиса к сочинениям Кариона Истомина у С. Браиловского, Один из пестрых XVII столетия, СПБ, 1902 г., стр. 460 и след.

о богословии и просто о вере христианской, паче же о нашей“ [1]. „Греческий язык есть язык премудрости“, — сообщает Ф. Поликарпов в предисловии к „Лексикону треязычному“. Конечно, отдельными грамматическими правилами, синтаксическими приемами, фразеологией, риторическими оборотами еллино-славянские стили продолжают воздействовать и на литературный язык начала XVIII в. (ср., напр., язык Фед. Поликарпова). Но культурно-общественное значение греческого языка, знание которого признается вовсе необязательным и даже ненужным для интеллигента XVIII в., ослабевает. Напротив, в начале XVIII в., когда встает с особенной остротой вопрос о приближении церковно-славянского языка к русскому просторечию и, в связи с этим, об „очищении“ церковно-славянского языка от архаических и посторонних примесей, грецизмы в составе церковно-славянского языка объявляются излишними и чуждыми русскому языку. Так, в своей грамматике (1721 г.) иподиакон Федор Максимов считает необходимым отметить „свойства некая еврейская и греческая, яже в св. писании на славянском диалекте премногая зрятся“. Церковно-славянский язык признается „смешанным“, содержащим много гебраизмов и грецизмов, которые следует отделить от чисто славянских форм выражения, напр. *будут два в плоть едину*: „Аще имать по славянстей грамматице разбиратися, будет неправильно, понеже глагол существительный и пред собою и по себе взыскует падежа именительного, а зде по глаголе лежит винительный со предлогом *во*, а не именительный; по-славенски же употребляется сице: *будут два плоть едина...*“

Эта борьба с грецизмами в составе церковно-славянского языка, имевшая целью приблизить славянский диалект к формам русского общественно-бытового языка, с достаточной ясностью свидетельствует, что восточно-византийское влияние в церковно-славянском языке уступало дорогу влиянию западноевропейскому.

§ 3. Унификация церковно-славянского языка, объединение московской традиции его с киевской.

Однако еллино-славянские стили церковно-литературной речи сыграли большую роль в процессе унификации церковно-славянского языка, в деле объединения московской традиции его с киевской. Вспомнить можно хотя бы филологическую деятельность Епифания Славинецкого. Исправление московских богослужебных книг по львовским и киевским образцам, церковно-административная, богословская и филологическая деятельность киевских ученых в Москве привели к сближению церковно-славянского языка московской традиции с церковно-славянским языком Украины. Это установлено проф. Н. Каптеревым [2]. Украинское влияние поддержало в московском церковном произношении такие фонетические черты, которые под напором бытового просторечия стали вытесняться особенностями разговорного языка, напр. *h* (там, где в северно-русском наречии и в примыкающем к нему по консонантизму московском выго-

[1] С. Смирнов, История Московской славяно-греко-латинской академии, М., 1855 г., стр. 83.

[2] Проф. Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов, Сергиев Посад, 1913 г.

воре звучал взрывной *г*), *е* на месте разговорного русского *о* (*небо, лён* и т. п.), различие *ѣ* и *е*. Но иногда струя украинского выговора окрашивала и более ярко церковный язык (ср. свидетельство Сумарокова о церковном произношении XVIII в.). Увлечение киевским партесным „гласоломательным" пением и киевскими певчими, распространившееся в кругах высшего духовенства и знати, укрепляло в церковном произношении украинские черты [1].

Деформация фонетического облика церковно-славянского языка зависела также от перемещений ударения на прежних словах и от особенностей ударения на некоторых вновь вводимых словах; напр. ударение современного слова *числи́тель* вместо ожидаемого *чи́слитель* укрепляется в эту эпоху (ср. у Епифания Славинецкого в переводе Атласа Блеу, 50-х годов XVII в. — *числи́тися*, т. е. считаться [2]).

Были значительны и морфологические перемены в системе церковно-славянского языка. При исправлении книг, помимо следования формам юго-западной церковной традиции, происходила общая регламентация морфологического строя славянского языка; напр.: расширяется употребление префиксов *во-*, *со-*, *воз-* под влиянием церковной тенденции произносить *о* там, где в живом языке произошло его исчезновение. На этой почве возникает диференциация значения префиксов *с-* — *со-*, именно: *со-* приобретает специальное значение соучастия, напр. *сообщество, соревнование* и т. п. Но особенно глубоки и многочисленны были изменения в лексике и фразеологии церковно-славянского языка (напр.: вместо *от него же всяк живот вдыхается* — *всяко животно одушевляется;* вместо *смертию на смерть наступив* — *смертию смерть поправ* и т. п.). Представители демократической раскольничьей массы влагали в церковно-славянизмы конкретное содержание, сопоставляя их с соответствующими выражениями русского бытового языка. Между тем нормализация высокого „славенского" слога, тесно связанная с исправлением текста богослужебных книг, выражалась в развитии отвлеченных, условно-символических значений слов, относившихся к сфере религиозной догматики, в разграничении смысловых оттенков синонимов, в создании торжественно-метафорической фразеологии. Такова, напр., в трактате „О исправлении в преждепечатных книгах" диференциация синонимов: *разум* (synēsis), *знание* (gnōsis) (105) [3]; *тело* — *плоть, бестелесный* — *бесплотный* (108); *чрево* — *утроба* (117); *врач, врачевание, врачебница* — *лекарь, лечитель* и *исцелитель, исцеление, исцелительница* (120) и др. под. Ср. также отрицание перевода греческих слов oiconomia — oiconomos через *смотрение, смотритель* и утверждение новых соответствий: *строение* — *строитель* (90).

Эта кодификация форм и норм церковно-славянского языка имела своей задачей не только „очищение" его от сторонних примесей и „неправильностей", не только унификацию церковно-богословской и богослужебной терминологии, лексики и фразеологии, но и охрану высокого

---

[1] Ср. В. Н. Перетц, Из истории русской песни, стр. 199 и след.

[2] В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, изд. 4-е, стр. 464.

[3] Ссылки на страницы делаются по изд. К. Никольского, Материалы для исправления богослужебных книг. Памятники древней письменности, вып. CXV.

„славенского“ диалекта от разнородных влияний светско-бытового просторечия и чуждых православию идеологических систем. Однако юго-западная (киевская) система церковно-литературного языка, имевшая большое организующее значение в процессе нормализации высоких стилей церковно-славянского языка, включала в себя рядом с архаическими тенденциями и стилями и иные, „европеизированные“ приемы выражения и иные, сложившиеся под латино-польским воздействием формы семантики, и осуществляла новое соотношение разностильных элементов в структуре литературной речи.

§ 4. Литературный язык так называемый Юго-западной Руси и его влияние на русский литературный язык.

Так наз. Юго-западная Русь становится во второй половине XVII в. посредницей между Московской Русью и Западной Европой, и русский литературный язык подвергается сильному влиянию украинского литературного языка (церковно-книжного, светско-делового и художественного). Социальные и культурно-исторические причины этого смешения языков очень сложны. В Юго-западной Руси (Белоруссии и Украине) шляхта и буржуазия раньше начали переживать процесс европеизации. Польское влияние, которое в XVII в. стало укрепляться среди высших слоев русского дворянства, здесь раньше и глубже пустило свои корни. Духовенство здесь овладело высокой филологической культурой латинского Запада. И церковно-славянский язык, попавши в сферу западноевропейской цивилизации, испытал здесь более сильное воздействие со стороны светско-деловых и литературно-художественных стилей речи дворянского и буржуазного общества. Однако из украинского литературного языка заимствовались в русскую литературную речь не столько отражения украинской национальной речи, которые с высоты московских великодержавных позиций казались русскими провинциализмами, сколько формы литературного выражения, созданные юго-западным духовенством, дворянством и буржуазией на основе церковно-книжной письменности или усвоенные из латино-польской культуры.

Но прежде чем описывать изменения в русской литературной речи под воздействием украинской литературной традиции, необходимо уяснить внутренние социально-языковые процессы в жизни украинского литературного языка и познакомиться с теми новыми силами, которые вступали в историю русского литературного языка.

Юго-западный литературный язык XVII в. имел сложное прошлое. Для истории русской литературной речи важны лишь некоторые моменты этого прошлого. Прежде всего церковно-славянский язык так наз. Юго-западной Руси впитал в себя конструктивные внутренние формы латинского языка, языка средневековой западноевропейской религиозно-философской и научной мысли, а для Польши вместе с тем и языка администрации и суда. Грамматика, особенно синтаксис и риторика, которые были осью литературности, здесь с XVI в. подверглись сильному латино-польскому влиянию. „В области красноречия светского и духовного, — пишет К. Харлампович, — латинское влияние выразилось прежде всего в случайном заимствовании нашими школьными, церковными и полемическими ораторами чуждых греческой риторике фигур и в привнесении польских и латинских слов и выражений, а затем, под влиянием латинских учебников риторики и сборников иноверных проповедей, перешло в полное подражание всем приемам той в высшей степени искусственной и изысканной речи, которая даже

в те времена вызывала неодобрение со стороны представителей греческого направления в красноречии. В проповеди библия и „творения св. отец" стали делить свой авторитет с авторитетом философов и светских ученых, рядом с библейскими сказаниями начинают фигурировать исторические и даже мифологические, и святые и священные лица ставятся рядом с древними богами и героями. Интерес содержания сменяется интересом формы и светской учености, направленной к тому, чтобы поразить слушателя: поучительность уступает место занимательности"[1]. „Из Польши шли казанья, вирши, панегирики, ламенты и другие сочинения с их затейливыми заглавиями и запутанными аллегориями".

Нельзя отрицать большого участия греческого языка и смысловых форм византийской богословской и церковной культуры в организации юго-западнорусского церковно-письменного языка. Но круг действия византийского просвещения был здесь уже, чем в Москве. Оно не только ограничивалось областью церковно-культовых и научно-богословских интересов, но и в этой сфере делило свой авторитет с латинским языком.

С другой стороны, правовые и научно-образовательные функции латинского языка побуждают держаться за него как за орудие администрации юго-западную — украинскую и белорусскую — шляхту и как за орудие самозащиты — класс средней городской буржуазии. Сильвестр Коссов в своей книге Exegesis, tojest-Danie sprawy o szkolah kio.skich, y w inickich (1635 г.) рисует такие бытовые сцены: „В Польше... латинский язык наиболее успевает. Поедет бедняга русин на трибунал, на сейм, на сеймик в городский или земский суд, — без латины платит вины, без нее ни судьи, ни стряпчего, ни ума, ни посла; а только присматривается то к тому, то к другому, вытаращив глаза, как коршун. Не нужно нас побуждать к изучению греческого языка: стараемся и о нем при латине, так что, бог даст, он будет у нас для церковного употребления, а латина — для судебных нужд (Graeca ad chorum, a latina ad forum)..."

„Латинский язык был в старинной Польше языком церкви и школы, языком гражданских и церковных понятий, поэтому он входил в самое существо польского общежития, составляя необходимую приправу польской речи в кругу сколько-нибудь образованных людей"[2].

„Синонима славенороссская" XVII в., изданная П. Житецким, дает довольно отчетливое представление о тех словах и понятиях, которые входили в структуру украинской светско-деловой, а отчасти и церковно-литературной речи из языка латинского (как непосредственно, так и через посредство польского языка). Это, во-первых, — слова официального стиля, делового и юридического языка: *апелляция, гонор, декрет, депозит* (поклад), *деспект* (укоризна, укорение, бесчестие, оклеветание, хула, хуление, глумление), *инкв зиция* (истязание выны), *канцелярия, квестия, кляуза, контентую, корона, короную, мандат, мезерия* (окаянство, бедность), *мезерный, оказия* (извет, явление, кичение), *патрон, персона, под претекстом, полиция* (гражданство), *поссесию держу, секрет, термен* (устав, предел), *тумулт, турбатор, фундамент, церемония* и др. под. Во-вторых, — это слова с ученой окраской, из риторики или из научной и технической терминологии, переходившие в общий письменный и бытовой интеллигентский язык: *аффект* (страсть, причастие, движение сердечное), *доктор, конституция* (состояние), *литера* (письмо), *натура, оратор, орация, палац* (палата), *помпа, суптельный* (восперен, тонкий, тонченый), *форма* (образ, звод), *фегура* (образ) и т. п. В-третьих, — это слова школьные, напр.: *вакация* (из vacatio), *бурса* (bursa) и т. п.

Правда, на Украине громко раздавались в XVII в. и голоса противников латино-польской культуры. Составитель „Зерцала духовного" (около 1652 г.) указывал на распространение „пакости душевредной": многие „словенским смиренным языком гнушаются и от чужих возмущенных вод, наблеванных прелестью, булакоме напаяваются". Но эти голоса не делали музыки. Да и трудно было бороться с влиянием латинского и польского языков, которые составляли неотъемлемый элемент „шляхетской" и буржуазной культуры на юго-западе.

---

[1] К. Харлампович, Борьба школьных влияний в допетровской Руси, Киев, 1902 г., стр. 22—23.

[2] П. И. Житецкий, Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в., стр. 9—10.

Латинский язык, как церковный, административный и научный язык Польского государства, определял в значительной степени и смысловые формы польской речи, по крайней мере некоторых ее стилей, „пестревших латинизмами“. С середины XVI в. в Польше родной, национальный язык начал становиться языком литературы, законодательства, администрации. Возрождение национального польского языка не могло не отразиться и на отношении к нему юго-западно-русской аристократии. Уступая культурно-политическому перевесу Польши, белорусское и украинское дворянство желало во всем походить на дворянство польское, воспринимая его язык, нравы, формы общежития, усваивая склад польских умственных интересов и нравственных понятий. Вследствие сильного влияния общественно-бытовой речи и светско-деловых стилей письменного языка на церковно-славянский язык некоторые жанры украинского церковно-литературного языка пестрели не только латинизмами, но и полонизмами.

Степень участия буржуазного и крестьянского просторечия в структуре этого языка обусловлена социологически. „Простая мова“, „простейший и подлейший“ язык, противопоставлялся речи „панского“ и „духовного стана“.

Итак, на юго-западе церковно-славянский язык, сблизившись с латинским языком, проникся идеологическими элементами западноевропейской христианской культуры. Кроме того здесь церковно-славянский язык подвергся более глубокому воздействию стилей общественно-бытового и светско-делового языка буржуазно-дворянского общества. А эти стили, при всей сложности их социальной диференциации, слагались из различного соединения трех основных этно-лингвистических элементов (не считая церковно-славянизмов): из украинизмов, латинизмов и полонизмов. „Обмирщение“ церковно-славянского языка имело своим антитезисом расширение литературно-бытовых функций церковно-книжной речи. Украинские писатели „употребляли иногда церковно-славянский язык в сочинениях такого рода, которые требовали речи более простой и естественной. Так, Петр Могила в собственноручных записках своих говорит о предметах и явлениях обыденной жизни тем самым языком, на котором написаны им же составленные церковные песнопения и каноны“. Напр: „*Въ градѣ Бѣлоцерковском Яну Пикгловскому родися дщи. По обычаю же баба, въсприемши отроча, пупък урѣза, но недобрѣ связа. Не внемшиж се бабѣ, положи отроча к корытце, об нощь же кровь из отрочате течаше пупком, кровию же исполъв умираше*“ [1]. Вместе с тем ярким социальным контрастом этой славянизации бытового языка было демократическое „выворачивание“ евангелия и псалтири „простым языком“.

Те же социальные причины, которые изменили структуру и функции церковно-славянского языка, привели к созданию украинского буржуазно-шляхетского светско-литературного языка, сложившегося на почве деловой речи, но впитавшего в себя значительное количество и церковно-славянизмов. Иллюстрацией может служить отрывок из вирш Берынды (книга „На рождество...“, 1616 г.), язык которых, по словам акад. В. Н. Перетца, „представляет как бы середину между церковно-славянским и деловым западнорусским“:

Христос збавител ныне с панны нароженый
От бога отца ведлуг тела увелбеный
Ныне в верных щасливе нехай завитает,
И радос в сердцу кождого з нас проквитает [2].

Этот светско-литературный язык при несколько большей близости к народным украинским и белорусским основам, чем язык церковно-литературный, был также пропитан латинскими, а особенно польскими элементами. На этом светско-литературном языке писались научные, публицистические, беллетристические произведения, вирши и драмы. Вот эти-то церковно-книжные и светско-литературные стили Юго-западной Руси стали во второй половине XVII в. оказывать сильнейшее влияние на литературный язык Московского государства.

---

[1] П. И. Житецкий, Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в., стр. 38.

[2] В. Н. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, СПБ, 1900 г., т. I, стр. 80.

§ 5. Украинские стили церковно-литературного языка на московской почве и их воздействие на русскую литературную речь высших классов.

Воздействию украинской литературной речи подвергаются прежде всего те стили московского церковно-славянского языка, которые были связаны с „витийственными“ жанрами проповеди, полемической, богословско-теоретической и публицистической литературы. Конечно, юго-западная стилистическая традиция в кругах московского дворянства и столичного духовенства приспособлялась к нормам русского литературного языка, освобождаясь от наиболее чуждых ему форм, слов и оборотов. Интересна, напр., та сложная работа, которая произведена Симеоном Полоцким над „славянизацией“ своего стиля, над очищением его „от варваризмов литературного языка Западной Руси и от провинциализмов родного края“. Достаточно сравнить язык вирш Симеона Полоцкого до приезда его в Москву и язык московских его произведений, чтобы убедиться в глубине и значительности этой чистки.

Вот отрывки из „приветственных вирш“, написанные Симеоном Полоцким в бытность учителем полоцкой богоявленской школы (1659 г.):

Дай **абы** *врази были побежденны,*
Пред **маестатом** *его покоренны.*
Сокруши **пожных** *людей выя, роги,*
Гордыя враги наклони под ноги...
Покрый покровом град сей православный,
Гды *обретает тебе* **скарб** *твой давный*[1].

Таким образом, здесь редкий стих не содержит украинизма, полонизма или латинизма. Но относительно чистый церковно-славянский язык, конечно, не освобожденный вполне от украинизмов (юго-западно-руссизмов) и полонизмов, наблюдается у Симеона Полоцкого в „Рифмологионе“, „Месяцеслове“. Характерно, что, по свидетельству Вильгельма Лудольфа, с именем Симеона Полоцкого соединялось представление о преобразователе русской церковно-книжной речи, стремившемся к ее упрощению[2].

Таким образом, юго-западные стили церковно-литературного языка на московской почве руссифицируются. В них сокращается количество белоруссизмов, украинизмов и полонизмов. Показательны изменения, которые вносил Сильвестр Медведев в вирши Симеона Полоцкого. Прежде всего устраняются явные словарные украинизмы и полонизмы, напр.: поправляются *едно, една* и т. п. на *одно, одна, як* на *как*; *тминны тьмами збогатити* на *вящще, много украсити* и т. п. Во-вторых, исключаются те синтаксические конструкции, которые, повидимому, пользовались более широким распространением в украинской литературной традиции, чем в русской, „московской“: второй твор. пад. при глаголе заменяется вторым вин.: *царя* и *бога* вместо *царем* и *богом* при глаголе *избрал еси*; формы наречия и деепричастия предпочитаются формам обособленного

---

[1] Л. Н. Майков, Очерки из истории рус. лит. XVII и XVIII ст., СПБ, 1889 г., стр. 9.

[2] „Он по возможности воздерживался от более трудных славянских выражений, чтобы его легче было читать и понимать, и все же у него все — славянизмы, и многие непонятны массам“ (vulgo).

употребления им. прил. и причастий: *юже* (молитву) *твориши* **слезне** — вместо *слезен; аз что принесу, ничтоже убо таково* **имуще**, *нищ инок* **суще** (вместо *имущий, сущий*) [1] и др. под.

Те же тенденции продолжаются и в начале XVIII в. Сходные наблюдения, напр., можно сделать, изучая „обрусение“ языка Дмитрия, митрополита Ростовского. Слова: *персона, казнодей, куншт, оказия* заменены словами: *лице, учитель, образец, случай;* слова: *мовити, ховати, дяковати, зробити, размова, покора* и т. п. заменены словами: *глаголати, хранить, благодарити, делати, разговор* и пр. В славяно-русском тексте слова Дмитрия Ростовского на день троицы в стречаются слова: *азарничество, господин, кладовая, шея, собственный, спрашивать* вместо украинских слов, стоящих в украинском тексте: *гвалство, господарь, скриня, шия, власный, спитати.* Изменение национального колорита речи особенно разительно было при смене союзов. „Союзы: *абы, аж, але, альбо, гды, еднак, же, як, хочь, ще* заменены союзами: *дабы, а, но, или, когда* и *внегда, однако, яко, аки, аще, хоть, еще*“ [2]. Конечно, соответствующим же поправкам подвергались и орфография и грамматические формы.

Однако не все особенности украинского литературного языка вытравлялись. Семантика, синтаксис, фразеология, приемы риторического построения сохраняли отпечаток иной речевой культуры. Подвергаясь „славянизации“ и чистке от варваризмов, „украинские“ стили русского литературного языка сами влияли на московскую литературно-языковую традицию. На силу этого влияния указывают и правительственные распоряжения начала XVIII в. об устранении украинизмов как из письменной деловой, так из литературно-книжной русской речи. „Издатели церковных книг“, — говорит П. И. Житецкий, — особенно заботились об „орфографии сиречь правописании и правоверии великороссийском правильном, по учению грамматистов и любомудрецов в училищах издревле обдержимом“, поэтому заменяли они „малороссийские примрачныя речения обыкновенными“, заботились о том, чтобы „никакой розни и особого наречия не было“ [3]. Но это был правительственный режим „великодержавной“ руссификации, обусловленный временными политическими причинами и в общем мало мешавший культурному воздействию юго-западной письменности на литературные стили дворянства и примыкавших к нему кругов передового духовенства.

Если фонетико-морфологические и лексические особенности украинского просторечия не находили себе твердой опоры в русской литературной речи (ср., однако, многочисленные украинизмы в языке проповедей и в лирическом стиле) [4], то лексико-фразеологические и синтаксические формы юго-западного литературного языка оказали сильное влияние на русскую литературную речь конца XVII в. Так, в синтаксисе начинают укрепляться идущие из юго-западной литературы формы латинского

---

[1] Сильвестр Медведев, Приветство брачное, изд. Н. Н. Дурново, Харьков, 1912 г., стр. 10—11. Ср. также ст. Н. Н. Дурново в „Изв. отд. рус. языка и слов. Ак. наук“, 1904 г., т. IX., кн. 2, стр. 303 — 350.

[2] Ср. П. И. Житецкий, К истории литературной русской речи в XVIII в., „Изв. отд. р. яз. и сл. Ак. наук. т. VIII, 1903 г. кн. 2, стр. 15.

[3] Там же, стр. 21.

[4] См. примеры во II главе, § 17.

словорасположений. Напр. в письмах Сильвестра Медведева[1] характерны такие латинизированные конструкции с глаголом на конце предложений: *„...Яко сухая неплодная земля дождем на богатоплодие* ***прелагается*** *и гобзователное доброплодие* ***произносит****, сице гласом твоего преподобия в человецех неплодствующаяся добродетель на всетучное благоплодие* ***претворилася****, и выну пребогато* ***возрастая*** *и плодами покаяния в насыщение жаждущим душам* ***процветая*** *и цветов благовонием смрад в совестех лежащий* ***иссучая****, и яко от благотучных и здравых пищей, благоговенство во человеческих сердцах* ***умножалося****, страх божий* ***распространялся****, вера* ***расширялася****, надежда* ***укреплялася****, милосердие мощь свою* ***восприимало****, суд, правда и милость, мир и любовь непритворная в целости* ***пребывали****, хвала и служба божия в церквах всюду* ***громогласилися****“.*

Признаки латинской конструкции содержит в себе и синтаксис предисловия к „Великому зерцалу“, написанного, по словам проф. П. В. Владимирова, тем литературным языком, который выработался в „славяно-греко-латинских школах“: *„...Пиитове, или творцы книг, приличное по коемуждо сочинению книзе имя даяху, яко же и видети есть. Ибо преподобный Максим подобием яко пчела от различных во едино собирает и мед устрояет, божественнаго писания от различных ветхаго и новаго заветов книг и богоугодных мужей поучений, книгу сочинив, пчелою нарече, такожде ин некто боголюбивый муж, якоже зрим в чувственных вертоградех различная богоплодоносная древеса, веселящая видение, услаждающая вкушение и творящая тень ко прохлаждению и многия сладкоуханныя цветы благовония издающия и различныя зелия и корения, ко врачеванию, и иным в житии человеческом потребам приличныя, тем же образом и оный из многих различных богодухновенных писаний и восточныя и западныя церкве учителей повествований премудре и чинне собрав, вертоград нарече, подобне и сей творец сих повестей и прикладов духовных книгу зело в лепоту „Зерцало великое“ нарече, ибо зряй ея в зерцале белость или черность лица своего усмотряет, или ин некий порок удобно познает...“*[2].

Еще один пример для сравнения — из перевода Кар. Истоминым книги Юлия Фронтина о ратном искусстве (1700 г.): *„Фульвий Нобилиор егда противно самницкому воинству великому и благополучением счастия гордому с невеликим полком творити име, притвори яко бы един полк неприятелский к нему придатися и приложитися имел, и дабы своих в том утвердил, тем болше у полковников и ротмистров и началнейших сребра и злата отдания в вещи мзды совещанныя незаймова“.*

По мнению С. Н. Браиловского, язык этого перевода — „везде выдержанный литературный язык того времени“[3].

Приспособление синтаксической структуры высокого слога к украино-

---

[1] Письма Сильвестра Медведева, СПБ, 1901 г. Памятники древней письменности и искусства, вып. CXLIV, стр. 25—26.

[2] „Великое зерцало“, Исследование П. В. Владимирова, М., 1884 г., стр. 53.

[3] С. Браиловский, Один из пестрых XVII столетия, СПБ, 1902 г., стр. 347.

латино-польской конструкции сопровождалось изменениями в системе значений, в лексике русской литературной речи. Характерен процесс морфологического и семантического приравнения церковно-славянских слов к соответствующим латинским терминам и понятиям, протекавший под непосредственным влиянием книжной литературно-языковой традиции. Напр. в заметках Сильвестра Медведева: „Contemplatio — *безмолствие* или наипаче *богомыслие*, speculatio — *зрение*... actus — *делание*, habitus — *имство*, т. е. утверженное того дела обыкновение“ [1]. Но особенно сильно было воздействие на русский литературный язык конца XVII в. юго-западной риторики.

В публицистических, церковно-полемических и художественно-литературных стилях русской книжной речи укрепляются своеобразные формы отвлеченного символизма, аллегорического изложения, изысканных параллелей и сравнений. „Символы и эмблемата“, приемы каламбурного сочетания слов придают своеобразный оттенок смысловой игры, риторической изощренности церковно-книжному языку и ломают его семантику, придавая ей „светский“ характер. Игумен Иннокентий Монастырский писал Мазепе в декабре 1688 г.: *„Пречестного монаха Медведева веру, труды, разум хвалю и почитаю... Я того пречестного Медведя не от медведя зверя, но от ведомости меда походити сужду...“*, а самому Сильвестру в письме от 9 февраля 1689 г. признавался: *„Если б я писал к Лихудам, то сказал бы: для вас Сильвестр не Silvester, но Solvester* (солнце ваше)“. Сторонники греческой партии, издеваясь над Медведевым и следуя тому же приему этимологизации имени, ставили в связь имя Сильвестр с латинским silva — *лес*: „Еже толкуется *лесный* или *дикий*, лепо убо сего Сильвестра нарицати от имени или прозвания его *дикий*, или *леший медведь*“ [2].

Это риторическое правило об изобретении доказательств через истолкование семантики имени, обозначающего главный предмет речи (см. у Симеона Полоцкого в „Жезле правления“ подробное изъяснение этого заглавия), было тесно связано в юго-западной риторике с приемами звуковой игры, каламбура. Напр. в „Венце веры“ Симеона Полоцкого, написанном, повидимому, в качестве пособия при учебных занятиях в царских палатах, читаем: *„О смерти, коль* ***горка*** *память твоя!* ***Горка*** *— яко ты* ***сладость*** *нашу Иисуса умертвила еси. И* ***горкою*** *желчию прежде напоила еси паче вод мерры, чесо ради мерзска еси всякому человеку“* и т. п. [3]. Ср. отголоски этого приема даже в „Риторике“ М. В. Ломоносова, напр. в истолковании имени *Кесарь* от латинского caedo — *секу* (Caesar):

Кесарь, ты сечешь врагов удобно.
Имя в том делам твоим подобно.

(Риторика, § 135.)

Итак, система каламбуров, условных аллегорий, символов, эмблем теперь органически входит в смысловой строй высокого славенского диалекта. „Обычно есть мудрости рачителем инем, — писал иеромонах

---

[1] А. Прозоровский, Сильвестр Медведев, М. 1896 г., стр. 160.
[2] И. А. Шляпкин, Дмитрий Ростовский и его время, СПБ, 1891 г., стр. 178.
[3] Л. Н. Майков, Очерки из ист. рус. лит., стр. 63.

Иосиф Туробойский в предисловии к „Преславному торжеству свободителя Ливонии“ (1704 г.), — чуждым образом вещь воображати: Тако мудролюбцы правду изобразуют мерилом, мудрость — оком яснозрительным, мужество — столпом, воздержание — уздою и прочая бесчисленная. Сие же не мни быти буйством неким и кичением дмящагося разума, ибо и в писаниях божественных тожде видим. Не сучец ли масличный и дуга, на облацех сияющая, бяше образ мира“ [1].

Вместе с тем аллегории, мифологические аксессуары и образы школьного классицизма смешиваются с церковно-славянской лексикой и символикой. Правда, они первоначально подвергаются некоторым ограничениям. Так, в переделке Сильвестра Медведева „стихи Полоцкого, в которых говорилось о Титане, Нептуне, Фебе, заменены другими стихами; выпущены стихи, содержавшие перечень греческих имен ветров или говорившие о Фебе. Из всех мифологических имен оставлено только имя Геркула и то больше как географический термин“ [2]. Но постепенно эта стилистическая струя новоклассицизма ширится и становится характерной принадлежностью русской литературной речи конца XVII — начала XVIII в. [3].

Эти своеобразные принципы условно-риторического выражения и изображения содействовали развитию новых жанров русской литературной речи. Вирши, драмы, повесть усложняют процесс смешения церковно-славянского языка со стилями деловой речи и ориентирующимися на нее светско-литературными стилями.

§ 6. Процесс распада и трансформации стилистической системы церковно-славянского языка вследствие смешения его с светско-деловой речью, с просторечием и с чужеязычными элементами.

Рост значения таких жанров литературы, как вирши и драмы, пользовавшихся преимущественно церковно-славянским языком, естественно, не мог не повлечь изменений в стилистике церковно-славянского языка и не мог не нарушить ранее существовавших отношений между церковно-книжной речью и стилями светско-письменного языка. Дело в том, что рядом с литературным церковно-славянским языком и во взаимодействии с ним жил деловой язык, язык светской письменности. Будучи официальным государственным языком московских приказов и в то же время приближаясь к разговорной речи служилого сословия, светско-деловой язык составлял как бы промежуточную сферу между литературным языком и стилями бытового просторечия. Кроме государственных актов, законодательных памятников и технических руководств, вроде напечатанной в Москве в 1647 г. „Книги ратного строения“, на этом языке писались и некоторые литературные произведения без особых претензий на „литературность“, напр. такие произведения, как описание путеше-

---

[1] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. II, стр. 96.

[2] Н. Н. Дурново, Сильвестр Медведев, Приветство брачное, стр. 11—12.

[3] См. ст. А. И. Соболевского, Когда у нас начался ложноклассицизм, „Библиография“, 1890 г., № 1; В. Н. Мочульского, Отношение южно-русской схоластики XVII в. к ложноклассицизму XVIII в., „Журн. Мин. нар. просв.“, 1904 г., № 8.

ствий в далекие страны или памфлет Котошихина „О России в царствование Алексея Михайловича". Но в тех произведениях не только религиозноучительного, но и научного и просто беллетристического содержания, которые претендовали на литературность, применялся язык церковно-славянский, правда, с отступлениями, с примесью делового языка и просторечия. Однако более или менее выдержанное употребление церковно-славянского языка придавало и беллетристическим произведениям своеобразную „высоту" тона, своеобразную идеологическую и экспрессивную окраску торжественности или глубокомыслия, религиозной морализации или отвлеченного символизма.

Во второй половине XVII в. под влиянием того соотношения, которое установилось между церковно-славянским языком и стилями светско-литературного языка в юго-западной письменности, постепенно образуется и в русской литературе разрыв между употреблением церковно-славянского языка и его значением. Церковно-славянский язык начинает применяться к таким предметам и темам, которые в предшествующей литературной традиции нашли бы выражение или в формах делового языка или в формах просторечия. Это наблюдение впервые сделано К. С. Аксаковым. „Язык церковно-славянский... — пишет он, — становится орудием произвольных вымыслов... поразительно звучат в нем, резко противополагаясь с его характером и формами, тривиальные народные и иностранные слова и выражения, на которых лежит печать современности... Этот беспорядок, это странное, будто бы разрушающееся состояние указывает на новый порядок, на новую жизнь, уже ближущуюся и смутившую прежнее состояние..."[1].

Повторяется та же картина социально-языковых противоречий, которая характерна для истории украинского языка XVI — XVII вв. Напр. в русских виршах конца XVII — начала XVIII в. литературный язык, переполненный церковно-славянизмами, вместе с тем близок к языку украинских вирш не только по оборотам и мыслям, но и по построению рифм. Так даже А. Кантемир в Epodos consolatoria, подражая Феофану Прокоповичу, допускает рифмы: *зѣло — было, дѣлы — унылый, лиху — утѣху* и т. п.

Но особенно резко новые формы употребления церковно-славянского языка и новые формы смешения его со стилями русского делового и повествовательного языка, иногда с примесью варваризмов, обнаруживаются в языке драматических произведений.

Так, в драме „Юдифь" наблюдается грубое смешение церковно-славянизмов с вульгаризмами бытовой речи. Напр.:

Ахиор. *Имянуешь ныне* ***мя*** *милостивым господином; како же* ***мя*** *в то время имяновал,* ***егда мя*** *к древу привязал еси?*

Сусаким. (сде тайно к себе говорит). *О! когда* ***бых*** *его в то время* ***удавил****, то бы ныне не* ***возмогл так возношатись.***

Ахиор. *Что* ***ворчишь*** *ты,* ***собако****? Что* ***ропщешь****? Како* ***сице*** *молчиши, ты* ***скотина****, ты* ***осля****? Говори ты,* ***лютой ворище!***

Сусаким. ***Аз несмь*** *вор, ни осля, ниже скот, и* ***не есмь*** *ни собака и никакой человек.*

---

[1] К. С. Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и русского языка, Собр. соч., т. II, 1875 г., стр. 275.

Ахиор. *Что же тогда еси?*

Сусаким. ***Аз есмь вещь, кая деревенским мужиком досаждает пущи тараканов**, но имяни мне нет*[1].

С другой стороны, тут же церковно-славянизмы сталкиваются с варваризмами и с формами приказного языка:

Сомнас. ... ***Аз бых свиней не коснулся**, но красную деву во изрядном одеянии **взял бых**.*

Моссолом. *Что же бы с нею хотел сотворити?*

Сомнас. *Одежду от нея взяв, про себя бых держал; но деву моему милостивому господину **капитану** дарил бых.*

Селум. ***Капитаны** и вси начальники, **солдаты** и вси воинские люди! Послушайте **вельможнейшаго** воеводы нашего Олоферонова повеления* (бьет на барабане и клич чинит). *Утре в первом часу дни все на Марсово, пред царскими **враты сущее**, место да соберитесь, и всяк с своим ружьем под знамя свое да ставится. Воевода **хощет** сам **генеральной** смотр учинити...*

Сисера. *О светлая сабля! Радуйся сим вестям, **зане вящшая ти** честь в крови утупети, нежели во ржавчине. Прииди, брате, **да днесь возрадуемся**...*[2].

Любопытно, что в языке драм конца XVII в. можно найти яркие факты приспособления лексической и фразеологической систем церковно-славянского языка к западноевропейским языкам, преимущественно к немецкому. Напр. „язык пьес репертуара Грегори (драматурга и режиссера эпохи Алексея Михайловича) не похож на стиль подьячих XVII в.: в них слишком много славянских слов и оборотов, употребленных с толком и кстати"[3]. Между тем ак. Тихонравов указал, что многие церковно-славянизмы этих пьес являются семантическими „германизмами", морфологически точными снимками с немецких слов. Так, в пьесе „Юдифь": *кровию же оное истребили* (vertilgen); *живи благо* (lebe wohl); *отключити* (aufschliessen); *венцы осажденные* (bezetzt), *осадят пути стражею*; *беспохвальный народ* (unlobliches Volk)[4]; *отмщуся над сими псами* и т. п. Ср. сходные явления в репертуаре петровского времени, напр. в пьесе „Сципио Африкан, вождь римский и погубление Софонизбы, королевы нумидийския": *счастопадение* (Gluckfall), *побеждение на обе стороны висело* (schwebte) и др. под.[5]. Ср. латинизмы в пьесе театра царевны Натальи Алексеевны: „Комедия Петра Златих ключей":

Посол. *Великий княже Петре, царское величество салтан жалует вас сими дарами: повелите принять.*

Петр. ... *И **виват** припеваю*[6].

Так двор и дворянская знать конца XVII в. приспособляли формы феодального церковно-книжного языка и приказно-деловой речи к выражению светско-бытовых эмоций, к передаче разнообразных социально-речевых взаимоотношений, к изображению разных характеров и разных систем идеологии.

---

[1] Н. С. Тихонравов, Русские драматические произведения 1672—1725 гг., СПБ, 1874 г., стр. 159.

[2] Там же, стр. 84—85.

[3] Б. В. Варнеке, История русского театра, изд. 2-е, стр. 37.

[4] Н. С. Тихонравов, Русские драматические произведения, т. I, стр. XXI.

[5] Там же, т. II, примечания, стр. 550—554.

[6] И. А. Шляпкин, Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени, 1898 г., стр. 8.

§ 7. Влияние латинского языка.

Юго-западное влияние несло с собою в русскую литературную речь поток варваризмов. Правда, профессиональная лексика еще раньше, с XV в., пополнялась „заимствованиями", западноевропейскими терминами, которые приходили вместе с западными художниками, мастерами, сведущими людьми.

В XVI в. развивавшаяся в Москве переводная литература (преимущественно с латинского, немецкого и польского языков) также вела к заимствованиям иностранных слов, тем более что переводчиками нередко были „иноземцы". Но до XVII в. западноевропеизмы (если не включать в их число грецизмов) не играли почти никакой роли в лексической системе русского литературного языка (ср. списки непонятных иностранных слов в старорусских словарях и азбуковниках). В XVII в. положение вещей несколько изменяется. „Южно-русская" образованность влечет за собой весь арсенал латинизмов, укоренившихся в книжной традиции и в разговорной речи образованных слоев юго-западного духовенства и дворянства. Распространению латинских слов, оборотов, конструкций содействует усиленная переводческая деятельность.

О переводной литературе XVII в. ак. А. И. Соболевский писал: „Кажется, что бо̀льшая часть переводов этого столетия сделана с латинского языка, т. е. с того языка, который в то время был языком науки в Польше и Западной Европе. За латинским языком мы можем поставить польский, которым владело большинство наших переводчиков и на котором часто писали южно- и западно-русские ученые. В самом конце должны быть поставлены языки немецкий, белорусский и голландский. Переводов с других языков Западной Европы мы не знаем, хотя в числе наших приказных переводчиков были люди, владевшие французским и английским языками" [1].

Наконец, с организацией латинских школ в Москве знание латинского языка распространяется среди привилегированных слоев духовенства, разночинной интеллигенции и дворян. Латинский язык „причисляется к лику" коренных языков — греческого и славянского. Таким образом, латинский язык как бы подготовляет путь влиянию национально-литературных языков Западной Европы. Высшие классы Московского государства „языку латинскому в то время старались придать особенную политическую значительность и называли его языком „единоначальствия", т. е. языком, напоминавшим цветущие времена римской монархии" [2]. Ф. Поликарпов в предисловии к своему „Лексикону" писал о латинском языке: „Латинский диалект ныне по кругу земному паче иных во гражданских и школьных делех обносится".

Вместе с тем латинский язык в сфере церковной жизни становится проводником идеологии католицизма, его догматики, его церковно-политических идеалов. Все это создает почву для сближения русского лите-

---

[1] А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв., СПБ, 1903 г., стр. 50.

[2] С. Смирнов, История Московской славяно-греко-латинской академии, М., 1855 г., стр. 82.

ратурного языка с западноевропейскими языками. Из латинского языка входит в русский литературный язык целый ряд школьных и научных терминов, напр. в области риторики: *орация, ексордиум* (начаток), *наррация* (повесть), *конклюзия* (конец), *аффект, конверзация, фабула* (басня) и др. под.; в области математики: *вертикальный, циркуль, субстракция, адиция, нумерация, мультопликация* (ср. в учебных тетрадях Петра Великого)[1], *инструменты математецкие*[2] и др.; в географии: *глобус* или *глоб, армилярный* и др.; в астрономии: *деклинация, минута, градус* и т. п.; в артиллерии и вообще военном деле: *дистанция, фортеция* и др. Много слов относится к сфере „юриспруденции", административного устройства и гражданского „обхождения": *апелляция, капитулы, персона, инструкция, гонор, церемония, фамилия, фортуна, форма, фундамент* (см. словарь Ф. Поликарпова) и др. Вообще гражданский язык высших слоев в его деловом и общественно-бытовом употреблении начинает склоняться к латинским словам.

Очень интересны указанные ак. А. И. Соболевским в одном переводе XVII в. лексические и фразеологические кальки, снимки с латинских слов и выражений: *перескок* (= transfuga?), сиречь изменник; небесное *знамя* (= signum, знак зодиака)[3]. Ср. также такие новообразования XVII в., как *междометие* (interjectio), *наклонность* (inclinatio), *хранить молчание* (silentium servare) и т. п. Любопытно, что в эту эпоху и греческие слова, раньше усвоенные русским языком в „еллинской" форме, латинизируются, меняя свой фонетический облик, а иногда и ударение, напр.: *цикл, центр* (вместо *кентр*), *акаде́мия* (вместо *академи́я* — см. словарь Ф. Поликарпова) и т. д.

Помимо лексики и семантики влияние латинского языка повело к изменению синтаксической системы русского литературного языка. Новый порядок слов, конструкция предложения и периода с глаголами на конце, отдельные обороты вроде accusativus cum infinitivo (вин. с неопределенным), nominativus cum invinitivo и др. укрепились в русской литературной речи конца XVII в. под воздействием латинского языка.

§ 8. Польское влияние в среде дворянской аристократии.

Влияние латинской культуры усиливалось и подкреплялось распространением знания польского языка в кругах русского дворянства. Среди русского дворянства в XVII в. растет интерес к польскому языку и польской культуре, искусству[4]. В придворном и аристократическом быту развивается „политесс с манеру польского". В русский литературный язык, в разные его стили вторгаются польские слова и обороты. Появляются в большом количестве переводы с польского языка, переполненные полонизмами. Благоприятная почва для усвоения польской шляхетской культуры и польского языка в кругах русского дворянства была подготовлена эпохой так наз. смутного времени. Польский и латинский язык

---

[1] Письма и бумаги Петра Великого, т. I.

[2] Там же, стр. 26.

[3] А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV — XVII вв., стр. 126.

[4] И. А. Шляпкин, Дмитрий Ростовский и его время, стр. 58—92.

входят в обиход дворянской аристократии. „Заимствование форм польского общественного быта повлекло за собою перенесение целой атмосферы понятий, выработанных в польско-шляхетском обществе, и усвоение привычек шляхетского общежития“[1]. К концу XVII в. знание польского языка является принадлежностью образованного дворянина.

Инок Авраамий писал так об этом „Христианопасном щите веры“: „Мнозиж ныне, гордостию превознесшись, языком словенским гнушаются, в немже крестишася и сподобишася благодати божия, иже широк есть и великославен, совокупителен и умилен, и совершен паче простого и лятцкого обретается“[2]. Элементы западноевропейских языков — латинского и польского — не только проникают в систему церковно-славянского языка, но содействуют секуляризации, „обмирщению“ славянизмов. Начинается работа по согласованию внутренних форм „славенского“ и польского языков, тем более, что сам факт „двуязычия“ высших слоев дворянства, духовенства и разночинного дьячества уже предполагал и развивал „смешение“ языковых систем. Ряд лексических, фразовых и семантических соответствий закрепляется и внушается лексиконами. Изданный в 1670 г. (при царе Алексее Михайловиче) „Лексикон языков, польского и славенского“ так определял внутренние отношения польского и „славенского“ языков: „... Из единого славенского языка бе разность языков и помешания множество (глаголю и польского) удаляющагося отца своего природства, славы славнейшаго древняго славенского языка, въмещением латинскаго и французскаго и прочих языков...

Но слово славенско явственно и во ухитровании познаваемо, и сея ради вины написах лексикон прежде польским, по нем славенским языком, да прочитающии их или преводящии из тех языков уведят силу ко уразумению правописательства и положений речения, в коем языце како имать быти согласие, в общую пользу обоих в единстве народов“[3]. Таким образом, польский язык осознается как европеизированная разновидность славянской речи.

Полонизмы получают широкое распространение, особенно в дворянской среде, являясь составным элементом не только литературного, но и бытового словаря высшего общества. Тут и чисто польские слова, вроде *вензель, место* (город), *квит, особа, посполъство, опека, пекарь, весняк* (в „Великом зерцале“: wiesniak — простолюдин, селянин), *допоможение* (Котошихин) и др., и польские образования от немецких корней, напр.: *бляха, кухня, рисунок, рисовать, мусить* и т. п., и польские кальки немецких слов: *духовенство* (Geistlichkeit), *правомочный* (rechtskräftig), *мещанин* (Bürger), *обыватель* (Bewohner), *право* (в значении jus; средненемецкое Recht) и др., и слова общеевропейские в польском фонетическом обличьи вроде: *аптека, пачпорт, музыка, папа* и др., и латинизмы в польской переработке: *суптельный, маестат, оказия, приватный, презентовать, мизерный, фортеца* (крепость) и т. п.[4].

---

[1] Левицкий, Основные черты внутреннего строя западной русской церкви XVI и XVII вв., „Киевская старина“, 1884 г., вып. VIII, стр 640.

[2] Материалы по истории раскола, вып. VII, стр. 14.

[3] Библ. Моск. синод. типографии, вып. II, Сборники и лексиконы. Описал Вал. Погорелов, М., 1899 г., стр. 101—102.

[4] И. И. Огиенко, К вопросу об иностранных словах, вошедших в русский язык при Петре Великом, „Рус. филологич. вестник“, т. 41, № 3—4.

Польское влияние глубоко проникло в синтаксическую систему русского литературного языка, придав некоторым словам новые формы управления, вызвав новые формы словосочетания (см. следующую главу)[1].

§ 9. Следы средневекового фетишизма перед „священным писанием" в сфере церковно-книжной речи.

Новые „европейские" тенденции в составе церковно-славянского языка разрушали цельность его семантики, колебали образно-идеологические и религиозно-мифологические основы его смыслового строя. Для старорусского книжника из среды духовенства и феодальной знати не только литературное изображение, но и бытовое переживание мира в религиозном аспекте было подчинено образам и символическим схемам церковной мифологии. Все формы языка, вплоть до грамматических категорий, понимались и толковались как непосредственное отображение религиозных сущностей и церковных догматов. Казалось, что изменение формы слова, перемена имени чего-нибудь влечет за собою искажение самого существа религиозного понятия или предмета культа. „Священное" слово представлялось наделенным религиозно-магической силой. Такое понимание сохранялось и в XVII в. в отдельных слоях боярства, духовенства, мещан и крестьянства.

Чрезвычайно показательны для этой стадии понимания и употребления церковно-книжного языка суждения раскольников, защитников старых форм религиозного выражения, отражающие во всей непосредственной яркости мифологический процесс реального восприятия церковных имен и церковной фразеологии. Поборники церковной старины восставали против замены одних слов другими, так как от этой замены, по их представлениям, искажается внутреннее существо предметов культа и подлинная связь лиц и вещей в мире религиозного созерцания.

Никита Константинов Добрынин („Пустосвят"), один из вождей и мучеников раскола, пишет: „... Он, Никон, словенское наречие превращал и бутто лучшее избирал и печатал вместо *креста* — *древо*, вместо *церкви* — *храм*... вместо *обрадованная* — *благодатная* и прочие речи изменил: и то ево изменение само ся обличает, — посему, что *крест* ли лучше и честнее глаголати, или *древо?* и *церковь* ли честно писати или *храм?* Ей всяко речется, что *крест* честнее *древа* благодати, а *церковь храма*"[2]. Таким образом, Никита Добрынин категорически отвергает замену слов *церковь* — *храмом* и *креста* — *древом*, так как эта замена, по его мнению, унижает „честь и честность" самих предметов. Еще характернее протест его против замены выражения молитвы

---

[1] Заслуживает внимания мысль Gunnar Gunnarsson, что украинско-польскому влиянию в XVII — начале XVIII в. обязаны своим появлением в составе сказуемого, содержащего вспомогательный глагол или вообще глагол с ослабленным вещественным значением, формы членных имен прил. (вроде *сколь есть богатый*). „Recherches syntaxiques sur d'ecadence de l'adjectif nominal en slave par Gunnar Gunnarsson", Paris, 1931.

[2] И. Румянцев, Никита Константинов Добрынин, Сергиев Посад, 1916 г., Приложения, стр. 337. Ср. протест Тредиаковского против употребления Сумароковым слова *церковь* в значении храма, капища (П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 461).

тебе молятся звезды выражением *тебе собеседуют звезды*. Он понимает этот образ как выражение реального отношения звезд к богу. Никита Пустосвят поэтому категорически отрицает применимость самого выражения *собеседовать* к этой ситуации. Ход его мыслей таков: даже ангелы не сопрестольны, т. е. не сидят за одним столом, престолом, с богом, и, следовательно, не могут беседовать с богом, как с равным. Тем более нельзя сказать это про звезды: „А о звездах в писании не обрящется, чтоб собеседницы богу писались“ [1].

Против этого мифологического истолкования рационалист-западник Симеон Полоцкий выдвигает символические объяснения. Он должен был доказывать, что речь идет о метафорическом выражении гимна природы божеству, а не „о собеседовании устном или умном, ибо звезды ни уст, ниже ума имеют, суть бо вещь не одушевленная“ [2].

Так устанавливается социально-стилистический контраст между буржуазно-дворянскими стилями русского литературного языка, реформирующимися на основе западноевропейских традиций, на основе украинско-латинско-польского просвещения, и между старомосковским церковно-славянским языком. Московская традиция постепенно уходит в раскольничье подполье.

§ 10. Национально-демократические стили церковно-славянского языка. Процесс приспособления церковно-славянского языка к национально-бытовому просторечию.

Стили старомосковского церковно-славянского языка культивировались и охранялись в раскольничьей среде. Тут в высоких жанрах развивалась традиция „плетения словес“, продолжалась разработка того высокопарного книжного стиля, который стремился сблизиться со старой церковно-богослужебной речью и опирался на традиционную идеологию, лексику и фразеологию феодальной эпохи (ср., напр., язык сочинений соловецкого инока Герасима Фирсова [3]). Архаические формы фразеологии, как это часто бывает, звучали более демократически, ближе к просторечию. Но тут же, рядом с охраной церковно-феодальных традиций „славянского“ языка, уживаясь с ними в одних и тех же стилях, идет борьба за литературные права „просторечия“, т. е. письменной и разговорной речи буржуазно-демократических слоев города, частично в своих устных, не книжных истоках приближающейся к языку „поселян“. Наиболее ярким выражением этих буржуазно-демократических тенденций в системе церковно-литературного языка являются некоторые раскольничьи сочинения, напр. сочинения вождей раскола (диакона Федора, Епифания, Аввакума), „Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей“ и др. Так, протопоп Аввакум подчеркивает свое „небрежение о красноречии“, „о многоречии красных слов“. Он прямо на-

---

[1] И. Румянцев, Приложения, стр. 339. Ср. в исследовании, стр. 380.

[2] „Жезл правления“, изд. 2-е, л. 43, И. Румянцев, Никита Константинов Добрынин, стр. 381.

[3] Н. Никольский, Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова по неизданным текстам, 1916 г. Памятники древней письменности и искусства, вып. CLXXVIII.

зывает свой язык „просторечием“, противополагая его „виршам философским“, т. е. языку высшего духовенства и дворянства, усваивавших юго-западную культуру. „Не позазрите просторечию моему, — пишет Аввакум в одной из редакций своего жития, — понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хощет“. Необходимо помнить, что „просторечие“ противополагается „красноречию“, а не вообще церковно-славянскому языку. Очевидно, в понятии просторечия сочетались стили разговорно-бытового русского языка, не имевшие тогда устойчивых норм, хотя и имевшие в каждой социальной среде свои приметы, свои отличия, — и церковно-славянская, но не „высокая“, не витийственная стихия. „Природной русской язык“ в понимании Аввакума и вмещался в эти границы. В „Книге толкований и нравоучений“ Аввакум более подробно раскрывает свой взгляд на русский язык в обращении к царю Алексею Михайловичу: „Воздохни-тко по-старому... добренько, и рцы по русскому языку: *господи, помилуй мя грешнаго!*.. А ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лутше тово? Разве языка ангельска?“ (стр. 475). Таким образом, „просторечие“ противостоит и высоким „еллино-славянским стилям“ литературного языка и ухищрениям юго-западной риторики. Свой стиль просторечия Аввакум называет „вяканьем“. „Вяканье“ обозначает более фамильярную, более „низкую“ сферу просторечия. О том пренебрежительно-ироническом тоне, той простонародной окраске, которой были окружены в языке книжника XVII в. слова *вяканье, вякать*, дают представление такие цитаты из „Отразительного писания о новоизобретенном пути самоубийственных смертей“[1]: „Мужик тот, што мерен дровомеля деревенской, честнее себе и лутчи лаеть и бранить и пред госпожами своими невежливо седить и вякает и бякает, на все наплевать“ (стр. 49). „Ныне еще есть учитель, бедной старчикь-черничикь, учит по уставам диким и лешим, вякает же бедной, что коть заблудящей“ (стр. 57)[2].

Литературное просторечие XVII в. не подчиняется принятым в „славенском диалекте“ нормам. Оно нередко характеризуется свободным проявлением фонетических особенностей живой, иногда областной, речи (напр. оканье или аканье, *е* вместо *я*, *о* или *я* вместо неударного *е*, взрывное или фрикативное произношение *г* и т. п.), ее морфологии (разговорные формы склонения; более частое употребление формы прошедшего времени типа: *читал, видел*; редкость форм аориста и имперфекта, причастий и т. п.) и синтаксиса (ср. конструкцию предложения, не осложненного „распространениями“, с глаголом как синтаксическим центром, вокруг которого располагаются два-три дополнения или наречия; ср. обилие бессубъектных и неполных предложений; редкость причастных присоединений; отсутствие развитого периода, господство „присоедини-

---

[1] Памятники древней письменности, вып. CVIII.

[2] См. мою ст. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума, сб. „Русская речь“, 1923 г., вып. I.

тельных“ форм сочинения при слабой организованности подчинительных конструкций или смешении их с формами сочинения). Степень обнаружения устной „стихии“ речи и ее характер зависели, с одной стороны, от темы, ситуации речи, а с другой — от социального положения пишущего лица, его классовой принадлежности[1].

Но главное: в тех литературных стилях, которые ориентировались на просторечие, происходила своеобразная „нейтрализация“ церковно-славянизмов формами их конкретно-бытового осмысления, осуществлялся отбор церковно-славянских выражений — применительно к уровню понимания, не искушенного в синтаксических ухищрениях и лексико-фразеологических условностях высоких „философских“ стилей духовной и светской знати.

В „демократических“ раскольничьих стилях русской литературной речи XVII в. просторечие вовлечено в смысловую атмосферу церковно-книжного языка и, так сказать, „освящено“ им. В литературном языке XVII в. по разным направлениям намечался выход из традиционных границ. Борьба и взаимодействие двух церковно-книжных языковых систем — московской и киевской — сопровождались резкой социальной диференциацией стилей литературного языка. В высоких стилях высшего духовенства и дворянской знати укрепились искусственные приемы греческой или латинской схоластической риторики. Естественной реакцией против них со стороны групп националистически настроенного боярства, с одной стороны, и демократического духовенства и мелкой буржуазии, с другой стороны, было обращение к „коренным“, т. е. к наиболее употребительным формам церковно-славянского языка и к „природному русскому языку“, к просторечию, элементы которого у разных лиц — в разной степени и с разной силой проникают в церковную проповедь, в богословские трактаты, в высокие литературные сферы социально-языкового общения. Сочинения протопопа Аввакума особенно ярко отражают эту тенденцию стилистического „смешения“, в то время как у иных вождей раскола, напр. у Епифания, преобладает тенденция стилистического „опрощения“ церковно-славянской речи. В языке протопопа Аввакума создавались новые стилистические единства посредством семантических взаимопроникновений просторечия и церковно-книжных форм. „Крайности“ сталкивались и сливались в стилистические единства. Так формировались новые „средний“ и „низкий“ стили. „Смиренный род, иже не восстает над обычаем повседневного глаголания“ (как выражается риторика XVII в., Рукопись быв. Румянцевского музея, № 192), включал в себя церковно-библейские цитаты, религиозную символику. А рядом, в отрезках отвлеченного богословствования, показывались формы высокой речи, где от метафор и от „дальнейших вещей приятных размножение достаточно делается“. В этих национально-демократических стилях литературного языка лексический и фразеологический состав церковно-славянской речи был иной по сравнению со „славенским диалектом“ „красных“ стилей духовной и светской аристократии. Для церковно-книжной символики этих стилей существенно то, что она почти целиком слагается из наиболее

---

[1] Ср. работу П. Черных, посвященную изучению преимущ. фонетики и морфологии языка Аввакума. „Житие прот. Аввакума, им самим написанное“ как памятник северно-великорусской речи XVII стол., I — II, Иркутск, 1927 г.

употребительных церковно-библейских фраз, т. е. групп слов, почти сросшихся, органически слитых в лексические и семантические единства. Таковы, напр., церковно-библейские формулы в языке протопопа Аввакума:[1] *„завопил высоким гласом“* (68); неразложимое единство этого речения очевидно из такого словосочетания в „Девгениевом деянии“ (по сборн. Погодина, № 1773): *„завопи гласом велиим велегласно“* (356); ср. в житии Епифания: *„завопел великим голосом“* (237); ср. евангелие Матфея (XXVII, 50); в Апокалипсисе VI, 9—10: *„возопиша гласом великим“*; ср. ту же формулу в „Книге бесед“ у протопопа Аввакума (251).

„Воздохня из глубины сердца“ (70); ср. в „Житии“ Епифания: *„воздохну из глубины сердца моего“* (252); в Сказании о последних днях жизни митр. Макария, изданном Г. Кунцевичем: *„воздохнув из глубины сердца своего“* (28); ср. в послании Аввакума к Морозовой: *„из глубины сердца твоя воздыхания утробу твою терзаху“* (409); *„с воздыханием из глубины сердца разторгши узы седящих в темницах“* (471).

„Вся сия яко уметы вменил“ (45); ср. посл. Фил. (III, 8): *„вменяю вся уметы быти“*; ср. службу 29 июня ап. Петру и Павлу, канон, песнь 1, троп. 3: *„вменил-еси вся уметы“*.

„Убойся бога, седящаго на херувимех и призирающаго в бездны“ (22); ср. в Отразительном писании: *„убойся страшнаго, седящаго на херувимех и призирающаго в бездны“* (20) и т. п.

„Умягчил ниву сердца ее“ (112); ср. в „Книге бесед“: *„семя словеси божия на ниве сердца их подавлено“* (314) и мн. др. под.

Особенно многочисленны буквальные цитаты изречений из так наз. священного писания и из церковных книг, обычно без указания источника и с приурочением смысла их к описываемым событиям. Напр. в „Житии“ протопопа Аввакума: *„бог излиял фиал гнева ярости своея на русскую землю“* (4); *„излиял бог на царство фиал гнева своего!“* (20); *„ох, горе! всяк мняйся стоя да блюдется да ся не падет“* (16); *„посем разумея мняйся стояти, да блюдется да ся не падет“* (81); ср. ап. Павла первое посл. коринфянам (X, 12) и мн. др.

Таким образом, из церковно-славянского языка черпается традиционная фразеология, непосредственно направляющая религиозное сознание слушателя к знакомому церковно-библейскому контексту.

Но и эти церковно-книжные фразы и символы приспособлялись к просторечию, переосмыслялись на основе его семантики, сопоставлялись с выражениями русского бытового языка, пояснялись его синонимами. Характерны такие примеры из сочинений протопопа Аввакума. Из „Жития“: *„бысть же я... приалчен,* сиречь есть захотел“ (16); *„возвратилося солнце к востоку,* сиречь назад отбежало“ (50). Из „Книги бесед“: *„и возвратися в дом свой тощь,* не пригнал скота ничево“ (331); *„на высоких жрал,* сиречь на горах болванам кланялся“ (467); *„зело древо уханно,* еже есть вони исполненно благой“ (522); *„сотвори человека,* сиречь яко скуделник скуделу, еже есть горшешник горшок“ (668); *„ангел... древле восхитил Араама выспрь,* сиречь на высоту к небу“ и нек. др.

---

[1] Соч. протопопа Аввакума, изд. Археографической комиссии, под ред. проф. П. С. Смирнова. „Памятники истории старообрядчества XVII в.“, кн. 1, вып. I, Лгр., 1927 г. В скобках указаны страницы по этому изданию.

Те же приемы национально-бытового истолкования характеризуют и употребление церковно-библейских метафор и аллегорий. В „Книге бесед“, толкуя „апостольское слово“ Павла (I посл. коринфянам, V, 7—8) *„яко мал квас все смешение квасит“*, Аввакум так поясняет значение „приводной речи“, т. е. иносказания: „Павел... глаголет приводную речь, указуя не в квас, якоже в квас: от мала великая прокиснет, тако и в вас от злоб и лукавства добродетели будут непотребни“ (372). Ср. еще пример перевода церковно-славянской метафоры на общий язык: *„Поспешим и потщимся, **дондеже солнце не зайде,** сиречь смерть не постигла“* (Там же, 379). Просторечные выражения, вовлекаясь в систему литературного языка, подставляются под церковно-книжные формулы, скрещиваются с ними и придают им конкретно-бытовой облик. Примеры из соч. протопопа Аввакума: *„**держись за** христовы ноги“* (81); ср. в „Книге бесед“: *„и сам дьявол не учинит вам ничево, стоящим и **держащимся за** христа крепце“* (411); ср. *„не догадались венцов победных **ухватити**“* (62); *„за правило свое **схватался,** да и по ся мест тянусь помаленьху“* (43)[1]; *„бог — **старый** чудотворец“* (64); ср. *„полны сети **напехал** бог рыбы“* (231); *„вот, бес твоя от твоих **тебе в глаза бросаю**“* (226); из „Книги бесед“: *„само царство небесное **валится в рот**“* (253).

Вместе с тем церковно-славянская фразеология, оказавшись в непосредственном соседстве с просторечными выражениями, в их смысловой атмосфере теряет свою высокопарность, ассимилируется с разговорной речью. Напр.: *„Логин же разжегся ревностью божественного огня*[2]*. Никона порицая, и через порог в алтарь в глаза Никону плевал“* (17); *„Так меня Христос-свет попужал и рече ми: „по толиком страдании погибнуть хочешь? Блюдися, да не полма разсеку тя!“* (46)[3]; *„Запрещение то отступническое... я о Христе под ноги кладу, а клятвою тою — дурно молыть — гузно тру. Меня благословляют московские святители“* (40); *„И я... ко богородице припал: владычице моя, пресвятая богородице, уйми дурака тово, и так спина болит!“* (180—181); ср.: *„владыко человеколюбче, ... посрами дурака тово, прослави имя твое святое“* (231); *„Венец тернов на главу ему там возложили, в земляной тюрьме и уморили“* и др.

Отсюда возникает семантический параллелизм церковно-славянского языка и просторечия, прием стилистических сопоставлений, перевода речи с одного стиля на другой. Напр. в „Житии“: *„на нем же камень падет, сотрыет его.., слушай, что пророк говорит со апостолом, что жернов дурака в муку перемелет“* (175).

Таким образом, создается своеобразная атмосфера идеологического

---

[1] В „Книге бесед“: *„а иной вор церковной, с просвир христов крест **схватил,** да крыж римской положил“* (368).

[2] Ср. в „Книге бесед“: *„разжегшася любовью духа“*; в „Книге обличений“: *„воздыхает огнем божественным снедаем“ „разгорится дух огнем божественным“*; в послании сибирской „братии“: *„огня ревность поясти хощет сопротивныя“* и др.

[3] Ср. в письме к попу Исидору: *„Читал ли ты, старой друг мой, правила? Пишет там: проклят всяк творяй дело божье с небреженьем. Блюдися, да не полма растесан будеши“* (946); ср. евангелие Матфея, XXIV, 51; ср. в „Книге обличений“: *„да, петь себе, перестань лаять-тово на святая, полма растесан будешь в день он, вор церковной“* (624).

взаимоосвещения церковно-книжного языка и бытового просторечия. Одни и те же образы колеблются между библейской и обиходной лексикой. Напр. евангельский образ волка то облекается в церковно-славянизмы, то в просторечные формулы: *„сии бо волцы, а не пастыри, душегубцы, а не спасители“* (467). И рядом: *„Дети, чему быть? волки то есть. Коли волк овцы жалеет? Оне бы и мясо то мое съели“* (123). *„Наши, что волчонки, вскоча завыли“* (59); *„волки то есть не жалеют овец“* (52); ср. *„Мотаюсь... посреде волков яко овечька или посреде псов яко заяц“* (192); *„со Христом и болшому тому волку, хохлатой-той собаке глаз вырву, нежели щенятам“* (949).

Таким образом, в национально-демократических стилях русской литературной речи конца XVII в. система церковно-славянского языка, охраняемая от западных новшеств, выступает не только как замкнутая сфера архаических форм церковно-богословского выражения, но и как основной структурный элемент национальной общественно-бытовой речи. В повествовательных, эпистолярных и публицистических жанрах церковно-славянский язык приближен к просторечию, приспособлен к его семантическим формам и в свою очередь притягивает их к себе. Национально-демократические стили литературного языка XVII в. широко пользуются приемом смешения церковно-книжного языка с бытовым просторечием, даже в его вульгарных проявлениях. Это просторечие иногда как бы соприкасается с языком крестьянства, но не сливается с ним, вращаясь преимущественно в сфере форм фамильярно-бытового языка, общих боярству, городской буржуазии и демократическим слоям духовенства.

Слово *мужик*, напр., в языке Аввакума чаще всего было окрашено эмоциональным тоном пренебрежения. И Аввакум охотно использует его в своих презрительных отзывах о „шептунах“ и „волхвах“: *„смалодушничав, она... послала ребенка к шептуну-**мужику**“* (33). *„Волхв же той **мужик**...[1] привел барана живова в вечер и учал над ним волховать, вертя его много и голову прочь отвертел“* (34). При помощи слова *мужик* Аввакум нередко обостряет изображение „всегубительства“ никониан. Напр. образ „обруганных“ мучеников вызывает у Аввакума сравнение с „мужиками деревенскими“: *„острижены и обруганы, что **мужички деревенские**“* (60). Иногда Аввакум вкладывает презрительную кличку *мужик* в речь гонителей: *„Вопросил его Пилат: как ты, **мужик**, крестишься?“* (Ср. рядом торжественно-книжное определение профессии этого Луки лично от Аввакума: *„усмарь чином“* (62)).

*„И без битья насилу человек дышит... да петь работай, никуды на промысл не ходи; и верьбы бедной в кашу ущипать збродит и за то палкою по лбу: не ходи, **мужик**, умри на работе“* (182).

Социально-экспрессивная окраска слова *мужик* отчасти распознается и в таком отрицательном параллелизме: *„Бес-от веть не **мужик**: батога не боится; боится он креста христова“* (29).

Язык Аввакума лишь в более яркой и художественной форме отражает некоторые общие тенденции демократизации литературной речи. Ср. приемы смешения церковно-славянизмов с бытовым просторечием

---

[1] Ср. также название *мужиком* „томного человека“, когда он „задавил“ протопопицу (31).

(сильно акающего типа) в письмах боярыни Морозовой, в письмах дьякона Федора, в переписке дворян Леонтьевых, отчасти в „Житии" Епифания и многих других памятниках раскольничьей письменности [1].

§ 11. Светско-деловая речь и просторечие господствующего класса.

Вопрос о классовых стилях национально-бытового просторечия является одной из основных проблем истории русского литературного языка XVII—XVIII вв. Степенью участия просторечия в жизни литературного языка определялась степень национализации, руссификации церковно-славянского языка. А с другой стороны, в зависимости от характера отношений класса, социальной группы к книжной культуре находился тот или иной уровень „литературности" стилей просторечия. Ведь просторечие не только питает литературную речь и стили письменно-делового языка, но и само питается их соками.

В процессе классового расслоения просторечия и в процессе диференциации устной речи разных общественных групп, принадлежащих к одному классу, очень значительной была роль школы, роль „учебника". Обучение грамоте в XVII в. происходило по церковно-славянским книгам, причем их текст заучивался наизусть. Этим путем в просторечие разных слоев буржуазно-дворянского общества должно было проникнуть из учебных „псалтырей" и „часословов" много церковно-славянизмов, особенно в области лексики и фразеологии. Таким образом, уже в XVII в. в просторечии циркулировали такие славянизмы, как *возвращать, наслаждаться, заблуждаться, смущать, рассуждать, понуждать, надежда, одежда, краткий, призрак, враг, распря, разный, влажный, мрачный,* причастия на *-щий* и многие другие. Однако всесторонне описать разные стили просторечия в конце XVII в. и проследить процесс их эволюции — при современном состоянии истории русского языка — очень затруднительно. Достаточно сопоставить язык писем и посланий царя Алексея Михайловича с письмами и бумагами Петра Великого конца 80—90-х годов XVII в., чтобы увидеть резкие изменения в составе разговорно-бытового и письменно-делового языка господствующего класса, обусловленные эволюцией литературной речи. Лексический состав, фразеология и синтаксис писем Петра Великого иные. Напр. в языке Петра Великого нередки синтаксические полонизмы (вроде *„которая несравненною прибылью нам есть"* и т. п.); господствует латинская конструкция с глаголом на конце предложения; чаще варваризмы; больше технических выражений. Хотя Петр Великий свободно владел формами высокого „славенского диалекта" (ср., напр., письмо к патриарху Адриану в 1696 г.), но он допускал такое шутливо-ироническое смешение церковно-славянизмов с мифологическими образами, которое не свойственно языку Алексея Михайловича. Напр.: *„Корабѣль... отделан и окрещен во имя Павъла апостола и Марсовым ладоном даволно курен, в том же курении и Бахус припочътен был даволно"* [2].

---

[1] Я. Л. Барсков, Памятники первых лет русского старообрядчества, СПБ, 1912. Летопись занятий Археограф. ком., вып. XXIV.

[2] Письма и бумаги Петра Великого, т. I, стр. 22, письмо 1694 г.

Все это свидетельствует не только об изменении литературно-языкового сознания в одной и той же социальной среде на протяжении полувека, но говорит и об увеличивающейся близости просторечия и стилей светско-делового языка к системе литературной речи. Особенный интерес представляют наблюдения над общественно-бытовым языком тех социальных слоев, для которых и сфера употребления церковно-славянского языка и самый объем церковно-книжной культуры были ограничены. Конечно, отчасти этот критерий можно применить и к дворянству, особенно мелкому и среднему. Но по преимуществу таким общественным классом, которому были чужды высокие стили церковно-славянского языка, заключавшие в себе квинтэссенцию литературности, был класс городской буржуазии — посадских людей, ремесленников, торговцев и т. п.

Кое-какие сведения о разговорном языке московского буржуазно-дворянского круга в конце XVII в. можно извлечь из Grammatica Russica H. Wilhelm'a Ludolf'a (1696 г.). Весь пафосг рамматических и лексических наблюдений Лудольфа клонится к убеждению, что и при посредстве „просторечия“, на простонародном языке (in vulgari dialecto) можно выразить много полезных и славных для русской нации вещей, если только русские попытаются, по примеру других народностей, развивать свой собственный язык и издавать на нем хорошие книги. Грамматика Лудольфа — призыв к транспозиции форм национально-бытовой речи в письменность и литературу. Не чужды агитационных стремлений и те „разговоры“ („in forma dialogorum modi loquendi communiores“), которые приложены к грамматике [1]. Они направлены иногда против узкой церковности и отстаивают религиозную свободу. Происходит, напр., такая беседа о „службе божией“: „Споры о божественных делех до смерти не люблю... Примечал, что меньше по христианскому живут которие болши о вере бранятся“ (74). „Безумно сердится на человека, что он не самым обычайем воспитан был как мы. Прогневат ся на человека что мысли ево не сходят ся с моими мыслями равно как бы я хотел сердится что лице ево розличное от моево“ (70). „Когда я найду доброго человека, его люблю и почестю, хотя он иной веры и когда я вижу бездельника, ево не во что ставлю, хотя он мой сродня“ (70).

Присматриваясь к „идиотизмам“ („additi sunt dialogis idiotismi nonnuli qui continent phrases in quotidiana vita occurentes“) грамматики Лудольфа, исследователь должен признать, что в своих лексических и экспрессивных формах буржуазно-дворянское просторечие XVII в. несколько напоминает (конечно, при условии выделения грамматических и лексических архаизмов) язык дореволюционного городского „мещанства“, мелкой буржуазии, впрочем с двумя очень существенными оговорками: 1) если исключить категорию бытовых архаизмов и 2) если отвлечься от той идеологии, которая облекала язык „образованного“ человека XVII в. довольно густым слоем славянизмов — при обращении к „высоким“ темам разговора. Это свидетельствует о консервативности буржуазного „просторечия“, по крайней мере некоторого фонда его фамильярно-бытовых шаблонов, в тех социальных слоях, которые не тронуты были

[1] В скобках — ссылки на страницы грамматики.

западной цивилизацией. Вот „розличные речи простие“, связанные с обрядностью „угощения“ [1]:

Завтракал ли ты? — Я поздо ужинал вчерас, сверх тово я редко ем прежде обеда. — Изволишь с нами хлеба кушит? — Челом бью, дело мне. — Тотчас обед готов будет, девка стели скатерт... Мы не дожидали ся гости, не суди, что я смел за прост тея держати здесь. — Болши приготовлено, неже надобе. — Пожалуй куши, не побрезгуи нашим кушанием. — Я дожидаю ся твою семью, жену. — Она еще в поварне. — Право, я не стану есть, покаместь она не пришла. — Барен (т. е. *парень), малец, поди в поварну и позови Иванону...* и т. п.

Несмотря на то что диалог несколько искажен передачей иностранца, легко восстановить подлинную беседу. Любопытны в грамматике Лудольфа указания на отличия разговорного русского языка от церковно-славянского. Тут отмечаются, кроме полногласия, *ч* вместо *щ*, *о* вместо *е* в начале слов, *ё (о)* вместо *е* „в последнем слоге“: pijosch, bijosch и т. п. Описываются некоторые морфологические приметы просторечия: 1) род. пад. прил. мужского и среднего рода на *-во* вместо церковно-славянского *-го;* 2) отсутствие в просторечии превосходной степени (superlativus) на *-ейший*; эти формы названы „славянскими“; 3) формы прошедшего времени на *-л*: *любил* вместо аориста *любих*. Приводятся лексические параллели между просторечием и церковно-славянским языком:

истина — правда;
рекл — сказал;
выну — всегда, вселди.

Интересны также сведения о сосуществовании в просторечии форм двойственного и множ. ч. — *своема глазама* и *своими глазами* при преобладании форм множ. ч.; об употреблении им. пад. числительных — *пять, шесть* — и т. п. в функции количественного определения — без управления род. пад.: *пять попы;* о господстве форм твор. пад. множ. ч. *-ами* в сущ. мужского и среднего рода *городами, древами* — при дат. и местн. пад.: *городом, древом, городех, древех*; об исключительном употреблении в просторечии русских (не церковно-славянских) форм склонения им. прил.; о сравнительной степени на *-и*: *моложи, больши, лутчи* и т. п.; о частом применении в быту ласкательных и уничижительных слов и мн. др. Таким образом, довольно рельефно выступает система просторечия в морфологических, лексических и фразеологических особенностях как будущая структурная основа „природного“, национально-литературного языка.

§ 12. Стили буржуазного просторечия.

Эволюция быта, зарождение в нем новых форм этикета, влияние европейских обычаев — все это осложняет жанры обиходного языка и создает новые условия его стилистической диференциации. Интересно для

[1] См. о грамматике Лудольфа ст. Н. Кульмана в „Le monde slave“, 9-e année, v. I, pp. 400—414.

характеристики стилей буржуазного просторечия сопоставить язык любовных писем „подьячего приказной избы гор. Тотьмы Арефы Малевинского к сестре тотемского дьякона девке Аннице“[1] (1688 г.) и язык любовного послания, сочиненного денщиком полковника Цея (1698 г.). Тут отчетливо выступает классовое расслоение просторечия. Подьячий пишет на мещанском разговорном языке, окрашенном диалектизмами (напр. в фонетике: *и* вместо *ѣ* перед мягкими согласными, ассимиляция *б* следующему *м*: *омани*; сравнительная степень на *-яе* и т. п.; в лексике: *ты веришь* ***чмутам***), совершенно лишенном церковно-славянизмов и только отражающем влияние приказного слога (напр. в примитивных формах присоединительных сцеплений с помощью союзов *а, да*; в употреблении условного союза *буде* и нек. др.).

Вот примеры:

Дождись меня в бане, а я к тебѣ на вечер от воеводы приду из гостей рано, а домой не иду спать. А мнѣ говорить много с тобою, а при людях нельзя, да не стану. Да послушай — добро будет. Да отпиши мне ныне скоряе, я буду. Да повидайся, друг мой, нужно мнѣ. Ономнясь было еще хотѣл говорить, да позабыл, а се испугался... Я ждал долъго. Доспѣла ты надо мною хорошо, уж я головы своей не щажу, был я у вас ночесь и в ызбѣ, а у вас никово не было, а не повѣришь ты — смотри против окошка под росадником доска, по той и в окошко лазил в переднее, а отворял косью, а воткнена кость против окошка тово, смотри в щилѣ. А ты надо мною дѣлаешь, я бы хоща, скажи, на нож к тебѣ шел, столь мнѣ легъко стало.

Совсем иным стилем написано послание денщика или дядьки полковничьих детей. Язык этого письма явно ориентируется на дворянские вкусы, подражая рифмованным виршам:

Очей моих преславному свѣту.
И не лестному нашему совѣту
Здрава буди, душа моя, многия лѣта
И не забывай праведного твоего обѣта.

В языке письма очевидны следы книжных влияний. Лексика и фразеология колеблются между церковно-славянизмами и просторечием (ср. *златые, во дни мимошедшие, наипаче, милости пресветлые, пресветлые очи, благоугодно* и др., а рядом: *„как было бы мошно, и я бы отселя полетел“; „и тако мне по тебе тошно“; „лазоревый мой цветочик“; „животочик“* и т. д. Встречаются украинизмы и полонизмы: ***наимилейший***, *возвещаю,* ***наимиличку***, *тебе...* ***обачил*** *и радость твою и свою... от* ***фрасунка*** *того отклонился* (польское frasunek — огорчение, хлопоты) и нек. др. Характерны формулы галантно-книжного прощания: *„Потом тебе любительное поздравленье и нижайшее поклонение“*[2].

Недаром этим любовным письмом воспользовался полковничий сын Федор Цей, „с того письма писав от себя советную грамоту к невесте своей“.

---

[1] Журн. „Начала“, 1922 г., № 1.

[2] Л. Н. Майков, Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий, стр. 229—230.

Таким образом, стили буржуазного просторечия и делового языка, сближаясь с литературной речью, все сильней и сильней заявляют свои притязания на литературность [1].

§ 13. Отсутствие общенациональных фонетических (орфоэпических) и орфографических норм литературного выражения.

Однако орфоэпические и орфографические нормы светско-делового языка и просторечия высших классов еще не вполне установились. Традиции церковного произношения и церковно-славянской графики ломались, подвергаясь напору со стороны других языков (напр. украинского) и более решительному натиску со стороны диалектов просторечия. Фонологическая система языка господствующего класса носила ярко выраженный отпечаток смешанного говора. Правда, укрепилась ориентация на произношение московских служилых людей, на выговор московского дворянства, близкий к языку окружавшей Москву этнографической массы. Но в самом московском произношении, при отсутствии резких особенностей провинциального консонантизма (вроде цоканья, шепелявости, диалектических отличий в произношении *в* и т. п.), продолжалось главным образом в области вокализма (а также и в морфологии) брожение севернорусских и южнорусских элементов. Так, проф. Е. Ф. Будде отметил, что „со времени приблизительно Алексея Михайловича“ (т. е. с половины XVII в.) устанавливается в московской письменности более частое правописание имен вроде: *Антоней, Александр, Афанасей, Андрей* и т. д. через *а*, а не через *о*. Проф. Будде поставил эту графическую черту в связь с более резким обнаружением диалектических, южнорусских особенностей в московском говоре этой эпохи [2]. Ср. яркое аканье в языке писем Алексея Михайловича к стольнику Матюшкину [3]: *сказавою; спроси о здоровья; звать Никулаю, утак* и т. п.; в „Письмах и бумагах Петра Великого“: *великое сумнения* (1, 44); *нижнея слова* — им. ед. ч. (1, 5) и др.; *денех* (3 bis) и т. п.; ср. отсутствие члена в языке Петра Великого при частом употреблении его в фамильярном стиле у Алексея Михайловича и мн. др. [4].

Таким образом, произношение господствующего класса еще не регламентировано, не „олитературено“. Твердых и обязательных норм об-

---

[1] Для мещанских стилей литературной речи как XVII, так и XVIII в. характерно рядом с широким употреблением форм буржуазного просторечия стремление к архаической книжности, однако без соблюдения стилистических норм литературного языка высших классов. Таковы, напр., пристрастие к формам аориста и имперфекта и их неправильное употребление. Возникает своеобразный книжно-вульгарный стиль с разрывом употребления и значения форм. Ср. в „Повести о Карпе Сутулове: *„аз... би челом ему“*; *„рекох мне он“*: *„он же... глаголаша к ней“*; *„и, аз... вопроси о сем отца моего“*; *„она же... сняше с него и вложиша к себе в сундук“*; *„что, госпоже, вельми радостна одержима бысть?“* (в значении настоящего времени); *„повелеша воевода их отпустить“* и т. д.

[2] См. Будде, Некоторые выводы из позднейших трудов по великорусской диалектологии, М., 1900 г., „Юбилейный сб. в честь В. Ф. Миллера“, стр. 50.

[3] Собр. писем царя Алексея Михайловича, М., 1856 г.

[4] Ср. В. А. Богородицкий, Московское наречие двести лет назад, Казань, 1902 г.

щего „национально-разговорного“ языка нет. Ярким выражением этой фонетической и орфографической ненормированности буржуазно-дворянского просторечия является изданный Алексеем Михайловичем в 1675 г. указ, в котором объявлялось, что „будет кто в челобитье своем напишет в чьем имени или прозвище, не зная правописания, вместо *о* — *а* или вместо *а* — *о* или вместо *ъ* — *ь*, или вместо *ѣ* — *е* или вместо *и* — *і*, или вместо *у* — *о* или вместо *о* — *у*, и иные в письмах наречия, подобные тем, по природе тех городов, где кто родился, и по обыклостям своим говорить и писать навык, того в бесчестье не ставить“ [1].

Таким образом, основными процессами истории русского литературного языка во второй половине XVII в. являются: 1) распад системы церковно-славянского языка; 2) рост юго-западного (украинского) и западноевропейского, преимущественно латинского и польского, влияния на русскую литературную речь и 3) расширение литературных функций просторечия и светско-делового языка.

---

[1] Полное собр. законов, т. I, стр. 1000, § 597. Цитирую по Житецкому, История литературной русской речи в XVIII в., стр. 13. Ср. также у П. К. Симони, Русский язык в его говорах и наречиях, вып. I, 1899 г., стр. 2.

II.

Смешение стилей в русском литературном языке до середины XVIII в. Роль приказно-канцелярского и профессионально-технических языков в этом процессе. Образование новых „буржуазных“ стилей повествования и лирического выражения на западноевропейской основе.

§ 1. Усиление западноевропейских влияний и новые источники их.

В русском литературном языке начала XVIII в. продолжают развиваться те тенденции, которые резко обозначились во второй половине XVII в. Однако рядом с ними возникают новые явления, свидетельствующие не только о борьбе с церковно-книжной культурой во имя бытового просторечия, стилей официально-светской речи, канцелярского, приказно-юридического языка и специально-технических диалектов, но и о попытках создания на западноевропейской основе новых форм национального русского выражения. Польский язык еще сохраняет на некоторое время для высшего духовенства, дворянства и примыкающих к нему групп буржуазии роль поставщика научных, юридических, административных, технических и светско-бытовых слов и понятий. Многие полонизмы являются отслоениями заимствований предшествующей эпохи. Польская культура продолжает быть посредницей, через которую идет в Россию багаж европейских понятий, груз французских и немецких слов. В предисловии к „Лексикону латинскому“ Максимовича заявляется: „сице со временем утвердился, яко за обычай и закон учити и учитися языку латино-польскому есть приусвоено“ [1]. Однако количество переводов с польского языка сократилось. „Существенная разница между допетровской и петровской эпохой, — писал ак. А. И. Соболевский, — заметна лишь в одном. До Петра переводы с польского — обычное дело, многочисленны; при Петре их уже почти нет: увеличившееся знакомство с латинским и вообще западноевропейскими языками позволило нам усилить перевод прямо с оригиналов, минуя польское посредство“ [2]. Польское влияние начинает уступать в силе влиянию немецкому. Польский и латинский языки, некоторыми своими формами уже довольно глубоко внед-

[1] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. I, стр. 194.
[2] Ак. А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв., стр. 81.

рившиеся в систему русской книжной и разговорной речи высших классов, создают апперципирующий фон для дальнейшей европеизации русского литературного языка [1].

§ 2. Значение переводов в процессе европеизации русского литературного языка.

Усиленная переводческая деятельность петровской эпохи, направленная в сторону общественно-политической, научно-популярной и технической литературы, вела к сближению конструктивных форм русского языка с системами западноевропейских языков. Правда, в начале XVIII в. это приспособление русского литературного языка к европейскому мышлению было внешним, неглубоким: оно выражалось более в усвоении слов-названий, в заимствовании терминов и в замене русских слов иноязычными эквивалентами, чем в освоении самих форм буржуазно-европейской мысли, чем в развитии европейской системы отвлеченных понятий.

Элементы того же словесного фетишизма, которые сохранялись в отношении русского общества к церковно-славянскому языку, переносились на терминологию, лексику и фразеологию западноевропейских языков. Ф. Поликарпов в своих замечаниях переводчика к „Географии генеральной“ (1718 г.) писал: „Речения... терминальная греческая и латинская оставлях не переведена ради лучшего в деле знания, а ина преведена объявлях, заключая в паранфеси (т. е. в скобки)... Многие же и пременно писах ради лучшего учащимся вразумления, яко же на приклад рещи: *ангуль — угол; екватор — уравнитель*“ [2]. Таким образом, борются две тенденции: механическое заимствование европейских терминов и их перевод на русский или церковно-славянский язык. При обучении „всяким художествам и ведениям“, при освоении „математических и архитектурных, и городостроительных, и всяких ратных и художественных книг“ вопрос перевода европейских терминов и понятий был особенно затруднителен. Интересен рассказ Вебера о переводчике Волкове, который покончил жизнь самоубийством, отчаявшись перевести на русский язык французские технические выражения по садоводству (из Le jardinage de Quintiny) [3]. Предписание Петра Великого было „остерегаться“, „дабы внятнее перевесть, и не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию сии выразумев, на свой язык уж так писать, как внятнее“ [4]. Перевод специальной технической и научной терминологии был сопряжен с почти непреодолимыми трудностями, так как предполагал наличие внутренних смысловых соотношений и соответствий между русским языком и западноевропейскими языками. „Ежели писать их (термины) просто, не

---

[1] Латинский язык сыграл громадную роль в процессе выработки отвлеченно-научной, философской терминологии XVIII в. Ср. в словаре В. К. Тредиаковского: *естественность* — essentia; *чистый разум* — purus intellectus; *чувственность* — sensatio; *предлежащее* — objectum; *возносительная* — relativa; *естественное натечение* — influxus physicus; *искусство* — experientia; *право естественное* — jus naturae; *провидение* — providentia и мн. др.

[2] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. II, стр. 433.

[3] Там же, т. I, стр. 226.

[4] Там же, стр. 227.

изображая на наш язык, или по латинскому и немецкому слогу, то весьма будет затмение в деле", — писал переводчик Воейков[1]. Отсюда, естественно, вытекали правительственные заботы о создании кадра переводчиков, знающих иностранные языки и практически знакомых с какой-нибудь отраслью техники[2].

Но даже опытные переводчики не могли преодолеть сопротивления языкового материала. В русском языке еще нехватало семантических форм для воплощения понятий, выработанных европейской наукой и техникой, европейской отвлеченной мыслью. Брюс писал о „Брауновой артиллерии": „Творец тоѐ книги такой стилус во оной книге положил, что зело трудно его мнение разуметь..."[3]. Тот же Брюс такими красками изображал трудности перевода „философо-математической" книги: „И понеже во оной из субтильнейших частей ума человеческого представляется, того ради наипаче ж от зело спутанного немецкого стиля, которым языком оная писана, невозможно было переводом оныя поспешить, понеже случалось иногда, что десять строк в день не мог внятно перевесть"[4]. Политехнизация языка осложняла и углубляла систему светско-деловой речи.

§ 3. Освоение западноевропейской терминологии (административной, общественно-политической, военно-морской, производственно-технической и научно-деловой).

Язык петровской эпохи характеризуется усилением значения официально-правительственного, канцелярского языка, расширением сферы его влияния. Процесс переустройства административной системы, реорганизация военно-морского дела, развитие торговли, фабрично-заводских предприятий — все эти исторические явления сопровождались насаждением новой терминологии, вторжением потока слов, направлявшихся из западноевропейских языков. „Европеизация" языка носила ярко выраженный отпечаток правительственного режима. Так, меняются термины административные. Они шли по преимуществу из Германии. Оттуда взята табель о рангах. Оттуда двигаются такие слова, как *ранг, ампт* (ср. *почтамт*), *патент, контракт, штраф, архив, формуляр, архивариус, нотариус; асессор, маклер, полицеймейстер, канцлер, президент, ордер, социетет, факультет* и т. п. Эти административные термины, по подсчету Н. А. Смирнова[5], составляют почти четверть заимствованного

---

[1] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. I, стр. 233, ср. стр. 298.

[2] „Для переводу книг зело нужны переводчики, особливо для художественных, понеже никакой переводчик, не умея того художества, о котором переводит, перевесть то не может; того ради заранее сие делать надобно таким образом: которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учиться художествам, а которые умеют художества, а языку не умеют, тех послать учиться языкам... Художества же следующие: математическое хотя до сферических триангулов, механическое, хирургическое, архитектур цивилис, анатомическое, ботаническое, милитарис и прочие тому подобные" (Указ от 23 января 1724 г.).

[3] Там же, стр. 293.

[4] Там же, стр. 300.

[5] Н. А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху, СПБ, 1910 г., стр. 5.

в ту эпоху лексического инвентаря. „Появляются теперь *администратор, актуариус, аудитор, бухгалтер, герольдмейстер, губернатор, инспектор, камергер, канцлер, ландгевдинг, маклер, министр, полицеймейстер, президент, префект, ратман* и другие более или менее важные *особы*, во главе которых стоит сам *император*. Все эти *персоны* в своих *ампте, архиве, гофгерихте, губернии, канцелярии, коллегиуме, комиссии, конторе, ратуше, сенате, синоде* и в других административных учреждениях, которые заменили недавние думы и приказы, *адресуют, акредитуют, апробуют, арестуют, баллотируют, конфискуют, корреспондуют, претендуют, секондируют, трактуют, экзавторуют, штрафуют* и т. д. *инкогнито, в конвертах, пакетах* разные *акты, акциденции, амнистии, апелляции, аренды, векселя, облигации, ордеры, проекты, рапорты, тарифы* и т. п.[1]. В этой административной терминологии, кроме чисто немецкой стихии, сказывалось и сильное влияние латинского языка. Но путь, которым шли в Россию эти термины, иногда пролегал через Польшу. Так по крайней мере можно думать, судя по форме слов, их ударению, их словообразовательным суффиксам: „существительные на *-ия* (равно в польском языке на *-ja*), несомненно, польского происхождения: *акциденция, апелляция, аппробация, ассигнация, аудиенция, вакансия, губерния, демонстрация, инквизиция, инструкция, канцелярия, комиссия, конституция, конференция, конфирмация, нация, облигация, полиция, принципия, провинция, церемония* и т. п. Того же польского происхождения глаголы на *-овать* (равно польскому *Owac*): *авторизовать, адресовать, аккредитовать, апробовать, конфисковать, претендовать, трактовать, штрафовать*“[2].

Эти правительственно-административные термины, конечно, быстро распространялись в широких массах. Некоторые из них, подвергаясь „народной“ этимологизации, меняли свою форму и свои значения. Напр. немецкое слово Profoss, так назывался в петровскую эпоху военный полицейский служитель, исполнявший обязанности надзирателя и палача, изменилось в просторечии (через жаргон арестантов) в *прохвост*.

В тесной связи с административными терминами находится и довольно многочисленная группа заимствованных из Германии слов, относящихся к военному делу: *юнкер, вахтер, ефрейтор, генералитет, лозунг, цейхгауз, гауптвахта, вахта, лагерь, штурм* и т. п. Впрочем, в терминах военного дела заметно было и сильное французское влияние. *Барьер, брешь, батальон, бастион, гарнизон, пароль, редут, калибр*[3], *манеж, галоп, марш, мортира, лафет*[4] и т. п. вышли из Франции, где прежде всего было заведено постоянное войско. В терминах морского дела почти безраздельно господствовали заимствования из голландского[5] и английского языков. Напр. голландские заимствования: *гавань, рейд, фарватер, киль, шкипер, руль, рея, шлюпка, койка, верфь, док, кабель, каюта,*

---

[1] Н. А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху, СПБ, 1910 г., стр. 4—5.

[2] Там же, стр. 5.

[3] Французское calibre из итальянского calibro (военный термин XVI в.).

[4] Немецкое Lafette из французского l'affût — стойка, ложе.

[5] Голландские слова начали проникать в русский язык с первой половины XVII в., когда русское правительство стало вызывать „немцев“, знакомых с военным делом и смежными мастерствами. Так, уже в 1631 г. голландец Коэт устраи-

рейс, *трап*, *катер* и т. п. Английские слова: *бот*, *шкуна*, *фут*, *бриг*, *мичман* и нек. др. Только небольшое количество морских терминов взято из немецкого, французского и итальянского языков. Напр. из французского языка: *флот*, *абордаж*, *алярм* (тревога), *десант*. Из немецкого: *бухта* (но ср. голланд. bocht), *лавировать* (ср. голланд. laveeren) и т. п. Из итальянского: *мол*, *авизо* (небольшое военное судно), *габара* (плоскодонное морское судно) и др. Но и здесь скрещивались разные влияния, которые отражались и на „смешанном", пестром облике иностранных слов. Напр. писали *гафен* (гавань), *матроз* — по немецкому выговору, но употребляли также формы — *гавен*, *матрос* — по голландскому [1].

Кроме варваризмов, связанных с реорганизацией государственного управления, военного и морского дела, проникает в русский язык начала XVIII в. множество технических слов, относящихся к инженерному и горному делу, к „градостроительному художеству", т. е. к архитектуре, к области заводской и фабричной промышленности, сельского хозяйства, к разным видам „мастерства", ремесл. И здесь также влияние распределяется преимущественно между польским и немецким языком. Меньше заимствований из английского и французского. Некоторые архитектурные обозначения восходят к итальянскому языку.

Как в разных отраслях государственного управления, промышленности и техники, так и в сфере науки стремительно протекает процесс европеизации, сопровождающийся усвоением иноязычной терминологии. Технические науки, цифирь, „счетные и экономические науки", „юриспруденция", изучение „гражданских дел", „политики", естественная история, география, анатомия и другие области знания пестрят заимствованными понятиями и названиями. В. Н. Татищев в „Разговоре о пользе наук и училищ" (1733—1741 гг.) выражал точку зрения передового дворянства, санкционируя „европеизмы": „Умножение нужное языка есть от приобретения наук и вещей, которые мы от других народов приобрели и приобретаем". После заимствований, связанных с христианско-византийской культурой, Татищев считает самым мощным поток „европских" слов, принесенных в начале XVIII в.: „Другие слова в язык наш умножены от других европских языков и купно с науками филозовскими и вещьми, от них получаемыми. Но сии двоякого состояния, яко одни такие, которые мы перевести не можем, разве новые имена делать, яко *физика*, *мафематика*, *метафизика*, *навигация*, *фрегат*, *шнава* (морское судно — *В. В.*), *пистоль*, *кронверк*, *равелин*, *померанец* и пр.; другие — такие, что хотя можно переменить, и прежде имели, да такие имена, которые могли о других именах разуметься, яко *бомбу* именовали *шеленая*, *фейерверк* — *потеха*, *канал* — *прорыв*, *капитан* — *сотник*; иные же имян русских не имели или имели чужестранные да неправильно, яко *мартир*,

---

вает в Москве пушечный завод; в 1632 г. голландский купец Виниус получает концессию на устройство заводов близ Тулы для выделки чугуна и железа и т. п. См. Ключевский, Курс русской истории, 1908 г., т. III, стр. 340—344. О голландском влиянии на русский язык см. работы: R. van der Meulen, De Hollandsche Zee-en-Sceeps-termen in het Russisch, Amsterdam, 1909 и А. А. Круазе ван-дер-Коп, К вопросу о голландских терминах по морскому делу в русском языке, „Изв. II Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук", 1910 г., кн. 4.

[1] А. И. Соболевский, Разбор сочинения Н. А. Смирнова „Западное влияние", СПБ, 1904 г., стр. 8. („Сб. Отд. рус. языка и слов. Ак. наук", т. LXXVIII.)

шуфел (совок для сыпания пороха в пушечное дуло — *В. В.*), *форма*, *флаг*, *вымпель* и многие такие, которые тяжчее переменять, для того что ко оным привыкли. Посему можешь видеть, что язык пред другими портится или исправляется, умножается, чрез что от часу в дальную от прежнего прародительского отдаляется“ [1].

Таким образом, в петровскую эпоху происходило освоение не только тех иноязычных слов, которыми обозначались новые для русского общества вещи и понятия, но и вытеснение у знакомых предметов прежних названий западноевропейскими. Научно-технические, официально-правительственные стили деловой речи, наводненные варваризмами, в это время с периферии перемещаются ближе к центру системы литературного языка. Через официально-публицистические стили иноязычные слова, относящиеся к разным областям государственной жизни, промышленности и техники, проникают в общую структуру литературно-книжной и разговорной речи буржуазно-дворянского общества. Петровская европеизация выражается в политехнизации языка [2]. А этот процесс политехнизации письменно-книжной речи сопровождается широким распространением в дворянском обиходе западноевропейских слов и понятий, отражавших разные стороны реформирующегося политического, социально-экономического, промышленно-технического и культурно-бытового уклада и разные сферы идеологии. Показательна тяга русских европейцев к лексиконам и словарным комментариям, которые вводили общество в круг европейской „общежительности“. Так, в переводе книги „Ивана Ляуса“ (I. Law) „Деньги и купечество“ И. А. Щербатов разъяснял в примечаниях не только специальные обозначения мер, веса и ценностей в Англии и Франции, но широко знакомил читателя с европейской бытовой, технической, финансовой и экономической терминологией, напр.: *морское застрахование, ажио, ломбард, таверна, мин* (место в земле, откуда берется металл), *земляной банк, земляные деньги* и т. д. [3]. Общественно-политическое значение обновления „имен вещей“ еще раньше было разъяснено в таком предисловии Федора Поликарпова к „Книге хитрости“ (1698 г.): „По времени и по месту и имена вещам налагаются, а всем всегда и везде тем же и единым речениям во всех языцех невозможно быти“. Отметив далее различие терминов ратного дела у разных народов и в разные времена, переводчик указывает на быстрый рост военной техники: „Уже бо многа и новоухищренная орудия ратная обретаются, яко огненное оружие, бомбы, можжеры, пушки и прочие вымыслы хитросостроенные“ [4].

На почве этой политической и технической реконструкции происходит реорганизация литературной речи. Колеблется старая система светско-делового языка. Идеологические и риторические формы, выработанные на основе церковно-публицистической письменности, должны были приспособиться к новому лексическому материалу, к новому предметному содержанию.

---

[1] В. Н. Татищев, Разговор о пользе наук и училищ, с предисловием и указателями Нила Попова, М., 1884 г., стр. 95—96.

[2] Подбор примеров см. у И. И. Огиенка, Иноземные элементы в русском языке, Киев, 1915 г.

[3] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. I, стр. 246—247.

[4] Там же, стр. 213.

§ 4. Развитие и преобразование профессиональных диалектов.

Кроме того профессионализмы двигаются в письменно-книжный язык из городского просторечия, которое в XVII в. начало энергично вбирать в себя новые жаргонные и профессиональные разновидности речи, шедшие из немецкой слободы или приливавшие с юго-запада, из Украины и Белоруссии. Несомненно, что на юго-западе, в сфере польского, т. е. западноевропейского, влияния, раньше и прочнее сложился буржуазный уклад городского быта, и были резче и разнообразнее формы профессиональной диференциации городского языка. Тут составились и обособились разные цеховые жаргоны [1]. В XVII в., с развитием торгового капитализма в Московской Руси, сюда направляется с юго-запада волна художников и ремесленников [2]. В связи с этими влияниями, на почве цеховых расслоений возникает сложное профессиональное дробление городского языка и в Московской Руси. Укрепляются в разных ремесленных диалектах западноевропейские слова. Таковы, напр., названия предметов сапожного ремесла: *дратва, рашпиль, вакса, клейстер, шлифер* и мн. др. Такова терминология столярного и слесарного ремесла. Слова *стамеска, бляха, бондарь, гайка, верстак, клапан, кран, винт* и т. п. приходят в конце XVII — начале XVIII в. Ранее сложившаяся профессионально-техническая терминология подвергалась изменениям под влиянием крепнущего сближения с европейской техникой. Так, в терминах книгопечатного дела, которые усвоены были в XVI — XVII вв. преимущественно из итальянского языка (*тередорщик*, печатник, — от tiratore; *батырщик*, накладчик краски на литеры, — от battitore; *маца* — от mazza; *марзан* — margina; *тимпан* — от timpano; *пунсон*, резанная на стали буква для выбивания из меди матриц, — от punzone; *штанба*, книгопечатный станок, — от stampa и т. п.), появляется отпечаток немецкого влияния: вместо слов *резать* в значении гравировать, *резной (резные листы, резные доски)*, *резьба* и т. п. входят в употребление термины *градировать* или *грыдоровать*, *грыдоровальный* и т. п. В указе Петра Великого 1724 г. об учреждении Академии сказано между прочим: *„Без живописца и градировального мастера обойтися невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют рисованы и градированы быть“*. *Градировать* восходит к немецким глаголам radieren и gradieren. Любопытно, что с 50-х годов XVIII в., когда усилилось французское влияние в русской дворянской культуре, термин *градировать* вытесняется словом *гравировать* (*гравировальный, гравюра* и т. п.) [3]. Так, в сфере технических интересов усиливается взаимодействие между светско-деловым языком и профессионально-цеховыми диалектами.

---

[1] См. Шелудько, Нимецькі елементи в українській мові, „Збірн. комісії для дослідження історії українськ. мові“, Ак. наук, т. I, 1931 г. Ср. также ст. В. В. Стратена, Об арго и арготизмах, „Русский язык в советской школе“, 1929 г., № 5.

[2] См. материалы у И. А. Шляпкина, Дмитрий Ростовский и его время, СПБ, 1891 г., стр. 55—56 и след.

[3] Я. К. Грот, Заметка о некоторых старинных технических терминах русского языка, „Филологические разыскания“, т. I, стр. 261—264.

§ 5. Европеизация общественно-бытовой, обиходной (письменной и разговорной) речи высших классов.

Официально-деловые и профессионально-технические элементы речи изменили общий колорит стилей русского письменно-книжного языка. Но они не могли стать семантическим ядром „языка общежития“ или светско-литературного языка буржуазно-дворянского общества, которое притягивалось к поверхности европейской цивилизации. Европеизация общественного быта внесла новые слова и новые представления, новые формы экспрессии в систему бытовой речи высших классов — соответственно менявшимся нормам светского этикета. Очень показательно в этом отношении появление перевода книги „Приклады како пишуся комплементы разные“ (1708 г.). Из стиля переписки исчезают выражения челобитья, восточные формулы гиперболических уподоблений и восхвалений собеседника и экспрессия жалкого самоунижения [1]. Интересно, что в ранних письмах царевича Алексея к Петру Великому формулы челобитья обязательны: *„Государю моему батюшку, царю Петру Алексеевичу сынишка твой, Алешка, благословения прося и челом бьет“*. Но к 10-м годам XVIII в. они исчезают, заменяясь обращением *„Милостивейший государь батюшко!“* и подписью: *„всепокорнейший сын и слуга твой Алексей“* [2]. Рекомендуется теперь европейски-галантный стиль речи и поведения. В обращении друг к другу распространяется *вы*, смешиваясь со старым *ты*. Г. В. Плеханов остроумным анализом языка русского перевода руководства к „житейскому обхождению“ „Юности честное зерцало“ показал, как в бытовом стиле речи и поведения европейские формы смешивались со старыми и как глубок и крепок был под внешним налетом европейской цивилизации слой старых традиций [3]. Однако интерес к „галантереям романтическим“ и к европейским навыкам „житейского обхождения“ сильно отражается и на языке [4]. Любопытны, напр., в „Рассуждении о оказательствах к миру“ (1720 г.) определения, что такое *галантереи романтические* и *кавалеры заблудящие*. *Галантереи* — это книги, „в которых о амурах, то-есть для любви женской и храбрых делах для оной учиненных баснями описано“, а „*шевальеры эрранты*, или *заблудшие кавалеры*, называются все те, которые, ездя по всему свету, без всякого рассуждения в чужие дела вмешиваются и храбрость свою показывают“ [5]. Изменения в костюме, светском обращении, воспитании, формах быта и т. п. сопровождаются усвоением новых названий и по-

---

[1] Ср. в конце XVII в. в переписке княгини Голицыной с мужем: *„Женишка твоя, Дунька, много челом бьет до лица земного“* — „Временник“, 1850 г., кн. VI, стр. 36—48; ср. в письмовнике XVII в. рукопись Лнгр. публ. библ., XV, 0,2 „восточный“ слог обращения к адресату: *„Преукрашенну в разуме и рассудительну во всех благих делах, наученному добродетелем и любви, светлому, яко сапфиру и честному камени и сосуду злату, исполненному драгаго бисера, источнику неисчерпаемому, сладчайшей медоточной струе“* и т. д. П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. II, стр. 180—182.

[2] Письма русских государей, М., 1862 г.

[3] Г. В. Плеханов, История русской общественной мысли, М., 1919 г., т. II, стр. 71—74.

[4] Ср. интересные замечания о речевом этикете в „Книжице златой о гожении нравов“ (перевод соч. Еразма „De civilitate morum“). В. Н. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. III, стр. 178.

[5] Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. II, стр. 489.

нятий. Тут роль польского языка, за которым в начале века еще сохранялось по традиции значение языка светско-аристократического, была особенно велика. *Авантажный, авантаж, адгерент* (от польского adherent — единомышленник, от латинского adhaerere — прицепиться), *аккуратный, бал* (бал или танцы. — Полн. собр. зак., т. VII, № 3841), *высокомочный, властный, готовость* (готовность), *грозба* (угроза), *грунт, грунтовный, деликатный, десператный* (отчаянный), *дивулговать* (разглашать, обнародовать), *дигнитар* (сановник), *диспут, домовство* (хозяйство), *забобоны* (суеверие), *забранять* (запрещать), *запомнить* (забывать), *звычайный* (обыкновенный), *индиферентный, казнодей* (проповедник), *квит* (расписка), *козырь, конфузия* (замешательство), *кошт, мизерный, мода, омылка* (ошибка), *ординарный, пашквиль, позитура* (положение), *поспольство* (простонародие) *потентат, прихильный* (благосклонный), *провизия, публичный, пунктуальный, пунцовый, пурговаться* (принимать слабительное), *резидовать, репутация, рисунок, своить* (присваивать), *секретный, сенс* (чувство), *скарб, специальный, старожитный, субтильный* (нежный), *тракт, труп, уразительный* (обидчивый), *усиловать* (стараться), *факт, факция* (партия), *фальшь — фальша, фамильярный, фатига* (утруждение), *шарф, шельма, шельмовать, шинкарь, шинок, шоры* и мн. др. слова укрепляются в общественно-бытовой речи [1]. Конечно, не все из этих полонизмов проникли в русский язык в начале XVIII в. И. И. Огиенко в ст. „К вопросу об иностранных словах, вошедших в русский язык при Петре Великом". [2], привел длинный список заимствований допетровской эпохи. Однако важно, что в начале XVIII в. изменились функции этих слов. Они входили в норму литературного употребления. Кроме того многие „полонизмы" восходили к латинскому, французскому, немецкому языку. Это были, так сказать, „европеизмы", которые приобретались через польское посредство. Таковы, напр., *авантура, автор, амбиция, афронт, визит, вояж, зала, индустрия, каналья, кураж* и мн. др. Влияние польского языка так глубоко проникло в русскую литературную речь, что коснулось ее синтаксического строя. Напр., в „Письмах и бумагах Петра Великого" часты синтаксические полонизмы вроде: *я* ***на то позволил;*** *предложения,* ***до*** *общей нашей пользы* ***служащие;*** *которая несравненною* ***прибылью*** *нам* ***есть*** и т. п. [3]. Но и непосредственно из немецкого и французского языков заносилось много слов, относящихся к сфере светского быта. Напр. из французского языка: *ливр* (книга), *пассаж, пардон* (первоначально „отпущение казни, достойному смерти"), *экипаж, фонд, фермите* (стойкость [4]), *увраж* (труд), *резон, резонабельный, приз, политес* (вежливость), *артизан* (ремесленник), *креп* (род ткани), *монстр, менаж, марьяж, лимонат, куртизан* (шут, забавный, любительный), *желеи* (желе) и др.; из немецкого: *флер* (род ткани — от франц. fleur — пух, иней),

---

[1] Н. А. Смирнов, Западное влияние... Ср. Я. К. Грот, Слова, взятые с польского или чрез посредство польского. „Филолог. разыскания", т. I, стр. 483—486. Christiani W. A., Über das Eindringen von Fremdwörtern in die Russische Schriftsprache des 17 und 18 Jarhunderts, Berlin, 1906.

[2] „Рус. филологич. вестник", 1911 г., № 3—4.

[3] Ср. Gunnar Gunnarsson, Recherches syntaxiques sur la décadence de l'adjectif nominal en slave, Paris, 1931, Chap. XVII.

[4] Журнал Петра Великого, т. II, отд. I, стр. 531.

покал (бокал), *позумент*, *мум* (пиво), *мантель* (плащ: *торговые люди здесь ходят в мантелях* [1] — от латин. mantelum — плащ), *конфекта*, *гезель* (Gesell — помощник, товарищ: *по одному аптекарю с двумя гезелями* — Полн. собр. зак., № 3006), *галстук* и мн. др. Татищев, жалуясь на множество „без нужды принятых" слов, указывал: „Из польского и из латинского вместо *венец, решение, воевода, снаряд, крепость, запас, припас* имянуем: *корона, резолюция, генерал, артиллерия, фортеция, провиант, амуниция* и пр.; из французского вместо *подсвешник, влагалище, волосы накладные, польза, пояс шпажный*, говорим: *шандал, футляр, парук, партупей, интерес* и пр.; из немецкого вместо *раскат, шейный платок, спальной кафтан, извощик* именуем: *болверк, галстук, шлафор, фурман* и пр., каковых слов от хвастунов и научных людей весьма много" [2].

На почве увлечения варваризмами развиваются новые формы „европейской" фразеологии. Например: *на голову побить неприятеля* — aufs Haupt schlagen; *паки пришел в себя* — er ist wieder zu sich gekommen (из грамматики проф. Светова); *баланс* (французское balance — равновесие) *в Европе содержать* [3] и др. под. Новые фразовые комбинации возникают также вследствие растущего пристрастия к иностранным словам, которыми заменяются привычные русские: *„Я не получил на оное антвортен"* [4]; *„во всех своих делах сколько фермите и твердости показал"* [5].

Влияние немецкого и французского языков поддерживается нарождающимся сознанием практической и светско-бытовой необходимости для дворянина и капиталиста знать эти языки.

Уже в „Наказе каким образом поступать при учении государя царевича Алексея Петровича" (1703 г. 22 апреля) французский язык объявлялся „паче всех иных языков легчайшим и потребнейшим". В „Расположении учений его императорского величества Петра второго" говорится: „Новые или так называемые живые языки употребляются к обходительству, и сие за украшение почитается, когда кто чужие языки знает... Между же ныне употребляемыми языками без сомнения немецкий и французский ради их почти общего употребления великое пред протчими первенство имеют". Характерно прибавление: „при том еще латинский за признак добре воспитанного и ученого государя почитается". В том же смысле высказывается и „Отеческое завещательное поучение посланному для обучения в дальние страны юному сыну" [6]. Здесь излагается и целая программа изучения языка с научно-техническими целями: „Скорейшаго же ради и удобнаго получения наук, советую ти немецкой, или наипаче чистой французской язык учити, и в начале в том языке, его же изберешь, учити арифметику, яже всем математическим наукам дверь и основание есть; потом сокращенную математику яже в себе содержит геометрию, архитектуру, и фортификацию, еже ведение земного глобуса

---

[1] Письма и бумаги Петра Великого, т. I, стр. 149.
[2] Разговор о пользе наук и училищ, стр. 93.
[3] Журнал Петра Великого, т. II, отд. I, стр. 531.
[4] Письма и бумаги Петра Великого, т. II, стр. 123.
[5] Журнал Петра Великого, т. II, отд. I, стр. 531.
[6] Напечатано в т. I соч. Ивана Посошкова, хотя и не принадлежит этому автору. И. Посошков, изд. М. П. Погодина, М., 1842, т. I, стр. 297—298.

таже искусств земных и морских чертежей, компаса, течение солнца и знамяных звезд". В. Н. Татищев подчеркивает общественно-политическое значение „европских" языков для шляхетства: „Шляхетству языки надобны... Еже всякому шляхтичу надобно думать какой-либо знатной чин достать и потом или самому для услуги государственной в чужие краи ехать или в России иметь с иноязычными обхождение. И тако ему необходимо нужно другой европской язык знать" [1].

Однако до 40-х годов XVIII в. преобладает значение немецкого языка. Граф Миних (около 1730 г.), сообщая о своем пребывании в Париже, где он старался „совершенно снискать значение во французском языке", добавляет, что для изучения французского языка, „не думаю, чтобы которой-либо молодой человек из россиян наперед меня во Францию был посылан" [2].

§ 6. Мода на иностранные слова.

Западнические тенденции петровской эпохи выражаются не только в заимствовании множества слов для обозначения новых предметов, процессов, понятий в сфере государственной жизни, быта и техники, но они сказываются и в разрушении внешних форм церковно-книжного и общественно-бытового языка такими варваризмами, в которых не было прямой нужды. Западноевропейские слова привлекали как мода. На них лежал особый стилистический отпечаток новшества. Они были средствами отрыва от старых традиций церковно-славянского языка и бытового просторечия. Сама необычность фонетических соединений в заимствованных словах как бы намекала на возможность и необходимость новой структуры литературного языка, соответствующей облику реформирующегося государства. Мода на иностранные слова в бытовом и официальном языке петровской эпохи, распространившаяся среди дворянства, характеризуется комическим рассказом Татищева о генерал-майоре Луке Чирикове, который „человек был умный, но страстью любочестия побежден, и хотя он никакого языка чужестранного совершенно не знал, да многие иноязычные слова часто же не кстати и не в той силе, в которой они точно употребляются, клал". Так, в 1711 г. генерал Чириков предписал указом одному капитану с отрядом драгун *„стать ниже Каменца и выше Конец поля в* ***авантажном месте****"*. Капитан, не зная слова *авантажный*, принял его за собственное имя. „Оный капитан, пришед на Днестр, спрашивал об оном городе, понеже в польском *место* значит город; но как ему сказать никто не мог, то он более шестидесяти миль по Днестру шед до пустого оного Конец поля и не нашед, паки к Каменцу, поморя более половины лошадей, поворотился и писал, что такого города не нашел". Другое происшествие, возникшее на почве увлечения генерала Чирикова иностранными словами, было не менее траги-комическим. Приказом он предписал собраться фуражирам, *„над оными быть подполковнику и двум майорам по-очереди. По собрании всех перво марширует подполковник* ***с бедекен,*** *за ним фуражиры,*

---

[1] Разговор о пользе наук и училищ, стр. 100.

[2] П. Пекарский, Русские мемуары XVIII в., „Современник", 1855 г., № 4, стр. 68.

а марш заключают драгуны". Собравшиеся не догадались, что „*бедекен* не прозвище подполковника, но *прикрытие* разумеется", и ожидали подполковника *Сбедекена*. Лишь через сутки выяснилось недоразумение [1].

Вместе с тем употребление варваризмов как бы осуществляло политическую задачу европеизации (пока еще внешней) мышления. Этими причинами объясняется характерная особенность делового, публицистического языка петровской эпохи, прием дублирования слов: рядом с иностранным словом стоит его старорусский синоним или новое лексическое определение, замкнутое в скобки, а иногда просто присоединенное посредством пояснительного союза *или* (даже союза *и*). Просветительное значение этого приема выступает на фоне общей правительственной тенденции к вовлечению широких масс дворянства и буржуазии в новую политическую систему. Характерно заявление Татищева о том, что законы должны быть писаны „так вразумительно, как воля законодавца есть, и для того никакое иноязычное слово ниже риторическое сложение в законах употребляться может" [2].

Однако и в законах, и в публицистических трактатах, и в технических переводах начала XVIII в. вплоть до 40-х годов замечается эта двойственность словоупотребления, этот параллелизм русских и иноязычных слов. Напр.: *адмиралу, которой авантгарду или передней строй кораблей управляет, надлежит генеральные сигналы надзирать во флоте* [3]; *канцелярии вперед некоторые акциденции (или доходы) получать* [4]; *апелляцию или перенос до коммерц-коллегии чинить* [5]; *економу (домоуправителю)* [6]; *аркибузирован (расстрелен)* [7]; *протектора (защитителя)* [8]; *определить или ассигновать... указы или ассигнации* [9]; *банизированы или прокляты* (польское — изгонять) [10]; *бараки (или шалаши)* [11]; *два короткие палника или брандеры* [12]; *бухгалтер (или книгодержатель)* [13]; *визитацию или осмотрение учинить* [14]; *дирекцию (или управление)* [15]; *в такой дистанции (расстоянии)* [16]; *инструкции (или приказание)* [17]; *инспектора (или наблюдателя)* [18]; *камер-юнкер (или комнатный дворянин); от числа коллегов (или заседателей)* [19]; *ему подобает быть храбру и доброго кондуита (сиречь всякия годности), которого*

---

[1] Письмо Татищева в библ. Акад. наук, № 138. П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 53—54.

[2] Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 52.

[3] Ф. И. Буслаев, О преподавании отечественного языка, М., 1867 г., стр. 453—454.

[4] Полн. собр. зак., т. VI, № 3534.

[5] Там же, т. V, № 3318.

[6] Там же, № 3006.

[7] Книга уставов морских, стр. 460.

[8] Полн. собр. зак., т. VII, № 4443.

[9] Там же, т. V, № 3303.

[10] Там же, № 3306.

[11] Там же, № 3306.

[12] Бранк, Описание артиллерии.

[13] Полн. собр. зака., т. V, № 3303.

[14] Там же, № 3306.

[15] Там же, т. VI, № 3534.

[16] Книга уставов морских, стр. 40.

[17] Там же.

[18] Духовный регламент, стр. 30.

[19] Там же, стр. 5.

бы квалитеты (или качества) с добродеянием были связаны[1]; *конституция или устав (Правда воли монаршей)* и мн. др.; в „Рассуждении" Шафирова[2] (1722 г.): *ни в каких европейских делах... никакой рефлексии и рассуждения не имели* (5); *с такою аппликациею (рачением)* (8); *по образу и прикладу других политизованных (или правильно расположенных) государств* (16); *все письма большая часть на немецком штилизованы (сочинены)* (33); *трибутарии (данники)* (4); *акт (записки)* (4); *о последующих революциях* (отменах) (11); *мужа великого коварства, и далных замыслов, и безмерной амбиции* (честолюбие) (15); *мир с обоих сторон от государей подтвержен ратификациями* (подтверженными грамотами) (16); *министра* (боярина) (17); *верных патриотор* (сынов отечествия) (18); *армистициум* или *перемирье* (45); ср. *армистициум* или *перемирье* (46); *последовал своим аффектам (страстям)* (54) и т. п.

Любопытны поправки и дополнения, сделанные Петром Великим в рукописи книги: „Римплерова манира о строении крепостей": *аксиомат (правил совершенных); ложирунг (или жилище, то есть еже неприятель захватит места где у военных крепостей)* и т. п.[3]. В „Истории о ординах" (1710 г.) характерны помещенные в скобках и не находящие соответствия в оригинале пояснения вроде: „*о армориях (или гербах) и о девизах (или писаниях изображенных) кавалерских*". Ср. в оригинале: „des armories at des devises des chevaliers"[4]. В соч. Дмитрия Кантемира „Книга систима или состояние мухамеданские религии", написанном на латинском языке, переводчик пояснил иностранные слова: *политика — народоустроение, феория — умствование, идея — образ, физик — естествословец, машкара — харя* и т. п.[5]. Так „реснота и чистота славянская засыпся от чужестранных языков в пепел"[6].

§ 7. Расширение состава и функций деловых стилей в связи с процессом смешения и перегруппировки стилей и с усилением литературных прав просторечия.

Процесс европеизации научной, технической, публицистической и общественно-бытовой лексики и фразеологии менял систему деловых стилей письменно-книжного языка и еще более расширял их права и функции, чем это наметилось в XVII в. Приспособление русского языка к западноевропейским языкам, смешение его с элементами этих языков, предполагаемый переводами кодекс соответствий между смысловой системой русского языка и семантическими формами западноевропейских языков — все это легче всего могло развиться и выработаться в официально-письменных, публицистических, общественно-деловых, светско-бытовых стилях литературной речи. Стилистическое расслоение в этой об-

---

[1] Книга уставов морских, стр. 6.
[2] Далее указаны в скобках страницы „Рассуждений" Шафирова.
[3] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. II, стр. 242—243.
[4] Там же, стр. 247.
[5] Там же, стр. 489.
[6] Ф. Поликарпов, Предисловие к „Лексикону треязычному" (1704 г.).

ласти письменно-книжного языка, промежуточной между жанрами церковно-литературной речи и социальными разновидностями бытового просторечия, было очень сложно и разнообразно, особенно если принять в расчет повествовательные стили. Так же пестры и богаты колебаниями были фонетические, грамматические и лексические формы этих стилей. Очень интересны наблюдения ак. В. Н. Перетца над правкой текста русского перевода книги „Юности честное зерцало" (1717 г.). Здесь ярко обнаруживается принцип замены „простых, вульгарных выражений" более важными, книжными, отражающий стилистические колебания светско-делового языка. Напр. исправлены: *буде* (случится дело) на *ежели; поругание* на *презрение; не сможа стерпеть* на *не могущи стерпеть; хозяйкам* на *госпожам* и др. под. [1]. Характерны также для стиля эпохи приемы смешения грубого просторечия с торжественными славянизмами в языке переводчика Пауса. Напр.: *вижу бо ево; сын божий... в Иордан влезает*; ср., с одной стороны, такие просторечные выражения, как *подмески не было; не замазай; прâруха; прамолвишся; мочь* (имя сущ.); *покойны местечки* и т. п.; с другой — такие славянизмы: *достизаю, гонзай, выну, внезапу, суеславие, духорожденный, доброчастие, пакирождение* и т. д. Ак. В. Н. Перетц прав, считая этот прием „смешения слов вульгарных с торжественными, церковнославянскими" особенностью русского литературного языка первой трети XVIII в. Ср. у В. К. Тредиаковского в языке псалтири: *„Услышит он, лишь мне завыть..." „При моем толиком реве..." „В должном праве понесись..." „...Хотя б колико не щитился..." „...Расхищали те с задов"* [2].

Правда, светско-литературный язык петровской эпохи, выроставший из деловой речи, по своему назначению и значению был вообще „буржуазнее" (если можно так выразиться), чем церковно-славянский язык, ближе к стилям национально-бытового просторечия и свободнее от стеснений церковно-книжной риторики. Кроме того он быстрее и живее отражал идеологию правительства, более гибко приспособлялся к его программе. В петровскую эпоху светско-деловой язык решительно выступил в роли средней нормы литературности. Поэтому для истории русского литературного языка небезразличны изменения в социальном и культурно-общественном облике служилой среды. Конон Зотов писал от 7 октября 1715 г. Петру Великому: „Понеже офицеры в адмиралтействе суть люди приказные, которые повинны юриспруденцию и прочие права твердо знать, того ради не худо бы было, если бы ваше величество указал архиерею рязанскому выбрать двух или трех человек лучших латинистов из средней статьи людей, т. е. не из породных, ниже из подлых, для того что везде породные презирают труды (хотя, по препорции их пород и имения, должны также быть и в науке отменны пред другими); а подлый не думает более, как бы чрево свое наполнить. И тех латинистов прислать сюда, дабы прошли оную науку и знали бы, как суды и всякие судейские дела обходятся в адмиральтействе" [3]. Та-

---

[1] В. Н. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. III, стр. 230—231.

[2] В. Н. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. III, стр. 291—297.

[3] Пекарский, Наука и литература, т. I, стр. 157.

ким образом, „средняя статья людей“, т. е. разночинная масса служилого и торгового сословия, принимала близкое участие в образовании европеизованных стилей делового языка.

§ 8. Роль юго-западной литературно-языковой традиции в процессе смешения стилей русского литературного языка.

Как было сказано выше, во второй половине XVII в. стили русского литературного языка подверглись влиянию юго-западного, украино-польского делового языка. Укрепилось много украинизмов и полонизмов, преимущественно в языке высших слоев дворянства и духовенства. „Смешанный“ состав этих стилей русского литературного языка в первой трети XVIII в. стал сложнее, но в основных своих чертах сохранил ту же двойственную книжно-разговорную природу, ту же широту и свободу колебаний (в зависимости от функции и социальной обстановки) между изощренной риторикой церковно-славянского языка, консервативной фразеологией и однообразным синтаксисом приказно-канцелярского языка и пестрыми формами общественно-бытовой речи.

Смешанные формы этого делового языка, совмещающего церковно-славянизмы с элементами приказной речи, с варваризмами и просторечной лексикой, особенно интересно наблюдать в письмах таких переселенцев с юго-запада, как Дмитрий, митрополит Ростовский: „*Дети,* — писал он ученикам ростовской духовной школы, — *слышу о вас худо: вместо учения учитеся раздражению, а неции от вас во след блудного сына пошли со свиньями конверсовать. Печалюсь зело и гневаюсь на вас, а якоже вина развращения вашего та, что всяк живет по своей воли, всяк болши; того ради ставлю вам сенеора господина Андрея Юревича, чтоб он вас мунштровал як цыганских лошадей, а кто будет противен, той пожалован будет плетью*“ [1]. Здесь и церковно-славянизмы — *неции, печалюсь зело, яко же* и т. п., — и варваризмы польско-латинского происхождения — *конверсовать, сенеор, мунштровать,* — и канцеляризмы вроде: *а кто будет противен, той пожалован будет плетью,* — и формы просторечия — *всяк болши; цыганских лошадей* и т. п. Особенно показателен для характеристики того языкового смешения, которое вносилось в русскую литературную речь юго-западной литературной традицией, стиль переписки Дмитрия Ростовского с митрополитом Стефаном Яворским. Полонизмы и украинизмы тут располагаются по соседству с латинизмами и церковно-славянизмами, в которые подмешана значительная доля бытового просторечия. Полонизмы: *теды, хоць, зось, жебы, я намеренем, презентовати* и др.; сюда же относятся вставки фраз и целых предложений на польском языке; лексические латинизмы (*дискурси* и т. д.) и частое употребление латинских слов и фраз: *толико беззаконий, толико обид, толико opperessiones вопиют на небо* и др. под. Украинизмы: *перешкожаю, нехай, тылко, здоровя* и т. п. Церковно-славянизмы: *труждy купно, благопотребна, в глубину поступи* (аорист) и т. д. Формы русского просторе-

---

[1] „Искусство“, 1883 г., № 29. „Чтения в Общ. истории и древностей российских“, 1883 г., кн. 6.

чия: *как в сбитню руском мешанина, Стиопка грешник* и мн. др. „Встречаются, напр., — пишет П. И. Житецкий об этом просторечии, — глагольные формы многократного вида, несвойственные украинскому языку: *кармливал, писывали*, также такие слова: *кушаю, замешкал, авось-либо, вовся* и пр. Такие и подобные слова составляли обычную принадлежность эпистолярного просторечия и у других земляков Дмитрия Ростовского, живших на севере. Так, в письмах Стефана Яворского к брату читаем: *братец, маленько, пущай*... В разных письмах Феофана Прокоповича то же самое: *письмяцо, писаньице, ремеслишко, чернчишко, плутец* и пр.“[1].

§ 9. Зыбкость фонетической системы литературного языка в первой половине XVIII в.

Нормы орфоэпии и орфографии литературно-деловых стилей первой половины XVIII в. были очень зыбки. Конечно, тон продолжали задавать высшие классы Москвы. Но само московское произношение все еще не установилось. В нем не прекращалось столкновение северно- и южнорусских фонетических и морфологических элементов (напр. разные степени аканья, колебания в произношении звука *г*, сравнительная степень на *-ея* и *-ее* и др. под.)[2]. Диалектические формы вообще свободно жили в разговорной речи высших слоев, так как проблема нормализации литературного произношения встала со всей остротой только в середине XVIII в. В грамматических руководствах говорилось исключительно о нормах церковной фонетики (напр. в рукописи Лнгр. публ. библ. 1725 г.: „Технология, то-есть художное собеседование о грамматическом художестве“). Церковное произношение, которое в принципе стремилось к приблизительно точному воспроизведению графических форм книжного текста (т. е. к соблюдению различий между *ѣ* и *е*, к сохранению ударяемого *е* перед твердыми согласными, к выговору фрикативного *г*, к чтению форм *-аго, -яго* и т. п.), врывалось в сферу бытового языка и примешивалось к его фонетическим формам. Вильгельм Лудольф в своей грамматике (1696 г.) и Тредиаковский в предисловии к „Езде на остров любви“ (1730 г.) свидетельствовали, что многие из образованных людей, особенно из среды духовного сословия, щеголяя ученостью, даже разговаривали на церковно-славянском языке. Так широки были пределы фонетических вариаций в литературно-деловых стилях русского языка высших классов начала XVIII в.

§ 10. Широта и свобода грамматических (морфологических) колебаний в литературной речи начала XVIII в.

Этой фонетической разнородности повествовательных, публицистических и деловых стилей русского литературного языка соответствовала широта грамматических различий. Письма и бумаги Петра Великого, по наблю-

---

[1] П. И. Житецкий. К истории литературной русской речи в XVIII в., „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, т. VIII, 1903 г., кн. II, стр. 17.

[2] Е. Ф. Будде, Некоторые выводы из позднейших трудов по великорусской диалектологии, 1899 г., „Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера“, стр. 49—55.

дению проф. В. А. Богородицкого, „достаточно отражают состояние языка этого времени, давая образцы как простого стиля, так и более торжественного: первый мы встречаем в письмах приятельских и хозяйственно-распорядительных, а второй, изобилующий церковно-славянизмами, — в письмах дипломатических (ср. в последних такие выражения, как *протчим войськом* — дат. множ.; *о некоторых делех; приступили есмы* и т. п.)“ [1]. Таким образом, с одной стороны, в этих литературных стилях, особенно при торжественной, риторической экспрессии, встречаются в большом количестве архаические, „славянские“ формы склонения. Напр.: формы падежей с переходным „смягчением“ задненебного согласного основы (*г — з, к — ц, х — с*) вроде: *в грамматице* и под. (предисловие к Грамматике иподиакона Ф. Максимова, 1723 г.); *человеци* (в „Первом учении отроком“ Феофана Прокоповича); формы дат. пад. множ. ч. сущ. мужского и среднего рода на *-ом, -ем*, а также женского рода типа *кость*, на *-ем*: *войськом* (письма Петра Великого); *болезнем* (в „Первом учении отроком“, 1722 г.) и др. под.; твор. пад. множ. ч. на *-ы: с народы* (Воинский устав 1716 г.), *твердыми указы* (Морской устав 1720 г. и т. д.) [2]; предл. множ. сущ. мужского и среднего рода, а также женского типа *кость* на *-ех*: *походех* (Воинский устав 1716 г.) и мн. др. под.; формы им. пад. множ. ч. прил. на *-и — -ии, -ы — -ыя, -а — -ая*: *святи* (в „Первом учении отроком“, 1722 г.) и т. п.; другие архаические формы склонения прил.; церковно-славянские формы спряжения: инфинитив на *-ти* в безударном положении: *вступати* (Посошков, О скудности и о богатстве, 1724 г. и т. п.); 2-е л. ед. ч. настоящего и будущего времени на *-ши*: *можеши* (письмо Петра Великого 1715 г.) и др. под.; даже формы аориста и имперфекта—не всегда в правильном употреблении, напр.: *положи, нача, несяше, отвеща, видяше, внидоша* и др. под. („Басни Эзопа“, 1700 г.); *прииде, подаде* (в „Первом учении отроком“ Феофана Прокоповича); формы деепричастия на *-юще — -яще: помышляюще, исповедающе* (там же) и др. под.

Приемы пользования этими церковно-архаическими грамматическими категориями дают материал для суждения о социальной основе того или иного стиля, так как в „мещанском“, буржуазном языке пристрастие к грамматическим архаизмам сопровождалось постоянными ошибками в их употреблении. Возникал своеобразный конфликт употребления и значения.

Особенно остро разрыв между грамматическими архаизмами церковно-книжной речи и живым грамматическим сознанием продуктивных форм и категорий ощущался в области времен и видов глагола. В то время как в высоких стилях „славянского диалекта“ культивировались книжно-архаические разновидности прошедшего времени (аорист, имперфект, сложные формы прошедшего времени) [3], а категория вида лишь смутно предчувствовалась в искусственном разграничении оттенков разных форм времени, национально-бытовая традиция русской речи уже явственно различала формы видов — совершенного и несовершенного — и возмещала видо-

---

[1] В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, изд. 4-е, Казань, 1913 г., стр. 467. Ср. его же „Московское наречие двести лет назад“, 1902 г.

[2] См. примеры у проф. Е. Ф. Будде, Очерк истории современного литературного русского языка, стр. 42.

[3] С. К. Булич, Церковно-славянские элементы в современном литературном и народном русском языке, СПБ, 1893 г., стр. 369—373.

выми различиями утрату былого многообразия времен. С другой стороны, именно в светско-деловых и повествовательных стилях русского литературного языка (особенно энергично со второй половины XVII в.) проявляются смело и свободно черты московского и даже областного диалектического просторечия. Напр.:

1. Московские, вернее — южнорусские просторечные формы им. пад. множ. ч. среднего рода на *-ы, -и, -ии, -ьи:* в письмах и бумагах Петра Великого *болоты, бревны, вороты* (т. VI, стр. 171), *деревьи* (т. VI, стр. 38), *колесы, кольи, писании, письмы* (т. I, стр. 17) и др. Эти формы получают особенное развитие и распространение в русском литературном языке с петровской эпохи [1]. Ср. у В. К. Тредиаковского в „Разговоре о ортографии“: „Многие не токмо говорят, что простительнее, но и пишут: *„рассуждении, повелении* вместо *рассуждения, повеления“*.

2. Формы род. пад. множ. ч. на *-ей* (вместо старых *-ъ, -ь*) в сущ. женского рода на *-а*; *пашей* („Письма и бумаги Петра Великого“), *пулей* (Посошков) — формы, еще слабо проявившиеся в начале XVIII в., но умножавшиеся к его середине [2].

3. Формы род. пад. множ. ч. на *-ов, -ев* от сущ. среднего рода: *примечаниев* (указание Тредиаковского — „Разговор о ортографии“, стр. 223); *трактованиев* (письмо Бирона к Кантемиру); *здоровьев* (Экстракт“, 1746 г.) [3] и др.

4. Еще не очень многочисленные, но характерные обнаружения форм на — *-ов, -ев* в род. пад. множ. ч. от сущ. женского рода на *-а*: *старых азбуков* („Письма и бумаги Петра Великого“, т. V, стр. 54); *бомбов* (там же — часто); *монетов* (первые русские „Ведомости“, 73); *субсидиев* (Кантемир) и др. под.; *невеждов* (Дмитрий Ростовский, Розыск о брынской вере, л. 39, об., стр. 326) [4]; ср. также распространение окончаний *-ов, -ев* у им. сущ., от которых образуется форма им. пад. множ. ч. на *-ья* [5].

5. Севернорусские формы сравн. степени на *-яе* и нек. др.

§ 11. Стилистическая пестрота и неорганизованность в сфере синтаксиса.

Еще бо́льшая пестрота и неорганизованность господствовали в сфере синтаксических форм. Тут можно наблюдать и характерные для старого, примитивного письменно-делового языка „присоединительные“ разговорные бессоюзные или связанные союзами *и, а, да, но* конструкции, которые иногда осложнялись однообразными формами подчинения при посредстве союзов: *понеже, дабы, чтоб, для того, что* и др. и относительных слов: *который, где* и т. п., в этих случаях нередко образуя цепь „механических“ ассоциативных сцеплений. Тут царило смешение разговорных

---

[1] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. II, 1931 г., стр. 122, 125, 126.

[2] Там же, стр. 201.

[3] Там же, стр. 251—252.

[4] К. Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и языка, Соч., т. II, стр. 280.

[5] Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. II, стр. 275—283.

форм с книжно-архаическими. Логическое движение было не упорядочено; приемы сочинения и подчинения предложений не были диференцированы. Союзы нагромождались один на другой, свидетельствуя о логической нерасчлененности речи. Формы канцелярского синтаксиса торжествовали. В. К. Тредиаковский осуждал в „Разговоре о ортографии" такого типа синтаксические группы: „*Ежели окончил и ему б перестать* вместо *ежели окончил, то ему б перестать; хотя сие и правда, то однако молчать надлежит,* вместо *хотя сие и правда, однако молчать надлежит*" [1]. В этих конструкциях синтаксическим центром был глагол, обставленный немногими дополнениями или определенный одним-двумя наречиями. С начала XVIII в. конструкции этого рода стали подвергаться влиянию латино-немецкого синтаксиса.

Вот несколько примеров из „Записок" Желябужского (1682—1709 гг.): „*А морозы были великие, многие на дорогах помирали, также и снеги были глубокие, а вода была великая на Москве, под Каменный мост под окошки подходила и с берегов дворы сносила и с хоромами и с людьми, и многих людей потопила, также церкви многие потопила... вновь святили*" [2].

Из „Записок" В. А. Нащокина:

„*Онагожь (1716 г.) года в Петербурге весьма было малолюдно, и полков, кроме гарнизона, ничего не было, а были все с государем в немецких краех, а прочего знатнаго в Петербурге ничего не происходило* [3].

Когда оных пленных вели и, как выше явствует, сам государь, будучи в мундире гвардии, учреждал конвой, и как итить с пленными до крепости, а лейб-гвардии Семеновского полка капитан старшей Петр Иванов сын Вельяминов, в то учреждение своим представлением вмешался, которого государь при всей той оказии бил тростью" [4].

Из „Ведомостей" 1711 г.:

„*Из Копенгагена сентября в 19 день. Пагуба еще нарочита обходит, в неделю еще 1000 человек умирает, все кладбища уже мертвыми наполнили, того ради огороды прикупили мертвых погребать*" [5].

Из письма Петра II к царице Евдокии Федоровне (1727 г.):

„*Мое желание, дабы вас дражайшую государыню бабушку видеть, не меньше есть, как ваше, и я надеюсь, что богу соизволяющу оное нынешней зимы исполнится*" [6].

Но рядом жили и более сложные типы синтаксического построения, носящие и в запутанной расстановке слов (с глаголом на конце), и в приемах сцепления предложений, и в отдельных оборотах отпечаток латино-польского или немецкого синтаксиса.

---

[1] В. К. Тредиаковский, Собр. соч., т. III, стр. 223—224.
[2] Записки Желябужского, СПБ, 1840 г., стр. 245.
[3] Записки В. А. Нащокина, СПБ, 1842 г., стр. 2.
[4] Там же, стр. 8.
[5] В. Погорелов, Материалы и оригиналы „Ведомостей", 1702—1727 гг., М., 1903 г., стр. 94.
[6] Письма русских государей, М., 1862 г., стр. 74.

Напр. из указа Петра Великого от 1711 г. 15 июля:

„Господа сенат! Хотя я николи б хотел к вам писать о такой материи, о которой ныне принужден есмь, однакож понеже так воля божия благоволила и грехи христианские не допустили. Ибо мы в 8-й день сего месяца с турками сошлись и с самого того дня, даже до 10 часов полудня в превеликом огне не точию дни, но и ночи были и, правда никогда, как и почал служить, в такой дисперации не были, понеже не имели конницы и провианту; однакож господь бог так наших людей ободрил, что хотя неприятели вяще 100 000 числом нас превосходили, но однакож всегда отбиты были, так что принуждены сами закопаться и апрошами яко фортецыонами единыя только рогатки добывать, и потом, когда оным зело надокучил наш трактамент, а нам вышереченное, то в вышереченный день учинено штиль штанд и потом подались и на совершенный мир, на котором положено все города у турков взятые отдать, а новопостроенные разорить, и так тот смертный пир сим кончился“ [1]...

Далее шли те „красные“ формы выражения, которые в разных видах симметрического расположения слов и композиционных частей следовали правилам и ухищрениям юго-западной (латино-польской) риторики.

Напр. в „Рассуждении“ Шафирова (1722 г.):

*„И тако **аще обратимся к искусству** его величества в политических делех, то **усмотрим,** что не **токмо** во оных в свете так многие явные и великие дела **сам показал,** что может за лучшего политика почтен быти, но и **многих из подданных своих** (которые в том почитай **не малого искусства не имели), привел в такое состояние,** что могут равняться с министры других европейских народов, и в ногоциациях политичных и чужестранных дел с доброю славою должность свою за высоким его величества наставлением отправляют. **Аще посмотрим на воинские дела** на земли, то его величество во многих как благополучных, так и злополучных случаях, не токмо **сам себя показал** великим вождем и храбрым и неустрашимым и рассудительным воином, каковых из его равных едва ли кто в сии веки обрестися может, но и **подданных своих,** которые в регулярном воинстве **никакого искусства ни знания не имели,** в такое **состояние и порядок привел,** что ныне между лутчих войск в Европе почитаются“* [2].

Крайнюю ступень занимали славяно-греческие конструкции, восходившие к тем литературным стилям XVII в., в которых „извитие словес“ сопровождалось „высотой словес“ (ср., напр., предисловие к Букварю Ф. Поликарпова).

§ 12. Процессы стилистического смешения и „скрещения“ в области лексики и фразеологии литературного языка.

Синтаксическая пестрота светско-деловых стилей русского литературного языка сочетались с разнородностью их лексико-фразеологического состава, с широтой социально-диалектологического их объема. Одним

[1] Собр. зак. Российской империи, т. IV, стр. 716, № 2349.

[2] Шафиров, Рассуждение, какие законные причины..., 1722 г., стр. 9—10.

краем они уходили в просторечие, включая в себя и областные диалектические выражения. В „просторечии" не было устойчивых норм, и широко применялись диалектические дублеты обозначений. Интересны, напр., такие параллели в „Книге лексикон или собрание речей по алфавиту, с российского на голанский язык" (1717 г.): *„постоялой двор или নослежной двор"; „постронка, пристяжь или веревка у шор, которыми лошади тянут"; „ширинка или платок, его же пристягивают у малых робят под шею, чтоб платье не заслинить"* и т. д.[1]. В. Н. Татищев указывал в своем „Разговоре о пользе наук и училищ" на множество просторечных и деревенских слов, которые „до днесь употребляются" в дворянской среде: *вот, чють, эво, это, пужаю, чорт*, вместо *се, едва, здесь, страшу, бес* и пр. (стр. 91). Ср. формы просторечия в сатирах А. Кантемира — в сатире I (1729):

...глупо он ***лепит горох в стену.***
Румяный ***трожды рыгнув*** *Лука подпевает...*
Спросись хоть у Нейбуша таковы ли дрожжи
Любы, как пиво ему, отречется ***трожжи.***
Когда все дружество, вся моя ***ватага***
Будет чернило, перо, песок да бумага...
Вот для чего я, уме, немее быть ***клуши*** *советую.*
Плюнь ему в рожу: *скажи, что* ***врет околесну...***

В сатире II:

Гнусна ***бабья рожа...***
А благородство мое во мне унывает,
И не сильно принести мне ни какой ***польги.***
Лесть, ***похлебство*** *не люблю...*
Грозно ***сопешь...***
Тянешься уж час — другой, нежишься ожидая.
Пойла...
Часть (волос) *над* ***лоским лбом*** *торчать будут сановиты...*
Деревню ***вздёнешь*** *потом на себя ты целу.*
Приложился сильный жар к ***поносному резу.***

В сатире III:

Весь вечер Хрисипп без свеч, всю зиму ***колеет.***
Тут-то уж без мелу,
Без верви ***кроить*** *обык, без аршина* ***враки.***
Глаза красны, весь распух, из уст ***смердит стервой...***
...дрожат руки, ноги,
Как под ***брюхатым*** *дьяком однокольны дроги.*

В сатире IV:

Кто всех бить ***нахалится,*** *часто живет битый...*
...и тру лоб ***вспотелый...***
и в ***зудах вязнет*** *твое слово.*

В сатире V:

...ты к работе ***угож*** *буде ты охоту*
Имеешь служить, я дам ***сносную*** *работу...*

Но те же светско-деловые стили другим краем глубоко врезывались в область церковно-книжного языка. Такова, напр., в указе о предании

[1] Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. II, стр. 384.

проклятию бывшего гетмана Ивашки Мазепы торжественная фразеология „славенского диалекта“: *„По внешнему образу был* ***сосуд потребен,*** *а потом явился* ***сосуд диаволь...“*** *„Он оставя свет* ***возлюбил тьму,*** *от* ***нея же внутренния ослепоста*** *ему* ***зеницы“*** и т. п. Предисловие к грамматике Ф. Поликарпова (1721 г.) обнаруживает явный уклон к высокому „славенскому“ стилю „еллинского“ образца хотя бы в характеристике „богомудрых российских отроков“: *„Многи ныне различная государства пчелоподобно облетающе да оттуда соберут себе благовонныя различных учений цветы, из них же бы могли себе и прочим оным желателем сладкий на славенском диалекте сот преводом своим различных языков представити“* и т. д. „Треязычный лексикон“ Ф. Поликарпова (1704 г.)[1] больше всего отражал систему „славенского диалекта“, хотя иногда включал в себя дублеты, синонимы делового или разговорного языка и просторечные выражения, напр.: *лоно* или *пазуха* (I, 163[2]); *извиняюся — вину приношу* (I, 130); *извнутряю* или *потрошу* (II, 130); *яко же рещи — как наприклад сказать* (II, 179); *фальшивый* зри *лживый* (II, 148 об.); *фортеца* — зри *твержа* или *крепость* (II, 149); *франт — шут, скоморах* (II, 149); *глот,* емлется у россов за обидлива человека (I, 73); *гомон* зри *мятежь* (I, 75 об.); *драка* зри *бой* (1,94); *дуда* зри *труба* (I, 95); *живот* (vita, bios, zoē) — *жизнь* и *животы, богатство* (I, 106); *жижа, уха* (I, 106 об.); *забобоны — притворная вера* (I, 112); *зад главы* или *затылок* (I, 114); *задорю* зри *прогневляю*; *задышка* зри *одышка* (I, 114) и мн. др. Но, повидимому, недостаточной полнотой охвата светско-деловой лексики, новых иностранных слов и бытовых выражений и пристрастием к церковно-славянизмам, даже архаической окраски, „Треязычный лексикон“ Поликарпова не удовлетворил Петра Великого. По крайней мере в 1716 г. 2 января Мусин-Пушкин писал Ф. Поликарпову об оценке Петра Великого: „История твоя и лексикон... не очень благоугодны были“[3]. Между тем Петр Великий именно в светско-деловых стилях видел основу новой „европеизованной“ системы русского литературного языка.

§ 13. Языковая политика правительства и процесс модернизации, идеологического преобразования церковно-книжной речи.

Процесс образования этих новых литературных стилей посредством смешения элементов церковно-книжной речи с формами светско-делового языка и с западноевропейскими заимствованиями ускоряется и регулируется правительственными инструкциями. Этот процесс был симптомом буржуазной национализации литературного языка, отделения его от профессионально-церковных диалектов и сближения с общественно-бытовыми стилями разговорной речи. Тот строй литературного изложения, который культивировался Петром Великим и его сподвижниками, довольно ясно вырисовывается из инструкций переводчикам. В. Мусин-Пушкин, один из

[1] Ф. Поликарпов, Лексикон треязычный сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских, сокровище из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное.

[2] В скобках указаны тома и страницы лексикона.

[3] С. Браиловский, Ф. П. Поликарпов-Орлов, директор московской типографии, „Журн. мин. нар. просв“, 1894 г., № 9—11.

*

исполнителей литературно-переводческих предприятий Петра Великого предлагал Ф. Поликарпову исправить „хорошенько“ перевод „Географии“ „не высокими словами, но простым русским языком, тако ж и лексиконы“: „Со всем усердием трудися и высоких слов славенских класть не надобеть, но посольского приказу употреби слова“ [1]. Просторечие и формы выражения, выработанные переводчиками посольского приказа, т. е. публицистические, повествовательные, дипломатические, канцелярские и технические стили, отчасти опирающиеся на то же бытовое просторечие, на формы деловой речи и на систему церковно-книжного языка, отчасти же обращенные к лексике, фразеологии и семантике западноевропейских языков, преимущественно латинского, польского, немецкого и французского, — вот та языковая сфера, откуда пополняется инвентарь „общего“ национально-литературного языка.

Система церковно-славянского языка объявлялась недостаточной для выражения идеологии реформирующегося общества. Сфера церковно-славянизмов от этого сужается — в литературно-светском употреблении. Некто Максимович, составивший лексикон латинский с русским толкованием (Рукопись Ленингр. Публ. Библ., Q XVI, № 21), писал в предисловии (1723 г.): „Власть духовная, ея же честь учения расширяти, долг не рушимый..., о размножении наук на языках политических не прилагала попечения. Несть дивно зане духовных лиц прежних времен закоснелый бе обычай никаких кроме церковных, и то греческого чиноположения с греческого на словенский язык преводных книг и имети, и читати, и почитати; к навыкновению же и учению иностранных языков (кроме словенского и греческого) и малейшего не бысть усердия“ [2].

Иллюстрацией к этой тенденции — ограничить сферу употребления „славенского диалекта“ — и вместе с тем ярким свидетельством непонятности церковно-славянизмов для широкой публики, симптомом разрыва между высокой „славенской“ лексикой и формами „гражданского посредственного наречия“ могут служить переводы церковно-славянизмов на русский язык в сочинении Дм. Кантемира „Книга систима или состояние мухамеданския религии“ (1722 г.): *хранилище — магазин* или *житница, ветрило — парус, клятва — божба, косный — нескорый, овн — баран, ковчег — сундук, скала — каменная гора* и т. п.[3]. Принцип национализации церковно-славянского языка, сближения его с просторечием очень ярко и ясно выступает в грамматике иподиакона Федора Максимова (1723 г.)[4]. Федор Максимов решительно призывает к литературной канонизации просторечия, к включению его в систему славенского языка, „ибо многая употребления обносима зрятся, а правил себе в славенстей грамматице не имеют. Напр.: *Давид роди Соломона от Уриины.* Се полагается едино имя прилагательное со отъятием существительного, еже прислышимо бывает (т. е. подразумевается) сие: *жены;* но и просте

---

[1] С. Браиловский, Ф. П. Поликарпов-Орлов, „Журн. мин. нар. просв.“, 1894 г., № 10, стр. 267—268.

[2] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. I, стр. 193—194.

[3] Там же, т. II, стр. 584.

[4] Грамматика славенская въ кратцѣ собранная въ Грекославенской школѣ яже в великомъ Новѣ Градѣ при домѣ Архіерейскомъ. Лѣта ѡ Рж҃тва Хр҇това аѱкг ноемврія

употребляется по сему правилу: яко же сие: *держи обема*, приразумевается существительное сие — *рукама*".

Упрощение строя литературного языка, приближение его грамматической, лексической и семантической структуры к пониманию широких кругов не только дворянства, но и буржуазии, удобопонятность языка — лозунг правительства и живая потребность самого общества. Переводчик Виниус писал Петру Великому (1709 г.) о языке перевода трактата по механике: „Униженно молю величество ваше, дабы прежде изволил еси тот трактат выслушать и свыше данным вам разумом рассудить, от неа кая польза людем будет ли? Понеже автор сего трактата писал зело сокращенно и прикрыто, не толико зря на пользу людскую, елико на субтильность своего философскаго письма"[1]. Относительно перевода книги Пуффендорфа Петр приказывал Гавриилу Бужинскому: „Прошу, дабы не по конец рук переведена была, но дабы внятно и хорошим штилем"[2]. Феофан Прокопович в предисловии к переводной книге „Изображение христиано-политического властелина" обращался к Петру (1709 г.), выражая опасение, что перевод не удовлетворит „желанию пресветлейшаго величества... отнюд бо невозможно есть... всю темность и стропотность прогнати во преведении на славенский язык книжицы сея"[3]. Ивана Зотова Петр убеждал в письме от 25 февраля 1709г.: „Надлежит вам в той книжке, которую ныне переводите, остерегаться в том, дабы внятнее перевесть и не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию сии выразумев, на свой язык уж так писать, как внятнее"[4]. Брюс, стараясь оправдать необычность некоторых терминов в переводе на российский язык голландской грамматики, писал Петру от 6 мая 1717 г.: „И хотя... сыщутся не мало слов, несходных с простым наречием и со иными лексиконы, однако ж я принужден был следовати лексикона автора тое грамматики, который ко мне прислан из Амстердама..."[5] Характерно распоряжение Петра Синоду (19 апреля 1724 г.) о составлении катехизиса, „чтоб просто написать так, чтоб и поселянин знал, или на две: поселяном простяе, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется".[6] Тут „славенский высокий диалект" и просторечие противопоставляются не только как разные стили литературного языка, но и как классово диференцированные и эстетически неравноценные типы словесного выражения.

Едва ли не самое меткое и точное обозначение того стиля, который культивировался правительством как форма национально-буржуазного литературного языка, принадлежит Мусину-Пушкину. Он доносил Петру Великому (10 декабря 1716 г.) о переводе „книжки г. Еразма": „Я префекту приказал, чтобы исправлял и речения б клал некоторые русским обходительным языком"[7]. Характерно также заявление Ф. Поликарпова о языке перевода „Географии генеральной" (1718 г.): „Преводих сию не на самый высокий славенский диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических, но множае гражданскаго посредст-

---

[1] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. I, стр. 206.
[2] Там же, стр. 213.
[3] Там же, стр. 216.
[4] Там же, стр. 227.
[5] Там же, стр. 302.
[6] Там же, стр. 181.
[7] Там же, т. II, стр. 368.

венного употреблял наречия, охраняя сенс и речи оригинала иноязычнаго"[1]. Таким образом, в первой трети XVIII в. пролегла более глубокая и более широкая грань между „славенским диалектом" и светскими — деловыми, научно-техническими, повествовательными — стилями литературного языка. Славенский диалект, по выражению Тредиаковского, „в XVIII в. становился „очюнь темен" для дворянства и буржуазии. Иподиакон Федор Максимов, издавая грамматику, „с приложением простых речений", указывал, что в прежних грамматиках „обдержатся славянския речения, российски вмале разумеваема"[2]. Однако даже в пределах светско-деловых стилей вопрос шел не о полном разрыве с церковно-книжной традицией, а об ее модернизации, об ее идеологическом преобразовании, о выделении из нее живых элементов для последующего развития европеизированной русской литературной речи. Происходило в пределах церковно-славянского языка разграничение профессионально-культовых, церковно-богословских элементов и национально-литературных, секуляризованных государством. Поэтому не было замены, вытеснения одного языка другим. А. П. Веселовский, русский поверенный в Вене, доносил Петру о переводах лексиконов: „И мнится мне, что помянутые переводы малого труда к исправлению требуют, а именно Кроликов (т. е. переводчика Феофила Кролика) склоняется на киевское знаменование языка, а Воейкова на славянский"[3]. Итак, дело идет только о грамматической, лексико-фразеологической и стилистической реорганизации литературного языка, который теперь составлен из смешения руссизмов, церковно-славянизмов и европеизмов.

Литературный стиль петровской эпохи, несмотря на свой смешанный состав, не переставал быть и называться „славенским". Переводчик Виниус писал Петру от 17 января 1709 г.: „Трактат о механике... на словенский язык преложил"[4]. В 1715 г. Петр писал Конону Зотову: „Все что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги; также чего нет в книгах, но чинят от обычая, то помнить и все перевесть на славянский язык нашим стилем, а за штилем их не гнаться"[5]. 19 ноября 1721 г. Петр велел синоду распорядиться о переводе „на словенский диалект" труда Пуффендорфа „De ofe iciis hominis et civis" („О должности человека и гражданина")[6]. Между русским или „российским диалектом" и „славенским" языком ставился даже знак равенства. Иногда употреблялся и термин „славенороссийский язык" (см. письмо к Петру Мусина-Пушкина от 2 октября 1716 г.) для обозначения новой системы литературной речи, сохранившей связь с церковно-славянской традицией, но полуосвобожденной от профессионально-церковного гнета.

§ 14. Изменения в структуре церковно-славянского языка.

Преобразование „светских" стилей литературного языка не могло не отразиться и на структуре самой церковно-книжной речи. Целый ряд жанров церковно-славянского языка, напр., жанр обличительной, пропо-

---

[1] П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом, т. I, стр. 433.
[2] Там же, т. I, стр. 185.
[3] Там же, стр. 234.
[4] Там же, т. I., стр. 206. Ср. стр. 231, 232.
[5] Там же, стр. 157.
[6] Там же стр 213.

ведической литературы, подвергается еще более глубоким воздействиям светско-деловых и публицистических стилей. Завершается процесс церковной „специализации“ и богословской „профессионализации“ „еллино-славянских“ стилей XVII в. Бывший „восточник“, защитник „еллинизма“ Ф. Поликарпов в 1723 г. 9 января писал в доношении синоду: „Книга Григория Богослова Назианзена, с прочими, иже с ней, преведена необыкновенною славянщизною, паче же рещи еллинизмом, и затем о ней мнози недоумевают и отбегают. А можно оную вновь превести удобнее, и неудобопроходныя стези в пути гладки устроить“[1]. В системе церковно-книжного языка берут решительный перевес те семантические, синтаксические, а отчасти и лексические формы, которые принесены юго-западной „славенской“ традицией. Но прямые „украинизмы“ постепенно вытравляются из русско-славянского языка[2]. Однако еще Сумароков жаловался, констатируя зависимость ломоносовского высокого слога от украинской традиции: „*Лета́* вместо *лёта* г. Ломоносов утвердил, быв не москвитянином, а не ввел сам собою; ибо малороссияня то ввели; а потому, что все школы ими были наполнены; так сие провинциальное произношение и вкоренилося, яко *всигды, теби, мья* и протчие малорусские испорченные выговоры...“ „Знатнейшие наши духовные были ко стыду нашему только малороссиянцы, почти до времени владеющия нами самодержицы“. И далее обличалось слепое следование русского духовенства „их неправильному и провинциальному наречию“[3]. Но если отражения живых форм украинского языка постепенно стушевывались, исчезали, то влияние юго-западной риторики долго, до второй половины XVIII в., сохраняло свою силу. Особенности этого фигурально-изысканного стиля церковно-славянской речи выступают в таком виде: „Заметно увлечение реторическою фигуральностью, часто слишком изысканною и однообразною; иногда один оборот идет через три страницы. В конструкции речи, конечно, не всегда, но заметен латинизм: расстановка слов и длиннота периодов, запутанных вставными предложениями, напоминают латинь, употреблявшуюся в школах. К красотам языка думали причислить и употребление слов иностранных, которыми со времен Петра были наполнены и оффициальные бумаги; в поучениях тогдашних, конечно, такие обороты не были дики для слуха, каковы, напр., следующие: „*Посмотри на салдат, не токмо когда в ордер баталии устроеваются, но и когда в екзерцициях воинских обращаются, каково чинно, каково с бережением регулы, каково по науке их артикула прохождение и возвращение, каково по гласу командующего соотвечание, словом: дивная армониа*“ (Слово Кирилла Флоринского на освящение храма, 1742 г.). В проповедях часто встречаются слова: *економия, инструкция, потентаты, екстракт, експеримент, кондиция, презерватива;* Иоав называется *фельдмаршалом войска Давидова* и т. п.“[4]. Внутри сферы самого церковно-славянского языка усиливается брожение; происходит диферен-

---

[1] С. Браиловский, Ф. П. Поликарпов-Орлов, „Журн. мин. нар. просв.,“ 1894 г., № 9, стр. 31.

[2] П. И. Житецкий, К истории литературной русской речи в XVIII в., „Изв. Отд. р. яз. и слов. Ак. наук“, т. VIII, кн. 2, стр. 25—28.

[3] А. П. Сумароков, Соч., 1787 г., ч. X, стр. 24, 26.

[4] С. Смирнов, История московской славяно-греко-латинской академии, стр. 119—120.

циация стилей, некоторые из них переживают процесс „обмирщения". В языке проповедей Стефана Яворского, слов и речей Феофана Прокоповича „ярко является характер тогдашнего слога, — эта смесь церковно-славянского языка, простонародных и тривиальных слов, тривиальных выражений и оборотов русских и слов иностранных"[1]. Но, с другой стороны, высокие, торжественные стили „гражданского наречия" питаются церковно-книжной риторикой. Для иллюстрации смешения „высокого славенского диалекта" с формами европеизированной деловой и разговорно-светской речи можно извлечь яркий материал из панегирика „Сказание радостнаго и торжественнаго триумфа, еже сотворися вхождением его пресветлейшаго величества, великаго государя царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея великия, малыя и белыя России самодержца, преславнаго суща победителя шведов и внутренних своих врагов (многоглавой гидры). Како той великий монарха, сего 1709 года, декабря 21, великоя плоды своей несравненной виктории с плененными шведскими генералы, вышними и с нижними офицерами и с прочими шведскаго короля служительми, со знамены, артиллериею, мунициею, канцеляриею и с прочими различными добычами в своих свышеполученных под Полтавою, Лесным и Переволочною викториях, со славою и помпою велиею, в Москву благоволил есть внити". Здесь встречаются во множестве грамматические и лексические приметы высокого славенского слога, которые для „обходительного" или „посредственного" гражданского языка той эпохи были церковно-книжными архаизмами. Таковы, напр., архаизованное образование причастия *восставлших*, частое употребление форм аориста: *бе, прогна, победи, порази, воздвигоша своя оружия* и т. п.; слова и выражения вроде ***вознепщуя*** *всех* ***абие*** *вскоре прогнати, обаче;* наблюдаются даже формы, лишенные иотации; *иже... вместо помощи воздвигоша своя* ***оружіа*** и т. п. Характерно соседство и столкновение стилистически разнородных словесных рядов — высоких и разговорно-бытовых: *„и те* ***русацы****, увидя храбрость вашу,* ***абие*** *оружие брося, сами побегут"... „наши воины... задних несколько верст гнали,* ***иже ушед****, стали обозом под местечком Перевалочной..."* и т. п. Рядом с церковно-славянизмами располагаются и варваризмы: *„объездя свои полки и всем* ***кураж*** *наговоря,* ***викторию*** *приял": „и тако меньши дву часов с небеси дарованная, царского величества оружием полученная* ***виктория*** *совершилася"; „****редуты****"; „советы искусных своих* ***генералов*** *презрев;* ***багинетами****... поколов"* и т. п. Конструкция фразы, предложения, периода является отражением латинского синтаксиса. (Ср. хотя бы порядок слов в предложении, которое замкнуто глаголом: *„И тако меньши дву часов с небеси дарованная, царского величества оружием полученная виктория совершилася"; „како злокозненных тех врагов мысли, яко воду, рассыпа и, яко прах пред лицом ветра, прогна"; „на редуты государские дерзновенно пошел и два редута недоделанных взял"* и т. п.). Но это смешение и взаимопроникновение церковно-книжных и светских „высоких", риторических стилей в „переходной", пограничной области литературного языка лишь углубляет идеологические и формально-грамматические противоречия между архаическим строем церковной

---

[1] К. Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и языка, Соч., т. II, стр. 252.

речи, между ее профессионально-культовым характером и живой общественно-бытовой основой светского литературного языка. Отжившие формы церковно-славянского языка (вроде форм „славенского“ склонения, форм со смягчением заднеязычных, и форм аориста, имперфекта, деепричастий на *-юще* — *-яще* и т. п.) должны были постепенно выветриться из литературного языка. На передний план в „обходительном“ языке выдвигались русские общественно-бытовые элементы, или тождественные с церковно-славянскими или же приведенные в большее или меньшее согласие с ними, и „европеизмы“.

§ 15. Пережитки средневекового фетишизма в сфере церковно-книжной речи.

Однако в семантике русского литературного языка очень долго, до второй половины XVIII в., сохранялись пережитки религиозно-культового, магического отношения к „священным“ словам и следы богословско-схоластической интерпретации их. Эта черта отличает, главным образом, язык духовенства и выходцев из духовной среды. Поучительным примером может служить Тредиаковский, который, после неудачных попыток переустройства литературного языка на основе разговорной речи дворянства, духовенства и высшего слоя разночинной интеллигенции, вернулся к культу церковно-славянского языка (в 50—60-е годы) с возрождением националистических веяний при дворе. Тредияковский на ряду с европейскими замашками обнаруживает характерное для церковно-книжника фетишистское отношение к словам, которые в богословском или церковно-богослужебном языке имели условно-символическое, религиозное значение. Адъюнкт Теплов так писал об этом свойстве Тредияковского: „На всякого сочинителя толк безбожия наводит из маловажных слов.... По его мозгу никакого из сих слов прилагательных употребить нельзя: *совершенный, бесконечный, беспредельный, бесчисленный, безмерный,* хотя бы такие слова к хлебу, к пище, к народу, ко вкусу и пр. приложены были. Тотчас скажет: когда *бесчисленный*, тогда *неограничаемый*, а когда *неограничаемый*, то *безначальный*, а когда, *безначальный*, то *всесовершенный*, а когда *всесовершенный*, то *самобытный* и пр. И после таковых глупостей софистических восклицает как бешенный: о, безбожное утверждение!“[1].

Очень любопытны для понимания принципов этой магически-богословской интерпретации религиозных понятий, сохранившейся в среде духовенства и разночинцев из духовной школы, замечания Тредиаковского о словоупотреблении Сумарокова. Тредиаковский осуждает сумароковские стихи: „*Отверзлась вечность, все герои предстали во уме моем*“. „Автор прорицает о прошедшем... и говорит неправо, что ему отверзлась *вечность*; ибо ему отверзлась вместо ея *древность*... Вечность единому токмо богу свойственна, а не героям“[2]. Еще более показательно следующее затем богословско-схоластическое истолкование понятия вечности: „Ежлиб я не был совершенно уверен, что автор отнюдь не знает богословия, тоб подумал, что он говорит о так наз. у богословов *предней вечности,* aeternitas a parte ante... а от сея, и так же по кончине тварей,

[1] П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 190.
[2] Там же, т. II, стр 461.

пойдет *задняя вечность,* aeternitas a parte post"[1]. Но проявления такого церковно-богословского отношения к слову в сфере литературной речи представляли своеобразный атавизм и были свойственны по преимуществу духовенству. Они были лишены внутренней целостности и последовательности. Ведь и Тредиаковский сначала боролся за „обмирщение" литературного языка и только потом преклонился пред величественной „славянщизной" высокого слога. И схоластический номинализм Тредиаковского был далек от словесного фетишизма раскольников.

Резкий удар средневековому фетишизму в сфере церковно-славянского языка был нанесен реформой азбуки (1708 г.).

§ 16. Реформа азбуки и ее значение для истории литературно-книжного языка.

Внешним, однако полным глубокого значения, символом расхождения между церковно-книжным языком и светскими — техническими, публицистическими, деловыми и литературно-художественными — стилями письменной речи была реформа русской азбуки. Новая гражданская азбука приближалась к образцам печати европейских книг. „Это был первый шаг к созданию народного русского письменного языка" (Я. Грот), „призыв к созданию живого литературного языка"[2]. Церковно-славянская графика переставала быть нормой литературности. Она низводилась на роль иероглифического языка религиозного культа. Изменение графики снимало с литературной семантики покров „священного писания" (ср., напр., устранение титл над словами, внушавшими благоговение), предоставляло бо́льшие возможности революционных сдвигов в сфере литературного языка, открывало более широкую дорогу литературному языку к стилям ниционально-бытового просторечия и к усвоению форм западно-европейского „мышления". Словом, введение русской гражданской азбуки обозначало упадок церковно-книжной культуры средневековья, утрату церковно-славянским языком господствующего положения в структуре русского национально-литературного языка — и вместе с тем намечало пути дальнейшей борьбы за создание на западно-европейской основе дворянских и буржуазных стилей национально-русского литературного языка. Правда, реформа графики не была коренной. „Преобразование церковной азбуки для гражданского письма ограничилось почти единственно упрощением и округлением начертаний — сближением их с латинскими буквами"[3]. Новый шрифт „разнился от славянского тем, что в нем сначала были вовсе исключены буквы и, з, ѡ, ѿ, ѱ, ѯ, ȣ, ѵ, и устранены титлы и силы (т. е. ударения). Остальные буквы изменили свое начертание, приспособившись к латинской графике. Но вскоре были сделаны как бы уступки славянской азбуке: являются силы-ударения, возвращаются буквы ȣ, ѿ; над *i* ставятся везде две точки; постепенно начинает употребляться ѵ[4]. Таким образом, реформа шрифта, не разрушая в корне графических основ церковно-славянской письменности, отражала „пере-

---

[1] П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 461.
[2] Р. Ф. Брандт, Петровская реформа азбуки, М., 1910 г.
[3] Я. Грот, Спорные вопросы русск. правописания, „Труды", т. II, стр. 600, 603.
[4] Ср. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом т. II, стр. 645.

ходное", „смешанное" состояние русского литературного языка. Однако, значение ее было велико. Усиливалась потребность в более четком разграничении „церковных" и гражданских форм и категорий речи. Симптоматична произведенная Тредиаковским в „Разговоре об ортографии" критика фонетических и морфологических оснований церковной графики. Анализ церковной графики сопровождался указаниями на различия в грамматическом строе церковного и гражданского языков (напр., формы дат. пад. мн. ч. *человеком* „точно славенскии, а мы их ныне произносим и пишем чрез *а* так: *человекам*[1]"; формы им. пад. мн. ч. им. прил. *добрии, добрыя, добрая* „употребляются точно в церковном языке, но гражданский наш инако[2]"; „славенскими" же признаются формы аориста, формы двойственного числа[3] и др.). Характерно отрицательное отношение к грамматическим формам „литвина" Мелетия Смотрицкого и Федора Поликарпова. Сама мысль Тредиаковского писать и печатать книги „по звонам", т. е. в соответствии с фонетикой живого московского разговорного языка, служит ярким свидетельством растущей в буржуазно-дворянском обществе потребности национально-языкового самоопределения, эмансипации от феодальной церковно-книжной культуры.

§ 17. Возникновение новых литературно-художественных стилей повествования и лирического выражения на западноевропейской основе.

В атмосфере хаотического смешения старых и новых речевых элементов, в атмосфере борьбы церковной и „гражданской" языковых систем, беспорядочного столкновения и механического сцепления национальных и чужеязычных форм речи в русском литературном языке начала XVIII в. развиваются, своеобразные ростки новых стилей повествования и лирического выражения. Они создают оригинальный синтез национально-русской и западноевропейской культуры художественного слова. В этих поэтических стилях обозначаются признаки образно-идеологического приспособления русского литературного языка к художественной системе буржуазно-европейского словесного выражения. Сама структура русского стиха изменяет свои силлабические формы, тонизируясь по народно-поэтическим и западноевропейским образцам.

В этом направлении очень интересные разведки произведены акад. В. Н. Перетцем.[4] Он доказывает, что под влиянием ассимиляции иностранцев из немецкой слободы с русскими, под влиянием общения русского дворянства и буржуазии с европейцами начинает складываться в русском литературном языке своеобразный „европейский" стиль интимно-лирического выражения. Напр., церковно-библейское мифологическое представление о страсти как огне проявляется теперь в таких фразеологических формах, которые сближены с образами и лексикой западноевропейской лирической поэзии[5].

---

[1] В. К. Тредиаковский, Соч., 1849 г., т. III, стр. 50.
[2] Там же, стр. 611.
[3] Там же, стр. 202.
[4] В. Н. Перетц. Очерки по истории поэтического стиля эпохи Петра Великого. Ср. также его „Историко-литературные исследования и материалы", I—II, СПБ., 1900 г.
[5] Ср. в немецких стихах В. Монса, любимца царицы Екатерины Алексеевны:

Und also lieb' ich mein Verderben,
Und heg' in Feuer in meiner Brust'.

Мне же бедному достоить
Искры в пепел закопать...
*На сто [что] же в них **любовь искры родила,***
*Иже **сердце** во мне **нещадно жгут.***
Мысль меня снедает.
Надежды лишает,
*Невидимо **пламень***
В сердце заживает.

И те же семантические формы отражаются в повествовательном стиле: „*Яко огнь распалилось сердце ея*„ (История о российском купце Иоанне и о прекрасной девице Елеонере“). Любовь, по словам В. Н. Перетца, изображается в виде „негасимого огня, запаляющего душу“; любить — это „*болети и огнем горети, и сердцем скорбети...*“ Ср. также в драматической речи „Акта или действия о Петре Златых ключах“: „*И любовны пламень пространно пылаешь...*“ „*Растерзаю мое сердце, и виждь, как пылает*“ [1].

В польской любовной лирике: ogien' srogi pali. (Перетц, стр. 35). Ср. у Симеона Полоцкого в пьесе „Вдовство“: „*Срам возбраняет любве изъявляти, а в персех пламень, нужда есть страдати.*“ Л. Н. Майков, Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетия, СПБ., 1889.

Фразеология западноевропейского сентиментального романса и сентиментальной повести обнаруживается и в образах сердечных ран — Купидона, уязвляющего стрелами сердце; в символе раненого сердца. В записной книжке В. Монса, содержавшей материалы для будущих любовных посланий на немецком и русском языках, и в его письмах читаем: „*мое сердце ранено... сердечное мое сокровище и ангел и купидон со стрелами, желаю веселаго добраго вечера...*“

Купидо вор прокляты вельми радуитса
Пробил стрелою серца, лежу бес памети,
Не магу я ачнутца, и очимы плакати:
Таска великая, серца крававая,
Рудою запеклоса и всо прабитая.
Вы, хорошия стрелы, всегда вам услужал.
А ныне ж мое сердце люто изнуренно.
И стрелою внутрь острою зело простреленно,
Немедли, драгая, милость мне явити,
Ах, рана смертная в серцы застрелила:
Злая купида насквозь мя пробила.
Видите рану, мне от вас данну:
Прошу вас исцелить, служить вам стану.

Ср. у В. К. Тредиаковского в стих. „Прошение любви“:

Покинь, Купидо, стрелы
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвлены
Любовною стрелою
Твоею золотою [2].

И те же образы характерны для повествовательного и драматического языка начала XVIII в.:

„*Острыя очей взоры так сердцу моему раны дали, что кроме вас самих никто изцелити не возможет*“ (История о Александре российском дворянине); „*Лютые стрелы красота ваша в сердце моем вонзила*“ (там же); в „Акте или действии о Петре Златых ключах“: „*Стрелю, стрелю вам сердца и дам вам язву зелну*“.

---

[1] И. М. Бадалич, Об одном драматическом памятнике петровского времени. „Акт или действие о Петре Златых ключах“. „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, т. XXXI, стр. 252.

[2] Ср. в виршах Сим. Полоцкого: *Лица их стрелы в сердце пущают, Неопасную вдову уязвляют.* („Вдовство“.)

Одним из общих мест этой сентиментальной фразеологии, воспроизводящей чувствительную галантность западноевропейского „кавалера“, является также образ оков, плена. Вместе с тем влюбленный „тает от любви“:

Аки воск растаяше.
Аки воск в печали тает.

В другой песне — у влюбленного, которого уязвил злой Купида, — сердце, *„как воск, от огня тает“*.

Возлюбленная сравнивается с цветком. Сама любовь — „цвет весенний...“ *„Цвет любви“* —любовь и ее радости; сердце в горе от неудачной любви, *„аки цвет во осени тако иссыхает“*. *„Злая судьба* — жалуется автор одной песни — *не дала расцвесть цвету моему...“*

„Друг любезный“ — *„цвет благоуханнейший“* или *„цвет благоуханнейший, сапфир драгий прекраснейший*[1]...“

В этот сентиментальный строй лирической фразеологии вступают многочисленные образы школьного классицизма, его мифологические аксессуары. Тут действует „Фортуна“, вертящая колесо:

Ах злая фартуна зделал так вдруг.
Обратила вскоре колом своим вкруг.

Выступает толпа богов древнего Олимпа: *Венера, Купидо, Аполло, музы, Волкан, Перзефона, Беллона, Марс, Минерва. Паллада, Еол, Химера, Анфион.* Характерно смешение христианской лексики с мифологическими образами классицизма:

Ах, боже, дай милости
Узри мя в жалости,
Убий злую Купиду
За мою обиду.

Ср. эротически-галантное переосмысление образа *ангела: „остаюсь, мой ангел, верный твой слуга по гроб“* (Монс).

Где твоя верна мысль? мой ангел отлетел

(Столетов).

Так, в русский литературный язык начала XVIII в. вливается эмоционально насыщенный поток западноевропейской галантной фразеологии, соответствовавшей изменившемуся светскому этикету и европеизованным формам светского обхождения, особенно в отношениях мужчины и женщины буржуазно-дворянского общества. „Зарождавшаяся галантность между мужчинами и женщинами высшего, более образованного сословия породила значительное количество любовных стихов“[2]. „Самая нежная любовь, — пишет о несколько более поздней эпохе (40—50-е годы XVIII в.) А. Т. Болотов, — толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое только над молодыми людьми свое господствие... но оне были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была неспускаема“[3]. Стиль повествования также проникается этим чувствительно-галантным тоном. Но эта фразеология в своем лексическом составе обнаруживает типичные для петровской эпохи формы пестрого, „неорганического“ смешения разных языков и стилей. Лексической основой как лирического, так и повествовательного стиля продолжают служить церковно-славянизмы и вообще слова и выражения старого церковно-литературного языка: *глаголы, зрак, сицеву, не хощу, обаче, препятие, пресецает, тя обрящу, двоелична, неизглаголанный* и т. п. Сюда же примыкает и морфология этого языка — архаические формы склонения со смягчением заднеязычных: *мнози, неподолзе* и т. п.; формы склонения нечленных причастий и сравнительной степени прил. *цветуща, имущи,*

---

[1] В. Н. Перетц, Очерки по истории поэтического стиля в России, СПБ, 1905 г., I—IV, стр. 40—41.

[2] Л. Н. Майков, Очерки из истории русской литературы XVII — XVIII ст., стр. 213.

[3] Записки А. Т. Болотова, СПБ. 1871 г., т. I, стр. 179.

любезнейша; деепричастия на *-яще, -юще* и т. п.; формы аориста; *обретох, принесох, отлучихся, вкоренися, получих* и т. д. Не обходится этот язык и без участия приказной лексики: *что* ***чинишь;*** *фортуна злая* ***учинила;*** *фортуна злая мне* ***ничему не служит*** и др.

Глубоки следы польско-украинского влияния, особенно в лирическом стиле самого начала XVIII в.: *шукати, еднак, мушу* (music'), *зрадлива* (фортуна) *красна панна, с великим далем, кохает, в слезах уплывати, жерточки жертовать* и т. п.[1] Ощущительно веяние того пристрастия к варваризмам, „европеизмам", которое так характерно для языка первых десятилетий XVIII в.: *афект, компания, дамы, натура, персона* и т п. Особенно интересны попытки калькирования немецкой фразеологии: *посылаю мысль, в мя вспомени* (ср. sich errinnern an etwas, sich besinnen auf etwas) и нек. др.

И, наконец, в очень своеобразной форме выступают русское разговорно-бытовое просторечие и отражения народной поэзии. Едва ли прав ак. В. Н. Перетц, утверждая: „Авторы песенок лишь в слабой степени вносят словарные особенности простонародной речи, вроде *дружечка, не допущает, лапушка* и т. п." На самом деле, дворянско-буржуазное просторечие играет заметную роль в этом новом стиле — светского выражения галантности и эротических томлений. Характерны, напр., такие слова и выражения: *Ты, сердце, спишь,* ***без памяти лежишь; лежу бес памчти;*** *Не магу я* ***ачнутца...***

А я свои глаза
Мочу слезами.
Для чево так? *я не бывал твой враг.*
Одумайся от сна *пробудися,*
Проклятый враг, ***поть вон.***
Дляча *мне мстишь*
И милова ***манишь*** *—*
Прочь *отгоняешь.*

Ср. бытовую разговорную речь застольной песни:

Малой вор, куди ты, ходишь?
Дай мне ренско з сахаром.
Брат Масалской, куда ты бродишь?
Поднеси нам всем кругом.
За здоровье, кого мы знаем!
Дай ему бог, что мы желаем!
Вам, Голицыным скончати.
Князь Иван, до тебе я пию.
Князь Борис, изволь нас ждати:
Завтра я к тебе приду.
Дружба наша так велика;
Хлеб да соль — заемная дела.

§ 18. Процесс формировании светских литературных стилей национального русского языка в среде дворянства и буржуазии.

Новые „европеизированные" формы русской литературной речи, возникавшие в сфере повествования и лирической поэзии, были симптомом зарождения светских дворянских литературных стилей. Литературный язык сближался с разговорной речью дворянско-буржуазного общества. Новые веяния шли от западноевропейской литературы, т. е. новые формы

[1] Ср. наличие украинизмов в стихах М. Г. Собакина, одного из ранних представителей дворянской поэзии первой половины XVIII в. „Характерные для этого периода русской поэзии особенности языка — украинизмы — имеются налицо и здесь", — пишет П. Берков в ст. „У истоков дворянской литературы XVIII в." — „Так в оде на 1735 г.: „писать благодарные стихи *з* (вместо *из*) *сердца ныне*", и т. д. „Литературное наследство", № 9—10, (XVIII в.), 1933 г., стр. 424 — 425.

литературного языка создавались в процессе перевода. „Езда в остров любви“ (1730 г.) В. К. Тредиаковского (перевод „аллегорической, любовной повести Paul Tallement: Voyage à l'île d'Amour, Paris, 1713) ярче всего отразила эту потребность в новом языке, ощущаемую европеизировавшимся обществом. В предисловии от переводчика „К читателю“ объявляется о кризисе церковно-книжного языка, „глубокословныя славенщизны“, о необходимости сближения литературного языка с „простым русским словом, то есть каковым мы меж собою говорим“, о необходимости разработки стилей „мирской“, т. е. светской литературной речи на основе „нашего природного языка“ [1]. Перевод повести Таллемана и выставлялся как творческая попытка содействовать образованию литературного „неславенского“ языка, пригодного к передаче чувств, мыслей и понятий реформирующегося светского общества. Социальное значение такой попытки определяется, по словам Тредиаковского, тремя причинами. „Первая: язык славенской у нас есть язык церковной, а сия книга мирская. Другая: язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь темен; и многия его наши читая неразумеют, а сия книга есть сладкия любви, того ради всем должна быть вразумительна. Третия: которая вам покажется может быть самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть, что язык славенской ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым речеточцем хотел себя показывать“. Между тем современники говорили об этом переводе, что „Тредиаковский пренебрег духом родного языка, слишком следуя французскому словосочинению“ (свидетельство историографа Мюллера) [2].

Анализ языка этого перевода, как и других переводных и оригинальных повестей первой половины XVIII в., приводит к выводу, что в разных комбинациях и в разных пропорциях здесь наблюдается то же смешение русских, церковно-славянских и западноевропейских элементов литературного языка, как и в лирической поэзии. При этом польская струя скоро начинает иссякать и замещаться немецкой и французской. В повести, может быть, несколько резче и определеннее выступают отличия дворянских стилей литературного языка от буржуазных. В тех и

[1] Литературные нормы „природного языка“ В. К. Тредиаковский ищет в речи дворянской знати и просвещенной буржуазии: „С умом ли обшчим употреблением называть, какое имеют деревенскии мужики, хотя их и больше, нежели какое цветет у тех, которыи лучшую силу знают в языке? Ибо годится ль перенимать речи у сапожника, или у ямшчика? А однако все сии люди тем же говорят языком, что и знаюшчии (то есть которыи или хорошее имеют воспитание, или при дворе обрашчаются, или от знатных рождены, или в науках, и в чтении книг с успехом упражнялись), но не толь исправным способом, природным языку, коль искусными. Первыи говорят так, как они для нужды могут, но другии, как должно и с рассуждением“ („Разговор... об ортографии“, Соч., т. III, стр. 315).

„... Ежели между двемя, или многими такими неважными разностями, ни одна разумом утверждена быть не может, то я оную праведною называю, которая и большия части людей и от искуснейшия восприята. Большая часть людей не пахатники, но учтивыи граждане, а искуснейшая, не неучи грубыи, но науками просвешченныи: обеж не две разные, но одна и таж, что до важности. Ибо, лучше полагаться в том на знаюшчих и обходительством выцвеченых людей, нежели на нестройную и безрассудную чернь“. (Там же, стр. 324—325).

[2] П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 24.

других — при общности основных элементов — различны формы их связи и употребления. В буржуазных, „мещанских“ стилях XVIII в. вообще язык более „простонароден“, более близок к „устной словесности“, и вместе с тем более архаичен, более связан с отмирающими формами церковно-книжной и приказно-канцелярской грамматики, лексики и фразеологии. Он менее „литературен“, т. е. менее соответствует нормам „светской“ риторики и формам общественно-бытового этикета речи дворянского круга [1]. Характерна, напр., долгая живучесть украино-польских вирш, кантов, псальм в „среднем классе общества“ в течение почти всего XVIII в., когда стиль поэзии высших классов уже резко изменился.

Записи на сборниках вирш и кантов в XVIII в., обследованные ак. В. Н. Перетцем, показывают, что старинная поэзия хранится среди лиц духовного звания, мелких чиновников, купцов, низшего офицерства и солдат, т. е. преимущественно в среде мелкобуржуазной полуинтеллигенции. „Подобно рукописям переводных романов, сделавшихся уже во второй половине XVIII в. почти исключительно достоянием низшего класса, — пишет ак. В. Н. Перетц, — рукописные сборники вирш, псальм, кантов, переходя главным образом от семинаристов и через их посредство в массы, служат проводниками и распространителями искусственной, а вместе с тем и заимствованной из малорусских и польских источников поэзии“ [2]. Эти архаические литературные жанры не могли не влиять и на литературно-письменный язык мелкой буржуазии. Но буржуазные стили, меняясь и впитывая архаические элементы дворянской литературы, до конца XVIII в. остаются на периферии „словесности“. Они получают права литературного гражданства только в начале XIX в., чтобы в 30-х годах этого столетия вступить в состязание и в борьбу с дворянскими стилями литературного языка. История русского литературного языка в XVIII в. характеризуется ростом и укреплением дворянских литературных стилей, которые растворяют в себе и ассимилируют элементы буржуазного творчества. Характерно, что даже „попович“ Тредиаковский, приняв петровскую европеизацию литературной речи („совершеннейший стал в Петровы лета язык, нежели в прежде его бывшия“), готов считать социальной основой литературной речи язык двора, аристократии, „знатнейшего и искуснейшего“ дворянства. „Украсит оной в нас двор... в слове научтивейший, и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшие... министры, и премудрейшие священноначальники... Научат нас и знатнейшее и искуснейшее дворянство“ (Речь о чистоте российского языка, 1735 г.) [3]. Ссылки на „общее учтивое употребление“ как норму литературного языка находятся и в предисловии к переводу „Речей кратких и сильных“ (1744 г.).

Нормы литературного языка, опиравшегося на разговорную речь высшего общества, по мнению Тредиаковского, необходимо перенести и в сферу высокого слога, „витийства“. Так в „Известии“ (1744 г.), сопровождавшем „Слово о терпении и нетерпеливости“, Тредиаковский объявляет:

---

[1] Характерно, напр., в буржуазных стилях пристрастие к формам аориста и имперфекта и неправильное их употребление.

[2] Ак. В. Н. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. I, ч. I, стр. 306.

[3] А. А. Куник, Сб. материалов для истории Ак. наук в XVIII в., СПБ, 1865 г. Ср. „Разговор об ортографии“, стр. 315—325.

„Прилагается здесь следующее слово... для сего дабы самым делом показать, что истинное витийство может состоять одним нашим употребительным языком, не употребляя мнимо высокого славянского сочинения“ [1]. Но эта задача построения дворянского литературного языка была не по силам и не по рангу Тредиаковскому. Язык европеизированного поповича не соответствовал нормам дворянского вкуса. Тредиаковский, несмотря на свои филиппики по адресу „мужицкого“, „подлого заблуждения“, впадал в „подлость“: он не мог освободиться от мещанского просторечия и от тривиальной церковно-книжности выученика духовной академии. В записке адъюнкта Теплова приводится характерные для стиля Тредиаковского вульгарные шутки, которые „у него за bon mot приемляются“, напр., *вот первая белянка в кузов... да голь нелюдим; с копылья сбился автор* и пр. [2]. Ср. в „Письме к приятелю“: *„прилеплен, как горох к стене“; „соваться во все стороны, как угорелой кошке“; „поправиться с печки на лавку“; „два гриба в борщ говоря по украински“; „сам ни шкиля, как говорят, не умеет“; „ты молокососиха была“* и т. п. — рядом с церковно-книжными архаизмами. Естественно, что А. П. Сумароков находил „изъяснения“ В. К. Тредиаковского „подлыми“ [3]. Но дело было не в личных задачах и неудачах, а в соотношении и колебании коллективно-языковых сил. Тем более, что Тредиаковский скоро перешел, подчинившись возобладавшему стилю, на иной путь.

§ 19. Тенденции к реставрации церковно-книжной традиции во второй четверти XVIII в.

Националистическая реакция, охватившая дворянство, особенно придворно-аристократические круги в 40-х годах XVIII в., отразилась и на оценке литературных функций церковно-славянского языка, особенно в сфере высокого слога. Она отнесла чуткого к веяниям времени В. К. Тредиаковского в другую сторону, вернув его к церковным истокам „славянщизны“. В 40—50-х годах начинается реставрация литературных прав церковно-славянского языка, регламентация его отношений с бытовым просторечием. В это время несколько суживается сфера западноевропейского влияния в структуре русского литературного языка. „На что ж нам претерпевать добровольно скудость и тесноту французскую, имеющим всякородное богатство и пространство славянороссийское...“ („Предъизъяснение об ироической пииме“ при Тилемахиде). „Когда некоторые из наших (привыкших к французскому и немецкому языкам, не имеющим кроме гражданского употребления, а в нашем гражданском сочинении, увидевших два, три речения славенские или славенороссийские) восклицают как будто негодуя, это не по-русски: то жалобы их не в том, чтоб те речения были противны свойству российского языка, но что оные положены не площадные, не рыночные, и словом не подлые, да и знающим знаемые“. Таким образом, здесь звучит явный протест против просторечия и против нормативного приспособления „высоких“ стилей литературного языка к системе французского и немецкого языков. Утверж-

---

[1] П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 104, примечание.
[2] Там же, стр. 189.
[3] А. П. Сумароков, Соч., 1787 г., ч. X, стр. 95.

дается значение стилей, организуемых „славенским языком, или уже славенороссийским, непосредственно проистекающим от того; то-есть, когда содержание пишемого или прямо возносится к святилищу божества или принадлежит токмо до священного обиталища любомудрыя мусы". Стили литературного языка архаизуются. Внешним выражением этой архаизации высокого слога являются, между прочим, изменения во внешней форме слов, их морфологическая славянизация. „В гражданском языке писать бы по западных выговору, а в церковнейшем несколько по восточных и правописанию для взора, и произношению для слуха. Сия есть причина, что в Тилемахиде нашей (книге, по содержанию своему и языку, высящейся толико над градскою площадью, колико святый холм Афона превышает подлежащую себе дебелобренную в низостях земных основу) *Тилемах* написан есть и произнесен *Тилемах*, и не *Телемах*, или не право *Телемак*; *Одисей* или *Одvсс*, а не *Улvсс* или *Улvкс*; *Ментор*, а не всемерно ложно *Мантор*, *Омир*, а не *Гомер*; *Ирой*, *ироический*, а не *герой*, *героический*, *пиима*, а не *поэма*" и т. д. Такой консервативный уклон принимает борьба с европеизацией внешних форм речи у выходца из духовенства. Тредиаковский, по словам Сумарокова, старался в последний период своей деятельности испортить литературный язык, „глубокою и еще учиненною самим собою глубочайшею славенщизною", вопреки молодому увлечению своему „простонародным наречием". Отсюда Сумароков выводит мораль: „истина никакия крайности не причастна". Но эта мораль среднего дворянства нашла свое историческое применение и осуществление в истории русского литературного языка только после эпохи торжества придворно-аристократических стилей на церковно-книжной основе.

Таким образом, в первых десятилетиях XVIII в. проблема создания литературной системы русского национального, „природного" языка и проблема структурного объединения в ней церковно-славянских, русских и западноевропейских элементов остались не вполне решенными. Хотя и обозначались контуры новых светских „европейских" стилей русского литературного языка, однако роль и соотношение разных социальных групп дворянства, духовенства и буржуазии в процессе литературно-языкового творчества еще недостаточно определились, и традиции феодальной эпохи в литературном языке еще не были вполне преодолены.

III.

Нормализация стилей русского литературного языка в половине XVIII в. на национальных основах и разрушение этих стилей западноевропейским (французским) влиянием.

§ 1. Проблема синтеза церковно-славянской и русской национально-бытовой стихии.

Расширение границ русского литературного языка в сторону национально-бытового просторечия, смешения стилей и контекстов (особенно „высокого“ с „простым“), бурный процесс освоения „внешних“ лексических форм западноевропейских языков, политехнизация языка, осложнение функций и содержания деловой, официально-канцелярской речи, распад тех идеологических звеньев церковно-славянского языка, которыми раньше, до XVII в., скреплялась система литературной речи, — все эти явления социально-речевого брожения к 40-м годам XVIII в. умерили свой темп. Процесс буржуазно-демократической европеизации книжного языка не мог сгладить резких различий между социально-групповыми и стилистическими разновидностями литературной речи. Дворянская культура еще не выработала устойчивой системы литературно-языковых стилей и жанров, хотя уже с петровской эпохи стали резко обозначаться новые формы литературного выражения. Недаром В. К. Тредиаковский еще в 30-х годах склонен был придавать основное организующее значение тем стилям литературного языка, которые были связаны с бытом и потребностями двора, знатнейшего дворянства, считать эти стили нормой литературной речи. Социально-стилистические противоречия в литературном языке, его хаотическая бессистемность, совмещавшая варваризмы, канцеляризмы, просторечие и церковно-книжную речь, отсутствие твердых признаков жанра и стиля могли быть преодолены или новым синтезом тех языковых элементов, тех стихий, которые считались национальными, т. е. церковно-славянского языка и разных стилей русской письменной и разговорно-бытовой речи, или же построением на западноевропейской основе новой структуры русского национально-литературного языка, которая удовлетворяла бы идеологическим и культурно-политическим потребностям реформирующегося дворянского общества и вобрала бы в себя формы западноевропейского мышления, их освоив.

Путь нового синтеза церковно-славянской и русской разговорно-бытовой стихий более соответствовал принципам буржуазного национа-

лизма и был консервативнее, так как он непосредственно соприкасался с традициями церковной книжности. Вместе с тем на этом пути, в зависимости от границ и состава национально-бытового просторечия, легче всего можно было достигнуть примирения феодально-аристократических языковых образов, мифов, идеологических систем, норм грамматического „мышления“ с буржуазными речевыми навыками и формами мышления. Кроме того, здесь открывалась возможность на почве новой системы литературных стилей постепенно взрастить и освоить семена европейского мышления, „внутренние формы“ западноевропейских языков и освободиться от „внешних“ лексических варваризмов, от „диких и странных слова нелепостей“. Западноевропейская стихия в дворянских стилях начала XVIII в. была еще слишком слаба и поверхностна, чтобы стать структурной основой всей системы литературной речи.

§ 2. Исторические основы теории трех стилей.

С именем Ломоносова связана попытка теоретически обосновать систему стилей, обусловленных взаимодействием церковно-славянских и русских национально-бытовых элементов литературной речи. Теория Ломоносова известна под названием учения о трех штилях. Учение о трех стилях, знакомое античным риторикам и встречающееся во многих старых риториках XVI — XVII вв. [1], послужило Ломоносову лишь удобной рамкой для схематического разграничения основных стилистических контекстов русского литературного языка. Своеобразие ломоносовской реформы сводилось к трем основным положениям: 1) констатированию того, что пределы и функции церковно-славянского языка сузились, и что реставрация „обветшалых“ систем церковно-книжной речи нереальна и нецелесообразна; 2) к доказательству того, что живые структурные элементы церковно-славянского языка необходимо искать в кругу библии, употребительных богослужебных книг, популярных религиозных сочинений вроде прологов, житий святых и т. п., т. е. не в старых традициях профессионально-богословской (догматической, полемической, обличительной) литературы, а в сфере „обобществленной“ национально-испытанной и признанной государством бытовой практики религиозного культа; 3) к утверждению того исторического факта, что формы национально-бытовой речи являются составной органической частью структуры литературного языка, и что состав и соотношение разных жанров литературы обусловлены приемами и принципами смещения и взаимодействия церковно-славянизмов с руссизмами. Основные идеи, лежащие в основе этой системы трех стилей, Ломоносов изложил в рассуждении „О пользе книг церковных в Российском языке“.

Значение церковно-славянского языка здесь обосновано и укреплено историей. Прежде всего он — восприемник и передатчик христианской византийской культуры, „греческого изобилия“: „Оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно“. Из славянского языка вошло в русскую литературную речь „множество

---

[1] А. П. Кадлубовский, Об источниках ломоносовского учения о трех стилях, „Сб. статей в честь проф. М. С. Дринова“ Харьков, 1905 г., стр. 83—89.

речений и выражений разума“ (т. е. отвлеченных понятий). Историю русского литературного языка Ломоносов противопоставляет истории литературных языков Западной Европы. Там процесс образования национальных литературных языков был связан с отрывом от культуры церковно-книжного языка феодальной эпохи. В отличие от „интернационального“ — культового и ученого — языка западноевропейского средневековья, именно языка латинского, который был далек от родной национальной речи европейских народов, напр., немцев и поляков, церковно-славянский язык состоит в прямом, непосредственном, ближайшем родстве с русским народным языком. Церковно-славянский язык национализирован русской культурой и, будучи „священным“ языком религии и церковных книг, в то же время обогащает, развивает народную речь, является неисчерпаемым источником идейного и художественного воздействия на стили общественного языка. Это сродство церковно-славянского и русского языков, по Ломоносову, — непререкаемое доказательство необходимости строить систему литературного языка русской нации на основе синтеза церковно-книжных и разговорно-бытовых форм речи. Таким образом, русское буржуазно-дворянское общество, стремясь к созданию новой системы национального языка, соответствующей идейному, научно-техническому и культурному уровню века, может построить ее (по убеждению Ломоносова) не в процессе борьбы с феодальной культурой церковно-славянского языка, языка средневековой науки и религиозного культа, а в действенном союзе и общении с живыми традициями церковно-богослужебной речи. В этом отношении Ломоносов противопоставлял историческую судьбу русского литературного языка истории немецкого и польского языков, т. е. тех европейских языков, которые с конца XVII в. сильнее всего влияли на русский язык. „Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось и произошли искусные писатели“. Напротив, богатство и „великолепие“ русского литературного языка только возрастают от связи и единения его с родственным церковно-славянским языком. Когда же церковный язык чужд народу, он только тормозит развитие национального языка. Пример — поляки. „Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские, по большей части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены“.

В этой националистической концепции не только утверждается тесная связь между традицией церковно-книжной письменности и последующим развитием национально-русского языка в обстановке буржуазно-дворянской культуры, но церковно-славянский язык провозглашается даже хранителем национального единства русского языка. „Народ российский, по великому пространству обитающий, не взирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, напр. в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того же немецкого народа“. Ломоносов склонен объяснять эту „однородность“ русского языка, слабое развитие в

нем центробежных сил феодальной эпохи воздействием церковно-славянского языка. „Ломоносов считает церковный язык как бы уравнительным маятником, который своим влиянием сближает расходящиеся диалектические формы и задерживает слишком быструю изменчивость языка живого“ [1].

Действию церковно-славянского языка Ломоносов приписывает также историческую устойчивость основного ядра русского литературного языка; отсутствие в нем резких революционных сдвигов. „Российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семи сот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так как многие народы не учась не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены случившейся через то время“. Таким образом, церковно-славянский язык выступает не только как источник и опора национального единства русского языка, но и как его структурная основа. Отсюда вытекают своебразия теории трех стилей — высокого, среднего и низкого.

§ 3. Три стиля литературного языка; различия в их лексико-фразеологической структуре и в сферах применения каждого из них.

Структура каждого стиля определяется соотношением церковно-славянских и русских форм речи. Но Ломоносов ссылается только на употребительные, живые в церковной традиции элементы книжно-славянского языка и устраняет из всех стилей неупотребительные и обветшалые слова, напр. *обаваю, рясны, свене* и т. п. Церковно-богослужебное употребление как составная часть бытового обихода — вот для Ломоносова критерий живых и мертвых слов и выражений церковно-славянского языка. „Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку неподвержен утвердится, коль долго церковь Российская славословием божиим на славенском языке украшаться будет“, — пишет Ломоносов. Эта точка зрения находила опору и в литературной практике Ломоносова. „Церковно-славянские слова и выражения“ заимствованы Ломоносовым главным образом из книг богослужебных, т. е. они падают на те книги так наз. священного писания, которые по преимуществу употребляются в церковном богослужении, а именно: псалтырь, апостол, евангелие. Довольно много заимствований из паремий, а также из церковных песнопений (стихир, ирмосов и т. п.) и молитв [2]. Ломоносов описывает объем и границы литературного языка — и в то же время своего стиля, рисуя образ „природного российского ученого“ (т. е. Ломоносова), „который с малолетства спознал общий российский и славенский языки, а достигши совершенного возраста с прилежанием прочел почти все древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги. Сверх того, довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при дворе,

---

[1] А. Будилович, М. В. Ломоносов как натуралист и филолог, СПБ., 1869 г., стр. 95.

[2] И. И. Солосин, Отражение языка и образов св. писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова, „Изв. Отд. рус. яз. и слов“. 1913 г., т. XVIII, кн. 2, стр. 241—242.

между духовенством и простым народом...“ [1] Так утверждается принцип национального буржуазно-дворянского синтеза разных социальных категорий — с точным указанием их иерархического соотношения. Но еще важнее грамматическая реконструкция литературного „славяно-российского“ языка: из него исключаются архаические церковно-книжные формы грамматического построения, а те грамматические категории, которые, будучи живыми и производительными, сближают литературный язык с церковно-книжной письменностью, заключаются в границах высокого слога. Таким образом, „высота“ и „низость“ литературного слога зависят от связи его с системой церковно-книжного языка. Литературный язык, „через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокой, посредственной и низкой“. Ломоносов к каждому из трех стилей прикрепляет строго определенные жанры литературы. Высоким штилем „составляться должны героические поэмы, оды, праздничные речи о важных материях... Сим штилем преимуществует российский язык пред многими европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных“. Средним штилем рекомендуется „писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия. Однако может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные, дружеские письма, сатиры, еклоги, и елегии сего штиля дольше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных“. Низким штилем пишутся комедии, увеселительные эпиграммы, песни, дружеские письма, описание обыкновенных дел. Стили разграничены не только грамматически, лексически и фразеологически, но и фонетически. В рассуждении „О пользе книг церковных“ Ломоносов остановился бегло только на словарном разделении стилей. В высокий штиль, по его мнению, входят церковно-славянские слова, понятные русским, и слова, общие церковно-славянскому и русскому языкам. Средний штиль состоит из слов, общих для церковно-славянского и русского языков. В нем можно употребить и некоторые русские просторечные слова, но не вульгарные, не слишком „низкие“. В него можно подмешать в небольшом количестве „высокие“ церковно-славянизмы, „однако, с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым“. Низкий штиль чуждается церковно-славянских слов. Он состоит из разговорно-бытовых, просторечных слов и выражений и допускает даже простонародную лексику.

„Такое разделение церковно-славянского материала, — говорит ак. А. И. Соболевский, — принадлежит вполне Ломоносову. К нему подходили Кантемир и Тредиаковский; но лишь отчасти, не давая себе отчета. Если бы Ломоносов ограничился этим разделением церковно-славянского материала, он сделал бы уже крупное дело. Но он им не удовлетворился. Он присоединил к нему также разделение элементов живого русского языка. Ломоносов понял, что соединение церковно-славянских элементов с вульгарными русскими в литературном языке не может звучать приятно для человека с развитым вкусом, и потому устранил это соеди-

[1] Материалы для биографии Ломоносова, собранные ак. Билярским, 1865 г., стр. 603—604.

нение. Он воспользовался живым русским языком, тем русским языком, которым говорили при царском дворе и в лучшем обществе того времени, но, где было нужно, облагородил его, возвысил и украсил прибавлением тех элементов литературного церковно-славянского языка, которые вошли в него из церковных книг, которые действительно были церковно-славянскими. Эти элементы были точно определены Ломоносовым". Ломоносов, регламентируя на национальных началах стили современной ему литературной речи, исходит из идеи непрерывности и преемственности языковой эволюции. Таким образом, Ломоносов „пожелал совместить старину и новизну в одно гармоничное целое, так, чтобы друзья старины не имели основания сетовать о крушении этой старины, а друзья новизны не укоряли в старомодности"[1]. Реформа Ломоносова имела своей задачей концентрацию живых национальных сил литературного языка на основе старой книжной культуры. Стремясь к буржуазной национализации церковно-книжной речи, Ломоносов вместе с тем ограничивает сферу воздействия на русский язык „чужих", т. е. западноевропейских, языков. „Старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским, — пишет Ломоносов, — отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков... Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене, и к упадку преклоняют".

§ 4. Фонетические различия между стилями.

Различие трех стилей не сводилось только к словарному и фразеологическому составу их. Оно было обосновано грамматически, т. е. подкреплялось фонетическими, морфологическими и синтаксическими особенностями. Разделение языка на три стиля вносило порядок в ту пестроту внешних форм — русских и церковно-славянских, которая была особенно характерна для стилей литературного языка конца XVII — первой трети XVIII вв. Но и в области фонетической диференциации стилей резко обозначались только отличия высокого слога от низкого. „Важному и красноречивому слогу приличен такой же выговор слов" (Шишков). Орфоэпические принципы высокого слога состояли, главным образом, в тенденции к оканью, в различении звуков *ѣ* и *е*, в сохранении ударяемого *е* перед твердыми согласными (т. е. в сохранении церковно-славянской огласовки *е* на месте русского *о* после мягких согласных), в широкой распространенности фрикативного *h* (звучавшего в тех словах, которые низкий слог знал только с взрывным *г*), нередко в своеобразиях ударения и в особой системе декламативных интонаций. Конечно, господство церковно-славянских морфем (без полногласия, с *щ* и *жд* на месте русских *ч* и *ж* и т. п.) еще более выделяло высокий слог как особую разновидность литературного языка. Необходимо подробнее рассмотреть орфоэпические нормы высокого слога.

---

[1] А. И. Соболевский, Ломоносов в истории русского языка, (Речь на торж. собрании Ак. наук), СПБ, 1911 г., стр. 7, 8. Ср. также Е. Ф. Карский, Значение Ломоносова в развитиии русского литературного языка, Варшава, 1912 г. (оттиск из Рус. фил. вестн., т. LXVII).

1. О произношении *о* там, где звучало церковно-славянское ударяемое *е* писал В. К. Тредиаковский: „*иo*... для простых и народных слов несколько“ [1]. А. А. Барсов в своей грамматике указывал, что „*е* под ударением часто переменяется в просторечии на *иo*: *лед, мед, веселый, Семен* произносятся: *миoд, лиoд, весиoлый, Семиoн.* Собственное имя *Петр* хотя и переменяет в просторечии *е* на *иo*, но когда принадлежит высоким особам, то удерживает *е*: *Петр Великий, Петр апостол*, а не *Пиoтр*“ [2]. В грамматике Ломоносова правило перехода *е* в *о* было тоже ограничено областью просторечия. Во-первых, Ломоносов выделял формы склонения и спряжения, в которых *е* оказывается под ударением. Напр.: „*три, трех; везу, везешь; огонь, огнем,* выговаривают в просторечии *триoх, везиoш, огниoм.* Также когда в разных падежах или временах перенесено будет ударение на *е*: *несу, нес; верста, верст; бревно, бревна* выговаривают *ниoс, виoрст, бриoвна*“. Во-вторых, Ломоносов указывал на произношение суффикса *иoк*: *кулиoк, якориoк* — в уменьшительных на *-ек.* В-третьих, он давал перечень „имен“, в которых рекомендовалось выговаривать *е* под ударением, как *иo*: *мед, лед, семга, едрен, лен, овес, орел, осел, пес, перст, пестр, тепл, темен, Петр, Федор, Семен* [3].

Таким образом, сфера произношения *е* первоначально замыкалась простым слогом [4]. В высоком слоге господствовала церковно-славянская огласовка. Даже в начале XIX в. А. С. Шишков признавал звук *иo* (*ё*) на месте церковно-славянского *е* перед твердыми согласными „несвойственным благородству и чистоте“ книжного языка [5]. В среднем слоге *ё* вместо *е* было окончательно канонизировано карамзинской реформой, хотя в дворянском бытовом просторечии уже давно преобладало.

2. На неполное „аканье“, на тенденцию к чтению звука *о* как произносительную норму высокого слога, помимо косвенных свидетельств долго державшегося церковного произношения, указывает также замечание Ломоносова, что произношение „в чтении книг и в предложении речей изустных к точному выговору букв склоняется“ [6]. На оканье же косвенно намекают и такие слова Ломоносова о „поморском диалекте“: „Поморский несколько склонен ближе к старому славянскому“. В „Российской грамматике“ Рос. академии закон об аканье формулируется так: „Буква *о*, когда не имеет над собою ударения, во многих словах произносится в обыкновенных разговорах, для смягчения выговора, подобно букве *а*“ [7].

---

[1] В. К. Тредиаковский, Разговор об ортографии, Соч., 1849 г., т. III.

[2] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. IV, стр. 280.

[3] М. В. Ломоносов, Грамматика, § 94 (по I—IV изданиям, § 97 по изданию Акад. наук: Сочинения М. В. Ломоносова, т. IV, СПБ. 1898 г., см. Примеч. в этом томе, стр. 34).

[4] Ср. у Тредиаковского в „Разговоре об ортографии“: „ниский и почитай могу сказать самый простой выговор такое у нас свойство имеет, что едва не все или по самой большой части *е* ударяемые произносит двугласною *иo*“ — Соч., 1849 г., т. III, стр. 252.

[5] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. I, стр. 253.

[6] М. В. Ломоносов, Грамматика, § 100 (§ 104).

[7] Российская грамматика, сочиненная Росс. акад., изд. 2, 1809 г., стр. 6.

Отголоски такого произношения сохранялись долго, до начала XIX в. М. Макаров в своих записках о знакомстве с А. С. Пушкиным вспоминает: „Некто NN прочел детский катрен поэта и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на *о*“ [1]. Впрочем, московское аканье врывалось в церковное произношение и сближало в этом отношении высокий слог с фонетикой бытового языка [2].

3. Разница в произношении звуков *е* и *ѣ* в церковно-славянском языке, воспринятая высоким слогом, подтверждается рядом свидетельств XVII — XVIII в. [3], но в половине XVIII в. уже начинает исчезать. В „Технологии“ 1725 г. (рукопись Ленингр. Публ. библ.) читается: „буква *ѣ* произносится аки *ие*... вместо *ѣ* писатися и произноситися *е* или *и* не может; аще ли же кто сице употребляет, той убо не весть ни разума речений ниже силы писаний...“ (24 л.) В грамматике 1731 г., помещенной в приложении к немецко-латинско-русскому словарю (изд. Ак. наук), заявляется, что *ѣ* принадлежит к дифтонгам (стр. 3).

В. К. Тредиаковский, отличая *ѣ* от *е* и сближая *ѣ* с йотированным *е* (Σ), обозначавшим „звон латинских букв *ие* по немецкому и польскому латины произношению, признает смешение букв *ѣ* и *е* „толь порочным, что невозможно изобразить сколько, разве токмо, что оно пребезмерно порочное“.

А. П. Сумарков о различии в произношении *ѣ* и *е* высказывается так:“ „Когда которая литера остра и когда тупа, сие и сам нежный слух являет, наприм: *мед*, *мѣдь*; в одном слове и *м* и *д* тупые, а в другом и *м* и *д* — острые“ [5]. Характерно также заявление, что „*ѣ* всегда несколько в *и* вшибается“ [6]. Однако тот же Сумароков свидетельствует, что под напором разговорно-бытового языка церковно-славянская традиция различного произношения *ѣ* и *е* умирает, и что *ѣ* и *е* в высоком славянском слоге нередко сливались в один звук. „Мне трудняе многих, — говорит Сумароков, — научиться было отличать *ѣ* от *е*, ибо в прекрасном произношении московском, которое почти одни только приближенные к Москве крестьяня употребляют, не шпикуя языка своего чужими словами и не пременяя древнего произношения, мы находим то, что благородные люди, наши предки, многие тупые слова в острые пременили“ [7].

Ломоносов в своей грамматике уже почти отказывается различать *ѣ* и *е* в просторечии. Однако, по его словам, эту разность „в чтении весьма явственно слух разделяет и требует в *е* дебелости, в *ѣ* — тонкости“. Иными словами, фонетическое различие между *ѣ* и *е*, уже чуждое просторечию и состоявшее в более узком произношении *ѣ* по сравне-

---

[1] „Современник“, 1843 г., т. XXIX.

[2] Ср. у Тредиаковского, „Разговор об ортографии: „Нашего российского произношения природа есть такая, что оно каждый звон свойственным ему отверстием произносит *а*, *е*, *и*, *о*, *у*. Однако сие надобно знать, что московский выговор все неударяемые *о* произносит, как *а*“. — Соч., изд. 1849 г., т. III, стр. 252.

[3] Подробнее см. в работах Л. Л. Васильева, К истории звука *ѣ* в московском говоре в XIV — XVII вв., „Изв. Отд. рус. яз. и слов“., 1905 г., кн. III и в моей книге „Исследования в области фонетики севернорусского наречия“, 1922 г., гл. V, стр. 325 и след.

[4] В. К. Тредиаковский, Разговор об ортографии, соч. 1849 г. т. III, стр. 128.

[5] А. П. Сумароков, Наставление ученикам, Соч. 1787 г., ч. X, стр. 48.

[6] Там же, стр. 49.

[7] Там же, стр. 42.

нию с *е* и в смягчении согласных перед *ѣ* при неполной палатализации их перед *е*, это различие продолжало еще держаться в церковном языке и высоком слоге (но ср. Грамм. Ломоносова, § 113 и 114), постепенно сглаживаясь, и приблизительно в 60-х годах XVIII в. исчезло совсем из литературного языка.

4. Указания на произношение *г* как звука фрикативного в русском литературном языке XVIII в., т. е. в высоком слоге славяно-российского языка, встречаются с конца XVII — начала XVIII в. (напр. в грамматике Вильгельма Лудольфа, в „Anfangsgründe der russischen Sprache“ 1731 г.). В. К. Тредиаковский писал, конечно, о литературном произношении: „все мы россиане наш *г* произносим как латинское *h*“ [1]. Поэтому тут же развивается мысль о необходимости введения буквы *g* для обозначения взрывного звука *г*: „В нашем великороссийском произношении давно, или еще исстари уже она употребляется. Ибо никто у нас сего слова *гусь*, и бесчисленно многих других, не произносит так, как оно написано через *г*, т. е. как через *h* латинское по немецкому и польскому латины произношению, но как через *g* латинское ж, как например, *gусь*; однако, все такие слова пишем мы через *г* в противность произношению“ [2]. В грамматике Ломоносова, которая, несомненно, страдала уклоном к северно-русскому областному произношению, пределы употребления славянского *г* (*h*) рисуются более узко, хотя и не вполне отчетливо: „Сие произношение осталось от славянского языка, а особенно в косвенных падежах речения *бог*... в речениях *господь*, *глас*, *благо* и в их производных и сложенных“ [3]. Ближе к нормам церковного произношения стоял Аполлос Байбаков, который в своей грамматике заявлял: „В церковных словах *г* произносится мягко, напр.: *господи, глас грома твоего грядет*; а в простонаречии жестко, как латинское *g*, напр.: *гром гремит*..; *г* произносится жестко, ежели стоит перед *р*, напр.: *грабли*, *грибы*; перед *л*: *глаз, гладко*. Когда соединится с гласными *е*, *и*, *ѣ*, *о*, *у*, произносится по большей части мягко: *гибель*, *нагибаю*, *гости*, *гумно* и пр.“ [4]. Ср. указание на распространенность латинского *h* в высоком слоге в „Российской грамматике“, сочиненной Рос. академией [5]. О преобладании фрикативного *г* в высоком слоге говорил еще А. С. Шишков в начале XIX в. [6]

5. Различия в ударении слов между высоким и простым слогом подчеркиваются разными писателями и грамматиками. Чаще всего уклонения от церковно-славянского языка истолковываются как искажение норм литературной речи. Так А. А. Барсов указывает, что недостаточное знакомство с церковными книгами, классическими стихотворениями и словарями „подало причину к некоторым неправильным и странным, ныне усиливающимся ударениям слов, на польское по большей части и вообще на чужестранное или безграмотное и низкое произношение склоняющимся.

---

[1] В. К. Тредиаковский, Разговор об ортографии, Соч., 1849 г., т. III, стр. 260.

[2] Там же, стр. 261.

[3] Грамматика, § 99 (§ 102).

[4] Грамматика, руководствующая к познанию славяно-российского языка“ Печатана в типографии Киевопечерския лавры, 1794 г.

[5] 1809 г., стр. 7.

[6] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. III, стр. 31—40.

Напр.: *должны́* и даже *должно́* вместо *до́лжны* и *до́лжно*: также *мно-же́ственное, обще́ственное, римля́не, россия́не Гекто́р* и пр. вместо *мно́жественное, о́бщественное, ри́мляне, росси́яне, Ге́ктор* и пр. Он же отмечает все усиливающееся воздействие русского общественно-бытового ударения на высокий, славянский слог: „вместо *во́здух* мнится, нельзя уже ныне сказать *возду́х* по-церковному“ [1]. В начале XIX в. А. А. Шишков писал о разнице в системе ударения между высоким слогом и просторечием: „Высокий слог отличается от простого не только выбором слов, но даже ударением и произношением оных (в высоком слоге *на го́ру*, в просторечии *на́-гору*. [2] И в другом месте: „Хотя простой безграмотный народ, всегда искажающий произношение, вместо *смыслен, хитр* и говорил: *смышлио̂н, хитио̂р*, однако грамотные люди никогда в письменной язык сего грубого и низкого произношения не вводили: оно противно было и глазу их и слуху“. [3]

Конечно, при отсутствии твердых норм высокого произношения проникали в высокий слог просторечные и даже диалектические ударения. Так А. П. Сумароков упрекал Ломоносова в провинциальном северно-русском произношении, напр. „вместо *ле́та* — *лета́*, вместо *гра́дов* — *градо́в* и пр.“, и констатировал: „Многие не размышляя таковые... ошибки приняли украшением пиитическим, и употребляют оные к безобразию нашего языка, что г. Ломоносову, яко провинциальному уроженцу, простительно, как рожденному еще и не в городе, а от поселян, но протчим, которые рождены не в провинциях и не от поселян, сие извинение быть не может“ [4]. Однако и сам Сумароков, внося в высокий слог формы московско-дворянской разговорной речи, подвергался нападкам и обличениям со стороны В. К. Тредиаковского, отмечавшего и акцентологические несоответствия: „Слово *сыны́* положены ямбом неправо: надо *сы́ны*, а по словенски *сы́нове*; мы произносим не *дальне́йший*, но *да́льнейший*... Неправо ударяется *вредне̂йший* за *вре́днейший, важне́йше* за *ва́жнейше*... *освирепе́л* за *освире́пел; разру́шил* за *разруши́л; изы́дите* за *изыди́те; кро́ме* за *кроме̂* и т. п.“ [5]. Ср. у В. И. Майкова: *зна́тнейшего, разрушу́* [6].

6. Высокий слог отличался от среднего и простого особой системой интонаций и мимической „игры“, жестовых иллюстраций, повидимому, видоизменявших традицию церковного ораторства.

Таковы наиболее резкие фонетические особенности высокого слога. Они углубляли грамматическую разницу между стилями.

§ 5. Принципы грамматической диференциации стилей. Морфологические различия.

Вопросы грамматической диференциации стилей были особенно существенны. Необходимо было узаконить отход высокого „славяно-россий-

---

[1] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. IV, стр. 282.
[2] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. III, стр. 31—40.
[3] Там же, ч. V, стр. 96.
[4] А. П. Сумароков, Соч., 1787 г., ч. X, стр. 7.
[5] А. А. Куник, Сб. материалов для истории Ак. наук в. XVIII в., т. II. стр. 450, 469, 481.
[6] В. И. Чернышев, Заметки о языке басен и сказок В. И. Майкова, Сб. памяти Л. Н. Майкова, СПБ, 1902 г.

ского" слога от староцерковной речи. Грамматичесние категории, уже вымершие в общем употреблении, но сохранившиеся в церковном языке, напр., формы простых прошедших времен — аориста, имперфекта, — формы склонения со смягчением заднеязычных типа *руце, вразй* и т. п., еще появлялись в книжно-мещанской литературе, а иногда попадали и в письменный язык дворянства, близкий к канцелярскому и церковно-славянскому. Напр. в „Записках" В. А. Нащокина: *„от сего временного в вечное блаженство отыде"* [1], *„умре"* [2] и т. п. В. К. Тредиаковский свидетельствует: „Многии не токмо говорят, что простительнее, но и пишут: *по торгом и рынком, в рядех и на площадех*, вместо *по торгам и рынкам, в рядах и на площадях"* [3]. Нормализация высокого слога была связана с точным определением тех морфологических категорий церковного языка, за которыми еще сохранились литературные права [4]. Ограничение церковно-славянского языка открывало широкий доступ в литературу грамматическим формам русской бытовой речи.

Грамматические отличия высокого слога от простого сводятся к следующим формам:

1. В род. пад. ед. ч. им. сущ. мужского рода твердого и мягкого склонения у „славенских" слов, у слов высокого слога, преобладает окончание *-а*, у русских — *-у*, и русские слова „тем больше оное принимают, чем далее от славенского отходят". Напр.: *размаху, часу, взгляду, визгу, грузу, попреку, переносу*, но *возрасту* и *возраста; виду* и *вида, трепет* только — *трепета*. „Сие различие древности слов и важности знаменуемых вещей весьма чувствительно, и показывает себя нередко в одном имени. Ибо мы говорим: *святаго духа, человеческаго долга, ангельскаго гласа*, а не *святаго духу; человеческаго долгу; ангельскаго гласу*. Напротив того свойственнее говорится: *розоваго духу, прошлогодняго долгу, птичья голосу*, нежели *розоваго духа, прошлогодняго долга, птичья голоса"* [5].

2. В общем то же стилистическое отношение устанавливается между формами предл. пад. ед. ч. сущ. мужского рода на *-е* (*-ѣ*) и на *-у* (особенно при предлогах *в* и *на*) (§ 185).

3. Простой слог отличается от высокого широким распространением „имен увеличительных и умалительных" (§ 241—251).

4. Формы сравнительной и превосходной степени на *-ейший -айший -ший*, признаются приметой „важного и высокого стиля, особливо в стихах": *далечайший, светлейший, пресветлейший, высочайший, превысочайший, обильнейший, преобильнейший*. „Но здесь должно иметь осторожность, что бы сего не употребить в прилагательных низкого знаменования или в неупотребительных в славенском языке, и не сказать: *блеклейший преблеклейший; прытчайший, препрытчайший* и сим подобных" (§ 210).

5. Категория числительных в высоком слоге сохраняет архаические

---

[1] В. А. Нащокин, Записки, СПБ, 1842, стр. 20, 28, 31.

[2] Там же, стр. 26, 35.

[3] В. К. Тредиаковский. Разговор об ортографии, стр. 223.

[4] Характеристику языковой реформы Ломоносова и описание его языка см. в книге Antoine Martel: „Michel Lomonosov et la langue littéraire russe", Paris, 1933, особенно в разделах гл. II („La doctrine"), III: „Le problème de la norme et de l'usage", IV: „La théorie des styles" и в гл. III („La pratique").

[5] М. В. Ломоносов, Грамматика, § 167, 168. В дальнейшем указываются параграфы того же издания. (См. прим. 3 на стр. 89).

формы, напр., *четыредесятый* (сороковой), *девятьдесятый* (девяностый); точно также девять производных числительных от *одиннадцати* до *девятнадцати*, „составляющиеся приложением *надесять; первый надесять, вторый надесять* и протчая, употребляются только в важных материях и в числах месячных: *Карл вторый на десять*, а не *двенадцатой; Людвиг пятый на десять*, а не *пятнадцатой; Сентября пятое на десять число*, а не *пятнадцатое число*" (§ 254)

6. Числительные *двое, трое, четверо, десятеро* и пр. „употребляются только о людях — и то по большей части низких. Ибо не прилично сказать: *трое бояр, двое архиереев;* но *три боярина, два архиерея*" (§ 486). Так устанавливаются ограничительные нормы употребления собирательных числительных в высоком слоге.

7. Формы причастий признаются характерной особенностью высокого „славенского" слога. Поэтому „причастия только от тех российских глаголов произведены быть могут, которые от славенских как в произношении, так и в знаменовании никакой разности не имеют, напр., *венчающий, питающий, пишущий,* (§ 435), *питавший* (§ 436), *венчаемый, пишемый, питаемый подаемый, видимый, носимый* (§ 439); также в глаголах на *-ся: возносящийся — возносившийся; борющийся — боровшийся, боящийся — боявшийся* (§ 445); с суффиксом *-ну — двинувшийся, свернувший* (§ 437). Причастные конструции „употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать через возносимые местоимения *который, которая, которое.* Весьма не надлежит производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат (напр. *говорящий, чавкающий* (§ 435); *трогаемый, качаемый, мараемый* (§ 439); *брякнувший, нырнувший* (§ 437) и только в простых разговорах употребительны (§ 338). Поэтому же от глаголов типа — *сматривать* употребительны только краткие формы причастий — *сматриван; сматриваной сматриваная, сматриваное* и сим подобные не в частом употреблении. Славянские глаголы, редко в российском языке употребительные, сих причастий не имеют". Вместе с тем в тех стилистических условиях, где представляется целесообразным употребить причастие, „можно в пристойные места взять из славенского языка...: *колдующий, дерущийся* не принимаются; но вместо их служить могут: *волшебствующий, воюющий*" (§ 448).

8. „Прошедшие неопределенные" (т. е. прошедшего времени несовершенного вида) причастия в славенских глаголах имеют окончания *-ый*, род. пад. *-аго*, и пишутся с двумя *н* (*-нн-*), напр., *питанный, венчанный. писанный, виденный;* в русских они кончаются на *-ой*, род. пад. *-ого*, и на конце один *н* имеют, напр., *качаной, мараной* (§ 441).

9. В формах деепричастий также устанавливается стилистическое разделение: „деепричастия на *-ючи* пристойнее у точных российских глаголов, нежели у тех, которые от славенских происходят; и напротив того деепричастия на *-я* „употребительнее у славенских, нежели у российских (напр. лучше сказать *толкаючи*, чем *толкая*; но *дерзая*, а *не дерзаючи* (§ 351).

10. В „простом российском языке" для изображения скорых действий употребительны междометные формы глаголов, „производимые от прошедших неопределенных: от *глядел — глядь*; от *брякал — бряк*; от *хватал — хвать*; от *совал — сов*; от *пыхал — пых*" (§ 422). Ср. у В. И. Майкова: „*тут щука приплыла и уду **трях***"; „*медведь на пашню **шасть***" и др.

11. Возвратные формы страдательного залога на *-ся* считаются особенностью высокого слога: *„он от нас превозносится*, для приближения к славенскому свойству, слуху не противно“ (§ 505). „Славенские речения больше позволяют употребление возвратных, вместо страдательных; к чему требуется прилежное чтение и довольное разумение книг церковных“ (§ 507), напр.: *ветром*, или *от ветра колеблется море* (§ 506). Но „всегда безопаснее употреблять страдательные глаголы“ (т. е. формы с причаст. страд. зал.): *„Фараона вода потопила; Фараон водою потопился*; последнее уже другую силу имеет, будто бы фараон потонул по своему желанию. Прямое страдательное знаменование: *Фараон потоплен водою*“. (§ 507).

12. Глагол *есмь* „редко явственно изображается, особенно в обыкновенном штиле, и в разговорах“, но в высоком стиле применение этого глагола все же возможно.

13. В употреблении междометий, как свойство славянского языка, отмечается „восклицательное *о*! с род. пад.: *о чудного промысла*! Но россиянам свойственнее именительный: *о, чудный промысл*!“ (§ 565).

14. С этими морфологическими различиями Ломоносов объединяет синтаксический оборот дательного самостоятельного (*„восходящу солнцу“*). В высоком слоге „с рассуждением“ допустимо его употребление. „Может быть со временем общий слух к тому привыкнет, и сия потерянная краткость и красота в российское слово возвратится“ (§ 528).

Проф. А. А. Барсов, отстаивавший литературные права буржуазного просторечия, в своей грамматике (1771—1788 гг.) пополняет этот перечень отличий высокого слога от простого новыми категориями.

15. В области склонения существительных: а) им. сущ. среднего рода на *-ие*, имеющие в простонародном употреблении вместо *-и -ь* (j), в род. пад. множ. ч. по большей части оканчиваются на *-ев*, напр., *желаньев*; в высоком же слоге употребительны только формы на *-ий*; б) имена на *-мя* склоняются в простом слоге по образцу слов среднего рода, напр., род. пад. ед. ч. типа: *время, бремя* — „от поврежденного и самого низкого именительного“; поэтому не только в высоком, но и в среднем слоге нельзя позволять себе такого употребления [1]. Ср. в „Записках“ В. А. Нащокина: *со знамем*; у Державина: *сын время*; *в водах и в пламе* и т. п.

16. В области склонения прилагательных: а) в просторечии род. пад. ед. ч. прилаг. мужского и среднего рода оканчивается на *-ова*, *-ева*: *великова, знатнова, божьева* и пр., вместо настоящих: *какого, нашего, великаго, божьяго* и пр. [2] Ср. у В. И. Майкова: *ево, тово, ково, одново, жаренова, худова, нашева*.

17. В области склонения числительных отмечается, как свойство просторечия, совпадение косвенных падежей от слова *сорок* в одной форме *сорока*: *двумя сты пятью тысячью сороком часов* или, по простому употреблению, *сорока часами*, либо *сорокью часами* [3].

В. П. Светов присоединяет еще несколько указаний на грамматиче-

---

[1] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. IV, стр. 284—285.
[2] Там же, стр. 281.
[3] Там же, стр. 290.

скую разницу между высоким и простым слогом, между просторечием и „штилем“.

18. В формах им. прил. род. пад. ед. ч. женского рода „в важном слоге, а наипаче высокие слова пристойнее, кажется, кончить на *-ыя — -ия*. Напротив того, не говорится и не пишется: *цена черепаховыя табакерки, человек подлыя природы*“. Но ср. у В. И. Майкова: *средь склизкия дороги; крестьянския кобылы* и др.[1]; ср. также смешение русских и „словенских“ форм в языке Сумарокова.

19. По указанию В. Светова (автора грамматики, изданной в 1790 г.) формы склонения на *-ие, -ия, ием* и т. п., в которых сохранялось *и* (а не *ь: ье, ья, ью* и т. д.), характеризуют „важную материю“, напр., *житие* (а не *житье*) *Петра Великого, дреколие, верою и любовию* и т. п.; напротив, было бы странно говорить и писать *пылию засыпан* и т. п.

20. То же явление отмечается „при глаголах, на *-ью* в просторечии и в низком роде сочинений кончаемых, которые в слоге, важность некую заключающем, вместо *ь* принимают *и: пиется, бию, пию* и др.

21. В формах инфинитива (напр. *вещати, глаголати, облещися в бодрость* и т. п.) высокий слог допускает окончание *-ти* (ср. также *рещи*), также во 2-м л. настоящего времени: *-ши, -шися (трудишися, подвизаешися* и проч.). „Чем ближе глагол ко славенскому свойству подходит, тем сие окончание слуху приятние становится“[2].

Количество морфологических параллелей высокого и простого слога можно было бы еще увеличить. Напр., сюда относятся различия форм им. пад. множ. ч. им. сущ. мужского рода на *-а, -á, -ья, -ья́* и на *-е, -и, -ы* (ср. замечание Тредиаковского[3] о просторечном *дворяна* вместо *дворяне*), различия в видах глагола (ср. широкое развитие многократного вида в простом слоге, напр. у В. И. Майкова: *станавливалась, приезживал* и т. п.) и нек. др. Но и без того ясны глубокие морфологические разделы между стилям. И вместе с тем становится еще явственнее структурная рознь между профессиональным церковно-славянским и литературным славяно-российским языком[4]. Устанавливается грамматическая автономия славяно-российского языка. Область применения церковно-славянских форм суживается, количество их сокращается. Морфологическая система литературной речи сближается с бытовым языком, а в простом слоге стремится к совпадению с ним. В сфере грамматики остро и глубоко обозначается буржуазно-дворянское преодоление церковно-книжной феодальной культуры. М. В. Ломоносов справедливо писал в своем прошении (1762 г.): „На природном языке разного рода моими сочинениями грамматическими, риторическими, стихотворческими, так же и до высоких наук надлежащими физическими, химическими и механическими, стиль российский в минувшие двадцать лет

---

[1] В. И. Чернышев, Заметки о языке басен и сказок В. И. Майкова, Сб. памяти Л. Н. Майкова, СПБ., 1902 г., стр. 139.

[2] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. IV, стр. 311—312.

[3] В. К. Тредиаковский, Разговор об орфографии, стр. 223.

[4] Ср. также ст. проф. Е. Ф. Будде: Несколько заметок из истории русского языка, „Журн. мин. нар. просв.“, 1898 г., № 3 и 1899 г. № 5, а также: Из истории русского литературного языка конца XVIII и нач. XIX в., „Журн. мин. нар. просв“., 1901 г., № 2.

несравненно вычистился перед прежним и много способнее стал к выражению идей трудных, в чем свидетельствует общая аппробация моих сочинений и во всяких письмах употребляемые из них слова и выражения, что к просвещению народа много служит“.[1]

§ 6. Синтаксическая „организация“ литературного языка.

В области синтаксиса литературно-языковая нормализация половины XVIII в. сосредоточена почти исключительно на формах высокого слога. Это понятно. За высоким слогом стояла богатая традиция церковно-книжной риторики, достигшей в конце XVII — начале XVIII в. под латино-польским влиянием блеска и изощренности. Сюда присоединилось и влияние немецких риторик (напр., Ausführliche Redekunst Готшеда). В среднем и простом слоге царило смешение синтаксических форм просторечия с отражениями латино-немецкого синтаксиса, шедшими из церковно-славянского языка и официально-канцелярского слога. Только еще начинало развиваться влияние французской синтаксической системы, находившей опору в навыках и свойствах разговорного языка дворянского общества. Но писатели отстаивают свободу словорасположения, особенно в стиховом языке. Запутанные латино-немецкие конструкции встречаются и в деловом языке и в разных стилях литературной речи до последних десятилетий XVIII в. Напр., зависимые от им. сущ. формы других сущ. (особенно часто род. пад. объекта) со всеми относящимися к ним словами ставятся впереди определяемого имени и притом нередко размещаются между формой прилаг. и управляющим сущ. В эпистолярном стиле: *„И мы почти ежедневно ожидаем подлинного о Бухарестского конгресса разрыве известия“* (письмо Бибикова к Фонвизину, 1773 г.). — *„Буду я самолично тебя благодарить за все твои дружеские мне в бытность здесь одолжения* (тоже, 26 апреля 1773 г.). — *„Побить их я не отчаиваюсь, да успокоить почти всеобщего черни волнования великие предстоят трудности* (29 января 1774 г.). Ср. такой оборот речи: *„Я, по совершению договорных пунктов, считаю добрым его* (перемирие) *быть основанием к желаемому миру“* (6—17 июня 1772). Характерен для прозаического языка этой эпохи порядок слов с глаголом на конце; напр., в „Записках“ В. А. Нащокина: *„намерение восприять изволила оный брак, в месяце маие, при помощи вышняго, совершить“* (стр. 23); *„весьма от болезни слаб был“* (стр. 19) и др. под.

Противопоставляя новый офранцуженный синтаксис дворянского языка XIX в. старому, И. И. Дмитриев пояснял разницу таким примером: „Елагин, помнится мне, третью книгу „Российской истории“ начинает так: *„Неизмеримой вечности в пучину отшедший князя Владимира дух...“* Держась естественного порядка в словорасположении, следовало бы поставить: *„Дух Князя Владимира, отшедший в пучину вечности неизмеримой“*, хотя и таким образом изложенная часть периода была бы надута и нетерпима образованным вкусом“[2]. В 1775 г. (11 июня) приятель Карамзина Петров писал ему, пародируя синтаксис книжного языка первой половины XVIII в. и иронически советуя „сочинять“ на славяно-рус-

[1] П. Пекарский, История Ак. наук, СПБ, 1873 г., т. II, стр. 772.
[2] И. И. Дмитриев, Взгляд на мою жизнь, т. II, стр. 60—61.

7 В. В. Виноградов — 1859

ском языке „долгосложно-протяжно-парящими словами“: *„Для дополнения же твоего искусства писать таким слогом, советую тебе читать сочинения в стихах и в прозе Василия Тредиаковского, коего* **о в любви езде остров** *книжицею пользуюсь переводною, ныне с французского языка и весьма ту читаю.“* [1]. Н. И. Греч в „Чтениях о русском языке“, указав на латино-немецкий синтаксис Ломоносова, продолжает: „Ломоносов не говорит о собственной русской конструкции, т. е. о порядке и размещении слов, свойственных русскому языку. От этого упущения возникло странное и нелепое правило позднейших грамотеев: ставь слова как хочешь“ (стр. 110—111). Порядок слов — это был больной вопрос синтаксиса русской литературной речи XVIII в. С ним соединялся вопрос о протяжении предложения, о длине периода. Когда в начале XIX в. представители новой литературы говорили о „старом слоге“, то они прежде всего обвиняли его в запутанной расстановке слов и затрудненном движении мысли по тягучим периодам. Так, П. А. Плетнев, отмечая среди недостатков Милонова, как писателя, который „стоит по языку назади от своего времени“, запутанную расстановку слов, тут же прибавляет: „Встречаются у него периоды столь длинные, что внимание, будучи утомлено набором подлежащих и сказуемых, теряет из виду связь мыслей“ [2]. „Правильный ход всех слов периода, смотря по смыслу речи“, „естественное словотечение“ и „гармония“ — вот те свойства слога, которые противополагались в светском языке, созданном дворянской интеллигенцией конца XVIII в., запутанности конструкций и однообразию периодов „старого“ языка, языка Ломоносова, Фонвизина, Державина. В заметке о сочинениях Жуковского и Батюшкова тот же Плетнев приводил в качестве иллюстрации к синтаксическому строю XVIII в. примеры из сочинений Державина:

Живи — и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим...

(„Водопад“)

или:

Сия гробница скрыла
Затмившего мать лунный свет...

(„На смерть граф. Румянцевой“.)

„Всякий согласится, что подобная расстановка слов, при всех совершенствах поэзии, стихи делает запутанными“. [3] Н. Д. Чечулин [4] правильно указывал, что это „искусственное расположение слов, совершенно не соответствующее логическому отношению отражаемых ими понятий“, было связано с классическими, преимущественно латинскими традициями в русском литературном языке. Искусственность, даже запутанность словоразмещения, почиталась за одно из украшений речи в классической, особенно в римской литературе; такой взгляд держался и в среде поэтов, писавших по латыни и в XVI—XVII вв. Синтаксис Державина особенно пестрит запутанностью конструкций, напр.:

---

[1] М. П. Погодин, Н. М. Карамзин, 1866 г., ч. I, стр. 30.
[2] П. А. Плетнев, Соч. и переп., т. I, стр. 23.
[3] Там же, стр. 25.
[4] „О стихотворениях Державина“, „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, т. XXIV, кн. I, стр. 87—88.

Кого ужасный глас от сна
На брань трубы не возбуждает...

(Т. II, стр. 102)

И чем в Петрополе, будь счастливей на Званке...

(Т. II, стр. 120.)

Забавно, в тьме челнов с сетьми, как рыбаки,
Ленивым строем плыв, стращат тварь влаги стуком...[1]

(Т. II, стр. 408.)

К. С. Аксаков в своей диссертации „Ломоносов в истории русской литературы и русского языка" (1846 г.) очень ярко описывает своеобразия книжно-письменной церковно-славянской фразы (по его терминологии, „фразы органической") — длинного периода с запутанной расстановкой слов, с глаголом на конце, с обилием союзов, включающих одно придаточное предложение в другое и разрывающих ткань главных предложений. „Риторика" Ломоносова стремилась в эти синтаксические формы „высокого" славенского слога, которые господствовали с XVII в., внести многообразие варьяций словорасположения и сложность, фигурную затейливость синтаксической симметрии. Ср. в стихах поэта ломоносовского направления В. П. Петрова:

То сердце бьется мне от страху,
Чтоб сей герой теча с размаху,
Чем не был в беге преткновен;
То вдруг, лишь он мечом заблещет.
Его успеху совосплещет.

(„На карусель", 1766 г.).

Когда питомец вечной славы,
Геройства росс на подвиг тек...

Приподнятый, оторванный от бытовой повседневности, риторически-изукрашенный, поражающий изобилием тропов и фигур, орнаментальный „штиль" требовал сложного разнообразия различных синтаксических конструкций. Ломоносов разрабатывает теорию периодической речи. Он различает три рода периодов: круглые или умеренные, зыблющиеся и отрывные. Круглые или умеренные — это периоды, в которых „члены (т. е. вставные синтагмы-предложения), а также подлежащие и сказуемые величиною немного разнятся" (почти одинаковы по размерам); зыблющиеся — такие, в которых „части, т. е члены, или в членах подлежащие и сказуемые будут очень неравны"; отрывные — когда „речь состоит из весьма коротких и по большей части одночленных периодов, в которые могут быть переменены долгие через отнятие союзов" (т. е. отрывистые периоды состоят из коротких бессоюзных предложений).

Напр., зыблющийся период: „*Смотреть на роскошь преизобилующия натуры, когда она в приятные дни наступающего лета, поля, леса и сады нежною зеленью покрывает, и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды, с тихим*

[1] Соч. Державина, изд. Ак. наук. Ср. другие примеры в ст. Я. К. Грота: Язык Державина, — в том же изд., т. IX, стр. 352—354.

журчанием к морям достигают, и когда обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенная влажность; слушать тонкий тум трепещущихся листов и внимать сладкое пение птиц: есть чудное и чувства и дух восхищающее увеселение."

„Порядок и обращение периодов в течение слова суть главное дело и состоят в положении целых и в переносе их частей и членов. Положение целых периодов зависит от умеренного смешения долгих с короткими, зыблющихся с отрывными, чтобы переменою своею были приятны и не наскучили бы одинаким течением, которое, как на одной струне почти ни в чем не отменяющийся звон, слуху неприятно"[1]. Так возникает сложная и причудливая система расположения и соотношения периодов в пределах словесной композиции, и устанавливается целая иерархия соподчиненных элементов внутри периода. Речь превращается в торжественную декламацию, подчиненную строгим и разнообразным схемам ритма и мелодики интонационного движения.

В области предложения Ломоносов также не отступает от традиции: он санкционирует идущий от конца XVII в. тип церковно-славянской конструкции, сближенной с формами латино-немецкой фразы, конструкции, отодвигающей глагол на конец предложения и отличающейся причудливыми формами инверсивного словорасположения. Впрочем, принцип варьированья конструкций — организующее начало синтаксического строя в орнаментальном стиле половины XVIII в. Рекомендуется „осторожность, чтобы периоды не начинались всегда с одной части слова, с одного падежа или времени; но должно стараться, чтобы первое речение было то имя, то глагол, то местоимение, то наречие и прочая. То же надлежит наблюдать и при конце каждого периода"[2].

§ 7. Приемы и принципы риторического построения высокого слога.

Для изучения стилистической структуры высоких жанров литературной речи XVIII в., опиравшихся на церковно-библейскую фразеологию, представляет необыкновенный интерес „Риторика" Ломоносова. Она воспроизводит нормы той системы связей и соотношений идей и образов, которою определяется не только лексика и фразеология, но и „словесная композиция" высокого стиля.

Каждая „тема"[3] — распадается на „термины", к которым влекутся определенные идеи — „первые", „вторичные", „третичные", и они все должны быть „пристойны предлагаемой материи". Эта „морфология" идей обусловлена „общими риторическими местами", композиционно-логическими категориями. Индивидуальная „сила соображения", т. е. „душевное дарование с одною вещию в уме представленною купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные", не отрицается (напр. *„когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно*

---

[1] М. В. Ломоносов, Риторика, § 177.

[2] Там же.

[3] Тема — это мысль, „сложная идея", „материя" сочинения. Напр., вот тема: неусыпный труд препятства преодолевает. Термины — это слова, обозначения „простых идей" или сами „простые идеи", из которых „составляется" (т. е. состоит) тема. Напр., „сия тема: неусыпный труд препятства преодолевает имеет в себе четыре термина: *неусыпность, труд, препятства и преодоление.* Предлоги и другие вспомогательные части слова (т. е. служебные части речи) за термины не почитаются" (§ 25).

и море, по которому он плавает, с морем бурю, с бурею волны, с волнами шум на берегах, с берегами камни и т. д." — стр. 97). Но это индивидуальное творчество действует и обнаруживает себя на фоне „грамматики" идей, связанной „общими риторическими местами", строго определенными типами „изображения страстей", формами сочетания тропов и фигур, приемами синтаксического расположения. Прежде всего устанавливается система связей между называемыми предметами. Она покоится на таких категориях, как „род и вид", „целое и части", „свойства материальные", „свойства жизненные", „имя", „действия и страдания", „место", „время", „происхождение", „причина", „предыдущее и последующее", „признаки," „обстоятельства", „подобия," „противные и несходные вещи", „уравнения". Это — не только обязательные точки зрения на „предмет", принципы его словесного „представления", но и формы познания, формы языкового мышления. Напр., в категории „жизненных свойств", определяющих смысловую структуру одушевленного предмета, не только точно отграничены душевные дарования, страсти, добродетели, пороки, внешнее состояние, „телесные свойства" и чувства, но и нормированы формы соотношения между элементами внутри одного разряда. Так, в кругу страстей устанавливаются контрастные пары: удовольствие и раскаяние, надежда и боязнь, упование и отчаяние, гнев и милосердие, удивление и гнушение, честь и стыд и т. д. (§ 91). Точно также и по отношению, напр., имени заданы формы его понимания и интерпретации. Тут выступают принципы этимологизации и морфологического осмысления (*Владимир* — владетель мира), перевода с одного языка на другой (*Андрей* — мужественный), игры омонимами (*свет* — вселенная и *свет* — в противоположность тьме), буквенно-звуковых перестановок (*Рим* — *мир*), образно-исторических характеристик (*Аттила* — бич божий) и т. п. (ср. риторики XVII в). Особенно ярко связь идей проявляется в тех соотношениях, которые подводятся под категорию „противных и несходных вещей".

Очень любопытен пример из „Опыта риторики" проф. Ивана Рижского [1]. Тема: „Соболезнование утешает несчастного" через „изображение" идей по принципу синонимии и антонимии обставляется такими словесными рядами: *Соболезнование.* К нему „приищем подобозначащие слова: *сожаление. сострадание,* и синонимическое выражение: *человеколюбивое участие в горестях ближнего;* прилагательные имена: *искреннее, усердное*; противные понятия: *нечувствительность, беспристрастие.* Ответ на вопрос: кто? *Имеющий чувствительное сердце.* Что? *Желает помочь.* Каким способом? *видя страдания подобного себе.* Для чего? *для удовлетворения своему человеколюбию.* Как? *даже до слез; даже до ненависти к гонителю.* Когда? *есть ли сам испытал когда-нибудь подобную участь*". В той же последовательности раскрывается термин: *утешение.* Его синоним: *отрада.* Антонимы: *огорчение, оскорбление.* Подобозначащее выражение: *уменьшение горести другого.* Прилагательные имена: *восхитительное, трогающее.* Путем ответа на те же вопросы создается период: *Благоразумный приводит в радостные слезы в темницах, на смертном одре советами, примерами, по причине дружества, привязанности, заставляет несчастную забыть на время свое состояние во время отчаяния.* Также обрабатывается и последний термин темы: *нещастный.* Синонимы: *бедствующий, злополучный.* Подобозначущие выражения: *гонимый, утесняемый судьбою.* Наречия: *невинно, внезапно.* Противные понятия: *благополучие, благоденствие.* Путем развития „вторичных" и „третичных" идей можно получить период: *Малодушный плачет, ропщет в обществе, в семействе от злобы и зависимости других или от собственной неосторожности, так что лишается всего во время или юности, или мужества, или старости*".

В „Риторике" Ломоносова принципы сцепления с темой, с „терминами" первых, вторичных и третичных идей на основании „риторических мест" детально не раскрыты. Они лишь иллюстрированы темой — „неусыпный труд препятства преодолевает". Напр., к термину *препятство* влекутся первые идеи: от жизненных свойств — *страх,* от времени — *зима, война,* от места — *горы, пустыни, моря.* Так разъясняется образная сфера „препятства" в ее основных семантических формах. Непосредственно притягиваемые образом „препятства" слова не только определяют те направления, по которым может двигаться развитие идеи препятства, но сами в свою очередь, связаны с строго очерченным кругом

---

[1] И. Рижский, Опыт риторики, М. 1809 г., изд. 3-е.

символов. Так, слово *страх* окружается „образами" бледности, трясения членов (как *листы от ветра в осень*); *зима* тянет за собой: *мороз, снег, град, дерева, лишенные плодов и листьев, отдаление солнца; война* вызывает представление о *лютости неприятелей, мечах, копьях; огне, разорении, слезах разоренных*. Тем же способом вокруг каждой темы „собираются слова, которые не без разбору принимаются, но от идей подлинные вещи или действия изображающих происходят, и как к предложенной теме, так и к самим себе некоторую взаимную принадлежность имеют" (§ 104).

Те же риторические категории приходят в действие, когда возникает проблема распространения, т. е. „присовокупления идей к кратким предложениям, которые их изъяснить и в уме живее представить могут" (§ 114). Однако в этом случае „риторические места" управляют уже не системой связи идей-слов, а формами композиционных сочетаний синтаксико-семантических групп, типами фразеологических сцеплений. Отсюда следует, что в структуре высокого стиля половины XVIII в. (как, впрочем, и в более раннюю эпоху) „константные", неподвижные (так сказать, „грамматические") формы смысловых соотношений по одним и тем же направлениям и категориям располагаются как между словами, так и между фразами, идиомами. Можно думать, что обилие идиом, устойчивость фразеологических „сращений", выступающих как целостные смысловые единства, — характерная особенность высокого стиля первой половины XVIII в., резко отделяющая его в эту эпоху от „среднего стиля", который до конца XVIII в. в кругу своих „светских" и литературно-повествовательных контекстов не имел устойчивой фразеологической системы, находясь все время в состоянии брожения. Иллюстрацией к этой особенности высокого стиля могут служить такие примеры из художественной практики самого Ломоносова:[1]

Россия как прекрасный крин
Цветет под Анниной державой...

(„Ода на взятие Хотина", стих 236—237)

Тобою наш российский цвет
Во всех землях, как крин, цветет...

(„Первые трофеи Иоанна Антоновича", стих 194—195.)

Ср. церковную фразеологию: *Да возрадуется пустыня и процветет, яко крин* (Исаии, 35, 2; 1; парем. на освящение воды в навечерии богоявления и т. д.).

Брега Невы руками плещут,
Брега Ботнийских вод трепещут...

(„Ода на прибытие Елизаветы Петровны", 1742 г., стих 9—10.)

Но холмы и древа скачите,
Ликуйте, множества озер.
Руками реки восплещите...

(Там же, стих 251—254.)

Тебе от верной глубины
Руками плещут воды белы;
Ликуют западны пределы...

(„Ода на восшествие на престол Петра III", стих 157—159).

Ср. псалом 97,8: *Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются.*

Но зрю с весельем чудо славно:
Дивняе неж Алцид чинил;
Как он лишь был рожден недавно,
Скрушив змиям главы сломил.

---

[1] Ср. И. И. Солосин, Отражение языка и образов св. писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова. „Изв. Отд. рус. яз. и слов., 1913 г., т. XVIII, кн. 2.

Ср. псалом 73,13: *ты стерл еси главы змиев в воде;* ср. *стихиру в навечерии богоявления,* гл. 2: *„Сокрушил еси главы змиев“.*

Ты как змию попрешь пороки,
Пятой наступишь ты на льва...

(„Ода на день тезоименитства в. кн. Петра Фед.“, стих 53—54.)

Ср. псал. 90,13: *„На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия“.*

И от российских храбрых рук
Рассыплются противных стены,
И сильных изнеможет лук...

(„Ода на бракосочетание в. кн. Петра Фед.“, стих 158—160.)

Ср. ирмос 3 кан. преображ.: *Лук сильных изнеможе*[1].

Но эта грамматика идей подчинена своеобразным требованиям „поэтичности“, Между речью высокой, „поэтической“, между „штилем“ и речью обыденной. „подлой“ — образуется качественная грань. Существенным элементом организованной литературной речи являются „украшения“ ее, тропы и фигуры. Создается торжественный, условный орнаментальный стиль, организующими формами которого делаются церковно-библейская фразеология и символика. Церковнославянизм лексический и фразеологический выступает как элемент отвлеченного орнамента. „Увеличительное распространение“ „важностью“ присоединяемых идей обогащает формы выражения. Речь должна быть насыщена патетикой, пиитическим восторгом. „Сочинитель... (предлагаемой материи) должен слушателей учинить страстными к оной“[2]. Действие красноречия „долженствует быть велико, стремительно, остро и крепко, не перьвым токмо стремлением ударяющее и потом упадающее, но беспрестанно возрастающее и укрепляющееся“[3]. Такому действию должны помогать „правила для возбуждения, утоления и изображения страстей“. Церковно-славянская стихия своей „важностью“, „великолепием“, „изобилием“, „величием“ вполне гармонирует с этой атмосферой напряженного волнения „страстей“. „Возвышению“ и „оживлению“ стиля содействуют „витиеватые речи“, “предложения,“ в которых „подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом, и тем составляют нечто важное или приятное“[4]. Устанавливается четырнадцать типов „витиеватых речей“. В определении и классификации этих приемов стилистической орнаментации ярко отражается связь ломоносовской теории с теми принципами церковно-книжного „извития словес“, которые разрабатывались риториками юго-западной киевской школы XVII — начала XVIII в. под влиянием латино-польской литературно-книжной традиции. Но у Ломоносова эти стилистические приемы осложнены влиянием немецкой литературы. Примеры витиеватых речей, демонстрируемые Ломоносовым: *„Сребро скупым сребро, железо людям щедрым“* (разделение) „§ 132“.

Раздранный коньми Ипполит
Несходен сам с собой лежит (уподобление). (§ 143).
Смотря на цепь свою, он сам оцепенел,
И жалким голосом металл об нем звенел (превращение)... (§ 142).
„Хоть ныне я в волнах плыву, но воды не гасят любви“ и т. п.

Таким образом, утверждается в высоком стиле „игра слов“; канонизируются приемы образования резких и неожиданных метафор, принципы употребления смелых эпитетов, нарушающих логическую связь понятий; вводится целая система сопряжения „далековатых идей“, „противных или несходственных вещей“. Слова и фразы сочетаются и размещаются не столько по смежности и соответ-

---

[1] Ср. указания А. А. Шишкова на слова и выражения священного писания в языке Ломоносова: *Связуешь воду в облаках* (*связуяи воду на облаках*) и мн. др., Собр. соч. и перев., ч. XII, стр. 156 и след.

[2] М. В. Ломоносов, Риторика, § 94.

[3] Там же, § 99.

[4] Там же, § 129.

ствию их вещественных значений, сколько по их экспрессивному весу. „Рядом с церковно-славянизмом может стоять мифологическое имя... необыкновенное слово, связанное с представлением об античной древности, об Олимпе, т. е. вводящее в ряд возвышенных ассоциаций. Таким же образом могут вводиться и научные термины и имена собственные, в смысле антономазии, в перифразе и т. п. Все эти слова иного порядка, чем те, из которых составляется практическая речь, и иначе употребляемые"[1]. Таким сложным приемам „сопряжения идей" и сочетания образов-метафор подчинен высокий слог.[2] Но оставались ненормированными системы простого и особенно среднего слога.

§ 8. Противоречия между теорией трех стилей и речевой практикой буржуазно-дворянского общества.

Учение о трех стилях не могло дать устойчивых критериев для стилистического разграничения слов, фраз и конструкций русского литературного языка. Ломоносовская реформа подновила старый принцип, предоставив его развитие и варьированье индивидуальному вкусу. В общественно-бытовом употреблении диференциация стилей была сложнее. Труднее всего было определить структурные свойства прозаического среднего стиля. В этой области почти до самого конца XVIII в. царило пестрое смешение церковно-книжных или приказных, канцелярских конструкций с формами „нейтрального", общего светско-литературного и разговорно-бытового языка. Напр., Подшивалов писал о языке „Палефата" Туманского: „Сверх многих славянских слов, не кстати употребленных, напр., *дондеже, весь* (село), *якобы, он могл видеть* и пр.; сверх неприличной смеси славянского с русским, напр.: *уста и глотка возсели на объезжженных лошадей...*; *не мог решиться на убиение отрочати...* заметили мы еще большие странности" [3].

А. Т. Болотов так писал о пристрастии П. Львова, сочинителя романа „Российская Памела или история Марии добродетельной поселянки" (2 ч., 1789 г.)[4] к производству сложных слов по церковно-славянским образцам: „Что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испеченные и нимало еще необыкновенные слова, как, например, *себялюбие, себялюбивый, бельнистая борода, флейтоигральщик, челопреклонцы, великодумцы, щедрохищники* и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему-б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед аккредитоваться поболее в сочинениях" [5].

---

[1] Г. А. Гуковский, Русская поэзия XVIII в., Л., 1927 г., стр. 16.

[2] Ср. ст. Ю. Н. Тынянова, Ода как ораторский жанр (в книге „Архаисты и новаторы") и особенно Г. А. Гуковского, Из истории русской оды XVIII в. (в сборн. „Поэтика", вып. III).

[3] Я. К. Грот, Карамзин в истории рус. литер. языка (Труды, т. II, стр. 57).

[4] „Литературное наследство", № 9—10, (XVIII в.), 1933 г., стр. 217.

[5] В недворянской литературе состав стилей, их границы и их структура были иные. Интересен, напр, язык Ф. В. Кречетова — „забытого радикального публициста XVIII в.": „Кречетов писал тяжелым языком с очень путанной конструкцией фраз, длиннейшими периодами, с большой примесью церковно-славянских слов, со множеством сложных словообразований; в особенности любил он прибавлять к разным словам слово *благо*, как, например: „*Итак благоволите же благовнимательное человечество быть благоснисходительны*". Часть фразы у него прерывается доказательствами какого-нибудь положения и возобновляется через много строк". См. ст. Н. Чулкова о Кречетове в „Литературном наследстве", № 9—10.

А. П. Сумароков в ст. „К типографским наборщикам“ отмечал сильное влияние канцелярского, чиновничьего слога на литературный язык. „Вы знаете, что не только многие переводчики, но и некоторые авторы грамоте еще меньше знают, нежели подъячие, которые высокомерятся любимыми своими словами: *понеже, точию, якобы, имеет быть, не имеется* и прочими такими“ [1]. Таким образом, сложная и противоречивая эволюция литературной речи не могла уместиться в русло трех стилей, так как только высокий слог елизаветинской поры вырисовывался в более или менее ярких очертаниях. Но и тут ломоносовские краски должны были померкнуть: дворянское общество, подвергаясь непосредственному воздействию французской предреволюционной культуры, пленялось французским красноречием. Недаром А. П. Сумароков в своих „Вздорных одах“ остро и зло пародировал „беспредметный“, условный и многословно-пухлый символизм ломоносовских метафор и их причудливую композицию:

Трава зеленою рукою
Покрыла многие места;
Заря багряною ногою
Выводит новые лета...

(„Вздорная ода III.“)

Ср. у Ломоносова в оде VI:

И се уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря,

и особенно в оде IX:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

У Сумарокова:

Там вихри с вихрями дерутся
Там громы в громы ударяют...

(„Вздорная ода I.“)

Вы тучи с тучами спирайтесь
Во громы громы ударяйтесь,
Борей на воздухе шуми...

(„Вздорная ода III.“)

От пепла твердь и солнце тмится;
От грома в гром, удар в удар...

(„Дифирамб Пегасу.“)

Ср. у Ломоносова:

Что вихри в вихри ударялись
И тучи с тучами сражались
И устремлялся гром на гром...

(„Ода на день восшествия на престол 1746 г.“)

---

[1] „Трудолюбивая пчела“, 1759 г., стр. 266—267

Итак, язык светского общежития, письменный язык общества развивается в ином направлении, идет другими, не „славенскими“ путями. И дело Ломоносова очень быстро у его подражателей потребовало поправок, а дворян, стремившихся создать салонные стили литературного языка на западноевропейской основе, оно побудило на прямое противодействие.

Кодифицированные Ломоносовым три контекста, три „стиля“ литературно-книжного языка не покрывали жанров переводной „европейской“ литературы. Трудно было подыскивать фразеологические эквиваленты семантике западноевропейских языков в условно-метафорической, церковно-книжной структуре высокого „слога“. Поэтому приходилось или сочетать славянизмы с „варваризмами“, чем разрушались принципы строения высокого стиля, или же создавать кальки, морфологические „снимки“ с западноевропейской (преимущественно французской) фразеологии, допуская пестрое смещение разных лексических типов. В обоих случаях происходило нарушение границ стилей, и возникали новые структурные формы высокого и „среднего“ слога, мало соответствовавшие ломоносовским нормам. Таким образом, теория трех стилей, обоснованная на разных формах соотношения „славенского“ и русского языков, вернее на постепенном переходе от „славенских“ жанров к смешанным, славено-русским и, наконец, к чистым „российским“, обнаруживала свой схематизм, свое несоответствие с более сложными стилистическими категориями литературно-книжной речи и социально-языковыми категориями разговорно-бытового языка. Разграничение стилей в этой теории было не историческое, не этимологическое, а нормативно систематизирующее. В нормативности был заложен специфический охранительный принцип, направленный против иноязычных влияний. Но именно на этом фронте и произошел прорыв в ломоносовском высоком и среднем слоге. Структура высокого слога была обращена к традиции „церковных книг“, которая в своем основном русле становилась все более и более профессионально-богословской, церковно-культовой. Эволюция же высокого слога на путях „светских“ литературных жанров приводила его к отрыву от первоначального церковно-книжного контекста, следовательно, к органическому перерождению в средний „французский стиль“ или в высокий „цветной“ слог, с иным функциональным обоснованием фразелогии и образов, чаще всего тоже восходивших к французским поэтикам и риторикам. Следовательно, высокий славенский слог мог развиваться преимущественно за счет „ветшавших“ церковных книг или же за счет профессионально-богословской, проповеднической литературы. Но от этой церковной культуры все дальше отходила дворянская литература, стремясь вступить в культурно-исторический контекст западноевропейских литератур. Этой антиномии высокого слога, которая исторически сказывается в умирании ряда прикрепленных к нему литературных жанров или в их трансформации (напр., героической поэмы, трагедии, оды), соответствовала механическая зыбкость, ненормированность „посредственного“ слога. Это была промежуточная сфера без устойчивых границ. Но именно эти две стилистических сферы — высокого слога, подвергшегося воздействию французской риторики, и среднего стиля более всего отвечали интересам дворянства и буржуазии. Кроме того, простонародно-просторечная, с нашей точки зрения иногда даже областная, диалектическая струя в общественно-быто-

вом обиходе дворянства была настолько широка и свежа, что ее не могли остановить преграды ломоносовского среднего стиля, как не остановили потом, в конце XVIII — начале XIX в., запруды карамзинского языка. Тем более, что простой слог пока вообще не подвергался никакой нормировке: он отражал деревенскую вольность „дворянства“.

§ 9. Столкновение церковно-книжной языковой традиции с стилистической культурой французского языка.

Процесс приспособления русского литературного языка к семантической системе французского языка, как „стиля“ европейского „благородного“ общества, развивался в разных направлениях. Для высоких торжественно-официальных стилей литературной речи задача сводилась к европеизации церковно-славянского языка, к сочетанию французских форм выражения с церковно-книжными. Этого рода попытки были особенно активны со второй трети XVIII в. Пока на французской основе не были разработаны средние стили русского литературного языка, более доступные для широких слоев дворянства и буржуазии и более связанные со структурой разговорной речи (к этому стремился еще Тредиаковский, но с уклоном в „подлость“, в простонародность), вопрос о примирении и „смешении“ церковно-славянского языка с французским имел решительное значение для последующего развития русской литературной речи. Требование синтеза церковно-книжного, торжественного витийства с французским красноречием исходило из придворно-аристократических кругов, из среды столичной аристократии. Д. И. Фонвизин в своем „Чистосердечном признании“ очень красочно на своем примере изображает, как провинциальный дворянин сначала изучал русский язык по сказкам дворового мужика и по церковным книгам[1], затем, попавши в столицу и устремившись „к великолепию двора“, убеждался, что без знания французского языка в аристократическом кругу „жить невозможно“. „Стоя в партерах, — пишет Д. И. Фонвизин, — свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась, но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышав от меня что не знаю, то он вдруг переменился в лице и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять... Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному“.

В первой редакции „Недоросля“, относящейся, повидимому, к 60-м годам, Д. И. Фонвизин очень ярко изображает культурно-языковое расслоение дворянства, борьбу между стародворянской языковой культурой опиравшейся на церковную книжность, и новой, светско-европейской. Отец недоросля Аксен Михеич мечтает о том, чтобы „одумались другие отцы в чужие руки детей своих отдавать“: „Намнясь я был у Родиона Ивановича Смыслова и видел его сына... французами ученого. И случилось быть у него в доме всеношной, и он заставлять сынка-то своего

---

[1] „Как скоро я выучился читать, то отец мой у крестов заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание, ибо читая церковные книги, ознакомился с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно“.

прочесть святому кондак. Так он не знал, что то кондак, а чтоб весь круг церковный знать, то о том и не спрашивай". Между тем же Аксеном Михеичем и Добромысловым, представителем просвещенного дворянства, происходит такой разговор о воспитании детей:

„Аксен. Неужли-то ваш сын выучил уже грамоту?

Добролюбов. Какая грамота? Он уже выучился по-немецки, по-французски, по-итальянски, арифметику, геометрию, тригонометрию, архитектуру, историю, географию, танцовать, фейхтовать, фортификацию, манеж и на рапирах биться и еще множество наук окончил, а именно на разных инструментах музыкальных умеет играть.

Аксен. А знает ли он часослов и псалтырь наизусть прочесть?

Добромыслов. Наизусть не знает, а по книге прочтет.

Аксен. Не прогневайся ж, пожалуй, что и во всей науке, когда наизусть ни псалтыри, ни часослова прочесть не умеет? — поэтому он церковного устава не знает?.

Добромыслов. А для чего ж ему и знать? Сие представляется церковнослужителям, а ему надлежит то знать, как жить в свете, быть полезным обществу и добрым слугою отечеству.

Аксен. Да я безо всяких таких наук, и приходский священник отец Филат выучил меня грамоте, часослов и псалтырь и кафизмы наизусть за двадцать рублев, да и то по благодати божьей дослужился до капитанского чину" [1].

В прозе Д. И. Фонвизина и обнаружилась с наибольшей рельефностью тенденция к синтезу французского и церковно-книжного языков, к „согласованию языка церковного с языком общества" (Вяземский). В пестроте галлицизмов и славянизмов фонвизинского языка П. А. Вяземский со своей позиции аристократа-европейца видел попытку сочетать ломоносовскую реформу со вкусами европеизированного столичного дворянства: „Прозаический язык Ломоносова — тело, оживленное то германским, то латинским духом, коему даны в пособие славянские слова. Язык Фон-Визина при тех же пособиях часто сбивается на галлицизмы. Ни в том, ни в другом нет чисто русского, ни чисто славянского, ни даже чисто славяно-русского языка" [2].

И. И. Дмитриев отмечал также тенденцию Фонвизина „для благозвучия наблюдать некоторый размер, называемый у французов кадансированного прозою".

Таким образом, высокий слог славяно-российского языка в лексике, фразеологии, синтаксисе, ритме терпел изменения под воздействием французской риторики, управлявшей языковыми вкусами русского дворянства. Но и в среднем прозаическом слоге Д. И. Фонвизина часто смешаны славянизмы и галлицизмы, в которых растворяются формы просторечия. Напр., в языке „Писем из Франции" и в „Письмах из путешествия" легко обособить такие категории слов, выражений и оборотов [3]:

1. Церковно-славянизмы нередко торжественно-архаической окраски: *„господь наградит со сторицею ту сумму, которую они согласятся ныне*

---

[1] „Литературное наследство", № 9—10, (XVIII в.,) Ранняя комедия Д. И. Фонвизина, стр. 256—258.

[2] П. А. Вяземский, Фон-Визин, СПБ, 1848 г., стр. 66.

[3] Д. И. Фонвизин, Собр. соч. в 4-х частях, изд. Салаева, М., 1830 г., т. II. В скобках указаны страницы этого издания.

заплатить своему государю" (10); *„главное рачение мое*" (13); *„потрясли основания сего пространного здания*" (13); *„общий или паче сказать природный характер нации*" (20); *„надобно отрещись вовсе от общего смысла*" (23); *„почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания*" (27): *„кто из мудрых века сего*" (45) и мн. др.; ср. в „Жизни Н. И. Панина:" *„душ, заматеревших в робости старинного рабства*" (ч. IV, 10). Но особенно архаичны у Фонвизина славянизмы в высоком стиле, напр. в „Слове на выздоровление цесаревича Павла Петровича": *„колико тяжких воздыханий восходило к небесам"; „воссиял прекрасный день по часах толико мрачных"; „видел его стеняща и сокрывающа слезы своя"; „обык творити в крепости сил своих"; „превечный, подвигся о людях своих на милосердие*" и т. п.; но ср. рядом же фразеологические славяно-галлицизмы типа: *„воздать природе горестную дань*" (162): *„воображение, извлекающее слезы из чувствительных сердец*" и др.

2. Примыкающие к славянизмам канцеляризмы *„препоручает провинцию в... покровительство*" (16); *„надлежит присовокупить к нему и развращение нравов*" (20); *„он ниже взглянул на сундуки наши*" (68) и др. под.

Ср. в „Жизни Н. И. Панина": *„оно совокупно с его положением отвлекло его совсем от дел*" (ч. IV, 18) и т. д.

Ср. тесно связанные в языке той эпохи с церковно-славянизмами и канцеляризмами латино-немецкие обороты и конструкции: *„считаю я остаться здесь до совершенного ея исцеления*" (21). Ср. порядок слов: *„дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут*" (5) и др. под.

3. Галлицизмы, „европеизмы" разного рода, особенно часто: заимствованные слова, и буквально переведенные выражения, так наз. фразеологические кальки: *„взяв свои места* (prendre place), *ожидали прибытия графа*" (9); *„читал потом речь весьма трогающую*" (touchant) (10); *„я принял смелость*" (prendre l' audace) (11); *„взял я намерение*" (21); *„они дают тон всей Европе*" (37); *„душевные расположения*" (dispositions); *„утопает он в презрительных забавах*" (47) (ср. французское noyer dans quelque chose.) Ср. слова: *комплимент* (10); *в самых генеральных терминах* (11); *машинально на язык попадаются* (20); *вояж* (21); *вояжеры* (38); *с мирными кондициями* (24); *публично* (40); *модель вкуса* (60); *репутация* (73); *офрировать* (75); *сделать визит* (73) и т. д. Ср. в „Жизни Н. И. Панина": *приобрел эстиму* (ч. IV, 9); *негоциация* (8); *секрет* (9); *дать всю полную дозу* (приема) (76). Ср. синтаксические обороты: *„прошед времена древних королей и упомянув, как оно перешло во владения французских государей, сказано в заключение всего...*" (9—10); *„пробираясь лесом по узкой дороге, были у нас по несчастию подняты стекла*" (69) и мн. др.

4. Слова и выражения национально-бытового просторечия: *„жить в грязи по уши*" (37); *„при въезде в город ошибла нас мерзкая вонь*" (77); *„церемония так смешна, что треснуть надобно*" (78); *„колокольня уже не Ивану Великому чета*" (78) и др. под. Таким образом, язык фонвизинской прозы служит типическим примером дворянских стилей третьей четверти XVIII в., приспособлявших книжную традицию начала века к европейской системе выражения.

§ 10. Обиходная речь дворянства и ее „олитературивание“, ее литературная нормализация.

Однако не все слои дворянства искали синтеза церковно-книжной культуры с французской. Напротив, для широких масс столичного и провинциального дворянства, подвергавшегося европеизации, характерна тенденция к отрыву от церковно-славянской письменности. Это дворянское общество стремилось выработать систему литературных стилей, освобожденных от излишнего груза „славянщизны“ и сочетающих французскую культуру устной и письменной речи с разновидностями русского общественно-бытового языка дворянской среды. Обиходная речь дворян той эпохи не чуждалась мещанского просторечия и свободно включала в себя элементы простонародного, крестьянского языка, даже областные диалектические. Ср., напр., в языке басен и сказок В. И. Майкова: *„портняжка прибежал, пыхтит и, как собака* ***рьяет*** *“*[1]; *„не* ***перекочкавши*** *ни истца, ни судей, заплакав слезно, пошла“*[2]; *хлехочет* (т. е. кричит, квакает), *замать* и др.; в письме И. И. Хемницера (1745—1784 гг.), *„чтобы те места которые нам не* ***казались,*** *переменены не были“*[3]; в „Ябеде“ В. В. Капниста: *„где плохо лежит, там* ***зетит*** *он далеко“* (д. I, явл. I), (*зетить*: слово воровское, офенское: видеть, зорко глядеть); *„полно вам* ***пороть то дребедень*** *“* (д. III, явл. IV); *„****свахляют*** *пусть они, а я уж пропущу“* (д. III, явл. V) и мн. др.; у Богдановича в „Душеньке“: „иные ***хлипали***, *другие громко выли“* (кн. I); *„к рыбачьему наслегу“* (там же), и др.; в языке Нелединского-Мелецкого: *„Уж* ***матка*** *ты мне* ***уши прожузжала...*** *Что весь* ***опричь*** *меня переженился свет“; „ну, в этот год попы машонки* ***понабьют*** *“* (письмо к Д. И. Головиной); *„поспорить, почитать, меж дела подрюнить“* (ответ В. Л-чу М...му в 1778 г.) и мн. др.

Но внутри категории „простонародности“ устанавливалась своеобразная диференциация подлого“, „мужицкого“ — и того, что употреблялось или могло стать употребительным в дворянском быту. Существовали условные нормы „мужицкого“ языка. В „Записках“ С. А. Порошина читаем: *„Желание народа такое, присовокупил я нарочно мужичьим наречием,* ***штобы*** *Павел Петровиць был в свово прадедушку царя Петра Алексеевица“*[4]. Характерно, что у Сумарокова в комедии „Опекун“ старуха-простолюдинка также цокает (*цесной, яблоцко* и т. п.). Необычайно ярко это буржуазно-дворянское представление „о мужичьем наречии“ отразилось в речи работников Мирона и Василия из комедии В. И. Лукина: „Щепетильник“. Тут отражаются и фонетические и морфологические и лексические приметы крестьянского языка. Мирон и Василий оба цокают, произносят *ц* вместо мягкого *т*, дзекают, акают, вместо *е* говорят *и*. Они употребляют член, частицы ***стани, ста***. В их речи мелькают такие слова: *пробаить,* ***ляд*** *ведает, галиться, голчить,*

---

[1] В „Толковом словаре“ Даля: *зарьять* — загореться, задохнуться, надорваться с перегону; в ст. „Охотничьи слова“ С. П. Микуцкого: *зарьять* — лишиться дыхания. (Материалы для сравнения и объяснения словаря и грамматики, СПБ, 1854 г., т. I, стр. 492).

[2] У Даля: *перекочкать*—нижегородское: переупрямить, поставить на своем.

[3] Ср. Е. Ф. Будде, Очерк истории соврем. лит. р. яз., стр. 66—67.

[4] Записки С. Порошина, стр. 184.

позагуториться, фигли, шалбер, притаранить, посиденки, смямкать и т. п. Вот образцы их разговора:

Мирон (держа в руках зрительную трубку). *Васюк, смотри-ка. У нас в экие дудки играют; а здесь в них один глаз прищуря, не веть цаво-то смотрят... У них мне-ка стыда-та совсем кажется ниту. Да посмотрець было и мне. Нет, малец, боюсь праховую испорцить.*

Василий. *Кинь ее, Мироха. А как испорцишь, так сороми-та за провальную не оберешься. Но я цаю, в нее и подуцеть можно, и колиб она ни ченна была, так бы я сабе купил, и пришедщи домой, скривя шапку захазил с нею. Меня бы нащи деули во все посиденки стали с собою браци, и я бы, брацень, в переднем углу сидя, чуфарился над всеми.*[1]

Мирон (вынув группу купидонов, изображающих художества и науки, смеется). *Смотрит-ка! что за проказ? Какая их сарынь рабенок* (испугавшись). *Ах, братень, никак это ангели божии! прости меня, чарь небесный!... Экие мемцы-та безбожники, как они их в кучу сколько смямкали.*

Василий (смотря на купидонов). *И, дурачина! С вора вырос, а ума не вынес! Какие ангели? Я слышал от нашево хозяина, что это хранчуские болванчики.*[1]

Однако эти приемы разграничения „простонародных" элементов стали казаться недостаточными во второй половине XVIII в. Процесс приспособления бытовой и литературной речи дворянства к нормам французских стилей влек за собой переоценку функций и состава просторечия и простонародного языка в дворянском употреблении. Нащупывались дворянские формы национального и в то же время европейского выражения. Эти искания не могли не отразиться и на отношении к церковно-книжному языку. Упадок общественно-бытовой роли церковно-славянского языка выразился в том, что в основу школьного обучения ложился теперь не церковно-славянский язык, а русский (в сухопутном кадетском корпусе, в воспитательном доме). Очень интересны рассуждения о русском и церковно-славянском языке в „Генеральном плане воспитательного дома" И. И. Бецкого: „Смеха достойный присвоили мы обычай учить детей в школах грамоте по книгам на языке и буквах славянских и провожать в сем учении по несколько лет... Детям прежде начатия славянского, должно учить буквари печатные на употребляемом ныне языке... Известно, что всякому человеку в обществе должно знать всю силу и все пространство языка своего отечества... Может быть, скажет кто: не можно совершенно знать обыкновенного языка незнающему славянского, которому для того прежде всего и учиться надобно. Таковое воображение признавать должно справедливым... Не отрицается сей язык... да и познание оного некоторым образом за нужное почитается, потому что обряды в церкви нашей на том языке совершаются; от него же зависит и совершенство употребительного, но сие познание для детей отменно понятных и назначенных к особливым искусствам"[2]...

Таким образом, церковно-славянский язык как предмет изучения уступает место „природному" языку. Естественно, что на такой культурно-общественной почве должна была разрушаться и видоизменяться, сближаясь с разговорной речью, структура высокого слога, и что в системе

---

[1] Соч. и перев. В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова, СПБ, 1868 г., стр. 197—199.

[2] П. Пекарский, Русские мемуары XVIII в. „Современник", 1855 г., № 4, стр. 88—89.

национально-литературного языка должны были все большее значение приобретать средние стили. Иллюстрацией к этому направлению в истории трех стилей может служить очерк языковой деятельности А. П. Сумарокова.

§ 11. Дворянская деформация высокого и среднего стилей на основе разговорно-бытовой речи и стилей французской литературы.

Опираясь на обыденный устный и письменный язык дворянской среды, на московское дворянское употребление, А. П. Сумароков объявляет борьбу ломоносовскому высокому слогу во имя „естественности" и простоты выражения. „Пухлость, пущенна к небесам", „многоглаголание тяжких речений", „высокопарность" высокого слога, по Сумарокову, несовместимы с красноречием и с „естественностью", простотой, чистосердечностью экспрессии живого общественного языка. Условная возвышенная речь, оторванный от повседневных нужд и потребностей быта „язык богов" кажутся надутыми и фальшивыми. „Природное изъяснение из всех есть лучшее" [1]. „Что более писатели умствуют, то более притворствуют, а что более притворствуют, то более завираются" [2]. „Языка ломать не надлежит, лучше суровое произношение, нежели странное слов составление" [3]. Сумароков выступает против искусственности „духовного красноречия", являвшегося семантической опорой ломоносовского высокого слога: „Многие духовные риторы, не имеющие вкуса, не допускают сердца своего, ни естественного понятия в свой слог, но умствуя без основания, воображая неясно, и уповая на обычайную черни похвалу, соплетаемую ею всему тому, чево она не понимает, дерзают в кривые к Парнасу пути, и вместо Пегаса обуздывая дикого коня, а иногда и осла, втащатся едучи кривою дорогою на какую-нибудь горку" [4]. Поэтому и церковно-книжная риторика высокого слова, которая основана на условных метафорах и перифразах, замещающих простые обозначения, признается „многоречием". А „многоречие свойственно человеческому скудоумию. Все те речи и письма, в которых больше слов, нежели мыслей, показывают человека тупова" [5].

Насколько дворянству становилась чуждой искусственно-риторическая фразеология церковно-книжного языка, наглядно показывает стиль „Вздорных од" Сумарокова, пародирующих высокий ломоносовский слог, а также стилистические комментарии Сумарокова к стихам Ломоносова:

Возлюбленная тишина
Блаженство сел, градов ограда...

„*Градов ограда* сказать не можно. Можно молвить *селения ограда*, а не *ограда града; град* от того и имя свое имеет, что он огражден. Я не

---

[1] А. П. Сумароков, О стихотворчестве камчадалов, „Трудолюбивая пчела", 1759 г., стр. 63.
[2] „Трудолюбивая пчела", стр. 237.
[3] А. П. Сумароков, Соч., 1787 г., ч. VI, стр. 313.
[4] Там же, О разности между мелким и острым разумом, стр. 298—299.
[5] Там же, Письмо об остроумном слове, стр. 349.

знаю сверх того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружие, а не тишина" [1].

„Войне поставила конец.

Войну окончить или *сделать войне конец*, сказать можно, а *войне поставить конец*, я не знаю можно ли сказать. Можно употребить вместо *построить дом, поставить дом*, а вместо *окончить войну*, весьма мне сумнительно, чтоб позволено было написать *поставить конец*" [2]. Между тем ломоносовское выражение явилось, конечно, как лексическое видоизменение церковно-славянской идиомы: *поставить предел.*

Сумароков не знал так тонко, как Тредиаковский или Ломоносов, церковно-славянского языка, его лексики, фразеологии и грамматической системы. Заставляя Ксаксомениуса, героя комедии „Тресотиниус", говорить по-церковно-славянски, Сумароков делает ошибки: *„Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславнаго моего имени, его же не всяк язык изрещи может",* — говорит Ксаксомениус. Между тем „надобно было следующим образом: *Даждь ми трость, да абие положу знамение преславнаго моего имене, еже не всяк язык изрещи может",* — поправляет В. К. Тредиаковский. Тредиаковский иронизирует: „В полутаре строчке пять грехов" [3]. Эти „грехи", во-первых, — лексические: русское *перо* вместо церковно славянского *трость*; *подаждь* вместо *даждь*; во-вторых, морфологические: род. пад. *имени* вместо церковно-славянского *имене*; в-третьих, синтаксические: *и абие* вместо *да абие, его же* вместо *еже* (винит. ср. р., согласованный со словом имя). Смешение форм русских и церковно-славянских, просторечное искажение церковно-славянизмов свидетельствует, что церковно-книжный язык становился чужим, иностранным языком для дворянина. Поэтому в языке Сумарокова нередко ломается, теряет устойчивость и прочность семантика церковно-славянского слова. Эти нарушения церковно-книжной системы очень зорко подмечены Тредиаковским в „Письме к приятелю":

„Простри с небес свою зеницу". (Ср. *простер премудрую зеницу.*) *„Зеница* есть славянское слово, а по нашему просто называется *озарочко",* — комментирует Тредиаковский. „Говоря *распростерть озарочко* есть означать, что оно так простирается, как рука. Подлинно можно сказать, что зрение далеко распростирается... *Простри зеницу* есть ложная мысль, и несвойственное зенице дело".

„Сложные знаменования, данные от автора словами... происходят от того, что автор отнюдь не знает коренного нашего языка славянского. Пишет он *коль*, производя от подлого *коли*, за (вместо) *когда* и *ежели* весьма неправо и развращенно. В следующем стихе: *„Не так, свирепая, коль толь твой вреден взгляд... коль* за *когда* полагается от автора ложно, потому что *коль* значит *колико*. Пишет же автор *отселе* за *отсюду*, не зная, для того что *отселе* значит *отныне*. Пишет он и *довлеют* за *долженствуют*, как-то: *не их примеры нам во бранях быть*

---

[1] А. П. Сумароков, Соч. 1787 г., ч. X, стр. 77—78.

[2] Там же, стр. 80.

[3] В. К. Тредиаковский, Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий, и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю 1750 г. А. А. Куник, Сб. материалов для истории Ак. наук в XVIII в., СПБ, 1865 г., т. II, стр. 438.

довлеют. Однако слово *довлеет* значит *довольно есть*, а не *должно есть*". Неправильное употребление слова *поборник* (в значении противник, см. Гамлет, д. II, явл. I — *Поборник истины, бесстыдных дел рачитель)* показывает, что „автор мало бывает в церкви на великих вечернях, и на всенощных бдениях, ибо инако автор мог услышать в богородичне, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника* и *споспешника*". „*Под ними твердь трясется.* Но кто славянский наш язык знает, тот совершенно ведает, что через слово *твердь* разумеется у нас... французское firmament, то-есть небо..." (французский перевод „автору вразумительнейший"). Итак, Сумароков „не имеет искусства в употреблении и в избрании речей". У него Кий („Хорев", д. V, явл. III, первоначальный вариант) „просит, пришед в крайнее изнеможение, чтоб ему подано было *седалище*... Знает автор, что сие слово есть славянское и употреблено в псалмах за *стул*: но не знает, что славенороссийский язык, которым автор все свое пишет, соединил с сим словом нынче гнусную идею, а именно то, что в писании названо у нас *афедроном* (т. е. *задницею*") [1].

Таким образом, дворянство, не вникая в тонкости самого церковного языка, переосмысляло церковно-славянизмы на основе бытового просторечия или семантики французского языка.

Нормой „литературности" для дворянина становится не церковно-славянский язык, а „общее употребление". Его „почитал за устав" и Сумароков [2]. „Я употреблению с таким следую рачением, как и правилам; правильные слова делают чистоту, а употребительные слова из склада грубость выгоняют", пишет он. В ответ на упрек Тредиаковского, что нельзя в „красном слоге" говорить *опять* вместо *паки*, Сумароков заявляет: „Прилично ли положить в рот девице семьнадцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *паки*; а *опять* — слово совершенно употребительное, и ежели не писать *опять* за *паки*, так и *который, которая, которое* надобно отставить и вместо того употреблять к великому себе посмешеству неупотребительные ныне слова *иже, яже* и *еже*, которые хорошо слышатся в церковных наших книгах, и очень будут дурны, не только в любовных, но и в геройских разговорах" [3]. Сумароковский „высокий" стиль кажется защитникам церковно-книжной культуры „низким", так как „выбор слов у Сумарокова недостаточно великолепен", и Сумароков даже в „важном" слове не чуждается „обыкновенных народных речей" и в лексике и в морфологии. Напр., возмущается Тредиаковский: „Чего бы ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*"; „Петров *прах*" (в стихе: „Что ты Петров воздвигла прах, Дела его возобновила") есть уничтожительное изображение. Надлежало бы... не вносить такия низкости... Благоразумный и богослов в приличной нравоучительной материи назовет его или *перстию*, или *мертвенностью*, или *останками*, или как инак только ж с почтением... „Слово *миг* есть подлое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*" [4]. То же — в морфологии: ***„любезной дщери*** вместо ***любезныя дщери*** есть неправильно, и досадно слуху... *Любезной* есть род. пад. сокращенный, или лучше развращенный от народного незнания,

---

[1] В. К. Тредиаковский, Письмо к... приятелю, Куник, т. II, стр. 479, 480, 483.
[2] А. П. Сумароков, Соч., 1787 г. ч. X, стр. 98.
[3] Там же, стр. 97—98.
[4] См. Письмо к приятелю, стр. 456—57, 462, 469, 476,

а в самой вещи он есть дательный". „*Красы* ***безвестной***, вместо *красы* ***безвестныя*** — нерадивое соединение имен". „***Твоей*** *державы*, вместо *твоея*, неправо и досадно нежному слуху". Ср. в „Оде парафрастической" смешение форм: *защитник* ***слабыя сей*** *груди* (стр. 444). „Худой выбор" слов отмечается современниками и в трагедиях Сумарокова: „*опять за паки, этот* за *сей, эта* за *сия, это* за *сие*". „Употребление слов, кои худо в важное сочинение полагаются, для того что гнусное нечто по употреблению означают, напр. *блудя*, вместо *заблуждая*", типично для сумароковского языка.

„Неравность", „совокупно высокость и низкость", „малое нечто приличное, а премного непристойное... точный хаос..." — вот характеристические особенности сумароковского языка с точки зрения сторонника теории трех стилей. „Мило очень нашему автору непостоянное употребление слов, как то инде *ево*, а инде на *него*, инде *ея*, а инде *ее*" [1]. Так создается стиль дворянского литературного языка.

Выступая противником „крайностей", Сумароков отрицает отожествление, слияние книжного языка с разговорным, подмену литературной речи просторечием. „Для чего не писать так, как мы говорим? Такая вольность будет уже безмерно велика, и наконец, не останется следов древнего языка нашего. Мы отменим старое наречие в разговорах, отменив его в письмах, потом насеем в свой язык чужестранных слов, наконец, вовсе по-русски позабыть можем, что очень жалко, и такого убийства с природным языком ни один народ не делал, хотя уже и так конечным истреблением наш язык угрожает" [2]. Бытовое просторечие само сближается с книжным языком, ассимилируя себе церковно-книжные выражения. Формы высокого, среднего и даже простого слога смешиваются. Вот примеры из сочинений Сумарокова, выделенные Тредиаковским: „*Повергаются грады* ***прахом***... надобно — *в прах*" „Глагол *владаю*... есть развращенный: искусные в языке говорят *владею*, а на *аю* произносят и пишут сей — *обладаю*, а не *владаю*". „*Вопящих* вместо *вопиющих* есть весьма неисправно" [3]. Литературный язык, свободно комбинируя церковно-книжные морфемы с разговорными категориями словообразования, создает стилистические варьянты и синонимы славянизмов. Таковы сумароковские замены: „*мгновенно* вместо *во мгновении, отколе* в Гамлете вместо *откуду, бремянило* вместо *отягощало*" и т. д. [4].

Вместе с тем в дворянских стилях второй половины XVIII в. происходит переоценка прав простонародных выражений на „красный" слог, особенно если эти выражения приняты обиходной речью дворянства. Тредиаковский жаловался на Сумарокова: „У автора и сельское употребление есть правильное и красное: его жерновы, по присловию, толь добры, что все мелют" [5]. Но пример с употреблением слова — *седалище*, в котором Сумароков игнорирует книжно-мещанские ассоциации [6] и борьба Сумарокова с областными „поселянскими" элементами в языке Ломоно-

[1] В. К. Тредиаковский, Письмо... к приятелю, Куник, т. II, стр. 476—477.
[2] О московском наречии, „Свободные часы", 1763 г., февраль, стр. 67—75.
[3] В. К. Тредиаковский, Письмо... к приятелю, стр. 454, 465, 470. Ср. также „Ответ на письмо о сафической и горацианской строфах" — П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 250—257.
[4] В. К. Тредиаковский, Письмо... к приятелю, стр. 477.
[5] Там же, стр 469—470.
[6] Ср. рассуждения Дюлижа и Критициондиуса об этом слове в комедии у-

*

сова доказывают, что дворянские литературные стили чуждаются специфических особенностей вульгарно-книжного языка разночинной интеллигенции и избегают узких провинциализмов простонародной речи. Они опираются на столичное (преимущ. московское) дворянское употребление. Не менее характерен протест Сумарокова против попытки В. Светова (автора грамматики, изданной в 1790 г. и „Опыта нового российского правописания", 1773 г.) узаконить некоторые формы буржуазного просторечия. Исходя из той идеи, что „может быть современем испорченные простым и обыкновенным выговором слова не странно будет писать по настоящему их правописанию", Светов рекомендовал, напр., слова *острый, оспа, отчина, осьмый* и др. „писать в стиле, а в обыкновенном разговоре и в простом роде придавать *в: вострый, воспа, вотчина, восьмой*" и т. п. Но Сумароков, опираясь на критерий светского дворянского словоупотребления, различает эти формы по их классовой природе: „Все приняли без изъятия *вотчина,* а *вострой* говорят только крестьяне и самые низкие люди, да и то не все"[1]. Таким образом, Сумароков апеллирует к „общему" буржуазно-дворянскому языку, но его состав ограничивает нормами дворянского „лингвистического вкуса". Он вооружается против испорченных выражений „простонародного наречия" и против славянщины: „Истина никакия крайности не причастна. Совершенство есть центр, а не крайность"[2]. Напр., ссылаясь на общее употребление, Сумароков даже в высоком слоге употреблял от имен сущ. среднего рода формы им. пад. множ. ч. на *-ы, -и, -ии.* Ср. протесты Тредиаковского: „Красный слог не может быть красным, буде он притом неисправен..." — „*Леты* положены как *селы* за *лета,* всеконечно против грамматического рода, и против искусных людей употребления... Впрочем, кажется, что автор сие нарочно делает, подражая такому употреблению"[3]... Примеры из трагедий Сумарокова: „*озеры, достоинствы, воздыхании, блаты, железы, действии, посольствы, правилы, правы* и т. п. Но Сумароков, апеллируя ко „всему свету", защищал эти формы: „мне кажется все равно; *права* и *правы, лета* и *леты*"[4]. Точно так же Сумароков в „красном слоге" по „вольности дворянства" употребляет просторечные формы род. пад. мн. ч. от им. сущ. среднего рода на *-ев -иев* в соответствии с им. пад. множ. ч. на *-ии, -ы*: напр.: *подозрениев, следствиев, нещастиев, отсутствиев* и т. п.; ср. *братиев*[5]. О вторжении разговорной речи в сферу „высокого слога" свидетельствовало и употребление *-ье, -ья, ью* вместо *-ия, -ию, -ие.* „Слово *подобьем,* вместо *подобием,* так досадно слуху, что невозможно никак

марокова „Чудовищи". См. В. А. Филиппов, К вопросу об источниках комедий А. П. Сумарокова, „Изв. по рус. яз. и слов." 1928 г., т. I, кн. I, стр. 210—211. Интересно, что слово *седалище* остается в литературном языке второй половины XVIII в. только со значением *зад.* Ср. у А. Т. Болотова в ст. „Современник или записки для потомства:" „*Их как маленьких ребяток выпороть гораздо, гораздо и так розгами на козле, чтоб им неделю, другую на седалище сесть было неможно*".

[1] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. IV, стр. 315.

[2] А. П. Сумароков, Соч., ч. X, стр. 15.

[3] Куник, Сб. матер. для ист. Ак. наук, т. II, стр. 471—476. Ср. П. Пекарский, История Ак. наук, т. II, стр. 256.

[4] Соч., ч. X, стр. 98.

[5] Куник, т. II, стр. 476; ср. защиту этих форм Сумароковым, Соч., ч. X, стр. 97—98.

стерпеть, равно как и имена его в Гамлете „*Офелью, Полонья*, вместо *Офелию, Полония*“[1], — осуждает это употребление Тредиаковский. „Слово *молнья* вместо *молния* есть развращенное“. „*К престолу божьему* за *к престолу божиему* по самой большой и по площадной вольности...“ „Многие он (Сумароков) речи составляет подлым употреблением, как-то: *паденье* за *падение*, *отмщенье* за *отмщение*, *желанье* за *желание*, *воспоминанье* за *воспоминание*; так же: *оружье, сомненье, понятье, безумье, Офелью*... и пр. премногие“[2]. Но Сумароков энергично протестовал против квалификации этих форм „подлыми“: „То употребляют все, лутче бы он (Тредиаковский) говорил, что то неправильно, а не в подлом употреблении“[3]. Пуристы, охранявшие Ломоносовскую грамматику, указывали и другие отголоски просторечия в морфологии и синтаксисе сумароковского высокого слога: „В трагедиях его склонение имен, в составе косвенных их падежей, есть новое и необыкновенное: пишет он часто *любови* за *любви*, *заразов* вместо *зараз*, *глазми* за *глазами*“ и др.[4]. Ср. в формах глаголов: „*Услышилось* за *услышалось*, *слышил* за *слышал*, *оставшей* за *оставшейся*... **иттить** *из градских стен* за **сходить** *с градских стен* или **итти** *из-за градских стен; на чью он жизнь алкал;* но *на жизнь алкать* сочинено весьма странно: ибо глагол *алчу* есть самостоятельный, и не правит никаким падежем, то есть говорится просто: *алчу*. Пусть перечтет автор послания святого апостола Павла, то и увидит во многих местах... свою превеликую погрешность“. Так процесс образования дворянских средних стилей неизбежно вел к разрушению границ между высоким и простым слогом и к ломке традиций церковно-славянского языка.

„Олитературивание“ дворянского просторечия сопровождается у Сумарокова борьбой с лексическими варваризмами. В статьях „О истреблении чужих слов из русского языка“ и „К несмысленным рифмотворцам“[5]. Сумароков воюет за чистоту русского словаря. Это, конечно, нисколько

---

[1] Куник, т. II, стр. 450, 469, 477.

[2] Ср. защиту конечного *-ь* вопреки *-и* в высоком слоге:

...ищет наш язык везде от *и* свободы.
Или уж стало *иль*, *коли* уж стало *коль*;
Изволи ныне все везде твердят *изволь*.
За *спиши*, — *спишь* и *спать* мы говорим за *спати*
На что же, Триссотин, к нам тянешь *и* некстати?
Напрасно злобной сей ты предприял совет,
Чтоб льстя тебе когда российской принял свет...

(Ломон., Искусные певцы..., Соч., изд. Ак. наук, т. II, стр. 132).

[3] А. П. Сумароков, Соч., ч. X, стр. 99.

[4] Куник, т. II, стр. 478, 481 и след.

[5] А. П. Сумароков, Соч., ч. IX, стр. 244—247 и 276—279. Ср. Сумарокова же „Эпистолу о русском языке“. (ч. I, стр. 331—335) Ср. в его сатире „О французском языке“ (ч. VII, стр. 368) обличение, „петиметра“, щеголя: „французским словом он в речь русскую плывет; *Солому пальею, обжектом вид* зовет“... Ср. язык щеголей и щеголих в комедиях Сумарокова. Особенно вооружался Сумароков против лексических дублетов, заимствованных из чужих языков: *фрукты* вместо *плоды*, *сервиз* вместо *столовый прибор*, *антишамбра* вместо *передняя комната*, *камера* вместо *комната*, *корреспонденция* (или *каришпанденция*) вместо *переписка* и др. („О истребл. чужих слов...“).

Похлебка ли вкусняй, или вкусняе *суп*?
Иль *соус*, просто *сос*, нам *поливки* вкусняе (Эпистола о р. яз.)

не препятствовало Сумарокову менять значения русских слов применительно к французскому языку и создавать фразеологические снимки с французских выражений. Но ведь здесь он оставался на почве живого дворянского употребления [1]. Прав Н. Н. Булич, утверждая, что язык Сумарокова приспособлен „к массе“ (буржуазно-дворянской), что у „Сумарокова, воспитанного не в школе, а в обществе... больше жизни и движения, нежели у Ломоносова. Отрывистые и короткие фразы заменили здесь плиниевские тирады Ломоносова...“ В языке Сумарокова и сама „наука не завертывалась в жреческую мантию и не становилась на треножник, она говорила просто и ясно“ [2]. Характерным выражением этой тенденции к литературно-светскому преобразованию бытовой речи дворянства являлась борьба Сумарокова с приказным, канцелярским языком, влияние которого было особенно сильно в литературном обиходе, начиная с петровской эпохи. „Что почтенняе, — язвительнее спрашивает Сумароков в посвящении своих эклог „прекрасному российского народа женскому полу“, — эклоги ли составлять, наполненные любовным жаром и пишемые хорошим складом, или тяжебные ябедников письма, наполненные плутовством и складом писанные скаредным?“ [3]. „Подьячие... точек и запятых не ставят... для того, чтобы слог их темнее был, ибо в мутной воде удобняе рыбу ловить“ [4]. „Несмысленные авторы, напуганные крючкотворцами, им сочинения свои отдают во полномочие“ [5], от этого портится литературный язык. „Подьячие... высокомерятся любимыми своими словами: *понеже, точию, якобы, имеет быть, не имеется* и прочими такими“ [6]. Ср. в „Эпистоле о русском языке“ (1748 г., — Соч., I, стр. 335).

Коль аще, точию обычай истребил,
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил.

---

[1] Ср. борьбу за „простой склад“, без украшения, за национальные нормы русского литературного языка, с одной стороны, против церковно-книжных основ высокого слова, его растянутых периодов и высокопарной перифрастической фразеологии и, с другой стороны, против варваризмов — в литературной деятельности Екатерины II. Так, в „Завещании“, которым оканчивается текст ее „Былей и небылиц“, Екатерина II излагает свои мысли о том, как надобно писать.

„Краткие и ясные выражения предпочитать длинным и кругловатым. Кто писать будет, тому думать по-русски. Иностранные слова заменять русскими, а из иностранных языков не занимать слов, ибо наш язык и без того довольно богат. Слова класть ясные и, буде можно, самотеки... Ходулей не употреблять, где ноги могут служить, т. е. надутых и высокопарных слов не употреблять, где пристойнее, пригожее, приятнее и звучнее обыкновенные будут.

Где инде коснется до нравоучений, тут оные смешивать наипаче с приятными оборотами, кои бы отвращали скуку.

Глубокомыслие окутать ясностью, а полномыслие легкостию слога, дабы всем сносным учиниться“. Ср. описание норм дворянских светских стилей русского литературного языка в следующей главе. О стилистических правилах Екатерины II см. в работе Пекарского, Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II („Записки Ак. наук“, т. III), в ст. Е. Дашковой („Сборн. Исторического общества, т. XX) и у Я. К. Грота, Примечания и приложения к биографии Г. Р. Державина, Соч. Державина, изд. Ак. наук, 1883 г., т. IX, стр. 103—108). Ср. также изд. А. Ф. Бычкова, Письма и бумаги Екатерины II, СПБ, 1873 г., и Соч. Екатерины II, изд. Ак. наук, 1901—1907 г.

[2] Н. Булич, Сумароков и современная ему критика, СПБ, 1854 г., стр. 170.

[3] А. П. Сумароков, Соч., ч. VIII, стр. 4.

[4] Там же, ч. VI, стр. 357.

[5] Там же, ч. X, стр. 32.

[6] Ст. „К типографским наборщикам“, „Трудолюбивая пчела“, 1759 г., стр. 266—267. (Соч., ч. VI, стр. 315).

Подьяческому, приказному языку противополагается „нынешнее щегольское женское наречие" („Живописец", 1772 г. ч. I, стр. 30). В пародическом письме, обращенном от имени писательницы-женщины к издателю „Трутня", содержится жалоба: „А ином уж я и не гаворю: што из женскава слога сделал ты подьяческай, наставил ни к чему: *обаче, иначе, дондеже, паче.* Мы едаких речей ничуть не пишем, у мущин они в употреблении, а у женщин нет" („Трутень", 1770 г., л. XIV). Язык „светской дамы", освобожденный от груза канцеляризмов и славянизмов и организованный по французскому образцу, претендует на светскую всеобщность. „Модное наречие петербургских щеголих многим нашим девицам вскружило головы", — раздается в „Живописце" голос из Москвы. „Все такие модные слова, в „Живописце" напечатанные, они вытвердили наизусть и ввели во употребление; но при том чувствуют еще во оном наречии великий недостаток: почему хотят посылать нарочного поверенного, который будет стараться все слова, в модном наречии употребляемые, собирать и сообщать к нам в Москву" (1772 г., ч. I, стр. 157).

Ограничение форм и функций церковно-славянского и канцелярско-бюрократического языков было связано и с синтаксической реорганизацией литературного языка. Постепенно сокращается и исчезает употребление таких оборотов, как дат. самостоятельный, вин. с неопределенным наклонением (ср. „*не считающую в мыслях его ничего к ней почтительного быти*", „СПБ. Вестник", 1779 г., IV, стр. 260); им. с неопределенным наклонением („*Хотя день солнцем освещен, но мнит он быть средь темной ночи*". — „Покоющийся Трудолюбец", 1785 г., IV, стр. 85) и др. под.[1].

Так в дворянской культуре происходит постепенная деформация высокого и среднего стилей. Церковно-славянские и канцелярские формы или исключаются или стилистически преобразуются. Ориентация на французский язык неизбежно приводит к крушению норм высокого слога, опиравшихся на традиции церковно-книжной риторики. Дворянский разговорный язык заявляет права на расширение своих литературных функций.

§ 12. Внедрение просторечия в средний и высокий слог.

Проблема перераспределения функций между славянским высоким слогом и бытовым просторечием, иногда уклонявшимся в „простонародность", т. е. в крестьянские диалекты, занимает и Г. Р. Державина[2]. В языке Державина можно наметить несколько грамматических категорий, в пределах которых осуществляется явное „опрощение", „снижение" высокого слога, как бы приспособление его к нормам разговорного языка дворянской среды, далекой от утонченностей салона.

1. Прежде всего, Державин часто употребляет в страдательном значении возвратную форму от таких глаголов, которые, по ломоносовской инструкции, „сего отнюдь не терпят"[3]. Ломоносов утверждал, что „славянские речения больше позволяют употребление возвратных вместо стра-

---

[1] См. Е. Ф. Будде, Очерк, ист. лит. р. яз., стр. 105—107.
[2] См. Я. К. Грот, Язык Державина, (Соч. Державина, изд. Ак. наук, т. IX).
[3] М. В. Ломоносов, Грамматика, § 506 (§ 511).

дательных"[1], а Державин придавал страдательное значение возвратным глаголам конкретно-бытового содержания:

Так свирепыми волнами
Сколько с нею ни делюсь... (т. е. не разделен)...

(„Препятствие к свиданию с супругою", стих 17

То ею в голове ищуся...

(„Фелица", стих 105).

Лель упорством рассердился...

(„Бой", стих 31.)

Красою мужества сражалось...

(„Победа Красоты", стих 31).

2. Формы деепричастий руссифицируются: просторечные формы на *-ючи* встречаются даже от слов высокого и среднего слога — вроде *блистаючи, побеждаючи, являючи*. Характерно также широкое употребление деепричастий на *-я*, *-а* не только от приставочных глаголов совершенного вида на *-ить*: *взмостясь*, *настроя*, *нахмуря*, *распустя*, *соглася*, *сотворя* и т. п., но и от глаголов других категорий, напр. *затея*, причем безразлично — от русских и церковно-славянских: *разлиясь*, *низвержась* и др.[2]

3. В категории причастий также происходит пестрое смешение форм разнообразной стилистической окраски. На ряду с архаическими церковно-славянскими формами типа: *творяй*, *создавый*, *седящ*, *ядущий*, *исшвенны* и т. п. встречаются причастные образования от просторечных глаголов.

4. Симптоматичны частые формы просторечного склонения слов: *бремя*, *время*, *пламя* и т. п. по образцу *поле* и т. п. Напр. „*сын время, случая, судьбины*" („Счастье"); „*когда от бремя дел случится*". („Благодарность Фелице, стих 55); „*в водах и в пламе*". („Осада Очакова").

5. Формы род. пад. на *-ов*, *-ев* от слов среднего и женского рода вроде *зданиев*, *стихиев*, *кикиморов* и т. п. (ср. *витиев*) также свидетельствуют о расширяющемся влиянии просторечия.

6. Обращают внимание просторечные приемы грамматического употребления числительных имен: „*на **сорок** двух столпах*". („Изображение Фелицы, стих 60); ср. „*пребудет в **тысяще** веках*". („На новый год", стих 46).

7. В сфере союзов достаточно указать на применение *что* в причинном значении:

Он верно любит добродетель,
Что пишет ей свои стихи.

„На смерть Бибикова", стих 39—40.

Еще ярче и нагляднее смешение церковно-славянских форм и выражений с просторечными в лексике Державина. Я. К. Грот пишет: „Чисто церковно-славянское слово является у Державина в народной форме и, наоборот, народное облечено в форму церковно-славянского" (назв. соч.,

---

[1] М. В. Ломоносов, Грамматика, § 507 (512).
[2] См. ст. С. И. Ожегова: „История деепричастий прош. вр. на *а* в рус. лит. языке", выходящую в ближайшее время в сб. статей, изд. Инст. языка и мышления Ак. наук.

стр. 337). Вместе с тем в языке Державина резки переходы от церковно-славянизмов к простонародным словам и выражениям. Напр., „в пьесе „Кружка“ мы находим между прочим следующие выражения: „*Ведь пьяным по колено море. — И жены с нами куликают. — На карты нам плевать пора*“ (Соч., изд. Ак. наук, т. I, стр. 47—48). Но тут же встречаются и такие слова, как „*дщерь, сих* (утех), *престать, пребудь*“. В оде „На счастье“ среди „высокой“ фразеологии есть много стихов в простонародном тоне, напр.: „*Их денег куры не клюют. — Весь мир стал поласатый шут... — В грош не ставлю никого. — Бояре понадули пузы*“ (т. I, стр. 248—254)[1]. Очень красочно характеризует эту державинскую тенденцию к смешению высокого слога с низким Гоголь: „Слог у него (Державина) так крупен, как ни у кого из наших поэтов: разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми.

И смерть как гостью ожидает,
Крутя задумавшись усы.

Кто кроме Державина осмелился бы соединить такое дело, как ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов?“ [2]

Но национально-бытовое просторечие непосредственно не поддавалось органическому слиянию с книжным языком. Оно было неорганизовано, не приспособлено к выражению отвлеченных понятий и не могло стать семантическим центром системы дворянских литературных стилей. Кроме того, оно не соответствовало требованиям салонно-дворянской цивилизации, казалось слишком „низким“ и „грубым“ и не могло удовлетворить разборчивого вкуса „просвещенного“ и „галантного“ дворянина. Знатное и среднее дворянство, усваивая европейскую цивилизацию, к середине XVIII в. пришло к убеждению, что той цементирующей массой, которая сольет в единство светского литературного языка бытовое просторечие и необходимые церковно-книжные формы, является система французского языка, языка европейской аристократии и крупной буржуазии.

---

[1] Ср. просторечные слова в языке Державина: *растобары, помочь, пошва гам, гамить, дутик* („*все дутики, все краснощеки*“, т. II, стр. 611), *девочки, кубарить, кутерьма* („*и нимф прекрасных кутерьма*“, т. II стр. 611), *в назолу* („*смеясь мне девушки в „назолу*“, т. II, стр. 265), *ненароком, озетить* („*озетя ягницу смирекну*“, т. II, стр. 466, 2), *пхнуть* („*он сильны орды пхнул ногою*“, „На взятие Измаила“, строфа 22), *стеребить* („*стеребили кожу львину*“, т. II, стр. 181), *схрапнуть, чобот* „*чобот о чобот стучите*“, Любителю художеств, строфа 12) и мн. др. под.

[2] Н. В. Гоголь, В чем же, наконец, существо русской поэзии и чем ее особенность?—„Выбранные места из переписки с друзьями“, СПБ, 1847 г., стр. 208.

IV.

Процесс образования салонно-дворянских стилей русского литературного языка на русско-французской основе.

§ 1. Упадок старокнижной языковой культуры в дворянской среде.

В половине XVIII в. на почве безраздельного политического и социально-экономического торжества дворянства расцетает пышная дворянская культура. Эта культура носит ярко выраженный отпечаток подражания французской. Петербурский двор стремится копировать Версаль, и „славная Версалия“ находила то или иное отражение в быту, мысли и вкусах не только крупного но и среднепоместного дворянства. Один из замечательных писателей конца XVIII — начала XIX в. Гавриил Добрынин в своих записках с тонкой иронией изображает европеизированный вид помещичьей усадьбы, в которой все предметы сменили свои русское названия на французские: „Вместо подсвечников — *шандалы*; вместо занавесок — *гардины*; вместо зеркал и паникадил — *люстра*; вместо утвари — *мебель*; вместо приборов — *куверты*; вместо всего хорошего и превосходного — *тре биен и сюперб*. Везде вместо размера — *симметрия*, вместо серебра — *аплике*, и слуг зовут *ляке*“[1].

Процесс европеизации русского дворянства привел во второй половине XVIII в. не только к распространению французского языка в „лучших обществах“ (как тогда выражались), но и образованию разговорно-бытовых и литературных стилей дворянского языка на русско-французской основе[2]. Язык дворянского салона, развиваясь, вступает в борьбу с церковно-книжной традицией. В „Рассуждении о старом и новом слоге российского языка“, 1803 г., А. С. Шишков очень четко рисует социально-бытовые

---

[1] „Русская старина“, 1871 г., I—VI, стр. 413.

[2] Ср. жалобы В. Левшина в „Послании русского к французолюбцам“ (СПБ, 1807 г.). „Язык французской стал всеобщим и утеснил отечественной; от чего многие, кои по дарованиям своим могли бы сделаться хорошими писателями, на Российском языке пишут так, что земляки их непонимают; удивляются же им только те, кои офранцузели, по русски несколько знают, и восхищаются единственно потому, что в русском писании видят галицизм, или оборот языка французскаго“ (стр. 12). Характерно здесь же примечание:... „Завелось у нас новое общество литераторов, в котором молодые люди, склонные к литературе, успевают и стараются древнее здание Российской словесности перестроить так, чтоб камень на камне не остался“.

причины упадка старой книжной культуры в среде европеизированного дворянства: „...Дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее нежели своим, и даже... до того заражаются к ним пристрастием, что в языке своем никогда не упражняются... Будучи таким образом воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тем всенародным языком, который в общих разговорах употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство или сведение в книжном или ученом языке, толь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения?" (5—6).

Дворяне французского воспитания, по словам Шишкова, „в церковные и старинные славянские и славяно-русские книги вовсе не заглядывают". В „Трутне" сатирически изображается дворянская щеголиха, которая, принявшись за старые книги („Всьо Феофаны, да Кантемиры, Телемаки. Роллены, Летописцы и всякой едакой вздор"), чуть не „провоняла сухой моралью": и „честью клянусь, что я, читая их, ни слова не разумела. Один раз развернула Феофана и хотела читать, но не было мочи: не поверишь, радость, какая сделалась теснота в голове"[1].

Д. И. Фонвизин, комически сгущая краски, рисует в комедии „Бригадир" процесс социально-языкового расслоения русского дворянства. Язык персонажей этой комедии представляет основные стили дворянской речи того времени (60-х годов XVIII в.) Речь советника — смесь церковно-славянского языка с приказным; речь советницы и Иванушки — отражение русско-французского жаргона щеголей и щеголих; речь бригадира складывается из выражений военного диалекта грубого фрунтовика с сильной примесью низкой простонародности; речь бригадирши целиком погружена в атмосферу провинциально-дворянского просторечия и простонародного языка; только речь Софии и Добролюбова воплощает авторские нормы литературного языка.

По изображению Фонвизина, язык разных групп дворянства настолько различен, что они не в состоянии понять друг друга. Так, бригадирша не разумеет смысла условных метафор церковно-славянского языка в речи советника и вкладывает в них прямое бытовое содержание.

„Советник. ... Нет, дорогой зять! Как мы, так и жены наши, все в *руце создателя*: у него *власы главы нашея изочтены суть*.

Бригадирша. Ведь вот, Игнатий Андреевич! ты меня часто ругаешь, что я то и дело деньги да деньги считаю. Как же это? Сам господь волоски наши считать изволит, а мы, рабы его, и деньги считать ленимся, — деньги, которые так редки, что целый парик изочтенных волосов насилу алтын за тридцать достать можно".

После другой такой же сцены непонимания (д. II, явл. 3) бригадирша признается: „Я церковного-то языка столько же мало смыслю, как и французского".

С той же комической нарочитостью язык офранцузившихся петиметров и щеголих противопоставляется просторечию старого поколения дворян:

„Сын. Mon père! не горячитесь.

---

[1] Т. „Трутень", изд 3-е, стр. 255.

Бригадир. Что не горячитесь?

Сын. Mon pére! Я говорю: не горячитесь.

Бригадир. Да первого-то слова, чорт те знает, я не разумею.

Сын. Ха, ха, ха, ха, теперь я стал виноват в том, что вы по-французски не знаете"[1].

Сатирическая и комедийная традиция XVIII в. очень ярко, хотя и криво, отражает это смешение языков. С особенной охотой она рисует искаженные профили салонно-дворянских стилей, русско-французский жаргон щеголей и щеголих[2]. Но этот язык обеднен в литературных пародиях, и новиковский „Опыт модного словаря щегольского наречия"[3] содержит лишь комические обрывки щегольской лексики и фразеологии. На самом же деле, к более полным и содержательным проявлениям этой салонной русско-французской речи был близок складывавшийся литературный язык дворянской интеллигенции.

§ 2. Процесс приспособления литературной речи к выражению западноевропейских понятий.

Стиль переводной словесности и творчество национально-языковых форм на основе западно-европейского мышления — вот те литературные силы, которые приходят на помощь быту и с ним вступают во взаимодействие. Ведь история русского литературного языка в значительной степени определяется историей переводов с иностранных языков. Процесс европеизации русского литературного языка в половине XVIII в. продвигается вглубь. Ищутся морфологические и семантические соответствия формам выражения западноевропейских языков. Лексические заимствования сокращаются. Дело идет не столько о частном заимствовании слов и понятий, сколько об общем сближении семантической системы русского литературного языка с смысловым строем западноевропейских языков. Правда, наплыв западноевропейских слов, даже таких, для которых уже были русские или церковно-славянские соответствия и эквиваленты, еще продолжается.

В „Записках" Семена Порошина[4] (1764—1766 гг.) находим постоянное употребление таких варваризмов, которые к началу XIX в. становятся менее обычными, напр.: *она танцует без кадансу* (127); *сентиментов в ней хороших очень много* (246); *генерал-адмирал президировал* (278); *прямой был конфиянс* (confiance — доверие) (304); *говорили... о сюбординациии; рецитировали* (читали вслух) *последнюю его штрофу* (309); *никакой аттенции* (внимания) *не было; имажинировал* (рисовал в воображении) *небылицы* (333); *говорили... про агременты* (agrément — удовольствие) *жизни в чужих краях* (343); *всякой... столько резонабелен* (рассудителен) (432); *объект нашего махания* (т. е. „ухаживания, влюбленности") *был дежурный; многие происходили минодерии* (minauderie — жеманство) (480); и очень мн. др.

---

[1] Ср. такие же сцены в действии III, явлении 1; в действии III, явлении 3 (в конце).

[2] См. В. Покровский, Щеголи в сатирической литературе XVIII в., М., 1903 г. и Щеголихи в сатирической литературе XVIII в., М., 1903 г.

[3] „Живописец" 1772 г., лист 10.

[4] В скобках указаны страницы „Записок" по 2-му изд., СПБ. 1881.

Характерны беседы на тему об отношении русского языка к французскому между Порошиным и его воспитанником, будущим царем Павлом I: „Иные русские в разговорах своих мешают столько слов французских, что кажется будто говорят французы и между французских слов употребляют русские“. Также говорили, что иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят и в речах и в письме, например: „Vous avez trop de pénétration pour ne pas l'entrevoir“ — „*вы очень много имеете проницания, чтобы этова не видеть*“; „on prétend qu'il n'est parti que ces jours-ci“ „*требуют, что он не поехал, как только на сих днях*“ и т. п.[1].

С варваризмами начинается борьба во имя национальных форм выражения. Задачей писателя и переводчика становится разрешение проблемы внутренних соотношений между русским языком и западноевропейскими языками. Очень интересный материал для понимания тех путей, по которым шла русская литература в решении этой задачи, можно извлечь из наблюдений над переводческою деятельностью В. К. Тредиаковского, особенно в последний период его жизни[2]. Здесь торжествует принцип — „по возможности все понятия передавать русскими или церковно-славянскими словами“. В „Сокращении философии канцлера Бакона“[3] В. К. Тредиаковский употребил „111 иностранных слов, из которых 57 вошли в русский язык еще в петровскую эпоху. Относительно остальных 54... можно полагать, что большинство из них... вошло в употребление до появления „Сокращения“. Кроме того, „95 слов, которые современный нам переводчик почти во всех случаях передал бы иностранными словами, Тредиаковский передал русскими словами, и только 5 из них попадаются в „Сокращении“ в передаче иностранными словами“ (223). Как трудно было подыскивать русские или церковно-славянские эквиваленты для французских слов (для „европеизмов“), и как еще неустойчива, не разработана была система отвлеченных понятий в русском литературном языке, показывают многочисленные „примеры передачи одного понятия несколькими словами, иногда ничего общего между собой не имеющими, и, наоборот, обозначения одним словом различных понятий“. Напр., harmonie передается через *согласие*, *сличное сочетание*, *сличие*; instinct — через *побудок*, *тайное побуждение*; manie — *неистовство*, *шалость*, *сумасбродство*; pathétique — *сладостное и умилительное*, *пристрастное*... Существительное indifférence передается, через *неразнственность и равность*, а прилагательное indifférent через *не пекущийся*“ (225). Понятия symphonie и harmonie не различены и обозначены словом *согласие*. Не различаются также révolution и revers, и для обозначения их употребляется слово *преобразование*. Кроме того, для обозначения revers употребляется еще два слова: *преобращение и противность*. *Изобразование* и *образование* передают imagination (225).

Передача западноевропейских понятий осуществляется тремя основными приемами. Это —

---

[1] Записки С. Порошина, стр. 13.

[2] И. В. Шаль, К вопросу о языковых средствах переводчиков XVIII столетия (Тредиаковский как переводчик). Труды Кубанского Педагог. института, 1929 г., т. II—III.

[3] 1760 г., перевод трактата Alexandre Deleyere Analyse de la Philosophie du Chancelier François Bacon, 1755 г.

1. Метод описания значений, метод определения понятия, выражаемого французским словом. При отсутствии в русском литературном языке соответствующего слова и понятия значение французского слова передается посредством фразы, посредством целой словарной характеристики: geste — *телесное мановение*; concert — *щебетание согласное*; ressource — *обилие в способах*; chaos — *дебрь смеси*; fanatisme — *ревнительное неистовство*; cabinet — *уединенная хижина*; écho — *отзывающийся голос*; chef d'oeuvre — *верховная преизрядность*; cérémonial — *чин обряда*; enthousiasme — *жар исступления*; période — *урочный круг*; police — *политическое учреждение*; proportion — *сличный размер* и т. д.

Любопытно, что большая часть таких описательных обозначений сочетается с приемом калькирования, буквального перевода французского слова. Подставленные под французскую лексику русские слова включаются в структуру описания.

Напр.: abstraction — ***отвлечение** от вещества*; abstrait — ***отвлеченный** от вещественности*; acteur — ***действующее лицо** на театре*; laboratoire — ***работная** храмина*; objet — ***подверженная** вещь*; une robe trainante — (платье со шлейфом) — ***влекущаяся** воскрилием **одежда***; organisation — *членовное составление* и т. д.

2. Метод калькирования, морфологически точной съемки или отражения французского слова. В тех случаях, когда французские лексемы не находили себе непосредственного соответствия в системе живых слов русского литературного языка, переводчикам приходилось осмыслять морфологический состав иностранных слов и, переводя их — морфему за морфемой, создавать русские „снимки" с них, морфологические подобия их из русского или (что было в первой половине XVIII в. чаще) из церковно-славянского языкового материала.

Напр.: im-pulsion — *по-толкновение*; in-différence — *не-разнственность*; realité — *вещность*; réflexion (отражение) — *восклонение*; inversion (изменение порядка) — *извращение;* imagination — *образование, изобразование*; influence — *натечение*; conjoncture — *сопряжение*; préjugé — *предрассуждение*[1]; divisibilité — *розделенность*; épanouissement du visage — *разлияние лица* (выражение лица); l'âge mûr — *средовечие*; activité — *действенность*; généralisation — *повсемствование*; inertie — *недействие*; neutralité — *посредность* и мн. др.

В приемах перевода французских понятий характерна для Тредиаковского и вообще для разночинной интеллигенции из духовенства ориентация на смысловую структуру церковно-славянского языка. Напр.: dissolution (растворение) — *разрешение*; dissipation — *расточение* (рассеяние); possession — *стяжание*; revers — *преображение*; loix pénale — *казнительный устав* и т. п.

Любопытно также приспособление к „европейским" понятиям калькированных грецизмов: sympathie — *сострастие*; symphonie — *согласие* и т. д.

3. Прием приноровления русского или церковно-славянского слова к непосредственному выражению по-

[1] Повидимому *предрассудок* и *предрассуждение* для передачи французского préjugé введены А. П. Сумароковым. Тредиаковский писал об этом: „Словом *предрассудок* и *предрассуждение* автор переводит французское préjugé вновь. По нашему сие слово значит: *давно затверделое и ложное мнение.* Куник, Сб. материалов, т. II, стр. 490.

нятий, выработанных „европейским“ мышлением. Перевод русскими словами: charlatanerie — *цыганство*; charlatan — *обманщик*; idol — *богинька*; nerf — *становая жила*; artère — *духовая жила*; rélation — *отписка*; réputation — *слава*; sculpture — *резьба*; raideur de l'âme — *душевная жестота*; épineux — *узловатый* (вопрос) и др. под.

Но гораздо чаще до 50—60-х годов XVIII в. выступают церковно-славянизмы в роли выразителей европейских понятий: intrigue — *ухищрение*; lustre — *паникадило*; naturaliste — *естествословствующий*; prestige — *обольщение*; tendresse (нежность) — *благоутробие* и *благосердие*; atrait (привлекательность) — *доброзначность*; levaine (закваска) — *квас*; emportement (увлечение) — *разъярение* и т. п.

Деятельность переводчиков подготовляет процесс формирования русской национально-литературной речи, сближенной с „европейской системой“ (Пушкин).

§ 3. Борьба за галлицизмы в синтаксисе и семантике.

Приспособление форм книжной и разговорной речи к передаче понятий западноевропейских языков, естественно, вело к изменению соотношений между церковно-славянскими и русскими элементами в составе русского литературного языка. Французский язык — язык „светского обращения“, язык аристократического и буржуазного салона. Его воздействие было связано с ограничением функций церковно-книжного языка. В этом отношении особенно значительной была роль художественной литературы. Писатели из дворянской среды, испытывая влияние Запада, отходили от церковно-книжной языковой культуры и в работе над формами русской литературной речи брали за образец стили французской литературы. На этой почве происходило сближение с семантикой французского языка таких стилей русской литературной речи, которые были близки к формам общественно-бытового языка светской дворянской интеллигенции.

Примеры можно извлечь из сочинений А. П. Сумарокова. Язык Сумарокова и в области синтаксиса и в области лексики стремится сочетать формы дворянского просторечия с „европеизмами“. В сфере синтаксиса Сумароков ограничивает свободу расстановки слов — применительно к французскому языку. Мишенью нападок Сумарокова в этом направлении был Тредиаковский, допускавший в стиховом языке ничем не ограниченную свободу словорасположения. Напр.:

Добродетель за твою милость с нами бога...
И людей двор весь полки что сей окружает?
Сила коль врагов твоя всех збивает с поля...
По достоинству от всех, и по долгу чтим был,
Веселящеся его которы встречают[1]*...*

Правда, Сумарокову самому нередко приходилось, особенно в стихах, допускать отступления от того порядка слов, который он считал нормальным. Напр.:

---

[1] См. Тредиаковский, Разные стихотворения, 1734—1737 гг. А. Куник, Сб. материалов для истории Ак. наук в XVIII в., т. I, стр. 75—86.

Но в деле есть ли нет свидетельства когда...

(„Хорев“, первонач. вариант, д. II, явл. III).

Не приклони к их ухо слову.

(„Ода парафрастическая“, пс. 143, Соч., ч. I, стр. 208).

Но чаще в языке Сумарокова принцип „правильного“ словорасположения торжествовал. Тредиаковский осуждал это правило: „Господин автор изволит смеяться над теми, кои иногда в стихах прелагают части слова, буттоб наш язык так же был связан тем, как Французской и Немецкой“ [1].

У Сумарокова встречаются и прямые галлицизмы в конструкциях, обличаемые Тредиаковским: „*Еще стократ щасливы боле*“ написано не по-русски вместо *еще стократ щасливее*, или *щасливейшие*“ [2].

О, Боже, восхотев прославить
Императрицу ради нас...
Тебе судьбы суть все подвластны...

Деепричастие *восхотев*, вместо причастия *восхотевый* или *восхотевший* неправо, как то всем знающим чувствительно“ [3] и т. п.

Но и независимо от этих частных нарушений установившейся синтаксической системы, Сумароков стремится сблизить строй русской литературной речи с французским синтаксисом, создать фразу возможно короткую, непринужденную. Избегаются не только условно-торжественные, славянские обороты, но и поэтические инверсии вообще. С точки зрения блюстителей традиций высокого славянского слога Сумароков не учился „периодологии“, не слыхал „о разности периодов, об их членах и об их существенных частях“, и не сочинил „ни одного еще поныне правильного периода“ [4].

Не менее яркие отражения французского влияния можно найти и в семантике сумароковского языка. Некоторые из семантических галлицизмов обличались и комментировались Тредиаковским. Напр.:

*Дела что небеса **пронзают**...*
Леса и гордые валы.

„Автор изволит ли знать, — спрашивал Тредиаковский, — что глагол *пронзаю* есть то ж что и *прободаю*? Итак, что то у нас за разум, когда дела прободают небо, лес, и гордую волну?... Но скажет, что он взял *пронзаю* за французское percer: однако метафора сия у французов употребительна, а у нас она странна и дика, еще никакия пошлыя (т. е. употребительные) в сем разуме (смысле) не означает идеи“ [5].

Тредиаковский предлагает исправить стихи так:

*Дела, что в небо **проникают***
В леса, и в гордые валы.

„Глагол *проникают* есть точно то, что у французов pénétrer“. — „*Тронуть его*, вместо *привесть в жалость*, за французское toucher,

---

[1] В. К. Тредиаковский, Письмо к приятелю А. Куник, Сб. материалов ..., т. II. стр. 448.
[2] А. Куник, то же, т. II, стр. 452.
[3] Там же. стр. 470.
[4] Там же, стр. 462.
[5] Там же, стр. 455—456.

толь странно и смешно, что невозможно словом изобразить. Вы можете тотчас почувствовать неблагопристойность сего слова на нашем языке из околичности: „*И на супружню смерть не тронута взирала*“ („Гамлет“, д. II, явл. 2). Кто из наших не примет сего стиха в следующем разуме, именнож, что у Гертруды супруг скончался, не познав ее никогда, в рассуждении брачного права и супруговы должности? Однако автор мыслил не то: ему хотелось изобразить, что она нимало не печалилась об его смерти“ [1].

Ср. пародию Ломоносова на этот сумароковский стих:

Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись оставил свет:
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть нетронута взирала [2].

Все это с достаточной четкостью рисует борьбу дворянства за европеизацию русского литературного языка и участие в этом процессе разных общественных групп. Писатель-дворянин с середины XVIII в. в той или иной степени всегда ориентировался на стили французского языка и литературы.

Можно вспомнить языковую деятельность Фонвизина. Рост культурно-общественного значения буржуазно-дворянской интеллигенции ускорял сближение книжного языка с разговорным и формирование светских литературных стилей по типу западноевропейской языковой системы. Суживалась сфера применения форм, выработанных в союзе с церковно-книжной традицией. К концу XVIII в. процесс европеизации русского литературного языка, осуществлявшийся преимущественно при посредстве французской литературы, достиг высшей степени развития. Н. М. Карамзин признавался Г. П. Каменеву, что, работая над литературным стилем, он „имел в голове некоторых иностранных авторов; сначала подражал им, но потом писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом“ [3].

§ 4. Роль дворянского салона в выработке норм „светских“ стилей русского литературного языка второй половины XVIII в.

Общественно бытовой лабораторией, в которой вырабатывались нормы и принципы этого нового дворянского слога, был светский салон. К. Н. Батюшков так характеризовал эту связь литературных стилей конца XVIII — начала XIX в. с языком дворянского салона: „Большая часть писателей... провели жизнь свою посреди общества екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людкость и вежливость, это благородство, которого отпечаток мы видим в их творениях; в лучшем обществе научились они угадывать тайную

---

[1] А. Куник, т. II, стр. 476—477.

[2] Ср. пародическое использование галлицизма *трогать* в пьесе А. А. Шаховского „Новый Стерн“, направленной против Карамзина и его школы: в ответ на слова сентиментального героя пьесы (графа): „*Добрая женщина, ты меня трогаешь*“ — старуха-крестьянка, к которой обращена речь, восклицает: „*Что ты барин, перекрестись, я до тебя и не дотронулась*“.

[3] Вторoв, Г. П. Каменев. Альманах „Вчера и сегодня“, 1845 г., стр. 58.

игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно"[1]. П Макаров, один из последователей Карамзина, высказываясь против языковой реформы Ломоносова, который „не мог поравнять нашей словесности с французскою, ни даже с итальянскою, ни даже с английскою, не мог поравнять наших понятий с понятиями других народов", заявлял: „Уже в царствование Екатерины... мы переняли от чужестранцев науки, художества, обычаи, забавы, обхождение; стали думать, как все другие народы (ибо чем народы просвещеннее, тем они сходнее), — и язык Ломоносова так же сделался недостаточным, как просвещение Россиян при Елизавете недостаточно для славного века Екатерины"[2].

Эти социальные причины создают отрыв советского общества от старой церковно-книжной, „славянской" системы литературного языка. П. Макаров объявляет, что „книжный язык" сделался некоторым родом священного таинства". „Есть ли язык книжный отделится; есть ли он не последует за переменами в обычаях, в нравах и понятиях, то весьма скоро сделается темным"[3]. Н. М. Карамзин в ст. „Отчего в России мало авторских талантов" называл прежние русские книги — „бездушным собранием только материального или словесного богатства русского языка". „Писатели не хотели обогатить слов тонкими идеями, не показали, как надобно, выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли". Карамзин набрасывает программу работ по созданию новой системы русского литературного языка, которая удовлетворяла бы требованиям общественного, т. е. буржуазно-дворянского, лингвистического вкуса и соответствовала бы формам „европейского мышления". „Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! Многие женщины... пленяют нас нерусскими фразами". По мнению Карамзина, писатель должен, полагаясь на свой вкус, культуру и знание европейских языков, преимущественно французского, сам создавать нормы литературного языка — и притом такого, который мог бы влиться в разговорную речь, обогатить ее новыми формами выражения. Ведь „французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти: французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом". „Чтож остается делать автору? выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения". Мысль о необходимости творческого преобразования русского литературного языка по типу и образцу западноевропейских языков стала аксиомой дворянской литературы конца XVIII — начала XIX в. „В отношении к обычаям и понятиям, мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следовательно, хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, умствуя, как французы, как немцы, как все иноземные просвещенные народы". Дво-

[1] К. Н. Батюшков, Собр. соч., изд. Ак. наук, т. I, стр. 45.
[2] П. Макаров, Соч. и перев., М., 1817 г., т. I, ч. II, стр. 21.
[3] Там же, стр. 41.

рянин-европеец, наблюдая, что по-русски говорят только „на площади, на бирже, по деревням“, видел путь для создания общенационального, т. е. буржуазно-дворянского, языка в речевой практике двора и „высшего“ общества, искал „верных средств усовершенствования языка“ в сближении русской литературной речи с европейским мышлением „знатного и среднего дворянства“ (ср. указания Е. Станевича в его „Рассуждении о русском языке...“ СПБ, 1808 г.)[1] Карамзин настойчиво подчеркивал мысль о необходимости включения русского литературного языка в систему европейской цивилизации: „Петр Великий, могущей рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим европейцам. Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших Россиян прервалась навеки. Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут... Красоты особенные, составляющие характер словесности н а р о д н о й, уступают красотам общим; первые изменяются, вторые вечны. Хорошо писать для Россиян: еще лучше писать для всех людей“ (Академич. речь 5 декабря 1818 г.).

Этот западноевропейский космополитизм дворянства, подвергавшегося буржуазным воздействиям, ставил знаки равенства между французским языком и европейским мышлением, между галлицизмами и европеизмами. П. А. Вяземский в статье об И. И. Дмитриеве (1823 г.) считает возможным новые обороты называть «галлицизмами „если слово галлицизм принято в смысле европеизма, т. е., если принять язык французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской“[2]. Европеизированные дворяне внедряли европеизмы и в литературный и в обиходный язык своей среды.

О бытовой речи Н. М. Карамзина в 1801 г. Г. П. Каменев писал: „Карамзин употребляет французских слов очень много; в десяти русских, верно есть одно французское; *имажинация*, *сентименты*, *tourment*, *énergie*, *épithète*, *экспрессия*, *экселлировать* и пр. повторяет очень часто“[3].

Однако уже с конце XVIII в., после Великой французской революции, крепнет среди западнически настроенной дворянской интеллигенции, особенно среди ее реакционных групп, убеждение в необходимости замены галлицизмов литературного языка русскими соответствиями или подобиями. Характерно в этом смысле замещение французских слов русскими или книжно-славянскими в позднейших редакциях „Писем русского путешественника“ Н. М. Карамзина. Так, *вояж* заменено словом *путешествие*; *визитация* — *осмотр*, *визит* — *посещение*; *партия за партиею* — *толпа за толпой*; *публиковать* — *объявить*; *интересный* — *занимательный*; *рекомендовать* — *представлять*; *литтеральный* — *верный* (список); *мина* — *выражение*; *балансирование* — *прыганье*; *момент* — *мгновение*; *инсекты* — *насекомые*; *фрагмент* — *отрывок*; *энтузиазм* — *жар* и др. под.[4].

---

[1] Необходимо вспомнить, что „подражание легкости и щеголеватости речений изрядной компании“ было лозунгом литературной деятельности В. К. Тредиаковского в 30—40-е годы. Ср. А. С. Б у д и л о в и ч, Об ученой деятельности Ломоносова, „Журн. мин. нар. просв.“ 1869 г., ч. 145, стр. 78.

[2] П. А. Вяземский, Соч., т. I, стр. 126.

[3] Альманах „Вчера и сегодня“, 1845 г., стр. 49—50.

[4] В. В. Сиповский, Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“, СПБ, 1899 г. стр. 174—176.

§ 5. Приемы и принципы смешения русского языка с французским.

Тенденция к перевоплощению западноевропейских понятий в национальные формы русского языка, к подыскиванию соответствий европеизмам в самом русском языке свидетельствует, что процесс европеизации русского языка к концу XVIII в. продвинулся еще далее в глубь грамматического и семантического строя. „Вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям изображаем их по правилам и понятиям чужого языка“, — описывает славянофил[1] Шишков сущность этого процесса. В этом смешении русского языка с французским следует различать несколько явлений.

1. При усвоении западноевропейских понятий, при переводе их на русский язык — происходило семантическое приспособление русских слов к соответствующим французским. Это вело к слиянию круга значений русского слова с сферой значений французского. Семантическая структура слова резко менялась. Развивались отвлеченные, переносные значения, не вытекавшие непосредственно из смысловой структуры русского языка и находившие полное отражение только в семантических свойствах французской речи. Напр.: *упиться* — s'enivrer, т. е. вполне насладиться чем-то; отсюда — *упоение* (enivrement), *упоительный* и т. п.; *плоский* — plat в значении избитый, банальный: *плоское выражение, плоская физиономия* и т. п.; *чéрта* — trait в разных значениях, напр.: *черты лица, черта характера, черта вероломства;* даже в смысле — *поступок: „эта не лучшая черта* (поступок) *моей жизни“* (Пушкин); *вкус* — goût. Славянофил Шишков комментирует: „Французы по бедности языка своего везде употребляют слово *вкус;* у них оно ко всему пригодно: к пище, к платью, к стихотворству, к сапогам, к музыке, к наукам и к любви. Прилично ли нам . . . писать . . . : *украшенный с тонким вкусом?* Когда я читаю *тонкой, верной вкус,* то не должен ли воображать, что есть также и *толстой и неверной вкус?* Обыкновенно отвечают на сие: как же писать? как сказать: un goût délicat, un goût fin? Я опять повторяю, что есть ли мы . . . станем токмо о том помышлять, каким бы образом перевесть такое-то или иное французское выражение . . . одним словом, есть ли мы . . . не перестанем думать по-французски, то мы на своем языке всегда будем врать, врать и врать . . . Какая нужда нам вместо: *она его любит,* или *он ей нравится,* говорить: *она имеет к нему вкус,* для того только, что французы говорят: elle a du goût pour lui? („Рассуждение о старом и новом слоге“, стр. 204—206).

Слово *тонкий* изменило свои значения под влиянием французского fin. Ср. выражения: *тонкий вкус, тонкий ум, тонкий человек, тонкий слух, тонкая бестия* и т. п. Ср. слова: *утонченность, утонченный* — raffiné. Слово *живой* приспособилось к семантике французского vif; ср. значения этого слова в выражениях: *живой ум* (l'ésprit vif), *живое воображение* (l'imagination vive), *живой интерес* (avec un vif intérêt), *живые глаза* (les yeux vifs), *живая изгородь* (haie vive) и т. п.[2]). Ко-

---

[1] Славянофилами, в соответствии с терминологией той эпохи, называются защитники церковно-книжной языковой культуры.

[2] Ср. значения слов *жилка* (*художественная, артистическая жилка*) с французским veine; *след* — с trace; *убивать* — с tuer (*убить время*); *сдержанный* — с contenu и т. п.

личество русских слов, изменивших свои значения под влиянием французского языка в эту эпоху, трудно определить в точных цифрах. Но оно очень велико.

2. Соответствия и подобия иностранным словам еще в первой половине XVIII в. составлялись посредством калькирования „европеизмов". В таких кальках русские морфемы, входившие в состав слова, были буквальным переводом морфологических элементов иноязычного слова. Происходила как бы точная съемка морфемы за морфемой.

Однако в первой половине XVIII в. кальки французских слов нередко складывалась из церковно-славянских элементов. Во второй половине XVIII в. протекал напряженный процесс отбора, преобразования и восполнения таких слов. Устранялись и замещались более „светскими" церковно-книжные образования. Вместе с тем кальки получали более отвлеченную, семантическую окраску (ср. *влияние — натечение*). Напр.: *расположение* — disposition; *положение* — position; *влияние* — influence; *сосредоточить* — concentrer; *трогательный* — touchant; *утонченный* — raffiné; *письменность* — litterature; *развлечение* — distraction; *впечатление* — impression; *наклонность* — inclination; *расстояние* — distance; *предрассудок* — préjugé; *насекомое* — insecte; *развитие* — développement; *переворот* — révolution; *присутствие духа* — présence d'ésprit; *обстоятельство* — circonstance; *развлекать* — distraire; *рассеянный* — distrait, dissipé; *подразделение* — subdivision и мн. др. под.[1]; ср. кальки в научной терминологии в роде: l'impénétrabilité — *непроницаемость;* l'imputabilité — *вменяемость*[2] и т. д.

3. Вместе с лексическими кальками возникали кальки фразеологические. Буквальный перевод приводил к образованию таких русских фраз, в которых связи и отношения слов не выводились из норм русской речи, а являлись лишь копией, воспроизведением соответствующих конструкций французского языка. В „Eléments de langue russe" par Charpentier[3] (1768 г.), во французском учебнике русского языка XVIII в., указываются, напр., такие примеры фразеологических совпадений между русским и французским языком: prendre résolution — *принять решение* (283); ср. *принять, брать, участие* — prendre part; tenir parole — *держать слово*; dans le nombre — *в числе кого-нибудь* (быть[4]) (299); avec le temps — *со временем* (283); faire honneur — *делать честь* (299); avoir un peu patience (318) — *иметь немножко терпения;* regner sur son visage — *царить на его* (чьем-нибудь) *лице* (о чувстве) (342). и т. п.; в „Бригадире" Фонвизина: *остатки дней наших* — les restes de nos jours; *от всего сердца* — de tout mon coeur; *взять меры* — prendre les mesures и т. п.

А. Т. Болотов в своей рецензии на перевод с французского сочинения „Луиза или хижина среди мхов" (1790 г.), сделанный П. Белавиным, писал о слоге этого перевода: „Того сказать не можно, чтоб не было в нем никаких несовершенств, а особливо в рассуждении изображения некоторых речений и фраз, которые переведены слишком буквально

---

[1] См. статью Bor. Unbegaun. Le calque dans les langues slaves littéraires. Revue des études slaves, t. XII, fasc. I et 2.

[2] См. М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. II, стр. 131.

[3] Далее в скобках указаны страницы этого изд.

[4] Ср. протест Шишкова против перевода: ses lettres sont au nombre de quarante — *его письма в числе сорока.* Собр. соч. и перев., ч. III, стр. 225.

и на французском языке хороши, а на русском еще не очень обыкновенны и слишком еще новы, как, например, *„прижимать к сердцу"* или *„святой ангел"* и прочее тому подобное"[1].

Однако было бы ошибочно сводить все фразеологическое творчество второй половины XVIII в. и начала XIX в. только к таким простым французским идиомам и фразам, которые укрепились в русском литературном языке и сохранились в большом количестве вплоть до современной эпохи. Напр.: diable m'emporte — *чорт побери;* pur sang — *чистокровный; строить куры* — faire la cour; *игра не стоит свеч* — le jeu n'en vaut pas la chandelle; *проглотить пилюлю* — avaler la pilule; *жечь свечу с двух концов* — brûler la chandelle par les deux bouts; *рог изобилия* — corne d'abondance; *сделать сцену кому-нибудь* — faire une scène à quelq'un; *хороший тон* — bon ton; *смешать чьи-нибудь карты* (переносно) — brouiller les cartes; *отдать последний долг усопшему* — rendre les derniers devoirs aux morts; *носить в себе семена разрушения* — porter germes de destruction; *книга природы* — le livre de la nature; *с птичьего полета* — à vol d'oiseau; *сломать лед* (переносно) — rompre la glace; *рука руку моет* — une main lave l'autre; un front d'arain — *медный лоб*, и мн. др.[2].

Русско-французская фразеология дворянских стилей XVIII в. имела своеобразные особенности. Она носила отпечаток того манерного, перифрастического, богатого метафорами, риторически изукрашенного языка, который был так характерен для французского общества той эпохи. А. С. Шишков описывает эту фразеологию такими чертами: „Старые писатели сказали бы: *в этом городе, или стране, повсюду наблюдается порядок и спокойствие*, а нынешние говорят: *все, что вы в этом городе видите, носит на себе* (как будто какое платье) *отпечаток порядка и спокойствия*. Выражение сие переведено с французского porter l'empreinte[3].

„Мы не смели вводить в сочинения наши таких переутонченных мыслей, каковы суть: *„стеснить время в один крылатый миг"*, или: *молодая горячность скользит по жизни"*[4]. Простое выражение: *„она имела власы кудрявые* похоже ли на то, что *волосы у нее льются с чела, и свиваются с какими-то другими кудрявыми волосами"*[5]. Ср. переносные значения французского couler (литься) и фразеологические контексты этого слова.

По мнению сторонников старого слога, писатели русско-французской школы „почти каждому слову дают ... не то значение, какое оно прежде

---

[1] „Из неизданного литературного наследия Болотова", „Литературное наследство", 1933 г., № 9—10, стр. 203—204.

[2] Ср.: *иметь зуб против кого-нибудь* — avoir une dent contre quelqu'un; *работать, как вол* — travailler comme un boeuf; *водить кого-нибудь за нос* — mener quelqu'un par le bec; *строить на воздухе* — bâtir en l'air; *на первый взгляд* — au premier aspect; *называть вещи их именами* — appeler les choses par leur nom; *выскользнуть как угорь* — échapper comme une anguille; *якорь спасения* — ancre de salut; *говорить, рассуждать на ветер* — parler, raisonner en l'air; *это носится в воздухе* — cela est dans l'air; *дело вкуса* — c'est affaire de goût; *на краю пропасти* — être sur le bord de l'abîme; *вопрос жизни и смерти* — une question de vie et de mort; *задняя мысль* — arrière pensée и т. п.

[3] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. XII, стр. 193—194.

[4] Там же, стр. 203.

[5] Там же, ч. IV, стр. 371—372.

имело, и каждой речи не тот состав, какой свойственен грубому нашему языку. Отсюда, по их мнению, рождается сия тонкость мыслий, сия нежность и красота слога, как например, следующая или сему подобная: *„бросать убегающий взор на распростертую картину нравственного мира“* [1].

Особенно любопытны приводимые Шишковым фразовые параллели

старого [illegible] и	нового слога:
Как приятно смотреть на твою молодость!	*Коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей!*
Луна светит.	*Бледная Геката отражает тусклые отсветки.*
Окна заиндевели.	*Свирепая старица разрисовала стекла.*
Любуемся его выражениями.	*Интересуемся назидательностью его смысла.*
Око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу.	*Многоездный тракт в пыли являет контраст зрению.*
Деревенским девкам навстречу идут цыганки.	*Пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит.*
Жалкая старушка, у которой на лице были написаны уныние и горесть.	*Трогательный предмет сострадания, которого уныло задумчивая физиономия означала гипохондрию.*
Какой благорастворенный воздух!	*Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода* [2].
Когда я любил путешествовать.	*Когда путешествие сделалось потребностью души моей.*
	(Карамзин) [3].

Шишков настойчиво подчеркивает „излишнюю кудрявость мыслей“ в языке европейцев. „Чем короче какая мысль может быть выражена, тем лучше. Излишность слов, не прибавляя никакой силы, распространяет и безобразит слог.“

На почве этой русско-французской системы фразовых сочетаний возник новый литературный стиль с своеобразными формами метафоризации, с специфическими условными типами перифраз, не поддающихся этимологизации и предметному осмыслению, с манерною изысканностью приемов экспрессивного выражения [4]. Устойчивая система литературной

---

[1] А. С. Шишков, Собр. соч., и перев., ч. XII, стр. 68—69.

[2] А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге, стр. 57—58.

[3] Комментарий Шишкова: „Свойственно ли по-русски говорить: *потребность души моей,* и можно ли путешествие называть *потребностью, надобностью или нуждою души?*... Здесь речь сия расположена точно по французскому складу: *quand le voyage est devenu nécessaire à mon âme*“.

[4] Ср. замечания Шишкова о выражениях: *„... сосн густых, согбенных вре-*

фразеологии, условной и пышной, состоящей из перифраз и метафор, была характерна для салонного риторического стиля карамзинистов. Она заменяла простую номинацию идей и вещей и делала излишним обращение к церковно-книжному языку, сила которого заключалась в богатой фразеологии, упорядоченной риториками ломоносовской школы. Эта была обширная область фразеологических штампов, представлявших своеобразную застывшую и неподвижную языковую кору, через которую трудно было пробраться к точному предметно-бытовому значению слов.

4. Воздействие французского языка изменяло синтаксические формы слова, формы управления. Происходило разрушение связей между этимологическим строем слов и их синтаксическими свойствами. „Напр.: переводят *влияние*, и несмотря на то, что глагол *вливать* требует предлога *в: вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь*, располагают нововыдуманное слово по французской грамматике, ставя его по свойству их языка с предлогом *на*": faire l'influence sur les esprits — *„делать влияние на разумы"* [1]. Любопытство, что окончательному торжеству французской конструкции — *влияние на кого-нибудь, что-нибудь* предшествовал период борьбы. Ср. конструкцию: *влияние в кого-нибудь, во что-нибудь*, напр., в переводе акад. Севергина (1803—1807 гг.) [2]: *„Повсюду, где бедные имеют великое влияние в общие рассуждения"*; у А. А. Барсова: *„путь открылся влиянию в общие дела европейские"* [3] и т. д.

Ср. сколки с французского синтаксиса в переводах акад. Лепехина: tant la morte est prompte à remplir ces places — *столь поспешна смерть к наполнению сих мест* [4] и др. под.

Изменение синтактики слова могло выражаться также в появлении форм управления падежами у таких имен, которые раньше в русском языке не имели дополнений. Таково, напр., широкое распространение род. пад. определительного у им. сущ. Слово *предмет*, приспособив свои значения к французскому objet, стало сочетаться с род. пад. дополнения. Отсюда возникли, по словам А. С. Шишкова, такие „несвойственные языку нашему выражения", как: *предмет кровопролития, предмет ссор, предмет любви* и т. п.

Точно так же менялись под воздействием французского синтаксиса конструкции с глаголами. Напр., *предшествуемый* (форма, возникшая как перевод франц. précedé) — страдательного залога от непереходного глагола; А. С. Шишков отводил во множестве такие галлицизмы в глагольных конструкциях: *„Когда сей наружный мир будет достигнут. Достигать до чего, доходить до чего, доплывать до чего;* при сих глаголах несвой-

---

мени рукою, над глухо воющей рекою . . ." Когда сосны рукою времени сгибаются? Ср. у Пушкина:

Уж осени холодною рукою
Главы берез и лип обнажены
(„Осеннее утро", 1816 г.).

„Прилично-ли говорить о реке: *„глухо-воющая река?"* Ср. еще пример „нелепых" выражений: *„нежное сердце, которое тонко спит под дымкою прозрачной"* и т. д. — „Рассуждение о старом и новом слоге", стр. 61.

[1] А. С. Шишков, Рассуждение о старом новом слоге, стр. 24.
[2] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. IV, стр. 135.
[3] Там же, стр. 237.
[4] Там же, вып. II, стр. 560.

ственно говорить: *будет достигнут, будет дойден, будет доплыт"* [1]. Ср. atteindre le but *(достигнуть цели)*, atteindre l'âge de quatre-vingts ans *(достигнуть сорокалетнего возраста)* и др. под. *„Корпус потребован к сдаче, приятель мой потребован к гулянию, слуга мой потребован к причесанию соседа* — все это не по-русски" [2]. В переводах Н. И. Болтина: *он* ***хвастался иметь*** *перо золотое* — qu'il se vantait d' avoir une plume d'or; *клеветать все веры* — calomnier toutes les sectes [3]; в переводах акад. Лепехина: ***любят видеть*** *человека* — on aime à voir un homme; *нельзя* ***сделать шага без того*** *чтобы...* — on ne peut faire un pas sans... [4] и т. д.

Ср. у Пушкина в „Полтаве" отслоения таких французских конструкций:

> *Отмстить поруганную дочь* (venger sa fille)...
> *Не он ли помощь Станиславу*
> *С негодованием отказал* (refuser son assistance)... [5]

5. Под влиянием западноевропейских языков,—французского, а в начале XIX в. и английского, устанавливается порядок слов в предложении. На смену латино-немецкой конструкции, по словам С. П. Шевырева, пришла „легкая, ясная, новоевропейская фраза". Вводится как норма такой порядок слов: 1) подлежащее впереди сказуемого и дополнений; 2) имя прил. перед сущ., наречие перед глаголом [6]; слова, обозначающие свойство, употребляемые для замены прил. и наречий, ставятся на их месте, напр.: *„природа щедрою рукою рассыпает благие дары"* (пример И. И. Давыдова); 3) в сложном предложении слова и члены управляющие — возле управляемых; 4) среди дополнений, зависящих от глагола,— впереди дат. или твор. пад., после всех — вин. пад.; 5) слова на вопрос: „где?", „когда?", т. е. слова, рисующие обстоятельства действия, ставятся перед глаголом; предложные конструкции, зависимые от сказуемого, следуют за ним; напр.: *„Сократ уже в последний раз, на праге смерти*

---

[1] А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге, стр. 185—186.

[2] Там же, стр. 189.

[3] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, вып. V, стр. 262.

[4] Там же, вып. II, стр. 554.

[5] Е. Ф. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания „Русалки", „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук", 1898 г., кн. III и 1899 г., кн. I—II.

[6] Но прил. в сказуемом следует за именем сущ.: *„Филалет был человек благородный по душе своей";* также и прил. притяжательное, заменяющее род. пад. сущ.: *„Век Екатеринин и Александров"*. И. И. Давыдов, Опыт о порядке слов. „Труды Общ. люб. рос. слов.", 1816 г., ч. V, стр. 122. Н. И. Греч в „Чтениях о русском языке" дополняет перечень случаев постановки им. прил. после им. сущ. следующими условиями: 1) когда исчисляется несколько из многих качеств сущ., а об остальных как бы умалчивается; напр.: *„он человек* ***честный, умный****"*; от этого происходит, что выражение *добрый человек* есть хвала, а *человек добрый* — косвенное порицание, ибо после оного ожидаем исчисления других качеств, может быть, уничтожающих первое; 2) когда при им. прил. находятся дополнения, напр.: *„Петр был государь великий и на поле битвы и среди мира"*; 3) когда имя прил. не столько означает качество, сколько ограничивает объем его и заменяет придаточное ограничительное предложение, напр.: *„Человек непросвещенный знает только место своего жительства"*; 4) когда прил. с сущ. находится в самом конце предложения и надобно обратить большее внимание на прил., напр.: *„У меня шуба медвежья. Я люблю детей прилежных"*; 5) после имен собственных или означающих звание и тому подобное, когда прил. составляет существенную, отличительную часть наименования или титула, напр.: *„Сципион Африканский"*. — „Чтения о русском языке", ч. II, стр. 251—252.

беседовал о вечности"; 6) все приложения должны находиться после главных понятий; 7) „слова, которые потребно определить, должно ставить впереди слов определяющих", напр., род. пад. всегда после управляющего слова. Этот порядок слов признается нормальным для системы литературного языка. Чтобы оценить значение этой реформы, надо сопоставить три синтаксических группы — два ломоносовских периода: 1) „*Уже мы, римляне, Катилину, столь дерзновенно насильствовавшего, на злодеяния покушавшегося, погибелью отечеству угрожавшего, из града нашего изгнали*" (период латинский); 2) „*Благополучна Россия, что единым языком едину веру исповедует, и единою благочестивейшею самодержицею управляется, великий в ней пример к утверждению в православии видит*" (период немецкий),—и период новый, карамзинский: „*Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем; солнечные лучи играли на белом ее лице, и проницая сквозь черные, пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте*" („Наталья, боярская дочь").

С этим литературным словорасположением не вполне согласуется „естественный порядок слов", присущий „разговорному языку простого народа". По мнению И. И. Давыдова, отражающему, конечно, общее убеждение литературно-образованных людей начала XIX в., для простонародного языка (если оставить в стороне эллипсис) обычным является сначала указание предмета, определяемого действием, затем действия и, наконец, действующего предмета [1]. Таким образом, констатируется резкое различие в порядке слов между литературным языком и просторечием. Вместе с тем нормальный порядок слов в литературном языке допускает отступления, стилистически мотивированные и создающие экспрессивное разнообразие „словотечения". Н. М. Карамзин в ст. „О русской грамматике француза Модрю" писал: „Мне кажется, что для перестановок в русском языке есть закон; каждая дает фразе особенный смысл; и где надобно сказать: *солнце плодотворит землю*, там *землю плодотворит солнце* или: *плодотворит солнце землю* будет ошибкой. Лучший, то-есть истинный порядок всегда о д и н для расположения слов; русская грамматика не определяет его: тем хуже для дурных писателей". Особенно резкие отступления от прямой расстановки слов наблюдаются при ораторском порядке слов. Здесь логический принцип размещения слов осложняется целями эмоционального воздействия. На первое место выдвигается „главный", наиболее эмоциональный предмет. Напр.: „*Раздался звук вечевого колокола, и вздрогнули все сердца в Новгороде*". Кроме того здесь имеют большое значение требования благозвучия и ритмическая каденция [2]. Однако излишняя ритмизация прозы запрещается: „Всякий знает, что поэзия прозаическая неприятна". Метрические закономерности в прозе невыносимы.

Так на почве французской культуры речи в дворянских стилях русского литературного языка происходит рационализация словорасположения.

6. В области синтаксиса предложений прежде всего происходит под влиянием французского языка разрушение той сложной периодической

---

[1] И. И. Давыдов, Опыт о порядке слов, „Труды Общ. люб. рос. слов," 1819 г., ч. XIV, стр. 12—17.

[2] Там же, ч. IX, стр. 58.

речи, которая, с одной стороны, была связана с формами построения латино-немецкого периода, с другой стороны, носила явный отпечаток канцелярского, официального слога. В „Сокращенном курсе российского слога“ Подшивалова-Скворцова (1796 г.) говорилось, что „промежутки от одной точки до другой в старину бывали очень велики, так что периода одним духом весьма часто выговаривать было не можно; но ныне употребляются по большей части пункты коротенькие, по причине трудного понимания длинных. Слов 8, 10 и 15 в периоде, так и довольно“. Прежде, при долгих периодах „союзы были необходимы; но ныне опущение их, т. е. союзов соединительных, особливую составляет приятность; а особливо стиль французской, от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красы своей“ [1]. Исключение ряда союзов и частиц (напр., *ибо, дабы, зане, понеже, поелику, в силу, колико* и др.) изменяло логику синтаксического движения. „Вестник Европы“ заявлял

Понеже, в силу, поелику
Творят довольно в свете зла [2].

„*В следствие чего, дабы* и пр., — писал „Московский журнал“ в разборе перевода „Неистового Роланда“, — это слишком по-приказному“ [3].

Исключение архаических союзов и частиц обновило синтаксический строй. Сокращение общего количества союзов возмещалось сложными формами синтаксической симметрии. Бессоюзные конструкции разнообразились приемами смысловой связи, неожиданностями соседства. Согласно канону салонно-дворянских стилей автор должен „ко всему привязывать остроумную мысль... или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки... находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями“ [4]. Гоголь очень метко охарактеризовал изменение в системе литературного языка, произведенное салонно-дворянскими стилями: „Поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале... Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, — легкость, незнаемую Державину“ [5].

Так в дворянских стилях, которые становились в конце XVIII в. организующим центром всей системы русского литературного языка, структурной основой синтаксиса и семантики был французский литературный язык.

§ 6. Стилистические нормы салонно-дворянской речи.

Идеалом речевой культуры русского дворянского общества XVIII в. был французский салон предреволюционной эпохи [6]. Там, в XVIII в. не

---

[1] Подшивалов-Скворцов, Сокращенный курс российского слога, 1796 г., стр. 20. Ср. Я. Грот, Карамзин в истории рус. лит яз. Труды, т. II, стр. 63 и след.

[2] „Вестник Европы“, 1802 г., № 3, стр. 22.

[3] „Московский журнал“, ч. II, стр. 324.

[4] „Аониды“ ч. II, 1797 г.

[5] Н. В. Гоголь, В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность? „Выбранные места из переписки с друзьями“, Спб. 1847 г.

[6] В ст. „Предпочтение природного языка“ М. Н. Муравьев так характеризовал „сияние“ французского языка „в столетие Людовика XIV“: „Не было придворного человека, благородной женщины, которые не умели бы изъясняться с приятностью и не полагали в числе отличий своих преимущество хорошо гово-

выходило книги, написанной не для светских людей, даже не для светских женщин... Сочинения исходили из салона и, прежде чем публике, сообщались ему... Характер общества делал записных философов светскими людьми... Публика обязывала такого человека быть писателем еще более, чем философом, заботиться о способе выражения столько же, сколько о мысли... Ему нельзя было быть человеком кабинетным... В вопросах стиля (en fait de parole) — все знатоки, даже записные. Математик Даламбер обнародывает трактат о красноречии; натуралист Бюффон произносит речь о слоге; законовед Монтескье составляет сочинение о вкусе; психолог Кондильяк пишет книгу об искусстве писать. Литературный язык преобразуется под влиянием „светского употребления слов и хорошего вкуса“. Словарь облегчается от излишней тяжести. Из него исключается большинство слов, которые хоть краем соприкасаются с сферой какой-нибудь специальности. Из него выбрасываются „чересчур латинские и чересчур греческие выражения“, термины школы, науки, ремесла и хозяйства, все, что отзывается слишком сильно каким-либо особенным занятием, что не может считаться у места в обыкновенном светском разговоре. Из него выкидываются слова местного, провинциального происхождения, домашние или простонародные, словом, все то, что могло бы шокировать „светскую даму“ [1]. Конечно, в живом историческом процессе эволюции французского языка картина соотношения, борьбы и взаимодействия разных социальных стилей была сложнее и противоречивее [2]. Но именно эти пуристские заветы блюстителей благородства и чистоты салонного стиля привлекали русских дворян-европейцев [3]. И. И. Дмитриев в ст. „О русских комедиях“ писал:... „Какая... нужда знатнейшей части публики: боярыне, боярину, первостатейному откупщику или заводчику, — какая польза им знать, что происходит в трактирах, на сельских ярмарках и в хижине однодворцев, которые известны только их старостам и управителям? У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки“ [4].

рить и писать на природном языке. Многие дамы, украшение пола своего, влияли природные и неподражаемые приятности разума своего в сочинения, повидимому легкие и нетщательные, но к которым не может подделаться никакое искусство: госпожа Севинье, Лафает и другие. Уединенной ученой не может перенять сих нежных оборотов языка, введенных употреблением общества. Прилежание и рассеяние попеременно способствовали к обогащению языка столь многими приятностями, что он внесен почти в число классических языков Европы, не перестав быть, как древние, живым языком народным“. Полное собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, 1820 г., стр. 165.

[1] Ср. Поль Лафарг, Язык и революция, пер. с франц., изд. „Academia“, М.—Л. 1930 г., стр. 37—54; Taine, Les origines de la France contemporaine. L'ancien regime, II, 231—234; Vaugelas, Remarques sur la langue française. Ed. Chassang, Paris, 1880; Потебня, Из записок по теории словесности, гл. „Серединность языкознания“, стр. 633—634.

[2] См., напр., Fergus, La langue française avant et après la Révolution. Nouvelle Revue, 1888, т. 51, стр. 385—406, 644—669; F. Gohin, Les transformations de la langue française dans la seconde moitié du XVIII s. Paris, 1903; F. Brunot, Histoire de la langue française, t. VII - IX.

[3] Ср. ссылку Карамзина на французских писателей („От чего в России мало авторских талантов?“): „Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переплавляли, так сказать, школьную свою реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему“.

[4] „Вестник Европы“, 1802 г., № 7.

Просторечие вовлекалось в сферу этого изысканного языка со строгим отбором. Нормы стилистической оценки определялись бытовым и идейным назначением предмета, его положением в системе других предметов, „высотой“ или „низостью“ идеи. „То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко“. „Один мужик говорит *пичужечка* и *парень*: первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: „вот гнездо! вот пичужечка!“ При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется наблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: „ай, парень! Что за квас!“ Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей“. „Имя *пичужечка*, — продолжает Карамзин, — для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей две любезных идеи: о свободе и сельской простоте“[1].

Таким образом, оценка литературного достоинства слова, светская доброкачественность слова обусловлены всем социально-бытовым контекстом его употребления, картиной ассоциированных с ним предметов. В сюжетную структуру слова входит не только „значение“, но и социально-бытовое содержание слова, его обстановка и широкий круг его соседства, его предметных и идейных связей. В зависимости от этого была и экспрессия слова, его „тон“, как говорил Карамзин. Литературному языку была задана, как норма его экспрессивных возможностей, строго определенная плоскость „тональностей“ (если можно так выразиться), связанная с идеальным образом чувствительного, галантного и просвещенного „жантильома“.

Понятно, что все слова и фразы, которые относились к слогу „грубому, сухому и надутому“, т. е. выражения „простонародные“, низкие, официально-канцелярские, специальные, профессиональные, церковно-славянские, в этом салонном стиле были запрещены. Язык салона и возникавшие на почве его стили литературы отрывались от многообразия бытовых варьяций речи. Рецензии и статьи о слоге в журналах конца XVIII — начала XIX вв. ярко рисуют стилистические нормы этого салонно-дворянского литературного языка. „Господин переводчик весьма старался примениться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре. Только надлежало бы ему подражать людям, которые говорят хорошо, а не тем, которые говорят дурно. Выражения простонародные не должны писателям служить правилом“[2]. „Иногда г. сочинитель употребляет низкие слова и выражения, которые нельзя даже употреблять в хорошем разговоре“[3].

С такой же настойчивостью и ревностью изгоняются из этого литературного языка славянские, книжные слова, которые „часто затмевают стиль и более изобличают педанта, или школьника“, и канцеляризмы. Все, напоминающее приказной слог и церковную речь, из салонного

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к Дмитриеву, СПБ, 1866 г., стр. 39, письмо от 22 июня 1793 г.

[2] „Московский Меркурий“, 1803 г., ч. II.

[3] „Цветник“, 1810 г.

языка устранялось. „*Кажется, чувствую как бы новую сладость жизни*, говорит Изведа, но говорят ли так молодые женщины? *Как бы* здесь очень противно". „*Учинить*, вместо *сделать*, нельзя сказать в разговоре а особливо молодой девице"[1]. „*В следствие чего, дабы* и пр. — это слишком по-приказному и очень противно в устах такой женщины, которая была прекраснее Венеры". „*Колико для тебя чувствительно* и пр. Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*".

Так критерием стилистической оценки, законодателем норм литературности провозглашается вкус „светской женщины". Этот салонный вкус не мирится с канцеляризмами и церковно-славянизмами. Система идеологии и мифологии церковного языка дворянам-„европейцам" была чужда. Славянская речь, за пределами общеевропейской библейской фразеологии, представлялась им механически движущимся рядом образов, выражений, „устарелых", „грубых" слов и конструкций, одни из которых „европейцы" считали необходимым сдать в архив, а другие приспособить к структуре „салонного" светского языка. „Слог церковных книг, — заявляет П. Макаров, — не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от писателей светских... При том наши старинные книги не сообщают красок для роскошных будуаров Аспазий"[2].

Конечно, стилистическое отрицание церковно-славянизмов не означало отказа от библейских образов. Ведь библейские образы и фразы вошли и в систему европейских языков. За библией сохранялось значение поэтического и идеологического источника. Но библейские образы и мифы должны быть переведены на светский язык, приспособлены к его структуре. „Когда переведут священное писание на язык человеческий?" — спрашивал К. Н. Батюшков[3].

Сама по себе система церковно-славянского языка западникам казалась чужеродным организмом, скроенным по типу греческого языка. Поэтому церковно-славянские слова и фразы отвлекались писателями-„европейцами" от смыслового контекста церковно-библейской идеологии и мифологии и расценивались с точки зрения норм светского, салонно-литературного языка, очерченного строгим кругом экспрессивных форм и элегантного вкуса.

Исключались все церковно-книжные формы, не соответствовавшие нормам „светского" буржуазно-дворянского вкуса.

„*Персты* и *сокрушу* производят какое-то дурное действие", — писал Н. М. Карамзин И. И. Дмитриеву[4]. „*Отзыв* для меня лучше, чем *отглас*", — оценивал Карамзин. „*Все части учености* ***возделываются*** *там с успехом*. Лучше бы было в сем смысле сказать по-русски *обработываются*"[5]. Карамзин иронизирует над „*големыми претолковниками, иже отревают все, еже есть русское, и блещаются блаженне сиянием*

---

[1] Приложения к ст. Я. К. Грота, „Карамзин в истории русского литературного языка". Замечания Карамзина о языке из разборов его, помещенных в „Московском журнале" (1791—1792 гг.), Труды, т. II, стр. 119.

[2] П. Макаров, Соч. и перев., ч. II, стр. 25.

[3] К. Н. Батюшков, Собр. соч., изд. Ак. наук, т. III, стр. 410. Можно вспомнить перевод В. А. Жуковским евангелия на русский язык.

[4] Н. М. Карамзин, Письма, стр. 42.

[5] „Московский журнал", 1791 г., ч. III, стр. 221—222

славеномудрия“ [1]. Пародический подбор „обветшалых“ славянизмов подчеркивает, что в таком виде представлялось дворянам-западникам основная сфера церковно-славянского языка. Ломоносовский принцип смешения церковно-славянской речи с простонародным языком отрицался. Для „европейцев“ многообразие сляяно-русских стилистических контекстов было лишено выразительности. Оно возмещалось разнообразием экспрессивно-стилистических варьяций словоупотребления, но в строго очерченном кругу норм „светской“ речи.

Вместе с тем изменялись в салонно-дворянских стилях конца XVIII — нач. XIX вв. самые принципы предметного осмысления церковно-славянизмов. Оторванные от своего контекста, славянизмы проецировались на семантическую систему бытового языка и подвергались „этимологизации“ на основе его норм. В этом стиле многие из „старых слов и фраз“ „иные пришли совсем в забвение; другие, не взирая на богатство смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование свое и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись“ [2]. А. С. Шишков указывает много примеров такого забвения. „*В безмолвной куще сосн густых...*“ „*Куща* ничего не значит, как шалаш или хижина. Чтож такое: *кущи сосн*?“ [3] и т. д.

Протесты против „долгосложно-протяжно-парящих слов“ свидетельствуют, что отрицательная оценка славянизмов зависела не только от значения слов, но и от их морфологической структуры. О славянофиле П. Львове „Сатирический разговор в царстве мертвых“ судил так:

Писал похвальные слова мужам великим
Надутым слогом, пухлым, диким.
Предлинные слова в шесть, семь слогов ковал[4].

Д. В. Дашков, защитник аристократических светских норм литературного языка [5], приводил пародические примеры длиннейших славянских образований по типу „*древо благосенно-лиственное*“ *вроде:* ***длинногустозакоптелая*** *борода,* ***христогробопоклоняемая*** *страна* и т. п.

Отбор и запрет были только начальным этапом в работе западников над церковно-славянизмами. Далее наступал процесс фразеологического приспособления и переосмысления их. Для характеристики приемов салонного „переодевания“ церковно-славянизмов любопытен такой пример каламбурного употребления библейских символов у Карамзина в письме к Дмитриеву: „Как можно вымарать стихи свои? Они для меня всех дороже. Воля твоя: *я воскрешу их, сниму с креста* или *крест с них*“ [6].

Так церковно-славянская лексика и фразеология, отобранная и приноровленная к стилистическим и жанровым варьяциям языка светского дворянского общества, теряла свою культовую и книжно-официальную экспрессию и отрывалась от контекста церковной идеологии. В этом „очищенном“ виде она вступала в разнообразные сочетания с формами

---

[1] Московский журнал, 1791 г., ч., IV, стр. 112.
[2] А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге, стр. 46—47.
[3] Там же, стр. 62.
[4] „Современник“, 1857 г., т. LXIII, № 5. Примеч. к письмам Карамзина, стр. 15.
[5] „Цветник“, 1810 г., ч. VIII, стр. 297—300.
[6] Н. М. Карамзин, Письма, стр. 106.

бытовой фразеологии, смешиваясь с салонным просторечием и французским языком. А. С. Шишков жаловался: „Славянский язык презрен, никто в нем не упражняется, и даже самое духовенство, сильною рукой обычая влекомое, начинает уклоняться от него“ [1].

Таким образом, границы литературного языка для европейцев сужались. Обречен был на отмирание целый ряд жанров в высоком и даже среднем славенском слоге. Задача европеизированного дворянства заключалась в том, чтобы из фонда слов и выражений, который составлял общее владение книжного и разговорного языка, с захватом смежных сфер литературы и просторечия, — создать формы светского „красноречия“, далекого от приказных и церковных стилей, чуждого всякой „простонародности“, ориентируясь на французский язык и на риторику „благородного“ дворянского общества. Различие между стилями салонно-литературного языка было обусловлено степенью риторической изощренности. „Высокий слог должен отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии“, — писал П. Макаров [2].

§ 7. Грамматическая нормализация дворянского литературного языка.

Перегруппировка стилей, разрушение высокого славянского слога, ограничение литературных функций и состава просторечия не могли осуществиться без перестройки морфологической системы русского литературного языка. Часть грамматических форм, допускавшихся раньше в простой слог, теперь выбрасывалась за пределы литературного языка. Некоторые из морфологических особенностей высокого слога сдавались в исторический архив, другие — вовлекались в структуру тех стилей, которые объявлялись нормой литературного выражения.

Нормализация морфологического строя речи, изменяя строение и значение грамматических категорий, производя отбор форм, устраняя грамматические архаизмы и вульгаризмы, привела в начале XIX в. к устойчивой грамматической системе русского литературного языка, усвоенной в основных чертах и буржуазными стилями XIX в.

Так, в литературной речи начала XIX в. признаются неправильными и начинают уменьшаться в числе такие особенности простого слога:

1) Отвергается образование им. пад. множ. ч. от им. сущ. среднего рода на *-и*, *-ьи*, *-ии* и *-ы*. Считается нормальными окончание *-ы* в им. пад. множ. ч. среднего рода только у уменьшительных на *-це*: *зеркальце (зеркальцы)*, *оконце (оконца* и *оконцы)* и т. д. [3] — и на *-ко*: *местечко* (*местечки*). „Неправильно написать *окны* вместо *окна*“ [4].

Однако отношение к формам им. пад. множ. ч. вроде: *имении*, *мучении*, *желании* и т. п., нередким в языке Сумарокова, Фонвизина, Ради-

---

[1] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. XII, стр. 249.

[2] П. Макаров, Соч. и перев, ч. II, стр. 41.

[3] „Российская грамматика, сочиненная Рос. акад.“, изд. 2-е, 1809 г., стр. 75. Ср. у Н. И. Греча, Практическая русская грамматика, 1834 г., стр. 59, выбор того же примера для этой категории на *-ы* (*зеркальцы*). Отсюда и *солнцы*.

[4] „Российская грамматика...“, 1809 г., стр. 28. Примеры из писателей конца XVIII — первой половины XIX в. см. у С. П. Обнорского, Именное склонение в современном русском языке, в. II, Лнгр., 1931 г., стр. 123—125.

щёва и других писателей XVIII в., и к формам типа: *вороты*, *белилы* и т. п. было разное. *Мучении*, *имении* и тому подобные формы на *-ии* категорически запрещались грамматикой начала XIX в.

В замечаниях членов „Беседы любителей российского слова“ об ироикомической поэме Шаховского „Расхищенные шубы“ не раз указывается: *подражанья*, а не *подражаньи*, *мудрствия*, а не *мудрствии* и т. п.[1].

Формы же *леты*, *селы* и т. п. окончательно устранены из литературного языка только в период буржуазной грамматической рационализации, к половине XIX в.[2].

2. Объявляется нелитературным род. пад. множ. ч. на *-иев*, *-ев*, *-ов* от им. сущ. среднего и женского рода. Исключение составляют „некоторые имена, кончающиеся на *-ье*, особенно употребляемые в просторечии, как-то: *кушанье — кушаньев*, *поместье — поместьев*[3]. Ср. в замечаниях членов „Беседы любителей российского слова“: „родительный пад. множ. числа имяни *крыло — крыл*, и *крыльев*, но не *крылиев*“[4].

3. Запрещается твор. пад. множ. ч. им. сущ. мужского и среднего рода, на *-ы -и*, частый у продолжателей ломоносовской традиции, но уже начавший вымирать во вторую половину XVIII в.

4. Осуждаются формы твор. пад. мн. ч. на *-ьми* вроде: *избавительми*, *победительми* (Фонвизин), *коньми, рыцарьми* (Державин) и т. д. Однако эти формы, хотя и редкие, употребляются как дублеты и в первой половине XIX в., суживая свои пределы и постепенно превращаясь в немногочисленную, замкнутую категорию однообразных примеров[5].

5. Сравнительная степень на *-яе* устраняется. Утверждается окончание *ее* (*ѣе*) независимо от ударения и т. п.

Нормализация грамматических форм и функций ограничивает проникновение в литературный язык морфологических диалектизмов. В пределах грамматики простого слога происходит сложная диференциация.

Целый ряд морфологических категорий, бывших приметами простого слога, теперь принимается в литературный язык без специальной стилистической мотивировки.

1. Формы род. пад. ед. ч. им. сущ. мужского рода на *-у*: *взгляду* и т. п. и предл. пад. на *-у* выводятся за пределы просторечия. Они более строго прикрепляются к определенным семантическим группам сущ., напр., род. пад. на *-у* к категории сущ. отвлеченных, собирательных (или вещественных), и уменьшаются в числе[6]. В устной речи их употребление было шире и свободнее. Это создавало колебания и в литературном языке. Н. И. Греч указывает, что формы род. пад. на *-у* встречаются „особенно в

---

[1] Бумаги Державина, т. V, „Литературное наследство“, № 9—10, стр, 390—391.

[2] Ср. ст. Л. П. Лобова, Из истории русского литературного языка, Сб. общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете, Пермь, 1929 г., вып. III, стр. 171—172.

[3] Н. И. Греч, Практическая русская грамматика, стр. 63. Ср. также у В. И. Чернышева, Правильность и чистота русской речи, 1915 г., вып. II, стр. 84, 90—91.

[4] „Литературное наследство“, № 9—10, стр. 390.

[5] Ср. у Чернышева, вып. II, стр. 80.

[6] Ср. С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, в. I, Лнгр. 1927, стр. 194 и след.

просторечии“, но допускает их применение и в средних стилях литературного языка[1].

2. Употребление *-ье, -ья, -ю* и т. п. вместо *ие, -ия, -ию* и т. п. предоставляется „воле пищущего“[2]. Но в именах, имеющих пред этими звуками „шипящую букву“, предписывается всегда производить сокращение, напр., *помощью, ночью*[3] и т. п.

3. Получают более широкое распространение в литературном языке формы им. пад. множ. ч. на *-а* от им. сущ. мужск. рода[4], вовлекаясь и в категорию одушевленности.

4. Формы им. пад. множ. ч. на *-ья* (*братья, брусья, колья, листья, друзья* и т. п.), еще „Российской грамматикой“, соч. Рос. академией, оцененные как просторечные, теперь считаются общелитературными. Определяются семантические различия между *листы* и *листья, мужи* и *мужья, крюки* и *крючья, зубы* и *зубья* и т. п.[5].

5. В твор. пад. им. сущ. женского рода окончания *-ою — -ой* признаются равноправными[6], но в формах твор. пад. им. прил. женского рода *-ой — -ей* рассматривается как „сокращение, употребляемое в просторечии“[7].

6. Формы им. п. ед. ч. мужского рода прил. на *-ой — -ей* вместо *-ый — -ий*, род. пад. мужск. и средн. р. *ова,-ева,-ово,-ево*, перестают быть признаками простого слога, так как признаются графическим отражением нормального литературного произношения (что связано с признанием окончаний *-аго, -его* и т. п. — приметой церковного чтения).

Однако само понятие просторечия в аспекте литературного языка не умирает. Оно противополагается по грамматическому строю областным отклонениям, как близкая к литературной речи разновидность „общего языка“. Напр., многократный вид глаголов относится к просторечию[8]. Для просторечия характерны „частицы присловные“: *-ко, -то, -от*, напр.: *давай-ко, солдатка-то, отец-то вышел*[9]. Полные окончания деепричастий *-ючи* и *-ши* употребляются преимущественно в „изустном разговоре, в просторечии“ и „неупотребительны на письме и в возвышенном слоге“.

Уже эти примеры стилистической перегруппировки форм с достаточной определенностью рисуют процесс образования „нейтральной“ грамматической системы литературного языка, которая должна была регулировать и разговорную речь интеллигенции.

Но сближение с разговорным языком сопровождается и обратным течением в сторону книжного языка. Происходит общелитературное освоение форм высокого слога, их нейтрализация.

Морфологические категории высокого слога, не носившие отпечатка архаичности или церковно-книжности, теперь включаются в общую грам-

---

[1] Ср. в „Российской грамматике“, стр. 65, 67; у Чернышева, Правильность и чистота русской речи, вып. II, 27—28.

[2] Н. И. Греч, Практическая русская грамматика, стр. 67.

[3] Там же, стр. 67.

[4] Ср. С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, в. II, стр. 4 и след.

[5] Н. И. Греч, Практическая русская грамматика, стр. 63—64.

[6] Там же, стр. 57.

[7] Там же, стр. 88.

[8] Там же, стр. 167.

[9] Там же, стр. 216.

матическую систему литературной речи. Таковы, напр., формы сравнительной и превосходной степени [1], формы причастий и деепричастий (на *-я* и *-в*). Интересно сопоставить отношение к категориям причастия и деепричастия Академ. грамматики и грамматики Н. И. Греча. В первой причастия, особенно причастия настоящего времени на *-щий*, еще рассматриваются как свойство высокого слога: „Причастия, а наипаче настоящего времени, по большей части употребляются в высоком слоге, следовательно, от простых глаголов, каковы суть *вялю, топчу, барышничаю* и пр., причастия не употребляются, а вместо оных глаголы употребляются в изъявительном наклонении с местоимением *который* или *кой*“ [2]. В грамматике Н. И. Греча молчаливо допускается возможность образования причастия от глаголов разной стилистической окраски, и причастия рассматриваются как общее достояние литературно-книжного языка. В „Чтениях о русском языке“ Н. И. Греч [3], склоняясь к петербургской чиновничьей тенденции — сделать разговорный язык более книжным, даже писал: „Некоторые грамматеи выражали странное мнение, будто причастия и деепричастия могут быть употребляемы только в книжном языке, в высшем слоге, придерживающемся оборотов церковного языка. Мы находим это несправедливым: гораздо лучше, приятнее, выразительнее, короче, употреблять причастия и деепричастия, нежели затычки: *который, кой, как, так, после того что, когда, тогда* и т. п. На это возгласят, что у нас они не употребляются в изустном разговоре. Вольно говорить дурно!“ Но, вообще, категория причастий, распространившись на все глаголы, входит в норму книжного языка — в отличие от разговорного (ср. суждение о формах причастия А. С. Пушкина).

Любопытно, что в дворянских стилях конца XVIII — начала XIX в. причастия получают более явственный оттенок „прилагательности“, „качественности“. Об этом свидетельствует широкое распространение прил. на *-мый* со значением способности, пригодности к чему-нибудь, возможности или невозможности чего-нибудь, (соответственно французскому суффиксу *-able*), напр.: *непроницаемый, неутомимый, вменяемый, достижимый (достижимая цель)* [4] и др. под. Качественные значения широко развиваются у причастий прошедшего времени страдательного залога, напр.: *смущенный взор, удивленное выражение лица* и т. п. Усиление качественности причастий доказывается попыткой Карамзина распростанить формы степеней сравнения и на причастия. Так, он писал (в переводе заметки Лафатера): „*Чем простее, вездесущнее, всенасладительное, постояннее и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее мы сами, тем мы мудрее, свободнее, любящее, любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее* [5]. Но эти формы не привились. Они были отвергнуты грамматической рационализацией 20—30-х годов. Н. И. Греч писал в „Чтениях о русском языке“: „Имеют ли причастия степени сравнения, то есть: можно ли сказать: *любящее, влюбленнее, живущее?* Нет. Имея значение времени они не могут в то же время означать степень

---

[1] Н. И. Греч, Грамматика, стр. 87.
[2] Там же, стр. 246.
[3] Н. И. Греч, Чтения о русском языке, 1840 г., ч., II, стр. 44.
[4] Н. М. Карамзин, Собр. соч., изд. Смирдина 1848 г., т. II, стр. 243—244.
[5] Там же, стр. 243—244.

*

качества“ [1]. Однако усиление значения качественности в причастиях повело к некоторому изменению синтаксической роли их времени. Напр., именно в эту эпоху начинается смешение нестрадательных форм прошедшего и настоящего времени причастий несовершенного вида при сказуемом-глаголе прошедшего времени, так как причастие настоящего времени становилось все менее и менее способным выражать временные оттенки. Так, у Карамзина в „Бедной Лизе“: *„остановилась над Лизой, лежавшей на земле“* — и там же: *„Видались под тенью дубов, осеняющих глубокий, чистый пруд“* [2].

Но в дворянских стилях русского литературного языка преобразование причастия было органически связано с общим усилением значения категории качественности в грамматической системе (под влиянием французского языка). Имена прилагательные тогда не только расширяют сферу своих значений, но и изменяют свою грамматическую структуру. Получают широкое развитие формы качественных прил., соответствующие им. сущ. с предлогом, напр.: *бестрепетный* (Жуковский), *замогильный* и т. п. Развитие качественности содействует ограничению употребления притяжательных прилагательных. Под влиянием европейских языков предпочитается замена их формой род. пад. сущ. Ср. широкое употребление таких форм в языке до конца XVIII в.: у В. Майкова — *львов приход*, у Карамзина в „Переводах“ — *жена откупщикова, у дверей священикова дому, после крестьянкиной смерти* и т. п. [3].

Так меняются под западноевропейскими воздействиями границы и функции грамматических категорий, и производится из „старого слога“ отбор форм для „нейтральной“, общей грамматической системы обновленного национально-литературного языка, который вступает в живое взаимодействие с разговорной речью буржуазно-дворянской интеллигенции. Поэтому книжно-архаические и церковно-славянские формы подвергаются оценке с точки зрения норм общественного употребления и в значительном количестве исключаются. Происходит напряженная борьба с морфологическими „архаизмами“ высокого слога, вроде род. пад. ед. ч. женского рода прил. на *-ыя* и *-ия* (*великия, грозныя* и т. п.), которые на некоторое время, до 30-х годов, еще сохраняются в стихотворном языке [4]; инфинитива на неударяемое *-ти*; 2-го лица настоящего — будущего времени на *-ши* и т. п. Характерна тенденция точно определить категории чередования звуков *т* — *щ* в формах спряжения. Напр., Н. И. Греч допускает *щу* (вместо русского *чу*) только в таких глаголах на *-тить*: *богатить, вратить, кратить, претить, работить, святить, сытить, сетить, хитить* и немногих других, заимствованных непосредственно из церковно-славянского языка, и в четырех глаголах на *-тать*: *клеветать, роптать, скрежетать и трепетать* (Грамматика, стр. 142).

Так русский литературный язык в конце XVIII — начале XIX в. ограничивает церковно-славянскую стихию в сфере грамматических форм и

---

[1] Н. И. Греч, Чтения о русском языке, т. II, стр. 43.

[2] Н. А. Каганович, о временных функциях причастий в русском литературном языке, Наукові записки Харківської наук.-дослідч. катедри мовознавства, 1929 г., № 2.

[3] Ср. В. И. Чернышев, Правильность и чистота русской речи, в. II, стр. 158, 167—168.

[4] Ср. Н. И. Греч, Грамматика, стр. 88.

категорий и вырабатывает стройную систему грамматики, сближенную с разговорным языком и его в свою очередь контролирующую.

„С того времени, — пишет И. И. Дмитриев, — так наз. высокий полуславянский слог и растянутый вялый среднего рода стали мало-по-малу выходить из употребления“ [1].

§ 8. Фонетическая система дворянской литературной речи.

Фонетическая система русского литературного языка также выливается в устойчивые формы. Диалектическим, поместно-областным колебаниями произношения противополагается фонетическая структура „общего“ русского языка, покоящегося на средних нормах московского произношения. Отголоски севернорусского (напр. *о* вместо *е* в безударном слоге, отражения оканья и т. п.) и южнорусского произношения (напр., яканье, длительное *г* и т. п.) осуждаются в литературном языке [2]. Точнее определяются правила и нормы аканья [3]. Но главное: регламентируется отношение между русскими и церковно-славянскими фонетическими особенностями. Распространяется *о* вместо ударного *е* (не на месте исконного ѣ) приблизительно на те слова и формы, в которых оно звучит в настоящее время. Исключение делается только для „слов церковно-славянских, в просторечии неупотребительных“ [4], напр. *уже, сие, бытие*. Сужается сфера употребления фрикативного *h*. Это явление легко доказать сопоставлением правил „Российской грамматики“, соч. Рос. акад. (1809 г.), отражающей „старый слог российского языка“, и грамматики Н. И. Греча, основанной на нормах нового стиля, утвержденного Карамзиным. Грамматика Рос. акад. учит, что „как латинское *h* буква *г* произносится в словах, заимствованных из славянского языка и высокому слогу свойственных, напр.: *глава, погасаю, возгнещаю, господствую, гортань, гугнивый*“ (стр. 7). Вместе с тем отмечается как норма произношение *х* вместо *г* в конце слов (7—8) и указывается, что в этом положении „*г* выговаривается иногда на подобие *к*, напр.: *друк, снек, недосук*“ (стр. 8).

В грамматике Н. И. Греча формулировка правил о произношении буквы *г* резко изменяется и принимает такой вид: „в начале и средине слов как *г*, напр., *гром, глаз, губа, пагуба, гну, горе, игра*; в словах, непосредственно перешедших из церковно-славянского языка, п р е д г л а с н о ю как *h*, напр.: *господь, благо, бога* и т. д.“. Поэтому нормальным признается произношение в конце слов *г* как *к* (*друк, порок, снек*) кроме слов *бог, убог*.

---

[1] Взгляд на мою жизнь, стр. 86.

[2] Ср. еще в грамматике разночинца проф. А. А. Барсова (1780 г.) замечания о фонетических диалектизмах в московском произношении. См. В. И. Ч е р н ы ш е в, Несколько указаний на московское наречие в конце XVIII в. „Рус. фил. вестник“, т. 51. По данным грамматики Барсова видно, что еще в конце XVIII столетия говор Москвы и ее окрестностей был более смешанным. В нем можно было еще нередко услышать некоторые южные особенности, напр. *ф* вм. *хв*: *фалить, фатать*, *х* в конце слов на месте *г* (*нох, мох-мог*). Во времена Барсова в некоторых московских семьях акали сильнее: *яму, твояму, просвященный*. Но, с другой стороны, в московской же среде жили и севернорусское оканье и безударное *о* на месте *е* (*пишот, сыплиотся*). Но эти крайности отвергаются, а за образец принимается произношение коренного московского и подмосковского „знатного и среднего дворянства“.

[3] Ср. указания грамматики Н. И. Греча, стр. 474, 475, 477.

[4] Т а м ж е, стр. 417.

Так семантическое преобразование церковно-славянизмов и книжных слов, их „обмирщение“ сопровождается руссификацией их фонетического облика. „Общеупотребительное произношение русского языка“ противополагается „чтению церковных книг“. „Книги церковно-славянские читаются так, как пишутся, напр., слова: *единого, моего, Петр* не выговаривают: *единава, моево, Пётр*“ (421).

В соответствии с нормами дворянского просторечия признаются общелитературными некоторые фонетические свойства простого слога, напр. произношение *-ава, -ева, -аво, -ова,-ево*, в род. пад. прил. (стр.421) или *шн* вместо *чн* („но в слове *точно* буква *ч* произносится без перемены“, стр. 421.)

Итак, в буржуазно-дворянской системе русского литературного языка конца XVIII — первой трети XIX в. определяются законы и правила литературного произношения, в существенных своих чертах не подвергавшиеся коренной ломке до эпохи революции.

§ 9. Историческое значение салонно-дворянских стилей русского литературного языка.

Салонно-литературные дворянские стили конца XVIII — первой четверти XIX в. в области фонетики, морфологии и синтаксиса определили в основном структуру русского национально-литературного языка на весь XIX в. Но лексический состав и семантическая система, идеология этих стилей были очень узки, классово-ограничены. Поэтому эти стили не могли удовлетворить разные слои дворянства — и либерального и консервативного. Не могли они удовлетворить и буржуазные круги общества, которым внушились как строго замкнутая система литературно-книжного выражения.

V

Стилистические противоречия в литературном языке первой трети XIX в.

§ 1. Идеологическая ограниченность салонно-дворянских стилей.

Салонно-дворянские стили русского литературного языка, формировавшиеся во второй половине XVIII в. и окончательно сложившиеся в первые десятилетия XIX в., претендовали на значение семантического центра общенациональной русской речи. Исходя из среды дворянства, они были обращены к буржуазии как предписанная культурной традицией дворянского общества норма буржуазного выражения. Буржуазно-дворянское общество первой четверти XIX в. именно с этой точки зрения расценивало реформу русского литературного языка, которая была прикреплена к имени Карамзина. „В конце XVIII столетия, вследствие повсюдного распространения знаний, — пишет Н. Л., автор ст. „О составных началах и направлении отечественной словесности в XVIII и XIX в.“ (1835 г.), — с основанием многих учебных и ученых заведений развился в России новый класс людей образованных. Этому классу, равно далекому от утонченностей и блеска придворной жизни, как и от схоластической славяно-греко-латинской учености тогдашнего времени, нужны были новый язык и новая словесность, соответствующая характеру его образования. Карамзин первый отозвался на эти потребности... Видно, что язык его останется навсегда языком русской словесности, несмотря на все изменения, каким она может подвергнуться в направлении своем. Но средний класс, для которого Карамзин создал язык, только что вступал еще на поприще духовной деятельности: ни вкус его, ни понятия еще не были развиты; и потому неудивительно, что Карамзин, столько превосходивший своих предшественников по языку, как бы отстал от них, в первых своих сочинениях, по возвышенности и силе мыслей“ [1].

Точно так же писал о Карамзине Н. Стрекалов [2]: „В отношении к языку, Карамзин является начинателем нового периода в нашей словесности. Этим он отвечает на требование новой формы, языка народного, для литературы народной. Но по духу своих произведений Карамзин решительно принадлежит предыдущему веку — и заключает собою нашу словесность XVIII столетия“. Имя Карамзина было символом всей системы

[1] Вульф, Чтения о новейшей изящной словесности, М., 1835 г. Дополнительная глава переводчика, стр. 463—464.

[2] Н. Стрекалов, Очерк русской словесности, М., 1837 г., стр. 99.

буржуазно-дворянского салонно-литературного стиля. С. П. Шевырев выразил общее представление эпохи: „Речь Карамзина была чрезвычайно оригинальна, когда в первый раз явилась на Руси после тяжеловесного периода древней школы. Но эта оригинальность ее заключает в себе черты общие, всем доступные, никому не обидные... Вот почему ее так скоро усвоили себе писатели всей России, и слог Карамзина стал слогом всех“ [1].

Однако даже те писатели из дворянской, а особенно из разночинно-демократической среды, которые восприняли и усвоили внешние формы салонно-литературного дворянского стиля, отмечали идеологическую бедность его. К 30-м годам XIX в. признание идейной „отсталости“, интеллектуальной скудости салонно-литературного языка, символически связанного с именем Карамзина, стало общим местом. Оно было утверждено „Московским телеграфом“; оно входило даже в „Руководства к познанию истории литературы“. Так, В. Плаксин, один из разночинных критиков и литературоведов 20—30-х годов, отказывается признать Карамзина преобразователем русской прозы из-за бедности идей в его произведениях: „Тот может быть назван преобразователем прозы, кто дает новое направление понятиям, изменяет общий способ воззрения на предметы, подлежащие знаниям, кто вместе с тем изменяет способ выражения положительных знаний... Карамзин... не был выше своего века; он нашел в душе своей все совершенства и недостатки оного, действовал в литературе по тем же самым идеям, и даже применялся к его слабостям“ [2]. С иной точки зрения на лексическое и экспрессивное однообразие, на социально-групповую замкнутость салонного стиля еще в 20-х годах указывал В. К. Кюхельбекер: „Из слова... русского богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для н е м н о г и х язык, un petit jargon de coterie“ [3].

В. Г. Белинский в „Литературных мечтаниях“ заявлял: „Может ли художник унизиться, нагнуться, так сказать, к публике, которая была бы ему по колена, и потому не могла бы его понимать... Карамзин писал для детей и писал по-детски: удивительно ли, что эти дети, сделавшись взрослыми, забыли его и, в свою очередь, передали его сочинения своим детям. Это в порядке вещей“ [4].

Таким образом, претензии тех групп дворянства (преимущественно среднепоместного), которые стремились положить салонно-дворянскую речь в основу национально-литературного языка и привить ее „третьему сословию“, буржуазии, не могли увенчаться успехом. Внутренние противоречия, заложенные в салонно-дворянских стилях и ощущительные для самого дворянства, идеологическая узость и экспрессивная бедность их, при утонченной отделке внешних форм выражения, лишали этот дворянский язык устойчивости и жизнеспособности, мешали его „обобществле-

---

[1] С. П. Ш е в ы р е в, Взгляд на современную русскую литературу, „Москвитянин, 1842 г., № 2, стр. 166.

[2] В. П л а к с и н, Руководство к познанию истории литературы, СПБ, 1833 г., стр. 206, 316—318.

[3] В. К. К ю х е л ь б е к е р, О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие. „Мнемозина“, 1824 г., № 2, стр. 38.

[4] В. Г. Б е л и н с к и й, Собр. соч., М., 1872 г., ч. I, стр. 65.

нию". Но основным препятствием к национализации салонно-дворянских стилей, к возведению их на степень общелитературного языка была их социально-диалектическая ограниченность. Эти стили оставляли за пределами литературного языка большую часть инвентаря книжной и разговорно-бытовой речи разных классов, разных слоев общества.

§ 2. Общественно-бытовые и политические причины живучести церковно-книжных речевых традиций.

Салонно-дворянские стили русского литературного языка противополагались старой книжной культуре, которая была основана на структурных элементах церковно-славянской речи. Естественно, что эти стили встречали резко враждебный отпор в тех общественных группах, идеология которых находила литературное выражение в формах церковно-книжного языка. Такими группами были духовенство, бюрократические круги и часть дворянства. Правда, некоторые слои духовенства, преимущественно придворного, столичного, обслуживавшего дворянскую аристократию, а также отдельные представители высшего монашества, подвергались „европеизации". Однако такие типы, как описанный Гавр. Добрыниным в „Записках" архиерей-вольтерьянец, поклонник Парижа и французской культуры, все же были исключением. П. А. Вяземский иронически рисует в своей „Старой записной книжке" картину языкового взаимодействия между духовенством и европеизированным дворянством: „Во дни процветания библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из священного писания, Дмитриев (бывший министр и поэт — сподвижник Карамзина) говорил: „С тех пор как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому". К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь с кадилом в руках, говорил им: „pardon, mesdames". Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев... защищал его. „Да помилуйте, ваше превосходительство, — сказал ему однажды священник, — ну таким ли языком писана ваша „Модная жена?". [1]

Бюрократически-чиновничья среда сохраняла также много пережитков церковно-славянского языка, который представлялся более близким к архаическому строю приказной речи. Из элементов церковно-славянского языка преимущественно слагались формы официальной риторики (ср., напр., стиль манифестов).

Д. И. Фонвизин, заставляя в „Бригадире" (1766 г.) советника говорить на смеси церковно-славянской речи с канцелярски-официальным языком, точно воспроизводил бытовое явление. Кроме того, чиновнические кадры в большом количестве составлялись из семинаристов. Ф. Ф. Вигель писал в „Воспоминаниях": „При Екатерине дворяне собственно званием канцелярского гнушались, и оно оставлено было детям священно- и церковно-служителей" [2].

За церковно-книжную культуру речи стояли и консервативные круги

[1] П. А. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929 г., стр. 76.
[2] Ф.Ф. Вигель, Воспоминания, 1864 г., ч. I, стр. 172.

дворянства[1]. С одной стороны, провинциальное мелкопоместное дворянство еще не освободилось от традиции обучения грамоте по часослову и псалтыри. С другой стороны, разные слои дворянской бюрократии и знати видели в церковно-книжном языке и его идеологии охранительное национальное начало, противодействующее вредному влиянию французского языка и связанной с ним буржуазно-либеральной, материалистической или даже революционной идеологии. В этом смысле очень показательны политические намеки Шишкова на революционную идеологию защитников нового европеизированного, „французского" слога: „Желание некоторых новых писателей сравнить книжный язык с разговорным, т. е. сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными?"[2] Ведь языковая реформа „европейцев" казалась славянофилу-реакционеру попыткой „под именем русского языка произвести новый, который бы состоял из одного просторечия, располагаемого по складу французского языка, совершенно свойствами своими с нашим различного"[3]. Вяземский рассказывает характерный лингвистический анекдот: „В конце прошлого столетия сделано было распоряжение коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгар Великой Французской революции писал: *гостиницы гобзят* (*гобзити* — славянизм, означающий: делать обильным; *гобзовати* — изобиловать. В. В.) *бесштанниками*, что должно было соответствовать французской фразе: *les auberges abondent en sansculote* (гостиницы переполнены санкюлотами)"[4]. Ср. этимологию славянофилов той эпохи: „слово *республика* не что иное как *режь публику*"[5].

В этой связи необходимо вспомнить изданный в 1797 году (при Павле) декрет „об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими".

Слова отменяемые:	Взамен их повелено употреблять:
обозрение	*осмотрение*
врач	*лекарь*
выполнение	*исполнение*
пособие	*помощь*
преследование	*посланный в погоню*
сержант	*унтер-офицер* (хотя и прежде отставлен)
общество	Этого слова совсем не писать.
граждане	***жители*** или ***обыватели***
отечество	***государство***
приверженность	*привязанность* или *усердие*
стража	*караул*
степень	*класс*
отряд	*деташемент* или *команда*[6]

[1] Ср. попытку В. А. Десницкого истолковать социально-политический смысл упорной борьбы за язык между шишковистами и карамзинистами во вступительной ст.: О задачах изучения русской литературы XVIII в. в сб. „Ирои-комическая поэма", Л. 1933 г., стр. 41—42.

[2] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. IV, стр. 74.

[3] Там же, ч. XII, стр. 163.

[4] П. А. Вяземский, Старая записная книжка, стр. 101—102.

[5] Там же, стр. 104.

[6] Русская Старина, 1871 г., I—VI, стр. 531—532.

Еще более яркий свет на общественно политическую ситуацию языковой борьбы проливают фразеологические параллели „классического" высокого слога и романтического, нового, создавшегося на основе французской послереволюционной буржуазной семантики, в „Записках" Гавр. Добрынина: „Я люблю говорить то, что понятно, и люблю слушать то, что ясно и полезно.

Для меня понятно, напр.: *восстановить и утвердить порядок правления,*

Но не на мой вкус: *поставить здание на незыблемых столбах политических.*

Я могу написать: *изнеможение или остаток законной силы и власти,*

Но никогда не напишу: *единая тень колоссального могущества.*

Я могу написать: *падение государства и его законов.*

Но не напишу: *потеря тяжести, равновесия политических постановлений.*

Кто так пишет, тот моей своеобычливости кажется таким аптекарем, который в одной ступе толчет историю с механикой.

Я могу говорить: *французы уклонились от порядка, истины, должности,*

Но не скажу: *французы уклонились от знамен философии.*

Я могу говорить, что *духовенство могло бы произвести споры за веру, проклятия и казни,*

Но не скажу, что *духовенство зажгло бы религиозную войну.*

Я разумею значение *отвратительного самолюбия,*

Но гнушаюсь *гнусным эгоизмом.*

Мне понятно: *исступление народа во время всеобщего мятежа,*

Но отвратителен: *энтузиазм народа в сию эпоху революционной бури.*

Мне понятно: *французы, зараженные исступлением своих соотечественников,*

Но смешно: *наэлектризованные сообщительным энтузиазмом французских патриотов.*

Я разумею: *ужасное смятение народа в такой уже было степени, что всякая преграда благоразумия бессильна была отвратить его.*

Но стыжусь разуметь: *река революционная, которой берега низко опущены, развивалась с такою быстротою, что уносила с собою все оплоты, которыми хотели поздно удержать ее.*

Нет такого таинства, что *кровожаждущему Робеспьеру отрублена голова на эшафоте 9-го термидора, при радостном рукоплескании всего народа.*

Но не кстати загадка: *глухой рев, который бывает предтечею бури, возвестил ее приближение, 8-го термидора гром загремел, а 9-го термидора удар совершился.*

Стрельцы, физики и кононеры говорят, что прежде совершается удар, а после ударяет гром; у наших ораторов напротив. Пусть так пишет мой современник Сегюр: он человек государственный"[1].

Характерна также борьба против „французского учения" и против распространения знания французского языка среди буржуазного обще-

---

[1] „Русская Старина", 1871 г. Записки Г. Добрынина, стр. 270—271.

ства во имя „противоположных истин“ церковно-книжного просвещения в книгах вроде: „Предмет французского просвещения ума...“ (1816 г.). Здесь уже в „предуведомлении“ издатель констатирует, что французский язык, который сначала был „в употреблении при всех европейских дворах, потом знатных фамилий в домах, наконец распространился на людей всякого состояния. Начали почитать за необходимость знать французский язык и тем, которых природа определила, сидя на донце, обращать внимание свое на гребень“ [1]. Еще более резко и подчеркнуто выступают социально-политические и идеологические мотивы борьбы против французского влияния в „Оставшемся после покойного NN рассуждении об опасности и вреде, о пользе и выгодах от французского языка. (Сравнение его с российским)“[2]. Излагается история „модного щеголя французского языка“: „За 400 или 500 лет был он еще деревенским мужичком, оляповат... За 200 лет или больше он пооправился, поприоделся, из крестьянина стал уже городовым купцом, а в сии сто лет уже и в первую гильдию записался. Но сего не довольно; он спознал большой свет, и у большого света стал в знати... Наконец, в последние 50 лет, а в особенности лет за 25 сделался он по употреблению и по моде всеобщим почти во всей Европе, и в других частях света по соразмерности. В это время он уже крайне избаловался“. И далее следует презрительное описание свойств французского языка: „вертляв, лукав, высокомерен, вместе почтителен и вместе едок и горд, политикант крайний, пролазлив, любострастен и циник, обманчив, презирающ другими, все охуждающий у других, несносный самолюбец, одного себя выхваляющий, и начиная с Вольтера по сию пору восстал на все; старое портит и губит, а нового хорошо не видно: стал горами качать... Он сделался безбожен и стал распространять безбожие; он стал первым действующим оружием повсюдного головокружения и необычайно злых замыслов, от века неслыханных. Одним словом, по якобинцам, он сделался совсем диаволическим адским языком... Он очаровал сперва повсюду знатность, потом и прочих в уме перепортил“ [3].

§ 3. Борьба реакционных групп дворянства за церковно-книжную языковую культуру.

Дворяне — „славянофилы“ отстаивали церковно-славянский язык как национально-историческую основу русской литературной речи, источник ее единства и ее риторических красот. А. С. Шишков были вождем консервативной группы славянофилов, противопоставлявших церковно-книжную идеологию, тем буржуазно-революционным веянием и идеям, которые несло с собой влияние французского языка. По мнению Шишкова, церковно-славянский язык был первобытным языком всего человечества и сохранил в наибольшей чистоте первоначальную систему связи понятий, „коренные“ образные формы идеального первоязыка. Церковно-славянизмы, по Шишкову, не утратили „разума, выводимого из первоначаль-

---

[1] „Предмет французского просвещения ума и противоположные оному истины...“ ч. II, М., 1816 г., стр. 11.

[2] 1817 г., М., стр. 54; изд. 2-е — 1825 г.

[3] Ср. С. К. Булич, Очерк истории языкознания, стр. 580—581.

ного понятия, т. е. из корня“ [1]. Поэтому в церковно-славянской речи прозрачнее и яснее группировка слов и понятий по „гнездам“, по корням. Поэтому же церковно-славянизмы богаты значениями и лаконичны. Различие между церковно-славянским языком и русским общественно-бытовым—стилистическое. По корням оба языка „образуют один тот же язык“. Различие же их обусловлено соотношениями „ветвей“: „всякое слово пускает от себя ветви, из которых иные приличны высокому, а другие простому слогу“. Слоги литературного языка разграничены структурно, характером мыслей и форм их выражения. Те писатели, которые под влиянием французского языка стремятся создать однообразный стиль салонно-дворянского выражения, не вдумываются в глубокие стилистические различия таких параллелей:

юная дева трепещет;	*молодая девка дрожит;*
к хладну сердцу выю клонит;	*к холодному сердцу шею гнет;*
склонясь на длань рукой.	*опустя голову на ладонь* и т. п. —

или в комическую нелепость такого смешения: *„несомый быстрыми конями рыцарь низвергся с колесницы и расквасил себе рожу“*... или: *„я, братец, велегласно зову тебя на чашку чаю...“* или *„препояши чресла твоя и возьми дубину в руки“* [2]. Эта структурная разграниченность литературных стилей выдает всю нерассудительность, смехотворность карамзинской мысли о сближении книжного языка с разговорным. „Нельзя сказать в разговоре: *гряди, Суворов, надежда наша, победи врагов,* или употребить такие слова, как *звездоподобный, златовласый, быстроокий*“. С другой стороны, „весьма бы смешно было в похвальном слове какому-нибудь полководцу вместо: *Герой! вселенная тебе дивится,* сказать: *Ваше превосходительство, вселенная вам удивляется*“ [3]. Точно так же странно, забывая внутреннее соотношение разных стилей и контекстов в пределах книжного языка, механически притягивать русский литературный язык к смысловой структуре языка французского. „Французы по недостатку сложных имен — сословов (т. е. синонимов) часто должны бывают употреблять одинакие слова как в простом, так и высоком слоге. Они, напр., между выражениями: *он разодрал себе платье* или *он растерзал свою одежду* — не могут чувствовать такой разности, какую мы в своем языке чувствуем, потому что они как в том, так и в другом случае употребят одинакий глагол déchirer. Для выражения худого или изорванного платья имеют они пять сословов: haillons, quenilles, chiffons, lambaux, drillons; все сии слова суть самые простые, соответствующие нашим: *лохмотье, лоскутье, отрепье, ветошки, обноски,* но высоких, тож самое значущих слов, таковых, как *рубище, вретище,* у них недостает“ [4].

Другой пример: „*ход* есть простое слово, среднему слогу мало, высокому же совсем не приличное и употребляемое токмо в общенародных разговорах, как напр.: *не ходи, тут нет ходу; велик ли ход корабля? есть ли ход на рыбу,* т. е. ловится ли рыба? и пр. Все происходящие отсюда названия частию суть самые простые, не могущие быть употре-

---

[1] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. IV, стр. 27—31.
[2] Там же, стр. 102.
[3] Там же, ч. II, стр. 432, 434.
[4] Там же, ч. IV, стр. 134—135.

бляемы в благородном слоге, как то: *ходьба, сходня, ходули, ходок* и пр. Итак, весьма странно читать, когда не разбирающие приличия слов писатели, последуя французскому выражению la marche de la nature, думают, что и нам вместо *течение природы* пристойно говорить *ход природы* и т. д. Мне кажется: *ход законов, солнца, государственных дел* и пр. вместо *течение законов, солнца, государственных дел* и пр. столь же не хорошо, как есть ли бы Ломоносов вместо *чрез огнь и рвы течет с размаху* сказал: *чрез огнь и рвы бежит с размаху*" [1].

Три Ломоносовских стиля — это особого рода структуры, обладающие внутренним смысловым единством. Их цельность создается контекстом, сочетанием слов „одной высоты", равенством слога. „В слогах отдельно от выражений, не всегда должно полагаться на один суд навыка, не внимая советам рассудка" [2]. Необходимо достичь „в прибирании слов искусства, какое должны иметь продавцы жемчужных нитей: малейшая худость или неравенство одной жемчужины с другими уменьшает в глазах знатока цену всей нитки" [3]. Между тем писатели, утратившие под влиянием французского языка чутье литературных стилей, ломают всю систему литературной фразеологии, разрушают „разум" языка. „Прежние писатели, прочитав стихи:

И душу первую и первый вздох зажег,
В победе чистыя любви прияв залог...

сказали бы: мы употребляем глагол *зажечь*, говоря о вещах, имеющих тело: *зажечь свечку, зажечь дрова* и пр. Но когда надлежало говорить о предметах умственных, о страстях, в которых предполагается некоторый огонь или пылкость, тогда находили приличнее вместо *зажечь* говорить: *воспламенить гнев, любовь, ярость* и пр. О вещах же таковых, как дума или вздох... не говорили мы ни зажечь, ни воспламенить" [4].

Внутренняя цельность и единство стилей нарушаются внедрением иноязычных, напр., французских, смысловых связей и лексическими заимствованиями. „Всякое иностранное слово есть помешательство процветать своему собственному, и потому чем больше число их, тем больше от них вреда языку" [5].

Разграничение стилей и контекстов литературного языка связано с прикреплением к каждому из них группы литературных жанров. В пределах „простого слога" устанавливалось взаимодействие между бытовым употреблением и литературным. Эпиграммы, сонеты, сказочки, „басенки" вырастают на почве разговорного языка. В этих родах можно быть „прекрасным сочинителем, не знав и десятой доли своего языка": тут, „потребны только острота ума и обыкновенный в разговорах употребляемый язык" [6]. Но есть такие сферы творчества, в которых необходимо потенциальное обладание всем составом литературной речи. Вмещенные в установленный контекст книжного языка, эти жанры, однако, требуют непрестанного обогащения, приспособления к заданной структуре своей новых языко-

---

[1] Шишков, Собр. соч. и перев., ч. IV, стр. 343.
[2] Там же, ч. XII, стр. 182.
[3] Там же, ч. IV, стр. 65.
[4] Там же, ч. XII, стр. 201.
[5] Там же, ч. V, стр. 13.
[6] Там же, ч. V, стр. 18.

вых форм... „Творцу поэмы, богослову, философу, сочинителю естественной истории и другим подобным писателям нужен не один токмо разговорный, но весь книжный язык и во всем его пространстве. Даже и оный иногда им недостаточен: они принуждены бывают сами творить, созидать слова для выражения своих мыслей“ [1]. Так Шишков, следуя ломоносовской традиции, делит словесность „на три рода“. „Одна из них давно процветает, и сколько древностью своею, столько же изяществом и высотою всякое новейших языков витийство превосходит. Но оная посвящена была одним духовным умствованиям и размышлениям. Отсюда нынешнее наше наречие или слог получил, и, может, еще более получит недосягаемую другими языками высоту и крепость. Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столько высоком, как священный язык, однако же весьма приятном, и который часто в простоте своей скрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие... Третья словесность наша, составляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им подражали и гоняясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных занятий“ [2]. Эта третья словесность — литература среднего стиля, культивируемая дворянами-европейцами. Шишков вовсе не отрицает и не отвергает процветания словесности среднего стиля, несмотря на „необдуманно избранный путь“ подражания французскому языку, „отчасти даже отводящий нас от двух богатейших в языке нашем источников“, т. е. церковно-славянской стихии и „простонародной“ речи.

Таким образом, в славянофильской концепции литературы и литературного языка упор был на книжную культуру речи, и в противовес европейцам проводилось строгое разграничение между формами книжного и разговорного языков.

Проблема социально-стилистических дроблений в сфере разговорного просторечия не получает у Шишкова принципиального обоснования и рассмотрения. Это и понятно. Ведь Шишков отрицает нормы разговорной речи, наличие в ней „стилей“; только „книги пишутся простым, средним и высоким слогом“. Карамзинисты, „перемешав, как видно, сии понятия, думают, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком. Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первый раз слышу“ [3]. Поэтому Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы [4]. Стилистическая нерасчлененность разговорной речи как специфической сферы выражения, резко отличной от книжного языка, определяется условиями ее социального и материального бытования. Разговорною речью владеют „слух“ и „употребление“, т. е. те силы, кото-

---

[1] Шишков, Собр. соч. и перев., ч. V, стр. 18—19.

[2] Там же, ч. IV, стр. 140—142.

[3] Там же, ч. II, стр. 432.

[4] „Книжный язык так отличен от языка разговорного, что ежели мы представим себе человека, весь свой век обращавшегося в лучших обществах, но никогда не читавшего ни одной важной книги, то он высокого и глубокомысленного сочинения понимать не будет“ (Там же, стр. 434). „Вопреки сему часто бывает, что человек пресильной в книжном языке, едва в беседах разговаривать умеет“ (435 стр.).

рым не подвластен книжный язык. Отсюда и более широкая социальная терпимость Шишкова к лексическому составу простого слога, который может включать в себя „простонародные“, „грубые“ слова. Так как салонный язык, „язык светской дамы“ также относится к сфере разговорной речи, то нормы его славянофилу представляются не только необязательными для языка литературы, но даже и вовсе чуждыми принципам книжного „разума“. „Милые дамы, или по нашему грубому языку, женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят“ [1].

§ 4. Общественно-идеологические основы защиты церковно-славянского языка группами либерального дворянства.

Дворяне-либералы, славянофильски настроенные, несмотря на резкое отличие своих общественно-политических взглядов от шишковских, по вопросу о литературной роли церковно-славянского языка развивали идеи, близкие к Шишкову. Так, П. А. Катенин полагал, что „перевод священных книг“ был для высших классов „верным путеводителем, которому последуя, они не могли сбиться, не могли исказить свое наречие, а напротив беспрестанно очищали и возвышали его, держась коренных слов и оборотов славянских“. „И вот чему мы обязаны, даже в последнее время, воскресением нашего языка при Ломоносове, а без того он сделался бы не тем чистым коренным, смею сказать, единственным в Европе языком, но грубым, неловким, подлым наречием, пестрее английского и польского“ [2]. И П. А. Катенин, как и Шишков, признавал церковно-славянский язык структурной основой деления литературной речи на слоги — высокий, средний и простой. „Не только каждый род сочинений, даже в особенности каждое сочинение требует особого слога, приличного содержанию. Оттенки языка бесчисленны, как предметы, ими выражаемые: в нем оба края связаны неприметной цепью, как в самой природе. В комедии, в сказке нет места славянским словам, средний слог возвысится ими, наконец, высокий будет ими изобиловать. Если сочинитель употребит их некстати или без разбора, виноват его вкус, а не правила“ [3]. Следовательно, для Катенина идея общенационального единства русского литературного языка, его стилистической структурности была связана с признанием возводимой к Ломоносову идеи об объединяющей роли церковно-славянского языка. Катенин писал: „Язык русский? Ломоносов первый его очистил и сделал почти таким, каков он и теперь. Чем же он достиг своей цели? Приближением к языку славянскому и церковному. Должны ли мы сбиваться с пути, им так счастливо проложенного? Не лучше ли следовать на нем, и новыми усилиями присвоивать себе новое богатство, в коренном языке нашем сокрытое?“ [4] Катенину был ближе Ломоносов с его реальным националистическим историзмом, чем Шишков с его метафизически-панславистской концепцией.

Сходные идеи о соотношении стилей, о контекстах литературной речи,

---

[1] А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге.
[2] „Сын отечества“, 1822 г., ч. 77, № 18, стр. 173.
[3] Там же, стр. 176—177.
[4] Там же 1822 г., ч. 76, № 13.

обусловленных структурной ролью языка церковно-славянского, развивает В. К. Кюхельбекер, борясь с салонным стилем „для немногих“, с узким жаргоном салонных разговоров (un petit jargon de coterie). „Из слова русского богатого и мощного... без пощады изгоняют... все речения и образы славянские и обогащают его *архитравами, колоннами, баронами, траурами,* германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия в деепричастия бесконечными местоимениями и союзами“ [1].

Социальными причинами этого тяготения к церковно-славянскому языку со стороны дворян, связанных с декабристами, были, кроме борьбы с европейским космополитизмом аристократии, демократический национализм, обычно совмещавший простонародность с церковною книжностью, и ориентация на высокие риторические жанры гражданской поэзии, исторически прикрепленные к торжественной патетике церковно-славянского языка. В. К. Кюхельбекер писал: „недовольно... присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной. — Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и создания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности“ [2].

Можно привести много примеров употребления церковно-книжных архаизмов, отверженных салонно-дворянскими стилями, из славянофильских сочинений в высоком роде:

Уста мои, сердце и весь мой живот
Подателя благ мне да господа славит.

(Катенин, перевод „Эсфири“ Расина.)

Ср. иронические комментарии Бестужева-Марлинского: „Переводчик хотел украсить Расина; у него даже животом славят всевышнего... в переносном смысле принять сего нельзя, ибо поющая израильтянка перечисляет здесь свои члены“.

Но вящий дар от щедрых нам богов
Священное, чудесное то древо,
Его же вдруг земли родило чрево
А Зевс и дщерь его под свой прияли кров.

(Катенин, Софокл.)

Далече страх я отженя
Во сретенье исшел: меня
Он проклял идолми своими.

(А. С. Грибоедов, Давид.)

Ср. другие примеры грибоедовского словоупотребления — в прозе и в стихах: *блуждалище* (Соч., изд. Ак. наук, СПБ. 1911—17 г., т. III, стр. 28) вместо лабиринт; *сосуд водовмещальный* („Кальянчи“, т. I,

---

[1] В. К. Кюхельбекер, О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие, „Мнемозина“, 1824 г., ч. II, стр. 38.
[2] Там же, стр. 42

стр. 20); *и садителя дарит* („Там, где вьется Алазань“, т. I, стр. 18) и т. п.[1]

У В. К. Кюхельбекера:

Все, все в твоем слиялись зраке...
(„Памяти Грибоедова“.)

§ 5. Функции просторечия и „простонародного“ языка в разговорно-обиходной речи разных слоев дворянства.

Кроме тех социальных противоречий, которые создавались отношением разных общественных групп к церковно-книжной культуре речи, обнаруживались еще глубокие коллизии между литературой и бытом: вопреки тенденции дворянских стилей — сблизить литературный язык с разговорной речью „лучшего общества“ — обострялся конфликт между литературными стилями буржуазно-дворянского салона и повседневно-бытовыми стилями разговорной речи дворянства. Одной из основных составных частей обиходного языка дворянства была „простонародная“, крестьянская стихия, та струя просторечия и провинциализмов, которая подвергалась преследованиям и ограничениям в салонно-дворянском стиле. В. Г. Белинский, отражая общее мнение передовой буржуазной интеллигенции 30-х годов, писал: „Вероятно, Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников“[2].

Разговорно-бытовая речь провинциальной мелкопоместной дворянской среды была вообще близка к крестьянскому языку. М. А. Дмитриев в „Мелочах из запаса моей памяти“ вспоминает: „Барыни и девицы были почти все безграмотные. Собственно о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это понималось в другом смысле. Одна из барынь говаривала: *могу сказать, что мы у нашего батюшки хорошо воспитаны, одного меду не впроед было*“[3].

Н. Д. Чечулин, характеризуя по мемуарным источникам изменения в темах и стиле разговорного языка дворянского общества конца XVIII в. пишет: „У очень многих тогда в ходу были разные особенные поговорки, часто ничего не значущие, иногда даже непристойные, от которых рассказчик не умел, однако, удержаться даже в чужом доме, и речь некоторых была по привычке настолько вольна, что стесняла женщин. Интересно также замечание одного современника, что тогда (в Казанской гимназии) особенное внимание обращали на то, чтобы научить „говорить по грамматике“, и слова другого, который, вспоминая свою молодость, прошедшую в конце 50-х — начале 60-х годов, говорит, что тогда мало где умели правильно говорить и правильно мыслить“[4].

Простонародная струя дворянского языка, несколько сближенная с просторечием городской буржуазии, нашла художественное воплощение

---

[1] Н. Пиксанов, Творческая история „Горе от ума“, Гиз, 1928 г., стр. 158—159.

[2] Собр. соч. В. Г. Белинского, 1872 г., ч. I, стр. 64.

[3] М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, М., 1869 г., стр. 17.

[4] Н. Чечулин, Русское провинциальное общество во второй половине XVIII в., СПБ, 1889 г., стр. 33—34.

и применение в языке басен И. А. Крылова. Напр.: *„кто в лес, кто по дрова“*, *„горланит вздор“*, *„они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут“* („Музыканты“); *„и ну топорщиться, пыхтеть и надуваться“*, *„с натуги лопнула и околела“* („Лягушка и вол“); *„смышляла жениха“*, *„уж стали женихи навертываться реже“* („Разборчивая невеста“); *„дичь занес“*, *„сбили с толку“* („Парнас“); *„что молвит, то соврет“* („Оракул“); *„я голову с тебя сорву“* („Волк и ягненок“); *„оне чтоб на-утек“* („Обязьяны“); *„дел беремя“*, *„чай, он зубаст“*, *„за что ж к ослам ты столько лих“* („Осел“); *„у меня его с руками оторвут“* („Червонец“); *„так он треснулся на царство, что ходенем пошло трясинно государство“* („Лягушки, просящие царя“); *„куда он у тебя завидная скотина“* („Лев и барс“); *„невежи тут вотрутся“* („Вельможа и философ“); *„я клок сенца стянул“* („Мор зверей“); *„не зевай — тут будет на харчи“*, *„да лих схватился он не с олухом-детиной“* („Разбойник и извощик“); *„ни складу, ни ладу“*, *„и рвет и мечет“* („Крестьянин и собака“); *„плачется и распускает толк“* („Пастух“); *„пустилися мои ребята в разговоры“* („Три мужика“); *„шмыгнуть“*, *„ты всем в деревне насолил“* („Волк и кот“); *„вышел новый чин ослу, бедняжке, соком“*, *„ослу колом ворочает бока“* („Осел“); *„будешь не в накладе“*, *„взял за него сотняжку, бок олушка послал“* („Купец“); *„глаза продрал“*, *„кисло морщит рожу“* („Бритвы“); *„он на обтирку ног нередко помыкался“* („Мешок“); *„барс лишь резаться горазд“* („Воспитание льва“); *„свинья на барский двор когда-то затесалась“* („Свинья“); *„добрый ворощок (курятинки) припрятавши в запас“* („Волк и лисица“) и мн. др. под.

Для языка столичной аристократии и крупного, отчасти и среднепоместного дворянства было характерно сочетание французского языка с повседневными, нередко, простонародными выражениями. „Сатирический вестник“ пародически печатал в таком стиле „Ежедневные записки, оставшиеся после покойной известной красавицы“: *„Впанеделник павечеру была pour faire visite*[1] *госпоже Д. Все каторыя ни находились у неи были étrangement stupides*[2]*. М-ч Ч. тама не был. Perdu*[3] *50 рублиоф. Приехала дамой de fort mauvaise humeur*[4]*. Приметила, што М. est amoureux de la petite*[5] *Б. которая хаша и странна, толка son chapeau lui allait bien*[6]*. Князь Д. также amoureux*[7] *в Ж. Ане такия люди, што князь porte la tête haute*[8]*, а та стучит ходя опол. Уграфа М. кафтан счит сновыми boutons d' acier*[9]*, и оченна харашо, толко сам собою он гадак“*[10].

Впрочем, бывали периоды „затишья“ французской речи, и тогда еще больше обнажалось в дворянском языке просторечие, далекое от салонно-европейского стиля, иногда с сильной областной, диалектической основой. В конце XVIII в. (1794 г.) напечатана комедия в одном действии, сочиненная А. Копьевым: „Что наше, тово нам и не нада“, в которой „фонетическая“ запись речи действующих лиц проведена последовательно через всю пьесу. При этом с точки зрения произношения выделена из общей группы (Machmère, Мавруша, Причудин, Повесин) княгиня, молодая

[1] Сделать визит; [2] странно тупы; [3] потеряла; [4] в очень плохом настроении; [5] влюблен в маленькую Б.; [6] ее шляпка к ней очень шла; [7] влюблен; [8] носит высоко голову; [9] стальными пуговицами.

[10] „Сатирический вестник“, 1790 г., ч. II, стр. 74—85.

вдова, выговаривавшая шипящие звуки с манерной шепелявостью. В этой комедии почти с фотографической точностью отражается разговорный дворянский язык.

Вот образцы записей речи дворян:

Причудин: *Ба! ба! ба! Павесин! — аткуда ты взялса? Здраствуй, братец! сматри, пажалуй* (осматривает ево кругом), *да ты в мундире, адет парядашно, куды девалася то время, как ты носил по три жилета, и чуть не надел три кафтана? ты не напеваешь арий, гаваришь па руски, уж полна ты ли ты это?*

Повесин: *Чево братец! ат дурных сочинителей скоро некуды будет деватца; я принужден был все наряды маи бросить от глупой комедии.*

Причудин: *Што так?*

Повесин: *Па неволе надаедят ани, кали всю сваю гардеробу увидишь вдруг или на Затейкине или на пагонщиках; вить это ещо досаднее нежели бы запрещали. В старые годы, когда я мешал в речах моих французские слава, я бы назвал это превращение nécessitée vertu, а таперь переведу, шта нужда научит калачи есть; я праигрался да последней капейки, и когда перестали мне верить, так и я перестал матать. Дядюшка мой столька на меня азлился, шта не хател умереть, пакуда не пабывал я в армии и не вздумал а смерти ево жалеть; тут та он не к стате и скančался, оставив мне две тысячи душ, каторые надеюсь да первой игры ища уцелеют...* (Явл. I.)

Machmere: *Мавруша... падвинь ка мне столик, мать мая, загадать бала апять!* (надевает очки). *Давеча эта праклятая гран пасьанс меня замучила, таперь уж другим манером, на четыре кучки.*

Княгиня (перестав писать, сердитая сидя на софе, вяжет жилет, спускает петли и кусает себе ногти с досады): *Мавруся,... Мавруся....*

Мавруша (вяло): *Што, та cousine...*

Княгиня (испугавшись): *Ах, матуська! Сьто йта, паскари.., ай! муха!..*

Machmere: *Ах, мать ма! штойта за беда? Ну, правались ана акаянна! Ат тебя я эту праклятy девятку залажила, бог знает куды, да что у вас там?*

Княгиня: *Ницево-с... ох, тиотуська, как вы скусьны! Мавруся!*

Мавруша: *Да чево-с?*

Княгиня: *Так ницево; дусинька Мавруся! Пади сюды!*

Мавруша (подходит к ней): *Што, та cousine?*

Княгиня: *Да сьто ты пристала ка мне? Пади проць!*

Мавруша: *Да вить вы сами кликали; ах, та cousine, знаете, шта вы севодни больше блажите нежели обыкновенно!*

Княгиня (бросается ее целовать): *Мавруся... дуся мая! Зись мая! паслусай! Зделай милось, атдай эта письмо Прицюдину, как он приедет, да скази ему, сьто езели он застрелитца, так эта будет оцень глупа, я на нево осерзюсь, и век с ним гаварить не буду!*

Мавруша: *Слышу ма, cousine, шта кали он застрелитца, так вы не будите гаварить с ним!*

Княгиня: *Да, да, позаластась, угаваривай зя ево больсе, больсе!*

Мавруша: *Харашо, та cousine* (прыгает неловко к столу матери). *Machmere! Machmere!*

Machmere: *Што, матш?..*

Мавруша: *Десятку-та, десятку-та вы позабыли.*

Machmere: *Тьфу, пропась! всегда спутаю* (мешает карты). *Нет, уж знать не выдет; загадать бала червонну та кралю с крестовым та каралиом* (стр. 14—17, явл. IV).

И. С. Аксаков очень ярко характеризует смесь французского и простонародного, крестьянского в языке русского дворянства конца XVIII — начала XIX в.: „В конце XVIII и в самом начале XIX в. русский литературный язык был... еще только достоянием „любителей словесности", да и действительно не был еще достаточно приспособлен и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы общежития и знания... Многие русские государственные люди, превосходно излагавшие свои мнения по-французски, писали по-русски самым неуклюжим, варварским образом, точно съезжали с торной дороги на жесткие глыбы только что поднятой нивы. Но часто, одновременно с чистейшим французским жаргоном... из одних и тех же уст можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую речь, более народную во всяком случае, чем наша настоящая книжная или разговорная. Разумеется, такая устная речь служила чаще для сношения с крепостною прислугой и с низшими слоями общества, — но тем не менее, эта грубая противоположность, эта резкая бытовая черта, рядом с верностью бытовым православным преданиям, объясняет многое, и очень многое, в истории нашей литературы и нашего народного самосознания"[1]. Интересной иллюстрацией может служить бытовая сценка, рисуемая Ф. Ф. Вигелем: „Одним праздничным утром, окруженный всей свитой, посол (как все знатные люди, которые думают славно говорить по-русски, когда употребляют простонародные выражения) иностранным наречием своим сказал...: *„Пал Митрич, у меня малатцов, что сакалов"*[2].

О том же сочетании простонародности с французским языком говорит Вяземский, приводя свой стиль в пример такого дворянского синтеза: „При всем моем французском отпечатке, сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо, и нередко, кажется, довольно удачно. Впрочем, за простонародием никогда и не гонялся, никогда не искал я образовать школу из него. Этот русский ключ, который пробивался во мне из-под французской насыпи, может быть, родовой, наследственный"[3].

Наконец, ярким художественным отражением речи московского барства может служить язык комедии А. С. Грибоедова „Горе от ума". Если отвлечься от тех индивидуально-характеристических особенностей языка, которыми отдельные персонажи этой комедии отличаются друг от друга, то в общем течении дворянского языка („совершенно такого, каким у нас говорят в обществах" — по признанию В. Ф. Одоевского) сольются, кроме нейтрального, общелитературного словесного потока, четыре струи:

1) струя церковно-книжная или шире — „высокая" славяно-российская: *„перст указательный"; „ум алчущий познаний"; „воссылал желанья"; „власть господня"; „издревле"; „отторженных детей"* и т. п.

[1] Биография Ф. И. Тютчева. М. 1886 г., стр. 10.
[2] Ф. Ф. Вигель, Воспоминания, 1864 г., ч. II, стр. 179.
[3] П. А. Вяземский, Соч., т. I, стр. LVIII.

2) струя французская: *„с дражайшей* ***половиной***" (moitié); *„еще два дня* ***терпения возьми***" (prendre patience); *„сделай дружбу"* и т. п.;

3) струя повседневно-разговорная, которая вбирает в себя и фамильярное просторечие: *„как пить дадут"; „она не ставит в грош его"; „да полно вздор молоть"; „ни дать ни взять"; „как бог свят"; „треснуться"; „час битый"; „чорт сущий"* и т. п.;

4) струя простонародная, крестьянская: *„больно не хитер"; „вдругорядь"; „зелье"* [1], *„покудова"* [2] и т. п.

Таким образом, устанавливается тесная связь и взаимодействие между дворянским просторечием и крестьянским языком в разговорной речи дворянства начала XIX в.

§ 6. Литературная речь начала XIX в. и крестьянские говоры.

Однако лексикографическая традиция и литературное сознание второй половины XVIII и первой трети XIX в. проводили резкую стилистическую и диалектическую грань между просторечием и простонародным языком. Понятие простонародного языка применялось к обиходному языку крестьянства (в его „общих", не имевших резкого местного, областного отпечатка формах), дворни, городских ремесленников, мещанства, к языку мелкого чиновничества (тоже в его „общих", не „профессиональных" выражениях), вообще, к бытовому языку мелкой буржуазии, не тронутой „просвещением" и не усвоившей манеру вульгарно-книжной, „околесной" речи. Элементы этого простонародного языка были очень сильны и в дворянском просторечии. Вот несколько примеров „простонародных" слов и выражений из „Словаря Академии Российской" [3]: *брюхатая* (беременная); *брюхатеть* (I, 324); *буянить* (I, 349); *бывальщина* (I, 350); *валандаться* (I, 375); *верховье реки* (I, 628, I, 789); *дворяниться* (принимать на себя вид дворянина, барина, II, 38); *дуралей* (II, 278); *калека* (III,23); *калечить, канючить* (III, 55); *кляузник, кляузничать; книгочет* (охотник до чтения; III, 191); *козачить* (батрачить, III,213); *козачка* (рукоятка у сохи, III, 214); *кока* (яйцо, III, 221); *кокошить* (бить, III, 223); *колодец* (вместо колодезь, III, 295); *коротышка* (III, 325); *корпеть* (III, 326); *кортышки* (т. е. корточки, III, 327); *краснобай* (III, 379); *колотырный* (III, 258); *конопатый* (III, 278); *остарок* (пожилой, приближающийся к старости человек, IV, 433); *портняга* (V, 12); *по свойски, посиделки, прибаутки* (V, 251); *прибочениться* (V, 258); *сволочь* (VI, 74); *тороторить* (VI, 750); *трескать* (VI, 774) и т. п.

В рукописном словаре Академии наук второй половины XVIII в. к простонародным отнесены, напр., такие слова, как *штукарь, чушь, раздолье* (довольство), *припьян, приглух* и др. под. И. И. Лажечников в письме от 25 марта 1824 г. сообщает в Общ. любителей рос. слов. список „про-

---

[1] Ср. „Словарь Академии Российской", ч. II, стр. 856.

[2] Подробнее о языке „Горе от ума" см. В. Н. Куницкий, Язык и слог комедии Грибоедова „Горе от ума", Киев, 1894 г.; В. Н. Каменев, Язык комедии Грибоедова „Горе от ума", М., 1930 г. (Науч. труды Инд.-педагог. и-та им. К. Либкнехта. Серия соц.-эк., вып. 12); Н. Пиксанов, Творческая история „Горе от ума", Гиз, 1928 г.

[3] 1805—1822 гг. Далее в скобках указаны тома и страницы этого издания.

винциальных" простонародных слов, в котором, между прочим, находятся такие слова — по Саратовской губ.: *сквалыга, прощелыка* (насмешник), *рохля, дотошный, дока, юла, подлипала, трущоба, бирюк, ширинка* (платок), *чурбак, калымага, зипун, зря* (некстати); по Пензенской губ.: *огорошить, больно* и т. п.[1]

Как всякому очевидно, многие из приведенных слов, которые в литературной-бытовом обиходе первой четверти XIX в. считались „простонародными", крестьянскими, а некоторые даже „провинциальными", областными, вошли в XIX в. в общегородское разговорное просторечие. Ср. в „Словаре Академии Российской" XVIII в. (изд. 1789—1794 гг.) такие категории простонародных слов, из которых одни так и остались в областных крестьянских говорах, другие стали общелитературными: *бахарь, зажига* (зачинщик), *лихая болесть* (падучая), *лытать* (шататься, слоняться без дела), *бутор* (пожитки), *повычка* (повадка), *гуня* (рубище), *тазать* (журить), *шишимора* (мошенник), *лылы* (обман) и др. под.; с другой стороны: *быль, верховье, то и дело, батрак, перебивать лавочку у кого-нибудь* и т. д.

Симптомом намечающегося изменения норм литературной речи в первой четверти XIX в., расширения ее границ в сторону так называемых „простонародных диалектов"[2] является не только усиленное собирание диалектологического материала, но и литературная переквалификация крестьянских диалектизмов. При выработке планов составления словаря литературного языка в первой четверти XIX в. за некоторыми областными словами признается право на вход в литературу. Традиция исключения диалектизмов не прерывается (ср. проекты словаря, предложенные И. И. Давыдовым, А. Я. Болдыревым)[3]. Но раздаются протесты, опирающиеся на принцип „исторической народности". „Выключение областных или местных слов не слишком ли решительно?.." „в наших летописях, грамотах, старинных песнях и разных преданиях встречаются диалектизмы"[4]. Об этом же пишет „Вестник Европы": „Нельзя не заметить, что во многих словах, совершенно забытых в языке старого общества, но сохраненных где-нибудь между крестьянами, скрываются объяснения на историю нашего отечества"[5]. Любопытно замечание, что многие слова, употребляемые теперь только в простонародном языке, некогда могли быть „благороднейшими выражениями"[6]. В диалектизмах дворянство находило колорит экзотики, очарование первобытной свежести. В связи с этой переоценкой литературного значения провинциализмов находится интерес к областным словарикам, которые в большом количестве появляются на страницах журналов. Крепнет мысль о составлении словаря простонародного языка. Так И. Ф. Калайдович полагает, что „весьма бы не худо было собрать словарь языка простого народа, и показать грам-

---

[1] Н. Трубицын, Из начальных глав истории русской диалектологии, „Рус. Филологич. вестник", т. LXIX, стр. 149—152.

[2] Для понимания характера переоценки простонародного языка см. суждения писателей второй половины XVIII — начала XIX в. у Н. Трубицына, О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX в., СПБ, 1912 г., стр. 186—191.

[3] См. Труды Общ. люб. рос. слов., ч. VIII, 1817 г., стр. 114—122.

[4] Там же, стр. 239—245.

[5] „Вестник Европы", 1811 г., ч. 59, стр. 308.

[6] Там же, ч. 60, стр. 28—30.

матические отличия оного от чистого, общеупотребительного наречия" [1]. Н. И. Греч пишет в том же духе: „Желательно было бы, чтоб почтенные обитатели провинции, особенно же сельское духовенство, удалившиеся от шуму света и службы в поместья свои дворяне стали замечать и собирать областные наречия, особые выражения, необыкновенные грамматические формы, присловицы и другие особенные свойства языка в разных странах неизмеримой России; тем способствовали составлению сначала обозрения, а потом словаря и сравнительной грамматики русских провинциализмов" [2]. М. Н. Макаров, один из беллетристов, археологов и этнографов той эпохи, доказывал пользу областных словарей ссылкой на то, что „они только могут разрешить многие недоумения о происхождении слов русских, а с тем вместе исправить и обогатить язык отечественный, язык, долженствующий, может быть, скоро поступить на степень языков необходимых, языков общественных" [3].

Таким образом, простонародная, даже областная (крестьянская, городская „мещанская" и провинциально-дворянская) стихия речи выступала как вспомогательный материал для создания национального литературного языка [4]. Это был симптом „демократизации" литературного языка и, во всяком случае, явное искание почвы для сближения дворянских и разночинно-демократических стилей, стремление к раздвижению социальных пределов литературного языка, претендовавшего на роль выразителя нации.

Впрочем, в оценке литературного значения заимствований из крестьянского языка, „слов простонародных и низких" было большое различие между группами дворянства, мелкобуржуазной интеллигенцией, чиновничеством и разночинцами из семинаристов, купцов (типа Надеждина, Полевого). Те слои дворянства, которые были неудовлетворены салонно-литературными стилями, защищали „простонародность", употребление крестьянских слов в литературном языке, в его простом слоге, правда, с ограничениями, с условием чистки, „облагорожения". „В Разговорах о словесности" А. С. Шишков писал: „Народный язык, очищенный несколько от своей грубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей словесности, сблизил бы нас с тою приятною невинностью, с теми естественными чувствованиями, от которых мы удаляясь делаемся больше жеманными говорунами, нежели истинно красноречивыми писателями" [5]. О. М. Сомов заявлял: „В подражании простонародному языку должно соблюдать великую осторожность и воздержанность; излишняя расточительность на слова и выражения грубые или областные, нисколько не способствуя живости и верности подражания, может наскучить и

---

[1] Соч. в прозе и стихах, ч. V. Труды Общ. люб. рос. слов., ч. XXV, 1824 г., стр. 330—390.

[2] „Сын отечества", 1820 г., ч. 61, стр. 269—271.

[3] Соч. в прозе и стихах, ч. I. Труды Общ. люб. рос. слов., ч., XXI, 1822 г., стр. 287—288.

[4] Ср. у Ф. Глинки, Письма к другу (1816 г., ч. III): „В простонародном наречии, сколько в протчем ни пренебрегают оным, встречаются необыкновенные выражения; — простодушные поселяне без всякого намерения блистать умом, нередко изъясняют чувства и мысли свои весьма замысловато". В качестве примеров указываются выражения вроде: *у всякого душа грудью закрыта; он* (беглец) *везде чужой и везде обгорожен* (стр. 73—74.).

[5] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., ч. III, стр. 163.

опротиветь образованному классу читателей“ [1]. Дворянству казались свежими и острыми, национально значительными „первобытность“, сила и живописность простонародных выражений, воплощавших как бы квинтэссенцию „национального духа“. Поэтому особенное значение придавалось так. наз. „народной словесности“. В. А. Жуковский считал „простонародный язык“ наиболее характерным выражением народности: „Все языки имеют между собою некоторое сходство в высоком, и совершенно отличны один от другого в простом, или лучше сказать, в простонародном“ [2].

В положительной оценке значения крестьянского языка для литературной речи сходились националистически настроенные консерваторы и либералы, революционеры из дворянского лагеря, хотя идеологическое приспособление простонародных элементов к системе литературного языка у них было различно. Таким образом, салонно-дворянским „европейским“ стилям, которые в начале XIX в. усваивались широкими кругами городской служилой и торгово-промышленной буржуазии, наносился удар при посредстве крестьянского языка.

Напротив, в среде разночинцев из семинаристов, купцов, мелкого чиновничества, дворни крестьянские диалекты не признавались достойными литературной канонизации. А областные выражения положительно запрещались, как подрывающие единство национально-литературного языка. Так, Н. А. Полевой возражает против перенесения в литературный язык речи „черного народа“ [3]; областные слова называет „варварскими“, „не русскими“, „исковерканными“. „К чему послужат для русского языка,— спрашивает он,— исковерканные уездные слова, и какая надобность нам, что в Раненбургском уезде говорят вместо *стыдить* — *обизорить*..\ вместо *шалить* — *дуровать*?“ [4].

В связи с этим и по отношению к словарю простонародных выражений предъявлялось такое требование: „В нем должно быть только то, что может свидетельствовать о духе народа, пространстве его познаний, об его высокой промышленности, о силе и благородстве мыслей, о высшей его образованности“ [5].

§ 7. Классовые стили просторечия.

Эти глубокие социальные противоречия в оценке литературных прав простонародного, крестьянского языка отражались и на составе, содержании и употреблении разных социальных стилей бытового просторечия. Просторечие (т. е. обиходные, не „светские“, не связанные нормами буржуазно-дворянского этикета стили разговорного языка) представляло собой разнородную массу диалектов, колеблющуюся между салонно-дворянскими разговорно-литературными стилями и „простонародностью“, близкой к крестьянскому языку.

---

[1] „Северные цветы“ на 1831 г., стр. 60.
[2] О басне и баснях Крылова, Соч. в прозе В. Жуковского, изд. 2-е, 1826 г., стр. 84.
[3] „Московский телеграф“, 1829 г., № 15, стр. 322.
[4] Там же, 1829 г., ч. № 9, стр. 125.
[5] „Вестник Европы“, 1819 г., ч. 107, стр. 276.

Лексикографическая традиция XVIII — начала XIX в. очень четко отделяет от „просторечия“ профессиональные диалекты. Но лексический состав самого просторечия в словарях остается социологически не диференцированным. Между тем достаточно вдуматься в критические суждения современников, чтобы понять социальную разнородность и даже враждебность разных стилей просторечия. Разное понимание литературных границ просторечия в среде дворянства — только одна сторона вопроса. Если европейцам старомодного типа казались „низкими“, „площадными“ такие слова, как *истомить* вместо *утомить, подмога* (письмо И. И. Дмитриева к Д. И. Языкову [1]), *пронюхать, тянуть за волосы, фу пропасть, враки, бред* [2]; *вскарабкаться, взмоститься* [3] и т. п., то для дворян, не чуждавшихся „простонародности“ (дворян разного социального положения, напр., для А. С. Шишкова, П. А. Катенина, П. А. Вяземского и др.) область литературного употребления просторечия была очень широка.

Просторечие в академических словарях (XVIII — первой половины XIX в.) характеризуется признаками фонетическими, морфологическими, больше всего — лексическими и семантическими. Так в „Словаре Академии Российской“ XVIII в. [4] выстраиваются параллели книжных и просторечных форм: *жёстко* — в просторечии же *жöстко* (II, 1113); *объём* — просто же *обı͡ом* (II, 971); *отъёмное* — просто же *отı͡омное* (II, 975) и т. д.; *божий* — в просторечии *божей* (I, 254); *оспа* — в просторечии *воспа* (I, 967); *клирос* — в просторечии *крылос* (III, 613) и т. п. Таким образом, уже по звуковым особенностям видно, что просторечие представляло собою литературно не нормированную массу диалектов, одни из которых сливались с разговорной речью высших классов, другие — с говорами крестьянского языка. Те же свойства просторечия выступают и в лексическом составе. Напр., в „Словаре Академии Российской (1805—1822) [5] к просторечию отнесены такие слова и выражения, которые для нас являются уже элементами общелитературного языка, иногда с оттенком разговорности: *пороть* (в значении: больно наказывать — *пороть лозами*; V, 8); *поставить на своем* (V,48); *постоять за себя* (V, 49); *потчивать* (переносно: *его потчивали хорошим местом, но он предпочитает всему спокойствие;* V, 89); *потягивать* (попивать: *потягивать пивцо, винцо,* V, 92); *почта* (в значении почтовый двор, где письма и посылки отправляются и получаются; *отнести письмо, посылку на почту*; V, 112); *набить карман* (нажиться, обогатиться; III, 76); *клоктать* (о больных, которые охают; III, 172); *из кожи лезть* (III, 210); *копаться* (непроворно что-нибудь делать; III, 289); *браниться* (вместо *бранить*, ср. *выбраниться;* I, 303); *да* (в значении *но, же: я бы поехал, да не велят;* II, 2); *досужий (досужий человек*; II, 214); *горожанин*; *вздор*; *быт* (состояние, род жизни); *богач*; *раздумье*; *раздобреть*; *скряга*; *талант* (дарование) и мн. др. под.

Вместе с тем понятие просторечия как будто является родовым по отношению к разновидностям простой речи, обозначаемым выражениями:

[1] И. И. Дмитриев, Собр. соч., СПБ, 1893 г., т. II, стр. 185.
[2] П. Макаров, Соч. и перев., М., 1817 г., т. I. ч. II.
[3] А. С. Шишков, Рассуждения о старом и новом слоге, стр. 429.
[4] 1789—1794 гг. В скобках указаны тома и страницы изд.
[5] В скобках указаны тома и страницы этого изд.

низкое просторечие, низкий слог, низкое слово, простое употребление, простое наречие и т. п.[1] Во всяком случае, стилистический диапазон просторечия очень широк. Вот примеры из „Словаря Академии Российской" XVIII в.:

Приказная строка — говорится в низком просторечии и значит то же, что ябедник, крючкотворец (III, 378). *Уходить* — в низком просторечии относительно к вещам значит — промотать: *ему ничего нельзя дать, он тотчас же уходит* (III, 280). *Хапаю* — глагол, в низком слоге употребляемый и значащий: хватаю, беру (VI, 501—502). *Хабар* — слово низкое, означающее прибыль, прибыток, барыш (VI, 499). *Мастероват* — в просторечии: довольно искусный (IV, 54). *Огласка* — в просторечии: извещение многих о деле, которое таилось, крылось (II, 78). *Пай* — в просторечии иногда берется за счастье, удачу (III, 1385). *Причина* — в просторечии иногда означает неприятное или вредное приключение (VI, 769—770). *Дар божий* — в просторечии называется хлеб (II, 465). *Густ* — в просторечии значит достаточен, богат (II, 440). *Наблошняюсь* — в просторечии навыкаю, перенимаю, проворным, ухватливым делаюся: *живучи по людям, довольно наблошнился* (I, 229). *Взвариваю* — в просторечии: прытко иду, шибко бегу, весьма скоро еду, мчусь: *как она на гору взваривает* (I, 497). *Ономедни, ономеднись, ономеднясь* (II, 584). *Прижать к ногтю* — в просторечии: притаить, присвоить себе принадлежащее другому (IV, 548—549) и т. п.

Иногда просторечие сливается с крестьянским языком. Напр. к просторечию отнесены слова и выражения: *балы* (балясы) *подпущать, негод* (неурожай), *глот* (обидчик, притеснитель), *отклика* и т. п. Выражение: *навязаться кому на шею* (I, 1115) считается просторечным, а *навязать кому на шею* (I, 1115) названо простонародным. Слово *разбодряться* (I, 263—264) включено в просторечие, а *прибодряться* (I, 263) — в простонародный язык. Но нередко среди значений одного и того же слова проводится диференциация просторечного и простонародного. Напр.; *варганю* — в просторечии употребляется в 3-м лице и значит: *кипит с шумом: вода в котле заварганила;* в простонародном употреблении значит: *немножко на каком орудии играю* (I, 493). *Отбиваю* — в просторечии берется иногда вместо *увечу: отбить руки и ноги;* простонародно: отлучаю, отдаляю, отчуждаю: *отбить купца; он умел отбить от меня многих моих знакомых* (I, 137). *Наваливаюсь* — в просторечии: нападаю, притесняю кого: *на него всем миром навалилися;* простонародно: во множестве, кучею, толпою, вхожу: *в избу навалились мужики* (I, 472)[2].

Таким образом, просторечие включает в себя не только разговорно-фамильярные стили дворянства, но и бытовой язык разных социальных групп города, поместья, деревни.

Интересный материал для изучения социальных дроблений просторечия можно извлечь из критических разборов языка и стиля литературных произведений представителями разных общественных групп. Напр. Ф. Булгарин порицал в языке романа Загоскина „Юрий Милославский" „грубые", простонародные, „противные вкусу" выражения: *„гости поряд-*

---

[1] М. И. Сухомлинов, История Рос. академии, т. VIII, стр. 93.
[2] Там же, стр. 88.

ком подгуляли"; *„шибко дерутся, собачьи дети*"; *„и этого-то, собачий сын, не умел сделать*" и т. п.[1]

Между тем, А. С. Пушкину претила не простонародность стиля „Юрия Милославского", а зараженность этого романа „языком дурного общества", т. е. просторечием городской буржуазной полуинтеллигенции, вульгарной книжностью бывалых людей из полуобразованных слоев купечества, чиновничества и городского мещанства. „Выражения *охотиться* вместо *ехать на охоту*; *пользовать* вместо *лечить*... не простонародные, как, видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества"[2].

Для понимания социальных основ этого слоя просторечия любопытны материалы очерк А. А. Марлинского „Русский язык"[3]. „Всякое звание, — пишет А. А. Бестужев-Марлинский, — имеет у нас свое наречие. В большом кругу подделываются под jargon de Paris. У помещиков всему своя *кличка*. Судьи не бросили еще *понеже* и *поелику*. У журналистов воровская латинь. У романтиков особый словарь туманных выражений, даже у писарей и солдат свой праздничный язык. В каждом классе, в каждом звании отличная тарабарщина: никто сразу не поймет другого, в этом-то вся претензия, чтоб, не думавши, заставить думать[4]; но купчики, пуще всего купчики, любят говорить свысока, то-есть сбирать кучу слов. Вот обращик". И далее изображается разговор автора с двумя купцами в трактире на станции. — *„Позвольте попросить позволения узнать, с кем то-есть имеем осчастливленную честь говорить-с."* — „Я не говорю с вами". — *„Так-с, всеконечно-с, дело дорожное-с. Я ведь, впрочем, не для ради чего иного прочего, а так из кампанства, хотел только, утрудив побеспокоя вас, попросить соблаговоления, чтобы нашему чайнику возыметь соединяемое купнособщение с этим самоваром-с. Попросту так сказать-с, малую толику водицы-с*".

Сначала я думал, что это мистификация, потом мне стало смешно; потом и совестно, что я так небрежно отвечал этому сплетателю глупостей... Мало-по-малу у нас завелся уж и политический разговорец". Старший купчик, поглаживая свою подстриженную бородку, смотрит на лубочный портрет Кульнева. *„Вот, батюшка, была в 12-м-то году кампания, так уж кампания-с! уж можно сказать, что* ***богатель****. Французские все армии да и войска уничтожительно истреблены-с двунадесятью язык, и по делам супостату-с. Вся антирель теперь в Москве лежит: пушек-с — как моркови. Позвольте, к слову стало, — узнать-с, достохвальный и знаменитый генерал Кульнев в конном или в кавалерицком полку служительство производить быть имел."* — „Он служил в гусарах". — *„Так-с* (обращается к товарищу). *А ты спорил, что в кавалерии* (ко мне). *Ученье свет, неученье тьма-с. С*

---

[1] „Северная пчела", 1830 г., № 39.

[2] А. С. Пушкин, Соч., изд. Ак. наук 1928 г., т. IX, ч. I, стр. 80.

[3] Предварительно описан диалог между купцами за игрой на биллиарде: „Купец помоложе (бьет): *Ах, дал* ***скользея****.* 42 и 10! Купец постарее: ... *Не в ударе, брат, не в ударе* (бьет). *Ась, каково! — Да еще* ***верхним подходцем****.* 45 и 10! Купец помоложе: *Вам можно отчаяваться и на удалую, партия в дороге-с. Вот и мы накатцем доехали*".

[4] Ср. М. П. Погодин, Письмо о русских романах („Северная лира", 1827 г., стр. 263): „Какое различие у нас в званиях! У каждого есть свой язык, свой дух... Одним языком говорит у нас священник, другим — купец, третьим — помещик, четвертым — крестьянин".

нашим удовольствием благодарение приносим, что изволили объяснить-с. А этот храбрый генерал-майор Кульнев-с и в чины происходить к повышению производства в том же полку благоволил-с?“. — „Помнится, в одном и том же“. — *По всему видно, что герой-с. А он на поле чести или на поле брани живот за отечество положить удостоен-с?*“. — „Он был смертельно ранен на поле сражения“. — „*А вот этот простяк говорит, что на поле брани-с*“. „Мне кажется, это все равно“. — „*Так-с. Справедливо изволите иметь таковое умственное рассуждение в мыслях-с. Я и сам, то-есть, по своей комплекции, думаю, что он наверно был славно знаменит-с*“ [1].

На почве этой своеобразной „вульгарной“ книжности вырастало буржуазное презрение к „простонародному“, „мужицкому“ языку.

Язык „дурного общества“, речь городской буржуазной полуинтеллигенции в лексикографической традиции не выделялась из общих категорий просторечия и простонародного языка. Напр., *предел* (в значении: участь, жребий, судьбина счастливая или злополучная; V, 204), *преестественный* (V, 206), *добродетель* (в значении благодеяние; II, 100) и др. под. отнесены в „Словаре Академии Российской“ (1805—1822 г.) к просторечию; слова: *кляуза, крючкотвор, крючкотворец, кознодей* и т. п. названы „простонародными“. Элементы литературно-книжного языка, выходившие из употребления в дворянском обществе, спускались в среду этой полуинтеллигенции, которая вообще черпала свои словесные средства не только из „простонародного“ крестьянского источника, но и из культуры архаических традиций и даже из отслоений западноевропейской письменности. Вообще, устная и письменная речь грамотных купцов, мещан, дворовых была склонна к своеобразной книжно-вульгарной риторике, иногда с церковным или канцелярским налетом, и чуждалась „подлых“ слов, хотя и не могла от них освободиться и допускала постоянные комические срывы из книжного языка в вульгарное просторечие и областные диалектизмы. Язык этой мещанской литературы менялся в своем составе, воспринимая доступные формы из стилей высших классов. Но общие приемы его организации до 20-х годов XIX в. еще не подвергались коренной ломке, — напр., в стих. дворового человека Матвея Комарова (1771 г.), осуждавшего слог, каким „обыкновенно подлые люди рассказывают сказки“:

Желал бы я **невеждов** *тех спросить,*
Кои *худо от добра не могут отличить* [2].

В его повести о Ваньке Каине: „*велел он его с воза стащить... а имеющуюся на возу солому, высекши из* **носящего** *всегда с собою огнива огонь, зажечь*“ [3].

„*О, боги!* сказал милорд, *какое это похабство*“. („Повесть о приключении аглинского милорда Георга“, ч. III, стр. 47) и др. под.

---

[1] А. А. Марлинский, Собр. соч. СПБ., 1840 г., ч. XII, Ср. у А. С. Шишкова в „Рассуждении“: „Обветшалые иностранные слова, как, напр., *авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, камедь играть* и проч., изгнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам“ (Примеч., стр. 22—23).

[2] См. текст в книге В. Б. Шкловского: „Матвей Комаров, житель города Москвы“, Л., 1929 г., стр. 23.

[3] Там же, стр. 72, а также в изд. повести 1779 г., стр. 24.

В соч. Александра Орлова „Встреча чумы с холерою.... Московская повесть“ (М., 1830 г.)[1] встречается подобное же сочетание архаической книжности с вульгарным просторечием: *„гении медицины не могут утвердительно сказать, что ты есь“*. (5); *„отвещай же ты, высокобезобразная, не съешь ли ты нас с Кручининым?“* (10); *„точит пену клубом изо рту“* (18) и т. п. В книге Ив. Гурьянова: „Слухи о моровом поветрии в Персии или дружеская беседа по сему случаю провинциального секретаря Евстигнея Анкудиновича Загребалина с его сожительницею и отставным майором Прямодушиным“ (М., 1830 г.): *„ввернешь словечко такое, чтоб был насущный хлебец“* (22); *„сделанное добро само по себе неоцененная награда“* (30); *„благодарен за неоставление“* (26); (надзиратель) *„первое облегчение им делает высасыванием или, лучше сказать, облегчением их от излишних крох“* (28); (болезни) *„требуют продолжительного пользования“* (50); *„око правительства на неусыпной страже охраняет наше благополучие“* (37); *„рассказы болтуньев и болтунов“* (40); *„блистала* (у Загребалина) *на глазах* с л е з а *— драгоценный перл чувствительности“* (46) и т. п.

Эти устные и книжные стили буржуазного языка были очень разнообразны. Они считались лежащими за пределами изящной „словесности“ в дворянской культуре XVIII в. и до начала XIX в. оставались на периферии литературного языка. В начале XIX в. с ростом значения буржуазии они врываются в систему литературной речи и ее трансформируют, вступая в синтез и столкновение с дворянскими стилями (см. VII гл.).

§ 8. Дворянский литературный язык и профессиональные диалекты.

Дворянские стили литературного языка чуждались слов профессиональной окраски. Поэтому с половины XVIII в. до тридцатых годов XIX в., когда в русском литературном языке организующая роль принадлежала стилям „изящной словесности“ — стиховым и прозаическим, профессиональные диалекты и жаргоны (стили канцелярского, официального языка не относились к профессиональной диалектологии, а имели общее политическое значение) оставались почти запредельными литературному языку. Их литературное употребление было очень стеснено, а в салонно-дворянских стилях даже вовсе запрещено. В поле разговорно-литературной жизни находилось ограниченное количество слов и выражений, с отпечатком профессионального происхождения, вроде ***загнуть** словечко, обдернуться* (Ср. у Пушкина в „Пиковой даме“), *срезать* и т. п. (из картежного арго); *зарубить на носу, без сучка—без задоринки* (из лесного дела); *животрепещущий* („термин технический рыбных торговцев“, употреблявшийся в переносном значении — „Мнемозина“[2]: *„животрепящих новостей литературы“*) и т. п. Несомненно, что в столичном дворянском просторечии преобладающее значение имели диалекты и жаргоны, связанные с светской кружковой жизнью, с военной профессией (ср. слова офицерского арго в „Горе от ума“ Грибоедова: *хрипун, удавленик, фагот“* — о Скалозубе; *хрипун* в „Домике в Коломне“ Пуш-

[1] В скобках указаны страницы этого изд.
[2] 1824 г., № 2, стр. 105.

кина; *хрипун* — фронтовик-фанфарон, щеголяющий французским языком и светской ловкостью обращения [1]), с играми в карты и шулерскими ухищрениями.

Интересно свидетельство Вяземского об одном офицере-„лингвисте“ Раевском, „обогатившем гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении, напр.: *пропустить за галстук, немного подшефе* (chauffé), *фрамбуаз* (framboise — малиновый) и пр. Все это по словотолкованию его значило, что человек лишнее выпил, подгулял“ [2].

Вместе с тем характерен для стиля эпохи подбор тех профессиональных диалектов, из которых приводятся (хотя и в очень ограниченном количестве) слова и выражения в словарях XVIII — начала XIX в. Это — прежде всего диалекты приказно-канцелярские (ср. *тоги* — перечни в счете; *иск* — в приказном наречии, — „Словарь Академии Российской“ XVIII в., III, 325; *говорить суд* — речение приказное: доказывать иск или оправдаться, V, 950; *подбирать законы* — речение приказное. Деяние ябедников и крючкотворцев, которые собранием множества законов запутывают дело, III, 10 и др. под.), мореходное и военное „наречия“ (ср. пометы слов: *базанить, взвод, верстать; предавать огню и мечу* и т. п.) и карточное арго (ср. словарики при изданиях вроде „Новейший карточный игрок..“ 1809 г. СПБ, ч. I—II; ср. происхождение слов и выражений, проникших в литературную речь из карточного жаргона: *под сюркуп, наверное* — *наверную*, в *руку под мухой, итти в гору* и т. п.), т. е. диалекты и жаргоны, связанные с служебно-деловыми отношениями и общественно-бытовыми занятиями дворянства и буржуазии. Далее идут профессиональные диалекты, которые преимущественно относятся к новому быту, к сфере помещичьего дворового хозяйства, или к общим потребностям домашнего хозяйственного обихода: охотничий (*называть* — в наречии охотничьем: скликать собак, III, 118; *отозваться* — в наречии охотничьем: дать знать о затраве зверя, III, 120; *плоха* — в наречии охотничьем: просека в лесу, прорубленная для охоты на уток, IV, 913 и др. под.), пивоварный (*как вороново крыло* — речение пивоварное, употребляемое к означению густого и крепкого пива, I, 855), плотнический (*в лапу сдирать* — соскабливать), диалект гранильщиков (*наждак*), каменщиков (*кружало*), портных (напр., *ворсить*), гончаров (*мостница*), сапожников (напр., *липка, варовик*), кожевников (напр., *бухтарма* — мясистые волокна на коже животных) и, наконец, торговый (*харчи, заваль, жилец* — товар, который скоро сходит с рук и т. п.).

Следовательно, в словарях не представлена масса жаргонно-диалектических разновидностей языка города, которые находились во взаимодействии со стилями мещанского просторечия, напр., язык мелких чиновников, мелких торговцев, рабочих и т. п. Эти профессиональные диалекты ждали литературной канонизации. И она приходит для некоторых из них в 30—40-е годы.

Таким образом, и с этой стороны салонно-дворянские стили обнару-

---

[1] Ср. у П. А. Вяземского в „Записной книжке“: „Слово *хрип*... означало какое-то хватовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственною хриплостью голоса“ (стр. 110).

[2] Там же, стр. 110.

живали социально-диалектическую узость и должны были подвергнуться напору новых языковых пластов, которые поднимались на уровень литературной жизни вместе с культурно-политическим ростом буржуазии.

§ 9. Влияние салонно-дворянских стилей на литературную речь буржуазии.

Несмотря на ту борьбу и то противодействие, которые были направлены на салонно-дворянские стили, их нормирующая роль была велика. Они укрепились в системе национально-литературного языка как одна из классово ограниченных разновидностей литературного выражения. В 20—40-х годах на нормы салонно-дворянской речи ориентировалась едва ли не большая часть буржуазно-разночинских стилей (ср. влияние А. А. Марлинского или Кукольника и др.). Пушкин иронизировал над этими писателями, которые проявляли жеманство и чопорность „уездной заседательницы", „деревенской просвирни-дьячихи, пришедшей в гости к петербургской барыне", „поминутно находя одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприличным для дамских ушей и т. п." [1]. Но разночинец Н. А. Полевой писал: „Автор обязан выражаться языком хорошего общества" [2].

Однако, имея направляющее, регулятивное значение для некоторых стилей буржуазно-дворянской литературной речи, эти салонные стили быстро стали превращаться в диалект консервативных групп дворянства и буржуазии с уклоном к европейской цивилизации. Передовая дворянская и разночинная литература первой трети XIX в. стремилась к выработке такой системы национально-литературного языка, которая объединяла бы по возможности большую часть книжных и разговорных стилей как дворянства, так и буржуазии. В этой работе по созданию новой структуры национально-литературного языка на основе дворянской культуры речи особенное значение имеет литературно-языковая деятельность А. С. Пушкина.

---

[1] А. С. Пушкин, Соч., изд. Ак. наук т. IX, ч. I, Л. 1928, стр. 106.
[2] „Московский телеграф", 1829 г., № 15, стр. 323.

VI.

Язык Пушкина и его значение в истории русского литературного языка.

§ 1. Проблема синтеза дворянской языковой культуры.

В языке Пушкина отразилась прямо или косвенно вся история русского литературного языка первой трети XIX в. Вместе с тем язык Пушкина определил во многих направлениях пути последующего развития и дворянских и буржуазных стилей русского литературного языка. Из предшествующего изложения ясно, что в эпоху Пушкина, в эпоху, когда обозначились симптомы буржуазно-демократического перерождения литературного языка, проявилась с особенной силой борьба между теми двумя стихиями русской литературной и письменной речи, которые противостояли враждебно одна другой в течение XVIII в. и которые все же успели сильно смешаться к началу XIX в., между стихией церковно-славянской, византийско-болгарской в своей основе, и стихией западноевропейской, романо-германской, по преимуществу французской. Характер и содержание каждой из этих стихий резко менялись в зависимости от той социальной среды, через которую они протекали. Двигались же эти языковые течения сверху вниз. Культура церковно-книжной речи поддерживалась вне духовенства преимущественно в националистических сферах бюрократии и обедневшей знати, в кругах провинциального дворянства и средней буржуазии. Эта культура опиралась, кроме духовного красноречия и церковно-богословской литературы, на научную прозу, высокую поэзию и канцелярскую письменность. Культура французского языка и европеизированной русской речи от придворной аристократии и столичного дворянства двигалась в гущу провинциального дворянства, дворни и разночинной интеллигенции, облекаясь там в комические формы жеманства и безвкусных вычур. Западноевропейская струя была богаче, свежее и разнообразнее в устном языке высших классов. Письма были той лабораторией, где она перерабатывалась в формы литературного, письменного языка, а стих был ее „душой", ее высшим стилистическим выражением. Эти социальные деления бытового языка отражались и на разных жанрах литературы, их смещая и смешивая.

В начале XIX в. эта борьба была осложнена вторжением в литературный язык разнообразных стилей устной, разговорной речи, которые, в соответствии с культурно-бытовым обликом того или иного класса, той или иной социальной группы, имели резкия различия. На ряду с общим

12 В. В. Виноградов — 1859

для дворянства, разных слоев буржуазии и крестьянства фондом слов и выражений „национального“ просторечия; в устной речи были яркие признаки классовой и культурно-групповой диференциации. Дворянские стили разговорного языка представляли смесь „французского“ или литературно-изысканного красноречия с „простонародным“ языком и тяготели к крестьянским диалектам, как к своей национальной основе. Напротив, в буржуазных стилях разговорного языка, помимо своеобразий их профессионально-группового расслоения, более резко проявлялось столкновение национально-архаических (в том числе и церковно-славянских) элементов с формами городского просторечия и крестьянской, нередко областной речи.

Пушкину принадлежит оригинальная попытка сочетать эти три социально-языковых категории в системе литературного языка. В основе пушкинского языка лежит принцип синтеза дворянской языковой культуры, в главном своем ядре восходящей к нормам речи европейской аристократии и европейской буржуазной интеллигенции, с теми элементами русского национально-языкового творчества, которые в романтическом понимании расценивались как „общенародные“, как характерные для русской нации в целом.[1]

§ 2. Зависимость пушкинского языка от салонно-дворянских стилей.

Пушкин вступил в атмосферу языковой борьбы, как „француз“, как „европеец“, но понял эту борьбу по-своему. Он воспринял ее в свете романтико-философских категорий исторического процесса, и она постепенно изменила для него свое значение и содержание. Для предшествующего поколения русских „европейцев“ (карамзинистов) в центре литературной политики стоял вопрос об ограничении состава и форм русского письменного и литературного языка, о приближении его к изысканной устной речи дворянского салона. Средством этой реформы был перевод, перевоплощение французской семантики в формы русского языка. Салон — царство женщины. И идеальный образ дамы-читательницы и эстетической законодательницы определял стилистическое построение, идейное содержание и экспрессию этого манерного, жеманного светского стиля, этого по определению Пушкина, „нежного и разборчивого языка“. Язык Пушкина до конца 10-х — начала 20-х годов движется в русле „западнических“ традиций карамзинистов (если не принимать во внимание тех фамильярно-бытовых произведений Пушкина, которые не относились к „словесности“, т. е. к литературе, и не предназначались для печати). Сфера употребления церковно-славянизмов ограничена. Язык Пушкина постепенно освобождается к началу 20-х годов от употребления таких устарелых или устаревавших церковно-славянских слов, как *расточить* (в значении разогнать, рассеять):

Там с верной, храброю дружиной
Полки врагов я расточил...

(„Кольна“, 1814 г.);

---

[1] О языке Пушкина см. мою книгу: „Язык Пушкина“ Изд. „Academia“, 1934.

вседержитель:

Но сильного в боях небесный вседержитель
Лучом последним увенчал...

(„Воспоминания в Царском селе“, 1814 г.);

сретать:

Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают

(там же);

воитель (в последний раз это слово употребляется в „Песне о вещем Олеге“ — 1822 г. [1]):

Воителю слава — отрада...:

куща:

Повесит меч войны средь отческия кущи...:

(„Эпиграмма“, 1815 г.);

затем это слово встречается у Пушкина только однажды в пародической „Оде его сиятельству графу Дм. Ив. Хвостову“ (1825 г.);

поносный в значении: постыдный [2] и др. под.

§ 3. Освобождение пушкинского языка от фонетико-морфологических элементов церковно-книжной речи.

Исключение архаических церковно-славянизмов из языка Пушкина сопровождалось постепенным сокращением и устранением таких фонетических и морфологических примет церковно-книжной речи, которые были типичны для „высокого“ славянского слога. Напр., церковно-славянское **е** в ударяемом слоге перед твердым согласным на месте русского **о** в ряде грамматических категорий к концу 10-х годов или вовсе исчезает из стихов Пушкина, или остается в единичных примерах, вытесняясь **ё**. Так, рифмы показывают, что употребление церковно-славянской огласовки в конечном ударенном слоге 3-го лица ед. ч. настоящего и будущего времени глаголов 1-го спряжения (с тематическим гласным **е**, например *льéт, взойдéт, стрежéт*):

Их гробы черный вран стрежет.
Гряди и там, где их не стало,
Воздвигни памятник побед...

(„Кольна“, 1814 г.)

— в начале 20-х годов прекращается.

Последний по времени пример такого употребления падает на 1821 г. в стих. „Наполеон“:

Исчез властитель осужденный.
Могучий баловень побед:
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настает.

Точно так же, за исключением одного примера в высоком слоге „Полтавы“ *(вознесен — измен,* 1,425), 1817 годом заканчивается употребление

---

[1] Ср. в стих. 1814 г.: „Кольна“, „Воспоминания в Царском селе“.
[2] Ср. „Воспоминания в Царском селе“, 1814 г.

*

имен. пад. мужск. р. нечленной формы причастия страдательного залога прошедшего времени в церковно-славянской огласовке. Ср., напр., в стих. „Городок“ (1814 г.):

О, добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: он побежден.

Церковно-славянская огласовка здесь решительно вытесняется русской (на это указывают рифмы типа *удивлен — он*; „Евгений Онегин“, VI, 8)[1]. Характерно также, что в огласовке ударяемых окончаний твор. пад. ед. ч. мягкого склонения *-е́м* (*алтарем — шлем*) и *-е́ю* (*чешуею — над нею*, в „Гавриилиаде“) у Пушкина сохраняются лишь единичные отражения церковно-славянского произношения, между тем как в стих. Батюшкова случаи церковно-славянской огласовки нередки; напр.:

И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий приведешь таинственной ***стезей***
Туда, где вечный май меж рощей и полей.

(„Элегия из Тибулла“.)

Напрасно я спешил от северных степей,
Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой ***струей***...

(„Разлука“) и др.

Тот же принцип постепенного освобождения пушкинского языка от церковно-славянских грамматических форм можно установить, наблюдая употребление церковно-книжных окончаний род. пад. женского рода им. прил. *-ыя*, *-ия*:

С рассветом ***алыя*** *денницы...*

(„Кольна“, 1814 г.)

Когда под скипетром ***великия*** *жены*
Венчалась славою счастливая Россия...

(„Воспоминания в Царском селе“, 1814 г.)

Подруги тайные моей весны ***златыя***...

„(Погасло дневное светило“, 1820 г.) и др. под.

Большая часть примеров приходится на ранние годы поэтической деятельности Пушкина, кончая 1820 годом. В позднейшую эпоху встречаются лишь единичные примеры употребления окончания род. пад. *-ыя*, *-ия*, и притом всегда со специальной стилистической мотивировкой. Напр.: в „Сказке о мертвой Царевне“ (1833 г.) — *зеленыя;* в церковно-библейском „Пророке“ — „*жало мудрыя змеи*“ и др. под.[2].

Таким образом, в языке Пушкина (правда с некоторым ограничениями) торжествует карамзинское правило, согласно которому литератур-

---

[1] Ср. примеры из других поэтов пушкинской и до пушкинской поры в ст. С. И. Бернштейна, О методологическом значении фонетического изучения рифмы. „Пушкинист“ в. IV. (Пушкинский сборник), П. 1922.

[2] Е. Ф. Будде, Опыт грамматики языка А. С. Пушкина, СПБ, 1904 г., вып. II, стр. 30.

но-книжный язык должен был в своем фонетико-морфологическом строе слиться с разговорным языком образованного дворянского общества. Тенденция к фонетико-морфологической ассимиляции книжно-славянских элементов литературной речи с литературно-русскими сохраняет силу в пушкинском языке и после того, как Пушкин в своем творчестве перестает придерживаться условных салонно-дворянских норм стилей карамзинизма.

§ 4. Своеобразие пушкинской позиции в сфере синтаксиса.

Кроме фономорфологии, была еще область словесных форм, в которой стилистические приемы западнической литературной традиции оказали на язык Пушкина основное организующее влияние — это область синтаксиса. Расстановка слов в пушкинском стихе, а особенно в прозе, близка к тем принципам „европейского", преимущественно французского и английского синтаксиса, которые изложены И. И. Давыдовым в его работе „Опыт о порядке слов" (как норма: определяющее впереди определяемого, подлежащее перед сказуемым, дополнения позади глагола):

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмеряли нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. („Выстрел".)

Известный французский писатель Проспер Мериме, переведший „Пиковую даму" Пушкина на французский язык, писал о пушкинской фразе приятелю Пушкина Соболевскому: „Я нахожу, что фраза Пушкина звучит совсем по-французски, я конечно имею в виду французский язык XVIII в. ... Иногда я спрашиваю себя, а что, в самом деле, перед тем, как писать по-русски, не думаете ли вы все — б о я р е — по-французски?" [1]

Интересно сопоставить текст Пушкивской прозы и перевод Мериме с синтаксической точки зрения:

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи: тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его	Deux idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral, de même que dans le monde physique deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. Trois — sept — as — effacèrent bientôt dans l'imagination de Hermann le souvenir des derniers moments de la vieille comtesse. Trois — sept — as — ne lui sortaient plus de la tête et venaient

[1] А. К. В и н о г р а д о в, Мериме в письмах к Соболевскому, М., 1928, стр. 100—101.

губах. Увидев молодую девушку, он говорил: — Как она стройна... Настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который час; он отвечал: — без пяти минут семерка. — Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды.

(„Пиковая дама“, гл. VI.)

à chaque instant sur ses lèvres. Rencontrait-il une jeune personne dans la rue: — Quelle jolie taille! disait-il; elle ressemble à un trois de coeur. — On lui demandait l'heure: il répondait: sept de carreau moins un quart. Tout gros homme qu'il voyait, lui rappelait un as. Trois — sept — as — le suivaient en songe, et lui apparaissaient sous formes étranges.

(La dame de pique.)[1]

В области синтаксических конструкций, признав своим образцом французский, а потом и английский язык и, таким образом, примкнув к традиции европейцев, Пушкин, однако, вступает в борьбу с тем засилием категорий качества и эмоциональной оценки (т. е. форм прилагательных, причастий, наречий, относительных предложений и описательных выражений), засилием, которое характеризовало европеизированный язык дворян, следовавших за Карамзиным. Реформа синтаксиса, основанная на признании преимуществ глагола и связанная с резкими изменениями форм времени, а следовательно, и приемов сочетания предложений (повествовательных единиц), привела к полному обновлению повествовательного стиля в стихе и прозе. И тут наметились в построении предложения точки соприкосновения Пушкина с противниками европеизма — славянофилами. Ведь вождь их — Шишков — с своей точки зрения тоже боролся за глагол против господства качественных слов в стиле „европейцев“, вспоминая изречение Плутарха: „Речь без глагола не есть речь, но мычание“[2]. Однако приемы сцепления предложений и ритмические формы связи синтаксических единиц в пределах предложения у Пушкина носили явный отпечаток „европеизма“ и приближали язык Пушкина к дворянской традиции конца XVIII — первой четверти XIX в.

Основная конструктивная роль глагола, его преобладание над именами особенно ярко выступает в языке пушкинской прозы. Напр., в „Пиковой даме“:

В то самое время как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку, и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала...

Часы пробили первый и второй час утра, — и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла, и опустилась в вольтеровы кресла. Герман глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по сту-

---

[1] Nouvelles de Prosper Mérimée, Paris, 1861.
[2] Шишков, Собр. соч. и переводов, ч. XII, стр. 205.

пеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, и снова умолкло. Он окаменел.

По подсчету, произведенному М. О. Лопатто[1], в пушкинской прозе — в „Пиковой даме" — 40% глаголов при 44% сущ. и 16% эпитетов (ср. с „Мертвыми душами" Гоголя: 50% сущ., 31% глаголов и 19% эпитетов). Но и в стихотворном повествовательном стиле Пушкина, который более богат эпитетами, глаголу принадлежит основное место. „Все члены предложения нанизываются почти непосредственно на глагол. Совершенно почти нет распространенной, цепной зависимости от существительных в форме, напр., родительного определительного. Сами существительные в управлении падежами сохраняют свойства глаголов. Напр.:

... услужливый угодник
Царю небес,

а не *царя небес*.

Обычно существительное определяется одним только прилагательным эпитетом и, следовательно, не является центром организации сложного члена, предложения"[2]. Б. В. Томашевский, исследуя язык „Гаврилиады", правильно указывает на то, что „как будто и на эпитетах преобладает глагольная стихия". Кроме прил. с суффиксом **-ливый** (*заботливый, услужливый, послушливый, докучливый, проказливый, шутливый, нетерпеливый, горделивый, несправедливый* и т. д.), „обильно количество эпитетов с суффиксом **-тельный** (*внимательный, решительный, пленительный* и т. д.) и разных отглагольных, главным образом, причастных форм страдательного залога (*забытый, необозримый, благословенный, усталый* и пр.)". Таким образом, Пушкин, строя синтаксические группы по типу французского и английского словосочетания, в то же время делает глагол центром фразы, от которого зависят все члены предложения. Отсутствие различных степеней подчинения в составе простейшей синтаксической группы придает литературному языку логическую прозрачность.

§ 5. Ритм пушкинской прозы.

Ритмическое движение синтаксических групп в языке пушкинской прозы подчинено стройному принципу. Синтаксические единицы, т. е. простейшие семантические и интонационно-грамматические единства („синтагмы" или „ко́лоны", как их называют), обычно содержат от 6 до 12 слогов, чаще всего 7—8—9 слогов, в единичных случаях доходят до 15—18 слогов. Предложение часто исчерпывается одной синтагмой, нередко включает в себя от 2 до 4 синтагм и обычно не превышает 7—8 синтагм. Сложное синтаксическое целое (период, система главных и придаточных предложений), также обычно не выходит за пределы 8—10 синтагм. Напр. в „Капитанской дочке" (в скобках указано количество слогов в каждой синтагме):

Я выглянул из кибитки (8): *все было мрак и вихорь* (7). *Ветер выл с такой свирепой выразительностью* (14), *что казался одушевленным*

---

[1] М. О. Лопатто, Введение в теорию прозы. Повести А. С. Пушкина, Одесса; его же: Опыт введения в теорию прозы „Пушкинист", в. III, П., 1918 г.

[2] А. С. Пушкин, Гаврилиада. Поэма. Редакция, примечания и комментарий Б. В. Томашевского, П., 1922 г. стр. 82.

(9); *снег засыпал меня и Савельича* (11); *лошади шли шагом* (6) — *и скоро стали* (5).

Сложное синтаксическое целое:

1) *То казалось ей* (5),
2) *что в самую минуту* (7),
3) *как она садилась в сани* (8),
4) *чтоб ехать венчаться* (6),
5) *отец ее останавливал ее* (11),
6) *с мучительной быстротой* (7),
7) *тащил ее по снегу* (7)
8) *и бросал в темное, бездонное подземелье* (14).

Присоединенное синтаксическое целое:

1) *... и она летела стремглав* (8)
2) *с неизъяснимым замиранием сердца* (12);

Третье синтаксическое целое:

1) *то видела она Владимира* (10),
2) *лежащего на траве* (7),
3) *бледного* (3),
4) *окровавленного* (6) [1].

В сущности эта система ритмического построения прозы была частным воплощением того общего правила дворян-„европейцев", которое в теории карамзинской прозы (напр. в „Общей реторике" Н. Кошанского, 1-е изд., Спб. 1829 г.) получило такую формулировку: „Располагать слова, выражения и знаки препинания так, чтобы чтение было легко и приятно" (стр. 33).

§ 6. Логическая прозрачность сложных синтаксических форм в языке Пушкина.

Той же цели отвечали и приемы синтаксического сочинения и подчинения предложений в пушкинском языке. В нем преобладают формы бессоюзного сцепления или же присоединительные конструкции с союзами *и*, *а*, *но*. Подчинительные конструкции очень ограничены: кроме форм относительного подчинения и придаточных предложений с союзом *что*, для пушкинского языка типичны временные предложения с союзами *когда*, *как;* условные с союзами *если*; *но если*, целевые с союзами *чтобы (чтоб) дабы;* причинные с союзами *для того, — что, ибо*. Эта логическая прозрачность синтаксических форм, сближенных с западноевропейской фразой французского или английского типа, была достигнута не ценою насилия над русскими формами словосочетания, а только своеобразным подбором русских национальных конструкций, соответствовавших логическому ходу европейского мышления [2].

---

[1] См. статью Б. В. Томашевского, „Ритм прозы" („Пиковая дама") в его книге „О стихе", 1929 г. и Б. М. Эйхенбаум, ст. „Проблема поэтики Пушкина" в его книге „Сквозь литературу", 1924 г.

[2] Чтобы яснее была французская ориентация пушкинского синтаксиса, следует сопоставить пушкинскую систему с нормами „французского стиля", описан-

§ 7. Синтаксические галлицизмы в языке Пушкина.

В сфере синтаксиса пушкинский язык представляет сравнительно небольшое количество таких галлицизмов, таких „заимствований“ из французского языка, которые противоречили нормам грамматики национально-бытовой речи других классов. Прежде всего сюда относятся примеры нарушения форм управления, свойственных отдельным словам, напр. изменения в управлении глагола падежом сущ. Так, в „Полтаве“:

Отмстить поруганную дочь. . .

Ср. конструкцию французского venger — *мстить*.

Не он ли помощь Станиславу
С негодованьем отказал. . .

Ср. конструкцию французского refuser.

Такого же характера изменения в предложной конструкции после глагола, напр. в „Каменном госте“:

Я прошу
И вас свой голос к ним соединить. . .

Ср. joindre à. . .;

Вперить взор **на** *кого-нибудь*, **на** *что-нибудь* — fixer ses regards, ses yeux sur. . .

И старец беспокойный взгляд
Вперил на витязя в молчанье. . .
(„Руслан и Людмила“).

Взор немой
Вперил он на свое созданье
(„Недоконченная картина“.)[1]

Точно так же и в формах синтаксической связи им. сущ. и прил. наблюдаются отдельные случаи смешения русского и французского языков. Таково, напр., широкое употребление форм. род. пад. сущ. в функции определения к другому сущ.: *„девы веселья“* (filles de joie), *„дева красоты“* („Евгений Онегин“, 6, XXII), *„дева неги и любви“* (вариант в описании Одессы), *„сабля мести“* („К Юдину“), *„язва чести“* („К принцу Оранскому“) и др. под.

Особенный интерес для изучения процесса „европеизации“ синтаксических форм русского языка представляют конструкции с предлогами. Отношения между словами, которые раньше выражались материальными

ными Подшиваловым — А. Скворцовым в „Сокращенном курсе российского слога“ (1796 г.): „Что принадлежит до союзов, то в рассуждении их примечать надлежит, что есть ли случатся союзы условные, то непременно должно не упускать их, если не хотеть, чтоб смысл в периоде совершенно потерян был. Союзы, выпускаемые и часто употребляемые, особую имеют приятность и делают речь сильнее, а особливо в изображении сильных чувствований души. В старину употребляемы были в речи периоды долгие, а потому союзы были необходимы; но ныне опущение их, т. е. союзов соединительных, особливую составляет приятность, а особливо стиль французской от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красы своей“ (стр. 29).

[1] См. Ф. Е. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания „Русалки“, „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, 1898 г. ч. III и 1899 г., ч. I—II. Но ср. уже у Г. Р. Державина: *Вперя свой взор на небеса.*

значениями самих слов и основанными на них формами падежного управления, теперь получали расчлененное, логическое обозначение посредством предлогов. Вместе с тем укреплялись новые типы синтаксических связей, выражаемых предлогами. Напр., *для* (pour), *в* (en, dans):

Пока сердца для чести живы . . .

(„К Чадаеву", 1818 г.)

Ср. церковно-славянские фразы: *умер славе, умер греху.*

„Молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии" („Пиковая дама") и др. под.

Из французских принципов связи синтагм в пушкинском языке еще встречается употребление независимого и несогласуемого оборота — в функции вводной синтагмы или в качестве обособленного причастия и прилагательного. Напр.:

Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался . . .

(„К ней", 1817 г.)

Когда с угрозами и слезы на глазах
Мой проклиная век, утраченный в пирах . . .

(„Андрей Шенье", 1826 г.)

Ср. в черновом наброске „Евгения Онегина" „непростительный галицизм", по определению самого Пушкина:

Грустный, охладелый,
И нынче иногда во сне
Оне смущают сердце мне.

В „Дубровском": *„Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового".*

Но эти скудные синтаксические галлицизмы являются в пушкинском языке лишь остатками, пережитками того антинационального „европеизма", который был характерен для дворянской речевой культуры XVIII в. Значение Пушкина заключается именно в том, что он, следуя конструкции французской и английской фразы, утвердил стройную систему национально оправданных синтаксических форм и довел карамзинский синтаксис до необыкновенной логической прозрачности, придав ему мужественное напряжение и быстроту повествовательного движения.

8. „Европеизмы" в лексике, фразеологии в семантике пушкинского языка и их национальное оправдание.

Гораздо более изменчивы были в пушкинском языке принципы лексического и фразеологического приспособления русского литературного языка к „европейскому мышлению". От метода копирования европейской фразеологии, характерного для стиля карамзинистов, Пушкин отрекается уже в начале 20-х годов, вступив на путь борьбы с шаблонными перифразами и беспредметными метафорами русско-французских дворянских стилей. Правда, Пушкин в сфере отвлеченных понятий всегда признавал

образцом французский язык. Одобряя „галлицизмы понятий, галлицизмы умозрительные, потому что они уже европеизмы“, поэт писал Вяземскому: „Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться на подобие французского; (ясного точного языка прозы — т. е. языка мыслей)“ [1]. Отсюда у Пушкина нередки пояснения значений русских слов французскими. Отвлеченные понятия, выработанные „европейским мышлением“, еще не находили точного выражения в системе значений, свойственных русскому языку. Русское слово, фраза кажутся Пушкину семантически зыбкими, текучими, и он в скобках уточняет их значение. Напр.: „*семейная неприкосновенность* (inviolabilité; de la famille)“ [2] „*презирать* (braver) *суд людей не трудно*“ [3]; „*чрезвычайная известность* (extrême popularité) [4]“; „*Оно невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения*“ (discussion); „*во всех отношениях самый народный* (le plus national et le plus populaire) [5] и др. под. Желая в повести „Барышня-крестьянка“ точнее обозначить смысл слова *самобытность*, Пушкин ставит в скобках individualité. Таким образом, семантическая система русского языка приспособляется к выражению европейского мышления. Оценивая и определяя значение слова, Пушкин прибегал почти всегда к сопоставлению с французским языком. Критикуя стих. Вяземского „Нарвский водопад“, поэт увидел в выражении *междуусобные волны* искажение прямого значения слова *междуусобный* и сопоставлял его с французским mutuel: „*междуусобный* значит mutuel, но не заключает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл“ [6]. Задумавшись над употреблением слова *случай* в стихах Батюшкова:

Колен пред случаем во век не преклоняет,
И в хижине своей с фортуной обитает,

Пушкин приписал: „faveur — не то“ [7]. Но, обогащая семантику русского литературного языка идеями, созданными европейской мыслью, Пушкин вслед за Шишковым отвергает прием калькирования, укоренившийся в русской западнической традиции XVIII в.: „Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке, напр. *трогательный*, от слова touchant (смотри справедливое о том рассуждение г. Шишкова). *Хладнокровие* — это слово не только перевод буквальный, но еще и ошибочный. Настоящее выражение французское есть sens froid, *хладномыслие*, а не sang froid. Так писали это слово до самого XVIII столетия. Dans son assiette ordinaire. Assiette значит *положение*, от слова assoir, но мы перевели каламбу-

---

[1] Переписка, изд. Ак. Наук, Спб, 1906 г., т. I, стр. 230.
[2] Переписка, т. III, стр. 122.
[3] Переписка, т. I, стр. 287.
[4] Переписка, т. I, стр. 235.
[5] „Критические заметки“, 1830 г. А. С. Пушкин, Соч., изд. Ак. Наук, т. IX, ч. 1, Л. 1928 г., стр. 112. Ср. в „Дневнике“ И. М. Снегирева под 16 мая 1823 г. „Думали как перевести originalité — *естественность, подлинность, особенность;* вместо *национальность — народность*“ (издание 1904 г. М., стр. 25).
[6] Переписка, т. I, стр. 284.
[7] Л. Н. Майков, Пушкин (Ст. „Пушкин о Батюшкове“), СПБ, 1899 г.

ром — *в своей тарелке*: *„Любезнейший, ты не в своей тарелке“* („Горе от ума“)“.

Таким образом, Пушкин вносит существенные ограничения в нормы смешения русского и французского языков. Он протестует против буквальности перевода, против калькирования французских (или немецких) слов. Принцип непосредственной смысловой ассимиляции „европеизмов“ с русской национально-бытовой сферой значений, принцип соответствия заимствованных западноевропейских понятий и форм их выражения национальным стилям речи и, как следствие, вытекающее отсюда, строгий отбор „галлицизмов“ в зависимости от их согласия с русской национально-языковой структурой лексики и семантики, ограничение заимствований, искание соответствующих оттенков мысли в формах церковно-славянской речи и общественно-бытового просторечия — вот те стеснительные нормы, которыми Пушкин постепенно (особенно рельефно — с середины 20-х годов) стал руководствоваться в отношении галлицизмов. Устанавливая пределы и функции применения французской системы связи понятий в русском литературном языке, Пушкин исходит из семантических закономерностей русского языка, вовлекая в структуру литературной речи и стили национально-бытового просторечия и простонародные диалекты, и еще понятные, хотя бы и несколько архаические, формы церковно-славянского языка.

Поэтому Пушкин признает законным употребление „иноплеменных слов“, если они обозначают предметы или понятия, для которых нет подходящего выражения в самом русском языке:

Но *панталоны, фрак, жилет*,
Всех этих слов на русском нет,
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.
(„Евгений Онегин“, 1, XXVI).

Точно так же Пушкин, вопреки славянофилам, утверждает те „европейские“ значения русских слов, которые уже укоренились в литературном языке[1], и те простейшие фразы и идиомы, которые вошли в русский язык путем перевода с западноевропейских языков, преимущественного языка французского (напр. *носить отпечаток* — porter l'empreinte; *во цвете лет* — dans la fleur de jour; *бросить тень на что-нибудь* — jetter

---

[1] Напр.: *В ней сердце полное мучений*
Хранит надежды темный сон.
(„Евгений Онегин“, 3, XXXIX.)
Тебе, но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
(„Полтава“, посвящение).
Кончину ль темную судил мне жребий боев? („Война“, 1821 г.)
И жертва темная, умрет мой слабый гений.
(„К Овидию“, 1821 г.) и др.
Ср. значения французского *obscure*.
„Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни. Ср. значения французского trait и т. д.

les ombres sur quelque chose; *завести далеко* (в переносном значении) — mener loin и т. п.

Но, стремясь к сближению русского литературного языка с западно-европейскими языками в общем строе мысли, в характере связи понятий, Пушкин борется с теми формами фразообразования, которые являлись кальками, копиями с манерных французских метафор, отражением перифрастических стилей французского буржуазно-дворянского языка. В пушкинском языке только до конца 10-х годов еще встречаются такие условные перифразы французско-карамзинского типа, в которых слова утрачивают прямое предметное значение, в которых смысловая связь составных элементов не может быть выведена из семантики русского языка, а непосредственно возводится к французской фразеологии. Эти застывшие перифразы выступали как замены простых обозначений. Сам Пушкин иронически выстраивает такие параллели, противопоставляя длинным и вялым выражениям простые и короткие обозначения:

Дружба, сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.	по просту: *дружба.*
Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба.	вместо: *рано по утру.*
Сия юная питомница Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном.	*эта молодая актриса.*
И совсем поглотила его бездна забвения	*и совсем его забыли* (проще и лучше).

Поэтому к началу 20-х годов из пушкинского языка исчезают перифразы такого типа:

Небес сокрылся вечный житель (т. е. солнце)
(„Кольна“, 1814 г.)

Челнок свой весело направил
По влаге бурной глубины (т. е. по волнам).
(„К Н. Т. Ломоносову“, 1814 г.)

И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам (т. е. звезды) ... и др. под.

Чтобы вникнуть в процесс национально-бытового усвоения тех значений и образов, которые шли из французского языка, достаточно сопоставить такие параллели абстрактных метафор из пушкинского языка ранней поры и близких к ним по значению конкретных, живых, вещественных образов в пушкинском языке конца 20—30-х годов:

В последний раз, на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней ...

в стих.: „Подъезжая под Ижоры“ (1829 г.):

Упиваясь *неприятно*
Хмелем *светской суеты,*
Позабуду вероятно,
Ваши милые черты.

в стих.: Как наше сердце своенравно (1823 г.):

Играть душой моей покорной
В нее вливать огонь и яд...[2]

и в стих.: „19 Октября 1825 г.":

А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.[1]

Характерно также стилистическое преобразование заимствованных из французского языка фраз, напр., *„кружиться в вихре вальса, в вихре удовольствий"* в „Евгении Онегине" (5, XXI):

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный

или оправдание французских значений в русских словах, напр. рой — essaim в значении: толпа, множество (ср. *„рой веселья"*, *„комедий шумных рой"* и др. под.):

***Толпа** в гостиную валит.*
***Так** пчел из лакомого улья .*
*На ниву шумный **рой летит**.*

(„Евгений Онегин", 5, XXXV.)

Но конечно, больше всего и прежде всего это национальное освоение элементов европейской, преимущественно французской семантики достигалось посредством вовлечения в структуру литературного языка таких слов и выражений из разных стилей национально-бытового просторечия и „простонародного" языка, которые в дворянской традиции салонных стилей, утвержденной Карамзиным и его последователями, расценивались как „низкие", „простонародные" и „нелитературные".

§ 9. Отречение Пушкина от норм условной салонно-литературной речи во имя языка „хорошего общества" (т. е. дворянско-буржуазной интеллигенции).

До конца 10-х годов в пушкинском языке почти не встречается таких слов и фраз, которые можно было бы, следуя стилистическим оценкам той эпохи, отнести к области „низкого" недворянского просторечия или чисто крестьянского языка. *Хват* („Казак", 1814 г.); *детина* („Городок", 1814 г.); ***уходить** горе* (там же); *размазать* (*„Дамам в слух того не скажет, а уж так и сяк размажет"* (Послание к Наталье", 1814 г.); ***ерошить** волосы* („Моему Аристарху", 1815 г.); *маяться* („Усы", 1816 г.); *закадышный друг* („Мансурову", 1819 г.) и некоторые другие подобные слова не выходят за пределы норм дворянского фамильярно-бытового просторечия, легко могут найти себе параллели в предшествующей литературной традиции карамзинского слога (напр., у

---

[1] Ср. у Батюшкова: *Все в неистовой прельщает*
В сердце льет огонь и яд...

[2] Ср. в черновом наброске „Кавказского пленника":
И наконец тоска любви
*Стесненной речью **пролилася**.*

И. И. Дмитриева, Нелединского-Мелецкого, В. Л. Пушкина). Только кое-что ведет к языку Д. Давыдова. Лишь в „Руслане и Людмиле" замечается уклон к просторечию и простонародности, несколько больший, чем это допускалось нормами светского карамзинизма. Во всяком случае, герои поэмы говорят и действуют не по правилам салонного этикета. Они несколько стилизованы под демократическую старину и сказочную простонародность:

Княжна с постели соскочила . . .
Дрожащий ***занесла кулак,***
И в страхе ***завизжала*** *так,*
Что всех арапов оглушила. (II).

Речи героев непосредственны и грубы.

— Руслана: *Молчи,* ***пустая*** *голова . . .*
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу. (III, 278—283.)
— Карлы: *Теперь ты наш,* ***ага, дрожишь.*** (V, 102).
Не то — шутите вы со мною —
Всех удавлю *вас* ***бородою.***
— Головы: *Ступай, назад, я не шучу.*
Как раз нахала проглочу . . . (III, 265—266.)
Послушай, ***убирайся прочь . . .*** (III, 273.)
Я сдуру *также* ***растянулся,***
Лежу, не слыша ничего,
Смекая: *обману его.* (III, 438—440.)

Вполне понятно, что консерваторы из классического лагеря выдвигали против Пушкина обвинение в „нелитературности" языка: „Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна... Если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! — неужели бы стали таким проказником любоваться?"[1] Так Пушкин к началу 20-х годов сбрасывает с себя путы салонно-дворянских стилей, воспринимаемых как непреложный канон литературного выражения некоторой частью буржуазной среды, и начинает упорную борьбу с условными формами литературно-салонного языка во имя речи „хорошего общества", т. е. речи „идеальной" буржуазно-дворянской интеллигенции.

Понятие „хорошего общества" (bonne société) выдвинуто Пушкиным как норма, определяющая границы и строй литературного языка. Оно было шире той социальной категории высшего света, к которой апеллировали в своих реформах дворяне-европейцы, и оно не противоречило языковым вкусам и тенденциям как дворянства, так и буржуазии. Словом, оно было пригодно для создания синтетической системы литературного языка. Но надо было с этой точки зрения осознать и оценить те социально-языковые деления, те стили, диалекты и жаргоны, которые намечались в среде дворянско-буржуазной интеллигенции или соприкасались с ней. Местные, этнографические особенности, конечно, Пушкиным не принимались в расчет; они, в общем, им избегались. Пушкин, отбросив наносный слой буржуазных подражаний салонам и оценивая наиболее характеристические формы просторечия, вовлек его в ту структуру литературного языка, над созда-

[1] „Вестник Европы", 1820 г., № 16.

нием которой трудился. Пушкин осмеивает дворянских и буржуазных эпигонов карамзинизма, которые „поминутно находят одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприятным для дамских ушей и т. п.“, которые „гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием“ (Соч., т. IX, ч. 1., 106). „Если б „Недоросль“, сей единственный памятник народной сатиры, еслиб „Недоросль“, которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор, явились в наше время, то в наших журналах... с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью*, а себя сравнивает с *сукою* (!). „Что скажут дамы, воскликнул бы критик; ведь эта комедия может попасться дамам.“ ... Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами!“ (Соч., т. IX, ч. 1, 115.) Пушкин, напротив, подчеркивает связь светского и„ простонародного“ в быту и литературе. „Откровенные оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе не оскорбляя слуха“ (Соч. т. IX, ч. 1, 116)[1]. По Пушкину, процесс демократизации литературного языка — признак „зрелой словесности“. „В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и странному просторечию... Но, — с горестной иронией замечает Пушкин, — прелесть нагой простоты для нас непонятна“ (IX, 1, 46). Тем не менее Пушкин стремится придвинуть литературу к языку „простого народа“. „Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и слава богу не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований... Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком“ (IX, 1, 118—119). Многочисленные ссылки на „мужичков“, „простолюдинов“, „просвирен“ как на обладателей простонародного языка, богатого „свежестью, простотой и, так сказать, чистосердечностью выражений“, показывают, что Пушкин отстаивает литературные права „крестьянского“ языка и тех стилистических пластов городского просторечия, которые были близки к нему. Следовательно, центр тяжести в вопросе о расширении пределов литературного языка, о преобразовании его перемещается для Пушкина с дворянского литературного просторечия на мелкобуржуазную и мужицкую простонародность. В „Заметках о Борисе Годунове“ Пушкин употребляет даже слово *площадной*, говоря об этой струе своего языка: „Есть шутки грубые, сцены простонародные. Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может их избежать; если же нет, то ему нет нужды стараться заменить их чем-нибудь иным“.

„Простонародность“, „народность“ — это было отстоявшееся собирательное имя для тех жанров словесного творчества разных классов, которые в начале XIX в. обслуживали среду городской буржуазии, среднего и

[1] Ср. в „Евгении Онегине“ изображение языка истинно-дворянской гостиной:

В гостиной истинно-дворянской
Смеялись щегольству речей
И щекотливости мещанской
Журнальных, чопорных статей.
Хозяйкой светской и свободной
Был принят слог простонародный.
И не пугал ее ушей
Живою странностью своей.

мелкого провинциального дворянства, дворовых крестьян и отчасти даже деревни. В эту широкую категорию народности вмещались и те памятники древнерусской письменности, которые мало подходили под современное началу XIX в. понятие литературы. Эта народная словесность для Пушкина не только воплощала в себе синтез национально-русской церковной и светской культуры с западноевропейской, но она представляла собой квинт-эссенцию „исторической народности". П. А. Вяземский метко определил именно этим символом „исторической народности" отношение языка Пушкина к простонародности: „В Пушкине более обозначалась народность историческая... Немного парадоксируя, Пушкин говорил, что русскому языку следует учиться у просвирен и лабазников, но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал". Это значит, что бытовое просторечие расценивалось Пушкиным с точки зрения его социально-характеристических функций. Значения слов, состав лексики и стилистические приметы просторечия проверялись Пушкиным на материале народной словесности и отбирались в литературу применительно к исторической характерности. Содержание этого метода исторической народности в системе словесного творчества Пушкина освещается другой цитатой из того же Вяземского: Пушкин „не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Пушкин был одарен, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешить себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это — необходимые для историка качества, и Пушкин обладал ими в достаточной мере".

Простонародную речь Пушкин противопоставлял языку „дурного общества", т. е. языку буржуазной разночинно-демократической интеллигенции и полуинтеллигенции, представлявшему (с точки зрения норм дворянских стилей) пеструю смесь грубых, мещанских, областных выражений с напыщенными, вульгарнокнижными оборотами речи. О языке романа Загоскина „Юрий Милославский" Пушкин писал: „Выражения *охотиться* вместо *съездить на охоту*[1]; *пользовать* вместо *лечить*... не простонародные, как видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества" (IX, 1, 800). Наиболее ярким воплощением „языка дурного общества" для Пушкина был язык Полевого, язык „Московского телеграфа". Таким образом, простонародность пушкинского языка носит явственную дворянскую окраску. Элементы простонародного языка, вовлекаемые Пушкиным в литературный оборот, подвергаются стилистическому отбору, освобождаются от классовой узости и ограниченности посредством приспособления к системе литературной речи. Так, Пушкин, дорожа „простонародностью" „Братьев-разбойников", предлагал А. А. Бестужеву напечатать отрывок из поэмы в „Полярной звезде", „если отечественные звуки: *харчевня, кнут, острог* не испугают нежных ушей читательниц" (письмо от 29 июля 1824 г). Между тем критика 30-х годов находила, что „разбойник из простолюдинов говорит по местам языком книжным; от этого в колорите происходит неверность, неточность" („Галатея", 1839 г., № 24).

---

[1] *Охотиться* в дворянском просторечии 20-х годов означало: иметь, обнаруживать охоту, желание что-нибудь делать. См. „Словарь Академии Российской" 1805—1822 г., ч. IV, стр. 730.

И все же путь литературной ассимиляции простонародного языка и просторечия в пушкинском стиле, процесс демократизации пушкинского стиля вырисовывается в середине 20-х годов очень отчетливо.

§ 10. Расширение пределов и функций просторечия и „простонародного" языка в языке Пушкина.

В пушкинском стиле 20-х годов расширяется область национально-бытового просторечия. Просторечие несет с собой в пушкинский язык свою систему слов, значений и образов. Так полированная манерность отвлеченных метафор французского стиля разрушается простыми словами и образами, тесно связанными с повседневным бытом. Слово, идиома в просторечии тесно слиты с предметом и носят резкий отпечаток социальной среды, образа говорящего субъекта, его экспрессии. Вместе с словами и выражениями просторечия и простонародного языка вторгаются в литературный язык и синтаксические конструкции устной речи. Напр.

Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно.
*Потешил дерзости **бранчивую свербежь,***
*Но извини меня: мне было **невтерпеж...***

(„Второе послание к цензору", 1824 г.)

*Как загасить **вонючую личинку***
Как уморить курилку моего.
*Дай мне совет. Да... **плюнуть на него...***

(„Жив, жив курилка", 1825 г.)

Вот молодежь: погорячился,
***Продулся** весь и так пропал...*

(„Послание к Великопольскому", 1828 г.)

*Я сам **служивый**: мне домой*
Пора убраться на покой...

(„Ответ Катенину", 1828 г.) и др. под.

Слова, непосредственно обозначая предметы, создают реалистический стиль изображения. В средний слог литературного языка, в авторское повествование входят такие предметы и их обозначения, которые до сих пор игнорировались дворянской литературно-языковой традицией. Напр. в „Графе Нулине" Наталья Павловна...

... скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
*Кругом **мальчишки хохотали;***
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Во след за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже,
*Шла **баба** через **грязный двор***
Белье повесить на забор.

В „Домике в Коломне":

*При ней **варилась гречневая каша.***
*Бывало, мать **давным-давно храпела,***
А дочка — на луну еще смотрела...

Просторечие еще ярче и свободнее выступало в сказе и диалоге. Здесь экспрессия речи, формы обращения с собеседником становились непринужденными, свободными от стеснений салонно-дворянского этикета, даже в тех случаях, когда действующие лица были вмещены в обстановку дворянского быта. В „Евгении Онегине“ критик строгий авторам элегий

Кричит: „да перестаньте плакать
*И все одно и то же **квакать**“.*

(4, XXXII.)

В стих. „Румяный критик мой“ (1830 г.) сам автор ведет разговор с критиком в той же развязной, непринужденно-фамильярной атмосфере просторечия:

*Румяный критик мой, **насмешник толстопузый,***
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди ка ты сюда, присядь ка ты со мной,
***Попробуй, сладишь ли** с проклятою хандрой...*
*Что, **брат**, уж не **трунишь**, тоска берет — **ага!***

В стих. „Моя родословная“ (1830 г.) авторский монолог вбирает в себя „простонародные“ слова:

*Я не **якшаюсь** с новой знатью,*
*Я **сам большой**, я **мещанин.***

В авторский стиль теперь проникают даже такие грубые слова, как *сволочь, шлюха*:

А, вы ребята, подлецы,
*Вперед! Всю вашу **сволочь** буду*
Я мучить казнию стыда.

(„О муза пламенной сатиры“, 1830 г.)

*Из мелкой **сволочи** вербую рать...*

(„Домик в Коломне“.)

Меж ними нет, замечу кстати,
Ни тонкой вежливости знати,
*Ни милой ветренности **шлюх.***

(Ненапечатанная строфа гл. 10 „Евгения Онегина“.)

Еще разнообразнее и красочнее элементы простонародности и просторечия в прозаическом диалоге, и опять-таки не только в речи персонажей из внедворянского круга, но и в разговоре персонажей-дворян (ср. язык диалога в „Полтаве“, „Арапе Петра Великого“, „Капитанской дочке“ и др.).

„Простой народ, — говорит акад. Ф. Е. Корш, — представлялся Пушкину не безразличной массой, а старый гусар думает и говорит у него иначе, нежели выдающий себя за монаха бродяга Варлаам, монах не так, как мужик, мужик отличается от казака, казак от дворового (напр. Савельича); мало того: трезвый мужик не похож на пьяного (в шутке: „Сват Иван, как пить мы станем“). В самой „Русалке“ мельник и его дочь по воззрениям и даже по языку — разные люди“) назв. соч., стр. 276—277). В приемах пушкинского выбора форм просторечия и простонародного языка можно отметить некоторые закономерности. Пушкинский язык избегает всего того, что непонятно и неизвестно в общем литературно-бытовом обиходе этой эпохи. Он чужд экзотики областных выражений,

далек от арготизмов (кроме игрецких-карточных в „Пиковой даме“, военных, напр. в „Домике в Коломне“, условно-разбойничьих в „Капитанской дочке“, которые все требуются самим контекстом изображаемой действительности). Пушкинский язык не пользуется профессиональными диалектами средней и мелкой городской буржуазии (ср., напр., отсутствие примет купеческого языка в „Женихе“). Он сторонится разговорно-чиновничьего диалекта, который играет такую значительную роль в произведениях Гоголя и Ф. М. Достоевского. Словом, пушкинскому языку чужды приемы социально-групповой и профессиональной диалектизации литературной речи, столь характерные для языка буржуазии. Пушкинский язык колеблется между стилями национально-бытового просторечия и выражениями простонародного, крестьянского языка. Из области простонародного языка, кроме той простонародной струи, которая просочилась в обиходный язык дворянства, у Пушкина в сказе и диалоге шире всего представлены — крестьянские и солдатские стили речи (напр., в „Утопленнике“, в „Гусаре“, в „Рефутации Беранжера“ и др.). Но гораздо существеннее проследить ассимиляцию простонародных элементов системой авторского, т. е. литературного, языка. Уже около середины 20-х годов в пушкинском языке наблюдается процесс идеологического и образного сближения с символикой простонародного языка (ср., напр., стих. „Телега жизни“). С конца 20-х годов простонародные слова и выражения начинают свободно двигаться в сферу авторского стиля и здесь смешиваться с литературно-книжными формами речи. Пушкин как бы стремится сочетать „крайности“, объединить противоположные разновидности литературных стилей. С. П. Шевырев так писал об этой особенности пушкинского языка последней поры: „Пушкин не пренебрегал ни единым словом русским, и умел часто, взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспиром, с нашим Ломоносовым и Державиным. Прочтите стихи в „Медном всаднике“:

... Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури,
И спорить стало ей не в мочь.

Здесь слова: *буйная дурь* и *не в мочь* вынуты из уст черни... Пушкин вслед за старшими мастерами указал нам на простонародный язык, как на богатую сокровищницу, требующую исследований[1]“. Ср. другие примеры смешения простонародного с книжно-литературным или литературно-разговорным:

Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
***Но чорт его несет** судить о свете...*

(„Сапожник“, 1836 г.)

Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать.

(„Когда за городом задумчив“... 1836 г.)

[1] „Москвитянин“, 1841 г., ч. V, № 9, стр. 268.

И мало горя мне, свободно ли печать
***Морочит олухов** иль чуткая цензура*
В журнальных замыслах стесняет балагура...

(„Из Пиндемонте", 1836 г.)

Ср. в прозе: *„хлопнул двери ему под-нос"* („Станционный смотритель"); *„**вытянул он** пять стаканов"* (там же); *„баба здоровенная"* („История села Горохина"); *„он надеялся **выместить** убыток на старой купчихе"* („Гробовщик"); *„заставал их без дела **глазеющих** в окно на прохожих"* (там же); *„любил **хлебнуть** лишнее"* („Капитанская дочка"); *„со смеху чуть не валялся"*; *„моя любовь уже не казалась батюшке пустою **блажью**"* (там же); *„краснорожий старик... гнуся, начал читать"* („Кирджали") и т. п.

Итак вступая в сферу литературной речи, простонародная струя смешивается с формами литературно-книжного, иногда церковно-славянского языка.

§ 11. Переход Пушкина от борьбы с церковно-славянизмами к признанию церковно-славянского языка живым структурным элементом русской литературной речи.

Вопрос о литературно-книжных элементах в составе пушкинского языка — это вопрос об отношении Пушкина к предшествующей книжной, преимущественно церковно-славянской традиции. До начала 20-х годов Пушкин разделял карамзинскую точку зрения на необходимость сближения книжного языка с разговорным языком дворянского общества и боролся с церковно-книжной культурой речи. Церковно-библейские выражения и образы смешиваются в ранних стихотворениях Пушкина с условно-литературными отражениями античной, классической мифологии. Напр.:

*Тогда, **клянусь богами**...*
Я с сельскими попами
Молебен отслужу...

(„Городок", 1814 г.)

Послушай, муз невинных
***Лукавый духовник**...*

(„К Дельвигу", 1815 г.)

***Христос воскрес**, питомец **Феба**.*

(1816 г.)

*... **Святую библию харит**...*
Да сохранит тебя в чужбине
Христос и верный купидон

(„Когда сожмешь ты снова руку",1818 г.)

В Меркурии архангела избрал.

(„Гаврилиада", 1821 г.)

Церковно-славянизмы не только сокращаются в числе, не только лишаются церковно-библейской окраски, но употребляются каламбурно, с иронией. Напр.:

Дай бог, чтоб милостью небес
Рассудок на Руси воскрес...

Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна..
Но да не будет воскресенья
Усопшей прозы и стихов...

(„Христос воскрес, питомец Феба", 1816 г.)

*Мой друг, **неславный** я поэт,*
*Хоть **христианин православный**...*

(„К Илличевскому", 1817 г.)

И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты.

(„Орлову", 1819 г.)

Употребление церковно-славянизмов в переносном значении также сопровождается их „светским" переосмыслением. Напр.:

***Апостол** неги и прохлад...*

(„Пирующие студенты", 1814 г.)

Октавию — в слепой надежде
***Молебнов** лести не пою...*

(„В стране, где Юлией венчанный", 1821 г.)

*Он сочинял **любовные псалмы***

(„Гаврилиада".)

Ср. в письме кн. Вяземскому: *„вся трагедия написана по всем правилам **парнасского православия***[1]; в письме к А. И. Тургеневу: *„не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в небесное **царствие печати***[2] и т. п.

Эта борьба с церковно-книжной культурой, опиравшаяся на идеологию атеистически настроенного вольтерьянца, выражалась также в своеобразных приемах смешения церковно-славянских и русских выражений, в приемах морфологического и семантического их взаимодействия. Напр., в „Руслане и Людмиле":

Как ястреб, богатырь летит
С подъятой грозною десницей,
И в щеку тяжкой рукавицей
С размаха голову разит.

(Песнь III).

в „Братьях-разбойниках":

*Уже мы знали нужды **глас** —*
Душа рвалась к лесам и воле,
***Алкала** воздуха полей...*
*Потом на прежнюю **ловитву***
Пошел один...

Ср. в отрывке (1822 г.):

Свод неба мраком обложился..
И пламя яркое костров
*И трубный звук, и лай **ловитвы.***

---

[1] Переписка, т. I, стр. 67.
[2] Там же, стр. 124.

Современная поэту критика настойчиво упрекала его в неуместном смешении церковно-славянизмов с „чисто-русскими словами, взятыми из обыкновенного общественного быта“. Эта общая тенденция к ассимиляции церковно-книжных и архаически-славянских выражений с общеупотребительными формами речи сохраняется до конца в пушкинском языке. Но само отношение к церковно-славянскому языку у Пушкина начинает меняться с 20-х годов. Причины этого явления очень сложны. Тут сказывалось и влияние на поэта славянофильски настроенных групп дворянства, к которым принадлежали, между прочим, и декабристы и люди, близкие к ним, напр., В. К. Кюхельбекер и П. А. Катенин. В церковнославянской традиции Пушкин видел опору в борьбе с засилием французских стилей. Вместе с тем церковно-книжная культура представлялась поэту более демократической, более близкой к „коренным“ основам национального языка... Слияние „книжного славянского языка“ с простонародным выдвигается, как основной принцип творчества русской литературной речи. „Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей“ (Соч. т. IX, ч. 1, 17). Правда, в церковно-славянском языке поэт ценит не идеологию христианской морали и не религиозную мифологию, а его стилистические достоинства — простоту, краткость, первобытную свежесть и свободу от европейского жеманства. „Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке, — пишет Пушкин Вяземскому в 1823 г., — следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали“ [1]. Этот возврат к традициям церковно-книжной культуры налагал на пушкинский язык, на некоторые его стили, отпечаток архаичности, который усиливался в 30-е годы. Вместе с тем признание церковно-славянского языка одним из структурных элементов русской литературной речи клало резкую грань между пушкинским языком и буржуазно-демократическими стилями речи, так как борьба с феодально-аристократическими пережитками в языке, ограничение церковно-славянской струи во имя стилей общественно-бытовой разговорной речи представляли один из основных лозунгов буржуазной языковой политики.

§ 12. Приемы и принципы пушкинского употребления церковно-славянизмов.

Все особенности, касающиеся употребления церковно-славянизмов в пушкинском языке с середины 20-х годов, можно разбить на три основные группы явлений... Прежде всего романтический интерес к русскому средневековью заставляет Пушкина оценить значение церковно-славянского языка как основной формы литературного выражения в ту эпоху. Отсюда — сложные приемы пользования церковно-славянским языком как средством воспроизведения идеологии, культуры и быта изображаемой эпохи в „Борисе Годунове“ и в „Полтаве“. Высокая оценка национально-исторической роли церковно-славянского языка побуждает поэта переносить его формы из стиля исторического повествования в общую си-

[1] Переписка, т. I, стр. 85.

стему современного Пушкину литературного языка. Классовое самоопределение, опирающееся на теорию шестисотлетнего дворянства рода Пушкиных, делает для поэта эту связь между культурой средневековья и современным бытом близкой, исторически действенной. Архаические церковно-славянизмы и выражения древне-русского летописного и приказного языка проникают в гражданскую поэзию Пушкина, напр.:

*Но **днесь,** когда мы вновь со славой*
*К Стамбулу грозно **притекли**...*
(„Олегов щит", 1829 г.).

И тут же древнерусские историзмы: *„славянская дружина"*, *„победы стяг"*, *„во славу Руси ратной, строптиву греку в стыд и страх"*, *„щит булатный"* и др. В стих.: „Моя родословная" (1830 г.):

*Мой предок Рача **мышцей бранной***
Святому Невскому служил...

В стих. „Бородинская годовщина" (1831 г.):

И Польша, как бегущий полк
***Во прах** бросает **стяг кровавый**...*
*Но вы, **мутители** палат,*
***Легкоязычные витии**...*

Вместе с тем, романтическое увлечение Пушкина „восточным пестрым слогом" (ср. „Подражания Корану", переложения „Песни песней") влечет за собою признание художественных красот церковно-библейского языка.

Другая категория явлений, связанных с употреблением церковно-славянизмов, подводит к вопросу о патетических, торжественных стилях пушкинского языка. Церковно-славянская стихия здесь в стиховом языке разбивается на три основных стилистических струи. Она образует главный фонд религиозной лирики. Она является источником, откуда черпаются формы гражданской риторики и лирической патетики. Из сферы церковно-славянского языка, наконец, берутся краски для высоких эпических картин и для литературной стилизации народной поэзии. Достаточно привести лишь некоторые, наиболее архаические примеры из разных жанров. Из религиозной лирики: *„сердцем возлетать во области заочны"*, *„владыко дней моих"*, *„дух праздности.., любоначалия... и празднословия"*, *„дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья"* („Отцы пустынники и жены непорочны") *„гортань геены хладной"*, *„с веселием на лике"*, („Как с древа сорвался", 1836 г.); *„даль указуя перстом"*, *„я оком стал глядеть болезненно отверстым"* (Странник"); *„препоясалась высота"*, *„Израиль выи не склонил"* („Когда владыка ассирийский", 1835 г.) и мн.др.; из стихотворений лиро-эпических: *„нимфа плод понесла"*, *„ее приняла сама Мнемозина"* („Рифма", 1830 г.); *„творить возлиянья, вещать благовещие речи"*, *„да сподобят нас чистой душою правду блюсти"* („Подражания древним", 1833 г.); *„се — ярый мученик"* *„древеса"*, *„исторженные пни"* (Из А. Шенье", 1835 г.) и т. п.; из „Песен западных славян": *„грех велик христианское имя нарещи такой поганой твари"* („Федор и Елена"); *„и мертвые уста отворились, голова Елены провещала"* (там же) и др. под.

Прозаический язык Пушкина не менее богат церковно-славянскими выражениями. Таковы, напр., союзы: *дабы*, ибо; наречие *токмо*; место-

имения *кои, сей, оный;* церковно-библейская фразеология: *„положить... непреодолимую преграду“* („Метель“); *„кто не почитает их извергами человеческого рода“* („Станционный смотритель“); *„сердце наше исполнится искренним состраданием“* (там же); *„сие да будет сказано не в суд и не во осуждение“* („Барышня-крестьянка“) и мн. др.

Особенно архаична лексика и фразеология метафизического, отвлеченного, критико-публицистического языка Пушкина: *„поэзия... кольми паче не должна унижаться“*; *„поприще жизни“* [1]; *„восстав от сна“* (36); *„писателей, подвизающихся во мраке“* (52) *„стать в притчу и посмеяние“* (108); *„наскуча звуками кимвала звенящего“* (52) и мн. др.

Третья категория стилистических особенностей в употреблении церковно-славянизмов характеризует основную тенденцию пушкинского языка к взаимодействию и смешению церковно-славянизмов и русских литературных и разговорно-бытовых выражений. Церковно-славянизмы сталкиваются с русскими словами, обрастают „светскими“ переносными значениями, заменяются русскими синонимами, сливаются с ними, передавая им свои значения. Этот процесс литературной ассимиляции церковно-славянизмов вызвал у современников поэта больше всего откликов и недоумений.

Зима. Крестьянин ***торжествуя***
На ***дровнях*** *обновляет путь...*

„В первый раз, я думаю *дровни* в завидном соседстве с *торжеством*“, — писал „Атеней“ (1828 г., ч. I, № 4). Этот процесс можно наблюдать в таких явлениях стилистического преобразования церковно-славянизмов:

В том совести, в том смысла нет,
На всех различные ***вериги...***

(„Евгений Онегин“, 1, XIV.)

Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров...

(7, XVI.)

Старушка очень полюбила
Совет ***разумный и благой...***

(7, XXVII.)

И, заварив пиры да балы
Восславим царствие *чумы...*

(„Пир во время чумы“)

Характерны также приемы переносного употребления церковно-славянских слов и выражений:

Как ***утеснительного сана***
Приемы скоро приняла...

(„Евгений Онегин“, 8, XXVIII)

И Страсбурга пирог ***нетленный...***
Высокопарный, *но голодный*
Для виду прейскурант висит...

(„Евгений Онегин“, 7, XXXIV.)

---

[1] Соч., изд. Ак. наук, т. IX, ч. 1, стр. 38. В дальнейшем ссылки на это же изд.

Нередко русские слова вбирают в себя значения семантически или этимологически близких церковно-славянизмов. Таково, напр., употребление слова *зевать*, возникшее на основе этимологических связей с глаголом *зиять*:

И всех вас гроб зевая ждет.
Зевай и ты...
(Сцена из „Фауста".)

Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут.

Любопытно также применение церковно-славянизмов в просторечном значении или уравнение церковно-славянизмов с просторечными дублетами. Напр., в „Медном всаднике" — параллелизм форм *обуянный* („*обуянный силой черной*") и *обуялый* („*спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ*").

§ 13. Пушкинский язык и литературная речь буржуазии.

Таким образом, литературное творчество Пушкина имело своей задачей создание новой системы литературного языка на основе синтеза дворянско-европейской культуры речи с церковно-книжной традицией и стилями национально-бытового просторечия, в своем корне дворянско-крестьянскими. Разрушая шаблоны салонных дворянско-буржуазных стилей, Пушкин вступил на путь национальной демократизации литературного языка. На этом пути у Пушкина наметились стилистические интересы, задачи и принципы языковой реформы, общие с буржуазной интеллигенцией. Но пределы национальной „демократизации" в пушкинском языке были сужены, с одной стороны, реставрационным уклоном в сторону церковно-славянского языка, с другой стороны, принципиальным отрицанием многих профессиональных и социально-групповых своеобразий городского языка средней и мелкой буржуазии (именно тех, которые противоречили, по дворянской оценке Пушкина, нормам речи „хорошего общества"). И на этой почве должен был неминуемо произойти отрыв языковой деятельности передовых буржуазных групп от принципов пушкинской реформы литературного языка [1]. Самый пушкинский метод эстетического сочетания стилистических крайностей был чужд буржуазии. „Средний класс" мог опираться в своей борьбе за гегемонию в сфере национально-литературной речи преимущественно на разговорно-бытовые стили города, на язык чиновничества, разночинной интелигенции, на разные городские профессиональные диалекты. Эти формы выражения надвигались на дворянскую культуру речи и грозили ей коренной ломкой.

---

[1] Подробнее об этом см. в моей книге „Язык Пушкина", изд. „Academia", 1934 г.

VII

Борьба и взаимодействие дворянских и разночинно-демократических стилей в 30—40-е годы XIX в.

§ 1. Различия в формах словесного выражения и нормах лингвистического вкуса между дворянством и разночинно-демократической интеллигенцией 30—40-х годов.

В 30—40-е годы дворянские стили русского литературного языка начинают терять господствующее положение. Некоторые же из них подвергаются сложным и разнородным (в зависимости от социально-групповых подразделений буржуазного общества) процессам изменений, приспособляясь к языковым нормам и вкусам буржуазии, ассимилируясь со стилями ее общественно-бытовой и литературной речи. Стилистические каноны, выработанные дворянством, разрушаются. Соотношение социально-групповых диалектов в системе литературного языка меняется. Социально-диалектической базой литературной речи постепенно становятся разночинно-интеллигентские и буржуазно-мещанские стили общественно-бытового языка. Их экспрессия, их демократический способ выражения, иногда даже при внешнем стремлении к цветистой книжности, отпугивают дворян старой формации. И. И. Дмитриев, сподвижник Карамзина, называет новые формы литературной речи „площадными". Он, с одной стороны, отмечает продвижение в массы варваризмов и европеизмов из прежних дворянских стилей, а с другой, — вульгаризацию и демократизацию языка литературы. „Остановите порчу отечественного языка... — взывает он к В. А. Жуковскому (в письме от 13 марта 1835 г.): — У кого теперь перенимать его нашим детям? Научатся ли ему у семинаристов, или в лакейской и девичьей? Я право иногда боюсь, чтобы мужики не заговорили по французски, а мы по ихному. Да мне уже удалось на улице подслушать пьяного каменщика, приветствовавшего товарища: „*бонжур, мусье*", а в гостиной крестьянку-кормилицу: она, поднося к ее сиятельству двухлетнюю Додо или Коко, толкала ее в затылочек и повторяла: „*Скажи, матушка, мерси, мерси*" [1]. Ср. в письме того же И. И. Дмитриева к Жуковскому от 16 сентября 1836 г.: „Что же такое народность, по мнению наших молодых учителей? Писать так, как говорят наши мужики на Сенной и в харчевнях" [2]. Племянник И. И. Дмитриева М. А. Дмитриев жалуется на утрату „благородства слова" в литературном языке 40—50-х годов,

---

[1] И. И. Дмитриев, Собр. соч., 1893 г., т. II, стр. 315—316.
[2] Там же, стр. 325.

противопоставляя этот язык „правильному и чистому“ карамзинскому слогу. „Ни один из тогдашних писателей не писал писем языком лакейским; ни один журналист не вставил бы в свою фразу: *изволите видеть.* Чувство вкуса предупредило бы его, что такими любезностями и такими поговорками не говорят в хорошем обществе. Ни один из них не писал, как пишут нынче: *взойти в дверь* и *войти на лестницу.* Ни один не сказал бы: *не хватало на это*, а сказал бы: *не достало на это.* А нынче так пищут даже и дамы [1]. Тот же М. А. Дмитриев отмечает своеобразие экспрессии и способа выражения в новом литературном слове, в „нынешнем арлекинском языке“: „*Большая популярность*, даже, чтобы выразиться совсем по нынешнему, скажу: *огромная популярность*, и прибавлю в доказательство: *это факт.* После этого слова, кажется, как не поверить?“

И. И. Дмитриев в приложении к своим мемуарам „Взгляд на мою жизнь“ так характеризует „простонародный или хватский“ язык разночинно-демократической литературы: „*Требования века, дух времени народность* — вот пышные и громкие слова, непрестанно... произносимые... Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина и еще две-три фразы в последнем новейшем вкусе.

По-новому:	По-старому:
Нисколько	*нимало;*
маленькие народцы („Телеграф“)	*малочисленные народы;*
проблескивает (там же)	*просвечивает;*
суметь (там же)	*уметь, сладить;*
колея привычки (там же)	это слово чаще других употребляемо было ямщиками; значит же: *прорез от колес по густой грязи:*
покаместь [2]	*доколе, пока;*
словно	*как бы, подобно;*
поэтичнее („Телеграф“)	*стихотворнее, живописнее;*
вдохновлять гения (там же)	*вдыхать, одушевлять;*
вдохновлен страстями (там же)	*воспламенен;*
узенькая ножка	*тоненькая;*
исполинская шагучесть (там же)	*шаг* или *ход;*
безграничный (там же)	*неограниченный, беспредельный;*
огромные надежды, огромный гений	это прилагательное прикладывалось только к чему-нибудь материальному: *огромный дом, огромное здание;*
ответить	*отвечать;* так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах;

[1] М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, М. 1869 г., стр. 94.

[2] Ср. некоторый материал по вопросу об употреблении слова *покаместь* в языке XVIII — первой половины XIX в. (кроме писателей карамзинской школы) у В. И. Чернышева, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 348.

По-новому:	По-старому:
пехотинец („Телеграф“)	*пеший, сухопутный, солдат, ратник;*
конник (там же)	*конный, всадник.* Нынешние авторы, любя подслушивать, оба сии названия переняли у рекрутов[1].

С этими дворянскими оценками интересно сопоставить характеристику речи студентов-разночинцев дворянином Иртеньевым в повести Л. Н. Толстого „Юность“ (1852 г.): „Они употребляли слова: *глупец,* вместо *дурик, словно,* вместо *точно, великолепно,* вместо *прекрасно, движучи* и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили *ма́шина,* вместо *маши́на, дея́тельность,* вместо *де́ятельность, на́рочно,* вместо *наро́чно,* в *каминé* вместо в *ками́не, Ше́кспир,* вместо *Шекспи́р* и т. д. и т. д. ...Они выговаривали иностранные заглавия по-русски ... *Подлец, свинья,* употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне давали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собою на самой искренней, дружеской ноге“[2].

Очень показательны также для характеристики различия в лингвистических вкусах дворянства („аристократов, феодалов“, по определению самого Иванчина-Писарева) и буржуазной интеллигенции в 40-е годы признания и жалобы Н. Д. Иванчина-Писарева, одного из преданных карамзинистов. Он возмущается топорной „шероховатостью“ языка, которым щеголяют петербургские модные писатели: „Слог есть одежда, содержание — самая фигура ... Слог мой, распевно-карамзинский или, как вы говорите — *обточенный,* уже выходит и едва ли не вышел из моды“[3]. Все журналисты хотят *юморического* а я не поддаюсь новому значению этого слова, которого и старые англичане не понимают“[4]. Идеология „наездников литературы“, „барышников“ чужда и противна Иванчину-Писареву. Она направлена на „искоренение всего благонамеренного“. Не даром издатель „Отечественных записок“ в письме своем назвал себя „экстирпатором“ (ср. замечание А. А. Краевского: „Я должен действовать с своим журналом не как с сеялкою, а как с экстирпатором“[5]).

Еще более яркую картину языковой борьбы 30-х годов рисует пародическая повесть „Авторский вечер. Странный случай с моим дядей“[6]. Оценка и освещение новых норм лингвистического вкуса, складывавшихся в среде чиновничества, разночинной интеллигенции, в разных группах „среднего“ буржуазно-дворянского общества, даются с точки зрения дворянина старой формации. Объектом нападений сделан преимущественно

---

[1] И. И. Дмитриев, Прилож. к „Взгляду на мою жизнь“, стр. 157—158.
[2] Л. Н. Толстой, „Юность“, гл. XLIII „Новые товарищи“.
[3] Б. Л. Мозалевский, Письма Н. Д. Иванчина-Писарева к И. М. Снегиреву. „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, т. VII, кн. IV, 1902 г., стр. 125—126.
[4] Там же, стр. 82.
[5] Там же, стр. 87.
[6] СПБ, 1835 г. В скобках указаны страницы этого изд.

язык „Библиотеки для чтения". Обличается лозунг окончательного разрыва с церковно-книжной традицией. „Все слова, которые вошли в русский язык из славянского, должны быть изгнаны из русского языка, как пришлецы, которые уже внесли с собою развращение. Русский язык сделался уже ныне, благодаря всюду разлившемуся просвещению, языком европейским и никак не должен преклонять выи своей под ярмо ржавой старины.... Мы введем что-нибудь новенькое.... Это новенькое на первый случай могло бы заключаться в том, чтоб не употреблять ничего в писании, что не слышим мы в устах простого народа и частью среднего состояния" (26). Пародическая повесть „Авторский вечер" иронически заявляет, что в основу новой системы литературного языка ложатся „слова, которые слышишь и на бульваре и в магазине и в.... Тут нет изысканности, но все просто и мило" (34—35). „Мы стараемся, — заявляет в повести один из представителей новой школы, — только самые простые, всеми употребляемые слова облечь в прелестные формы, и вы увидите, как лет в десять язык наш образуется, возвысится; как словесность наша процветет от лакейской и прачешной до гостиной и будуара красавицы, от театральной сцены, водевиля до самой сильной академической речи, от народной песенки, которую повторяют горничные девушки, до самой возвышенной оды и эпопеи. И все будет выражаться в самых простых, обыкновенных словах" (51). Однако эта простота была условна. Понятие „общедоступности" литературного языка также было социально ограничено. Оно было подчинено строгим социально-диалектологическим и стилистическим нормам, зависевшим от буржуазного представления о тоне „хорошего общества". Кроме того, сохранял силу принцип, выдвинутый еще карамзинистами: „мы хотим и писать так, как говорят, хотим и того, чтобы все говорили как пишут" (116). „Поэтому-то самому и не употребляем мы ни *сей*, ни *оный*, ни *якобы*, ни *изрек*, ни *возвестил*" (117). В „Авторском вечере" приведено много слов и выражений, входивших в литературный обиход буржуазного общества и неприемлемых для старой традиции дворянских стилей: *выказать* в значении: обнаружить, доказать (раньше это слово значило только: выставить на показ), *подметить*, *подглядеть испаряться* (в значении исчезать, уходить), *приосаниться*, *безвкусица* и т. п. Вместе с тем отмечается резкое изменение общего тона, экспрессии литературного изложения: входит в моду фамильярно-развязный, „хватский" тон, кривляющийся и насмешливый. „Мне все кажется, что автор подшучивает, подсмеивает, подпрыгивает, кривляется, и все не впопад, все не кстати" (98). Писатели все время „хотят щеголять остротами и шуточками" (125), „насмешливым, издевчивым языком" (128). Они подобны „плясунам на канате и проволоке, забавникам, которые стараются изумить кривляньями" (130). Любопытно сопоставить с этой характеристикой экспрессивных особенностей нового стиля отзывы В. К. Кюхельбекера о литературе 30—40-х годов: „Надоела мне... судорожная (grimaçante) ирония, с какою с некоторого времени обо всем пишут" [1].

Все эти свидетельства говорят лишь о том, что нормы литературного выражения изменились, что законодателем лингвистического вкуса постепенно становится иной общественный класс, иная социальная группа с

---

[1] В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л., 1929 г., стр. 222.

буржуазно-демократической окраской. 30—50-е годы — это полоса перелома в литературном языке. Но разные стили литературной речи еще очень неопределенны и пестры. Традиции дворянского литературного языка сталкиваются с буржуазно-разночинскими стилями, смешиваются с ними, подчиняются им, а иногда во многом подчиняют их себе. Большая часть новых стилей объединяется отрицательным отношением к церковно-книжной культуре и основанным на ней риторическим формам старо-дворянской литературной речи. Вместе с тем новые стили литературного языка — при всем своем различии — стремятся стать подлинным выражением национально-языковой стихии: они выдают себя за голос пробудившегося национально-буржуазного самосознания. Этими „передовыми“ стилями буржуазно-литературной речи противостояли стили „ложно-величавой школы“ (по выражению И. С. Тургенева), доводившие до крайнего предела риторику буржуазно-дворянского „высокого“ слога предшествующей эпохи (ср. язык Кукольника, Марлинского, П. Каменского, Тимофеева, Бенедиктова и др.). Но волна этого течения спадает к концу 30-х — началу 40-х годов[1].

§ 2. Основные тенденции буржуазной реформы литературного языка.

В основе формировавшихся стилей литературного языка, несмотря на все их социальные различия и внутренние противоречия, лежали четыре общих тенденции, частично унаследованных от дворянской языковой культуры, но подвергшихся буржуазному преобразованию:

1) тяготение к бо́льшему ограничению высокой „славянской“ традиции, к разрушению приемов церковно-книжной и „славенороссийской“ риторики, у некоторых социальных групп — даже к полному разрыву с церковно-книжной культурой;

2) стилистический упор на письменно-бытовые и разговорные диалекты и стили города, причем — в зависимости от социальной основы стиля — центр тяжести перемещался с одного социально-группового диалекта на другой, от речи высших слоев дворянско-буржуазной служилой среды до мещанского „просторечия“, соприкасающегося с крестьянским языком;

3) более тесное взаимодействие между литературным языком и профессиональными диалектами городской речи. Поэтому на почве литературного языка происходит осознание многих характеристических и экспрессивных варьяций сословно-классовой, профессиональной речи, свойственной не только чиновничеству и купечеству, но и разным категориям городского ремесленного люда, мещанства и крестьянства. Этот процесс диалектической диференциации сопровождается как антитезисом — процессом национально-буржуазной интеграции.

4) стремление к выработке устойчивых норм общенационального выражения на будто бы „народном“ фундаменте, искание таких форм буржуазно-национального языка, которые могли бы по своему составу и

---

[1] И. С. Тургенев, Литературные воспоминания. Собр. соч., СПБ, 1897 г., т. X, стр. 35—36. И. И. Панаев, Литературные воспоминания, СПБ, 1888 г., стр. 149—154.

своему содержанию („общенародному") стать отражением „духа" русской нации. Но в то же время эта концентрация форм национально-буржуазного выражения ориентируется, как на образец для подражания или отталкивания, на западноевропейские языки — немецкий и французский.

§ 3. Борьба разных групп буржуазии с церковно-славянской традицией, формы этой борьбы и ее общественно-идеологические основы.

Борьба с церковно-книжной традицией нашла особенно яркое, хотя социологически разнородное, воплощение, с одной стороны, в стилях среднего чиновничества, в стилях буржуазно-дворянской городской интеллигенции, которые примкнули к „европейской" традиции салонно-дворянской языковой культуры, а, с другой стороны, в стилях демократически настроенной мелкобуржуазной технической интеллигенции, которая ориентировалась на язык городского мещанства, „третьего сословия", частично совпадавший в формах просторечной лексики с крестьянским языком. Очень остро проблему отношения русского литературного языка к церковно-славянскому в 30-е годы поставил О. И. Сенковский, отражавший лингвистические вкусы европеизированных слоев городской интеллигенции, чиновничества и провинциальной дворянско-буржуазной среды. Он ссылается на роль церковного языка, языка феодальной эпохи, в современной культуре западноевропейских народов. „У всех европейских народов есть или был особый язык церковный, который произвел уже свое действие на язык книг и беседы введением множества слов и оборотов и перестал действовать" [1]. „Славянский язык должен оставаться как предание в нашей православной церкви и служить исключительно для потребностей веры... ему нет никакого дела до русской словесности" [2]. Поэтому признается необходимым „расторгнуть дружбу русского слова с славянским, утвердить самостоятельность русского языка и положить между двумя языками предел, так чтобы вперед они не смешивались, шли каждый своим путем" [3]. „Это расторжение должно быть подвинуто еще далее, до словарей и грамматики, которых сочинители странным образом перемешали слова и формы двух языков, совершенно различных. Грамматики... занимались все этой смесью, языком условным, воображаемым, не существующим в природе, чисто книжным; из чего следует, что мы не имеем грамматики" [4].

Стилистический разрыв с церковно-славянским языком должен состоять в изменении синтаксической и лексико-фразеологической систем литературной речи. „Быстрые, короткие предложения", связанные строгою „логическою последовательностью мыслей, а не разнообразными союзами", должны заменить архаическое многосоюзие и конструкцию фразы с трехсаженными причастиями, бесконечными местоимениями, наречиями, при-

---

[1] О. И. Сенковский, Резолюция по делу сего, оного и проч. Собр. соч., СПБ., 1858—59 г., т. VIII, стр. 240.

[2] О. И. Сенковский, Письмо трех тверских помещиков. Собр. соч., т. VIII, стр. 222.

[3] Там же, стр. 222.

[4] Там же, стр. 232.

лагательными, отчетистости ради", „обороты, несвойственные русской логике" [1].

Лексика и фразеология церковно-славянского языка, по мнению Сенковского, противоречат законам и нормам „изящного разговорного языка", представляя „формы, противные и гармонии и строению слов нашего языка". Они должны быть вытеснены словами разговорного языка городской интеллигенции, „хорошего общества". „Словесность берет элементы простого разговорного языка, обделывает их со вкусом, сообщает им красивейшие формы, укладывает из них звучные и ловкие фразы; эти фразы, восхитив, надушив собою ум читателя поутру в его кабинете, ввечеру возвращаются с ним в гостиную, и вливаются в умную беседу, которая согревает их своим паром, разнообразит применениями, нередко придает им смысл новый, яркий, блестящий" [2]. Этот изящный разговорный язык буржуазно-дворянского общества — структурная основа общенационального языка. „Для поэта и писателя, в особенности, этот чистый однородный элемент есть живой язык народа, к которому они принадлежат, живой язык в том виде, как он существует в природе, в устах всей нации" [3].

У писателей, которые стремились сделать структурной основой литературного языка речь мелкой буржуазии и „общие" с нею элементы крестьянского языка, напр., у В. И. Даля, наблюдается то же отрицание церковно-книжной речевой культуры. Даль думал, что буржуазии, среднему сословию, суждено осуществить „синтез" „родимого и прививного" и создать подлинно национальную систему русского языка, в котором все будет переработано „брожением из начал русского духа", „будет все свое и все согласно, созвучно". Но Далю казалось, что среднее сословие как культурный класс еще не сложилось. „И вот поэтому и в словесности нашей еще и быть не может народности, родимости, свойскости ни в речи, ни в сущности ее. На разных обществах и сословиях наших нет еще своего лица... Самый быт наш — еще смесь быта вселенной, а язык почти то же и по словам и по оборотам, и ныне еще нет никакой возможности писать таким русским языком, как бы казалось писать должно. Ныне еще легко промолвиться и оступиться, попасть вместо родного в простонародное, потому что средины, которой мы ищем, еще нет; а есть одни только крайности: язык высшего сословия — полурусский, язык низшего сословия — простонародный. У нас нет и среднего сословия, оно только что учреждается, основывается, и со временем от этого благодатного правительственного учреждения можно и должно ожидать много и много для самостоятельности русской во всех направлениях" [4].

Таким образом, по мнению Даля, перед русской буржуазией стоит задача создания чисто национального литературного языка посредством синтеза русских элементов речи высших классов с „живым языком русским, как он живет поныне в народе" [5]. Где же нам „учиться по-русски? Из книг не научиться, потому что они писаны не по-русски; в гос-

---

[1] О. И. Сенковский, Собр. соч., т. VIII, стр. 212, 214, 221, 230.

[2] Там же, стр. 222.

[3] Там же, стр. 230.

[4] В. И. Даль, Полтора слова о русском языке. Собр. соч., Спб., 1897 г., т. X, стр. 543—544.

[5] Там же, стр. 545.

тиных и салонах наших — подавно; где же учиться?... Остается одна только кладь или клад-родник или рудник — но он за то не исчерпан... Источник один — язык простонародный. Русские выражения и русский склад языка остались только в народе; в образованном обществе и на письме язык наш измололся уже до пошлой и бесцветной речи, которую можно перекладывать, от слова до слова, на любой европейский язык" [1].

Итак, в видоизмененной форме вновь выплывает славянофильская концепция с ярко демократической окраской. Но церковно-славянизмы устраняются как мертвый груз языка. По словам Даля, „труды славянистов как неуместная натяжка остались гласом вопиющего в пустыне" [2].

В ст. о „Русском словаре" Даль писал о составе своего „Словаря живого великорусского языка": „Церковный язык наш исключен; но приняты все выражения его, вошедшие в состав живого языка, также обиходные названья предметов веры и церкви. И славянских слов встречаем мы несколько в речи народной" [3]. Осуждая „диковатые на слух" книжные словообразования и среди них „недавно (т. е. в 30—40-е годы) пущенное вход словечко *исчезнование*", Даль прибавляет: „Это производство славянское или языка церковного" (Словарь, т. I, стр. XXIII). Ср. также замечания Даля по поводу книжного слова „*мертвенность*", образованного „на образец — *бренность, откровенность*" (стр. VII).

Так книжный язык и вообще язык дворянско-буржуазного общества в концепции Даля поступает под контроль простонародных диалектов. Высшие классы „знают русские слова, но не русский язык, они говорят русскими словами по-французски, по-немецки" [4], „стараясь для ясности в изложении приблизиться сколько можно к языкам западным". По мнению Даля, в русском литературном языке дворянской традиции не осталось почти ничего национального. В „вымышленном языке" офеней „гораздо более русского, чем во многих русских книгах" [5]. Лексика, фразеология, общий „склад или слог" русского литературного языка первой трети XIX в. — иностранные, „европейские".

§ 4. Изменения в понимании церковно-славянизмов.

Борьба с церковно-книжной традицией у буржуазно-разночинной интеллигенции, связанной корнями с бытом средней и мелкой буржуазии, носила иные формы, чем у дворян-западников: различие стилей было обусловлено разным пониманием „славянизмов" и разной экспрессией их употребления. В среде разночинцев были живы такие формы книжного и церковно-славянского языка, которые в дворянских кругах уже считались архаическими, устарелыми. Те слова, которые в буржуазном восприятии уже не носили отпечатка церковно-книжности, а вполне обрусели, были окружены экспрессией „литературности", дворянам казались „вульгарными славянизмами". И, напротив, церковно-славянизмы, уже ассимилированные дворянскими стилями литературного языка и изменив-

---

[1] В. И. Даль, Собр. соч., т. X, стр. 545—546.
[2] Там же, стр. 541.
[3] Но ср. в „Толковом словаре" не только такие слова, как *длань, глад, младой* и т. п., но и такие, как *средовек, спона, стогн, угобжать* и т. п.
[4] В. И. Даль, Полтора слова, стр. 549.
[5] Недовесок, Собр. соч., т. X стр. 572.

шие свой смысл, свою экспрессию, могли еще сохранять в буржуазном языке старые церковно-книжные значения. Характерно, напр., что в „Русском букваре“ Егора Зорича (1831 г.), к которому приложен славяно-русский словарь, в числе славянских слов названы, напр., *пришлец*, *спутник*, *туземец*, *шествие*, *чаша*, *язва*, *юность*. С другой стороны, Н. А. Полевой считал обрусевшими и утратившими печать церковно-славянизма даже такие слова, как *рукоплескание*, *скрежет*, *святилище*“ [1].

Все эти противоречия буржуазно-литературных стилей с особенной остротой обнаружились в творчестве В. И. Даля. Борясь с нормами старого литературного языка высших классов, Даль восстает против буржуазно-книжных подражаний ему: „Людей менее основательного образования письменный язык наш сбивает вовсе с толка; они борются с трудностями языка, и, наконец, пускаясь поневоле на скоропись, теряют из ума и из виду природную логику свою, здравый смысл; из человека довольно умного на деле, на письме выходит, будьте здоровы, дурень“ [2]. „Мы встречаем в письменном обиходе много дурных слов, пущенных в ход взамену более звучных и выразительных“ [3]. Эти замечания Даля как будто несколько похожи на дворянские суждения Пушкина о „языке дурных обществ“. Но сами литературные новообразования Даля такого типа, как *самовщина*, *мертвизна*, *ловкосилие*, *глазоем*, *мироколица*, *колоземица*, *насылка* (вместо *адрес*) и т. п., едва ли могли в большей своей части избежать обвинительного приговора Пушкина: они также были бы отнесены дворянином к „языку дурных обществ“. На многих неологизмах Даля лежит отпечаток той же мещанской книжности, тяжеловесной книжной литературности, которая так претила дворянскому лингвистическому вкусу. Вместе с тем характерно, что Жуковский, которому Даль представил образчики своего идеального литературно-народного языка, заметил, что так можно говорить только с казаками и притом о близких им предметах [4].

Интересен ряд указаний книги „Справочное место русского слова“ (1839 г., 2-е изд. — 1843 г.) на смешение в русской литературной речи 30—40 годов таких церковно-славянизмов, которые в разговорном языке совпадают по произношению, становясь омонимами. Напр.: *освещение* — *освящение; освещать — освящать* (стр. 76—77); *пребывание — прибывание* (89); *презрение — призрение* (90), *презреть — призреть* (90); *старица* — *старуха* (105). Симптоматичны также такого рода предупреждения, свидетельствующие об умирании многих церковно-славянизмов: „*Наперсник*. Не должно писать и произносить: *наперстник*. Правильно: *наперсник* (друг перси, груди, 64); „*празднество* (а не *празденство*, как часто пишут, 89); *преполовение* (церковный праздник). Не должно говорить: ***праздник переплавления***“ (91).

---

[1] „Московский телеграф“, 1831 г., ч. 37, стр. 109.

[2] В. И. Даль, Собр. соч., т. X, стр. 550.

[3] Там же, Недовесок, стр. 574.

[4] Любопытны в этой связи упреки Я. К. Грота, обращенные к Далю: „Автор упускает из виду, что у каждой сферы языка есть свой характер, свой тон, который поддерживается не только целым составом речи, оборотами, но и отдельными словами. Поэтому переносить слова из одной сферы в другую не всегда удобно“. (Я. Грот, Филологические разыскания, Спб., изд. 2-е, 1876 г. т. 1, стр. 20).

§ 5. Неустойчивость стилистических норм литературно-книжного выражения в языке разных групп буржуазии.

Своеобразие буржуазного понимания границ и содержания церковно-славянской, книжной струи объясняется тем, что у буржуазии сложились свои нормы книжного и литературного выражения. Иное, по сравнению с дворянским обществом, отношение к понятию „литературно-книжности" сказывается прежде всего в выборе и предпочтении какой-нибудь одной формы из двух или нескольких вариантных, и при том такой, которая в дворянских стилях считалась менее „литературной", менее нормальной. Напр., выбирались (по указанию „Авторского вечера"): *снова* вместо *вновь*, *лишь* вместо *только*; по указанию И. И. Дмитриева: *покаместь* вместо *пока*; *надо* вместо *надобно*; *словно* вместо *как бы*; *нисколько* вместо *нимало* и т. п. О том же свидетельствуют изменения значений слов, формы нового словоупотребления, напр.: *разбор* в смысле: рецензия; *сложиться* в значении: устроиться (напр., об обстоятельствах); *пробел*; *насущный* (в переносном смысле) и т. п. [1] Приемы образования неологизмов также указывают на чуждые предшествовавшей системе литературного языка нормы грамматики и семантики. Напр.: становится продуктивным архаический церковно-книжный суффикс *-овечие*; появляются в 40-х годах слова *исчезновение*, *возникновение* (по образцу таких церковно-славянизмов, как *отдохновение*, *прикосновение*, *дуновение*).

Очень интересна дисскуссия о морфологии буржуазного слова *вдохновить* в повести „Авторский вечер" между племянником, отстаивавшим новый слог, и дядей — защитником стилистических традиций старой дворянской литературы. Племянник стоит за слово *вдохновлять* — слово „новое, но в то же время и необходимое, которого никаким другим словом заменить невозможно... Оно составлено... по образцу других подобных слов: *вдохновение* — *вдохновенный*, *удивление* — *удивленный*, *удивить*, *удивлять*, следственно, можно сказать и *вдохновить*, *вдохновлять*. Дядя, защищая старое слово *воодушевлять*, служившее для обозначения того же понятия, резонно замечает: „Из приведенного тобою сравнения слов *вдохновенный* и *удивленный* еще не следует, что от всех слов могут быть производимы другие слова. От *вдохновенный* нельзя произвесть *вдохновлять* или *вдохновить*, точно так, как нельзя произносить от *незабвенный* — *незабвенить*, от *надменный* — *надменить*, от *согбенный* — *согбенить*, от *поползновенный* — *поползновенить*" [2]. В самом деле, буржуазное образование *вдохновить*, *вдохновлять* вело к разрыву морфологического ряда: *вдохнуть* — *вдохновение* — *вдохновенный*. Ср.: *возникнуть* — *возникновение*, *исчезнуть* — *исчезновение*; *столкнуть(ся)* — *столкновение*; *проникнуть* — *проникновение* — *проникновенный* и т. п.

Так в моменты ломки литературно-языковой системы колеблются сложившиеся стилистические традиции. Становятся зыбкими семантические очертания слов, и смешиваются омонимы. Расширяется и изменяется значение книжных слов, которые как бы не вполне усваиваются во всей обстановке их употребления новыми общественными группами, предъявляющими свои права на литературный язык. С книжным языком смешивается просторечие.

---

[1] Я. Грот, Филологические разыскания, т. I, стр. 18.
[2] „Авторский вечер", стр. 134—135.

Для изучения колебаний в книжной и разговорной речи 30—40-х годов дает кое-какие данные книга „Справочное место русского слова“ (изд. 1839 и 1843 г.) — нечто в роде сборника ходячих стилистических ошибок.

1. Здесь отмечается расширение или обобщение значений некоторых слов, затмевающее их смысловой строй. Напр.: „*Антик*. Этим словом означаются все вещи, сделанные в древности, но отнюдь не все редкости или диковины“ (4). „*Бал*. Балом называется собрание, в котором танцуют; называть этим словом большой обед, пирушку, ужин или даже дружескую попойку, неправильно. Так же должно говорить: *на бале*, а не *на балу*.“ (6) и др.

На почве этого расширения и затемнения первоначальных значений возникают плеоназмы. В литературный язык врывается небрежная неточность разговорно-бытового словоупотребления. „*Более*. Перед словами, означающими увеличение, распространение, усиление чего-нибудь, очень часто ставят слово *более*... Говоря *он увеличил сад, распространил права, усилил торговлю* и т. п., не нужно прибавлять: *более увеличил, более распространил, более усилил*“ (10).

„*Будни*. Не должно говорить: *будние дни*. *Будни*, без прибавления слова дни, уже означает непраздничные, рабочие дни“ (12).

„*Вверх, вниз*. Часто говорят: *подняли вверх, опустили вниз*... Нельзя *поднять вниз* и *опустить вверх*“ (14—15). „*Вернуться*. Часто говорят: *я вернулся назад, воротился назад*. Нельзя *вернуться вперед*... Но *обратиться назад* или *поворотиться назад* говорить можно, потому что обращаются и поворачиваются назад, вперед и в сторону“ (16). „*Возобновить, восстановить*. К этим словам часто присовокупляют без нужды: *вновь и снова*“ (18). „*Оглянуться*. К слову *оглянуться* не должно присовокуплять *назад*“ (73—74). „*Один только*. Часто говоряют и пишут: *один только я не видал, одни только дети счастливы*. Это неправильно. Откиньте или *один* или *только*, и увидите, что выражения ваши будут точнее“ (74) и мн. др.

2. Приводится целый ряд примеров, свидетельствующих об отождествлении синонимов или вообще слов, близких по значению и по форме, но стилистически различных. Смысловые оттенки, оберегаемые дворянской литературной традицией, стираются в новых стилях литературного языка. Напр.: „*Близ, близь*. Очень часто не различают этих слов и пишут *близь* там, где следует поставить *близ*... *Близ* значит то же, что *подле, недалеко*; *близь* заменяет слово *близость*, напр.; *живу* ***в близи*** *от друга*“ (9). „*Блистательный, блестящий*. Оба слова значат: *ярко сияющий, сверкающий*. Но *блистательный* говорится о том, что сияет *всегда*, *блестящий* о том, что сияет только *некоторое время*. *Блистательный*, сверх того, значит: *пышный, великолепный*. Неправильно: *блестящий праздник, блестящая публика* вместо: *блистательный праздник, блистательная публика*“ (9—10). „*Белеть, белеться*. *Белеть* значит: мало по малу становиться белым, напр.: *холст от времени белеет*. *Белеться* значит: казаться белым, напр.: *на башне белеется флаг*. Часто употребляют одно слово вместо другого“ (13). „*Доктор*... Обыкновенно употребляют слово *доктор* вместо слова *врач*“ (32). „*Место рождения*. Слово *месторождение* употребляется только, когда говорят о минералах“ (63). „*Обрезать, порезать*. *Обрезать* — отрезать кругом; *порезать* — сделать небольшую рану чем-нибудь острым. Чаще всего в этом случае ошибаются, говоря: *я обрезал палец, чиня перо*“ (72). „*Обхватить*... правильнее: *охватить*. Не должно говорить, как некоторые из наших модных писателей: *Он его обхватил в объятия*“ (73). „*Одеть, надеть*. Часто не обращают внимания на различие между этими словами. *Одеть человека*, но *надеть шапку, сапоги*“ (75). „*Всходить*. Часто употребляют слово *входить* там, где должно говорить *всходить*... Неправильно: *вошел на кафедру*; должно сказать: *взошел на кафедру*. Напротив того, не следует говорить: *Я взошел в комнату*“ (20).

Сюда же проникает смешение омонимов. Напр.: „*Газ, гас*. *Газ* — название прозрачной ткани; *гас* — воздухообразное вещество; поэтому должно писать: *гасовое освещение*, а не *газовое*“ (24). „*Горбунья, горбушка*. *Горбунья* значит — женщина с горбом, *горбушка* — отрезанный край хлеба. Часто называют ошибочно горбатых женщин *горбушками*“ (27). „*Китайка*. Китайкой называют плотную бумажную ткань; этим именем не должно называть уроженок Китая: оне называются *китаянками*“ (49).

„*Оплетать*. Часто говорят: *ты уплетаешь как обжора*; должно говорить: *ты оплетаешь как обжора*. *Уплетать* значит: скоро уходить, удаляться“ (76).

Ср. у Гончарова: *„уплетают двумя палочками вареный рис, держа чашку у самого рта“* („Фрегат Паллада“).

3. Констатируется колебание старых норм синтактики и фразеологии, влияние на них разговорной речи. Напр.: *„Лекарство.* Не должно говорить: *лекарство* ***против*** *чахотки,* ***против*** *кашля*; говори: *лекарство* ***от*** *чахотки,* ***от*** *кашля“* (54). *„Отвращение.* Когда речь идет о предметах одушевленных, это слово употребляется с предлогом *от*; когда о неодушевленных, то надо писать: *отвращение к* (*этой физиономии*)“ (78). *„Форма.* Часто говорят неправильно: *эта бумага для про-формы*; слово *про* (латинское pro) значит *для*, следовательно, должно говорить просто: *эта бумага* ***для формы*** т. е. *для соблюдения формы*“. *„Характер.* Часто говорят: *человек* ***с характером***, или *в этом деле вы* ***показали много характера.*** Должно говорить: *с твердым характером, много твердости характера“* (117).

4. Выдвигается принцип литературного отбора форм просторечия. Отвергаются морфологически не оправдываемые „вульгарные“ варьянты литературных выражений: Напр.: *„Без ничего* — выражение неправильное; должно говорить: *безо всего* или *ни с чем*, а не *без ничего*“ (7). *„Вертляность.* Не должно говорить: *вертлявость,* ***вертлявый*** *человек*; правильно: *вертляность, вертляный* (16).“ *„Виселица.* Часто говорят неправильно: *сорвался с висельницы. Висельницей* называют женщину, повешенную на виселице“ (17). *„Выздороветь...* неправильно: *я выздоровлю* вместо *я выздоровею*“ (23). *„Громоздкий.* Не должно говорить: *громоздной, громоздно*“ (28). *„Их.* Не должно говорить: *ихный брат, ихная очередь*“ (45). *„Надо.* Часто пишут и говорят *надо* вместо *надобно*“ (64): *„Наизуст.* Не должно писать и произносить *„наизусть“* (64). *„Насквозь* а *не насквозь*“ (65); *„насмехаться*, а не *надсмехаться*“ (65); „неправильно: *но однако*“ (68). *„Очень.* Не должно говорить: ***очен****но холодно.* Также неправильно выражение: *очень прекрасно*“ (79). *„Поодаль.* Не должно говорить: *поотдаль*“ (87). *„Поскользнуться.* Не должно говорить: *я посклизнулся*“ (87). *„Ухитряться.* Правильно: *ухищряться*“(112). *„Учтивость.* Не должно произносить: *учливость, учлив*; правильно: *учтивость, учтив* (112). *„Эдак.* Не должно писать: *эдак,* ***эдаким*** *образом*“ (138) и мн. др.

§ 6. Новые формы литературной фразеологии.

Но особенно рельефно различия между буржуазно-разночинскими стилями и дворянскими выступают в системе книжной фразеологии. Правда, основные фразеологические тенденции буржуазно-литературной речи в 30—40 годы не установились [1]. Однако интересны как общие принципы буржуазных отклонений от норм предшествующей традиции, так и стилистические противоречия в самой структуре буржуазной фразеологии. Риторически напряженные метафоры буржуазного языка 30—40-х годов или представляют неорганическую смесь книжных слов и выражений с фамильярно-бытовой лексикой или обнаруживают семантические несоответствия в связи образов.

Напр. у Н. А. Полевого в предисловии к „Очеркам русской литературы“: *„угрюмый опыт останавливает мечту и* ***щиплет крылья моего воображения“*** [2]; *„****посулы будущего*** *уже не обольщают души моей, и золотые сны не облекают наготы существенного“* [3] и др. под. В повести Н. А. Полевого „Блаженство безумия“ [4]: *„вот три высоких состояния души человеческой, и при всех трех* ***уму и языку дается***

---

[1] Очень интересно художественно подчеркнутое сопоставление двух фразеологических систем — племянника (Александра) и дяди (Петра Ивановича) в „Обыкновенной истории“ Гончарова.

[2] Н. А. Полевой, Очерки русской литературы, 1839 г., т. I, стр. 21.

[3] Там же, стр. 20

[4] «Мечты и жизнь“, М., 1833 г., ч. I.

полная отставка"; *„я видел не прежнего холодного Антиоха...* ***запеленанного в формы и приличия***"; *„к несчастью, глаза людей* ***заволокает темная вода****: они... пугаются привидений священной полуночи дружбы"; „привидение, сеющее бесплодные семена, или попускающее* ***расклеивать их галкам и воронам ничтожных отношений***" и т. д.

Из писем Полевого к брату: *„ведь жизнь-то значит счастье и наслажденье, а я* ***откупорил стклянку с этим небесным газом — он вылетел*** *и теперь,* ***как ни запирай эту драгоценную сткляночку — она пуста***";[1] — *„я как будто забыл о делах, этих* ***мерзких червях, которые точат нас заживо***" (415); *„не станем же* ***гадить небесных чувств*** *словами: они даны нам* ***на издержки земные***" (442); *„не поверишь, как мне тошно и отвратительно среди этого* ***клубка глистов***" (443); *„я не встречал нового года ни слезами, ни вином, а так,* ***остеклелый какой-то****, старался* ***вмять его в ряд других дней***" (443) и т. п.

Таким образом, эта фразеологическая риторика (à la Марлинский) или парила в беспредметных и противоречивых метафорах, отвлеченных перифрастических описаниях чувства, или ниспадала в мир вещной, часто профессионально-бытовой или технической действительности, используя ее предметные формы для метафоризации душевного мира и общественных взаимоотношений, коллизий или настроений, для выражения характеристических различий в поведении людей.

Интересно сопоставить приемы фразообразования Полевого с комически-трескучей фразеологией просительного письма некоего разночинца Никанора Иванова Пушкину (1835 г. 2 ноября): *„с телом, истомленным адскою болезнью..., которая, как* ***червь, по капле в день сосет*** *кровь из его сердца"*[2]; *„как Прометей мифологический, хищник небесного огня, — прикован он* ***цепями нужды к ужасной скале нищеты****, а коршуны-страсти неумолимо терзают его сердце*" (245)"; *„я* ***сорвался с цепей своих, как тигр****, и, стремясь в родную дебрь,* ***погряз в тине смрадного болота***" (246); *„я хотел убить жар сердца и души* ***подобно мужам древности***" (247) и т. п. Но предельное напряжение риторического пафоса, отягощенного комическими несоответствиями, осознается как порок уже к 40-м годам.

Образы, метафоры нового стиля часто имели конкретно-бытовую, даже производственную основу. Отвлеченное преломлялось сквозь призму привычно-реального, повседневного. Отсюда-то и являлся отпечаток игривой иронии, комических несообразностей, тон авторской издевки, насмешливого подмигивания, который создавал своеобразную экспрессивную атмосферу речи.

Вот примеры предметно-бытовой, иногда производственной или профессиональной метафоризации из повести „Авторский вечер", пародирующей язык „Библиотеки для чтения": *„с головами* ***раскаленными****, как говорится ныне, всем тем, чем питался пиитический их дух*" (23);

---

[1] Записки К. А. Полевого, СПБ, 1888 г., стр. 397. Далее в скобках указаны страницы этого изд.

[2] А. С. Пушкин, Переписка, изд. Ак. наук, 1911 г., т. III, стр. 245. В скобках указаны стр. этого изд.

„перепалка трескучего пламени чувств“ (44); *„самозабвение* ***сплавливает*** *в одно святое наслаждение частную и общественную жизнь (Что за* ***плавильщик*** *такой самозабвение?)“* (96); *„нет средств удержать удивления, которое заставляет* ***перекипать*** *сердце героя через край“ („уподобление в этом случае сердца* ***котлу или горшку****, в котором* ***перекипает*** *через край жидкость, только что унижает предмет и больше ничего“,* — комментирует противник нового стиля; 98—99); *„весна бросила изменнические* ***искры причуд в зарядный ящик воображения*** *(Просто и прямо сказать тебе, мой друг, такого рода метафорическое выражение есть кривлянье, гаерство)“* (102); *„сквозь эту ржавчину прошедшего века в нем просвечивают* ***блестящие крупинки и пластинки*** *как в* ***золотой руде, покрытой грубою корою“*** (114) и мн. др.

Метафоризация могла принимать даже естественно-научный характер. *„Любовь* ***разложила меня в стихии*** *всех возможных чувствований, и, если бы она меня поцеловала, я бы в один миг* ***испарился“***... *„Я показываю, что я учился физике и химии, что можно разлагать всякую вещь на стихии: любовь разложила меня. Знаю, что все разложенное на стихии может* ***испариться“***. Ср. еще примеры: *„****мерзнуть*** *в жизни и науке“* (68); *„нынешняя словесность,* ***опрокидывающая*** *все понятия“*; *„он снова* ***выкинул меня в вечность“*** (106) и др. под.

В этой фразеологии, которая, правда, была свойственна далеко не всем группам буржуазии 30—40-х годов (ср., напр., язык М. П. Погодина, Я. Буткова и др.), интересна, помимо „смешанной“ стилистической структуры, ориентация на предметы и понятия, относящиеся к сфере производственно-технической или естественно-научной. В дворянской художественной литературе 30-х годов В. Ф. Одоевский, охотно пользовавшийся образами и понятиями естествознания или — вернее — идеалистической „натуральной философии“, занимал довольно обособленное место. В буржуазных стилях 30—40 годов искание новых более сложных, „наукообразных“ форм идеологии, для вовлечения их в систему литературного языка, привело к широкой области наук о природе и об обществе. С этой точки зрения очень знаменательны физиологические, химические, естественно-научные каламбуры Н. А. Полевого вроде: „Старики передали нам слово: *изверг*. Это слово почти не годится для нас. Кто теперь *изверг*, т. е. человек, которого не сварил бы желудок нынешнего общества. Напротив, общество нынешнее никогда не чувствует *индижестии*... Но есть в химии словцо, которое надобно бы нам принять в общий язык, это — слово *низверг*. Им обозначают осадку, которая происходит от смешения двух жидких, или жидкого с твердым тел. Этот добрый низверг садится спокойно на дно сосуда, как будто не его дело, и остальному, что есть в сосуде, также нет никакого дела до низверга. Ах! сколько *низвергов* в наше время, когда изверги совсем исчезли“ [1].

Но прежде чем говорить об изменениях в общей системе семантики книжного языка, о новых вышедших на поверхность литературной речи общественно-идеологических пластах, необходимо очертить со всех сторон границы литературного языка — в буржуазном понимании.

---

[1] „Новый Живописец общества литературы“, 1832 г.

§ 7. Литературный язык 30—40-х годов и крестьянские говоры.

Специфические особенности понимания „литературности“ как стилистической категории вытекали в буржуазном кругу не только из лингвистических вкусов буржуазии, из ее отношения к предшествующей традиции книжно-дворянского языка, но и из оценки литературного значения разных классовых и профессиональных языков. Местные диалектические разновидности крестьянского языка в принципе отрицаются как материал для литературного языка. Н. А. Полевой в „Московском телеграфе“ настойчиво развивает ту мысль, что литературно-ценными в простонародном языке могут быть лишь такие формы выражения, которые имеют шансы стать национально-общими. Поэтому „язык черного народа“ должен быть приспособлен к языку интеллигенции, а крестьянские диалекты вообще остаются за пределами литературной речи [1]. Даже В. И. Даль при всех своих симпатиях к „простонародному“ языку все же санкционирует в нем преимущественно то, что проходит через средний класс, т. е. городскую буржуазию, или что является непосредственно понятным в аспекте буржуазного языкового сознания. „Говор черни перенимать никогда почти не станем“ [2].

„Чуткое ухо“, по словам Даля, должно предохранить „гражданина“ от „порчи литературного языка“ местными, областными выражениями, от „всякой разладицы с духом звучного родного языка“, напр., от употребления выражения *играть песню* вместо *петь* (тульское); от слова *конфетчик* вместо *лавочник* (оренбургское); *бажоный* — вместо *милый;* от новгородского *блицы* вместо *грибы* и т. п. диалектизмов, „которые могли бы испортить язык наш“.

Но те же „русское ухо и русское чувство“ должны открыть преобразователю в „недрах“ простонародного языка „множество превосходных, незаменяемых выражений, которые должны быть приняты в книжный язык наш (напр., *тенетник*, в значении: паутина, летающая осенью по лесам и полям; *опока* — пушистый иней на деревьях; *перевесло* — ручка или дужка на ведре или корзине; *побудка* — вместо *инстинкт* и т. п.)“. „Чем писать или говорить: *я попал из ружья слишком высоко* или *слишком низко* — нам позволят, надеюсь, сказать просто: *я обвысил, обнизил*, а каким словом вы замените, напр., простонародное слово: *осунуться* (ступив неосторожно на сыпучую почву по окраине яра, обрушиться на него, вместе с осыпавшеюся землею)“ (стр. 576). Но, отстаивая литературные достоинства „простонародных“, „чистых“ русских слов, Даль восстает против „речений, умничаньем искаженных и столь удачно прозванных галантерейными“, против „выражений полукупчиков, сидельцев, разночинцев и лакеев, как, напр., *патрет, киятер, полухмахтер* и пр. [3]“

Таким образом, в этом процессе чистки и литературной квалификации простонародных элементов отвергается все, что представляется узко местным, областным, или испорченным и потому не может претендовать на национальную всеобщность. Кроме критерия „порчи“, при отборе „простонародных“ выражений имел основное значение критерий „образ-

---

[1] Ср. „Московский телеграф“, 1829 г., № 9, 15 и др.

[2] В. И. Даль, Искажение русского языка. Собр. соч., т. X, стр. 548.

[3] В. И. Даль, О русском языке, „Толковый словарь“, изд. 1863 г., т. I, стр. XVI.

ности“ слова, его экспрессивной выразительности. Возможность непосредственного усмотрения образа, „внутренней формы“ простонародного слова, при свете бытовой „этимологизации“, решала литературную судьбу того или иного выражения.

В стилях буржуазной городской интеллигенции и в стилях чиновничьих „простонародность“, струя крестьянского языка чаще всего подвергалась презрительной оценке. Напр., О. И. Сенковский вовсе запретил доступ в литературу „грубому мужицкому“ языку и издевался над „лапотной школой“, одной из представителей которой был В. И. Даль. Сенковский отрицал всякую близость между „мужицким языком“ и языком хорошего общества даже по отношению к древнерусской эпохе. Вместе с тем крестьянская речь представлялась Сенковскому дикой и окаменелой формой первобытного, непросвещенного словесного выражения. „Мужики древние, — писал он, — говорили так же, как мужики XIX в.; но бояре никогда не говорили, как мужики. Древняя русская аристократия была непросвещенна, могла даже иметь грубые привычки, но она не была груба на словах“ [1].

В рецензии на роман Вельтмана „Лунатик“ О. И. Сенковский писал о „простонародности“ в литературе: „Признаюсь откровенно, я не понимаю изящности этой кабачной литературы, на которую наши Вальтер-Скотты так падки. И как мы заговорили об этом предмете, то угодно ли послушать автора „Лунатика“:

— *Э, э! что ты тут хозяйничаешь?*
— *Воду, брат, грею.*
— *Добре. Засыпь, брат, и на мою долю крупки.*
— *Изволь, давай.*
— *Кабы запустить сальца, знаешь, дак он бы тово.*
— *И ведомо. Смотрико-сь, нет ли на поставце?*

Это называется изящной словесностью! Нам очень прискорбно, что г. Вельтман, у которого нет недостатка ни в образованности, ни в таланте, прибегает к такому засаленному средству остроумия. Нет сомнения, что можно иногда вводить в повесть и просторечие; но всему мерою должны быть разборчивый вкус и верное чувство изящного; а в этом грубом сыромятном каляканье я не вижу даже искусства“ [2].

Такое отношение к крестьянскому языку представляло резкий социальный контраст с дворянским тяготением к „простонародности“. Но, конечно, полного запрета на крестьянские, даже областные слова не было. Принимались лишь ограничительные меры. Тем более, что сама тема деревни, в жорж-зандовских красках воплощенная литературой 40-х годов (преимущественно дворянскими ее стилями), вела к крестьянским говорам. Однако и здесь стилистические функции крестьянской речи стали иными, чем в предшествующей литературно-языковой традиции. Крестьянские слова и выражения не ассимилировались „авторским“ литературным языком, не нейтрализовались им, а наоборот, служили средством его экспрессивного „раскрашивания“, создавая атмосферу сочувствия автора „деревне“, содействуя сентиментальному освещению крестьянского быта. При посредстве своеобразного „цитирования“ крестьянских фраз, автор

---

[1] „Русский архив“, 1882 г., кн. III, тетр. VI, стр. 150.
[2] „Библиотека для чтения“, 1834 г., кн. V.

сближал свою точку зрения с языковыми „самоопределениями“ деревни, или вызывал иллюзию реалистичности изображения. Таким образом, литературного „обобществления“ крестьянской лексики не происходило. Она оставалась характеристической приметой определенного литературно-художественного жанра. В зависимости от этого были и искусственные принципы отбора и подбора (несколько экзотического или, по крайней мере, этнографического) крестьянских выражений в авторском языке. Напр. в повести Д. В. Григоровича „Деревня“ (1846 г.): *„тетка Фекла... уступила скотнице Домне полосатую* ***поневу*** *покойницы за ее изношенные* ***коты****“; „страсть к битью, подзатыльникам, пинкам,* ***нахлобучникам****“; „каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или* ***коклюшками****“; „много разных разностей говорилось на* ***засидках*** *у Домны“; „раздобаривать“; „пономарь был в ту пору* ***буявый****“; „натянулся сивухи“; „Карп не терпел ни в чем* ***супротивности****“; „встряхнет, бывало, Карп* ***забубенною, непутною*** *своей головушкой“; „принимается за* ***косушку****“; „находила на него дурь* ***рвать*** *лишнюю* ***косушку****“; „сын; парень* ***превзродный,*** *рыжий, как кумач, полинявший на солнце“; „доски, унизанные вотрушками,* ***гибанцами****“; „воз заезжего купца-торгаша с красным товаром...* ***намистьями****“; „это-то равнодушие и* ***запропастило*** *в конец голову бедной бабы*“ и мн. др.

Еще более изысканны и однообразны формы крестьянского языка в диалоге. Ср. „букет“ таких выражений: *„сталось тебе* ***неслюбно*** *смотреть за ними“;* ***„из любка любую*** (невесту) *выбирает“; „рубахи* ***состебать*** *не может“; „что ты мне* ***белендрясы-то*** *пришел* ***плесть****?“; „девка эта дурного поведения, что ли?“; „****кажинный чураться*** *нас станет“; „весь свет осуду на нас положит за такую* ***ахаверницу****“; „коли по случай горе прикатит, коли* ***жустрить*** *начнет*“ и мн. др. под. Автор подчеркивает необычность своей языковой позиции, своей темы и насыщает стиль сентиментальной иронией: „Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людях; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однакож, он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим, увы! главный предмет его повествования“.

Наглядным комментарием к языку повести Григоровича и вместе с тем к вопросу о роли крестьянской речи в системе литературного языка эпохи 30—40-х годов может служить такой рассказ И. С. Тургенева об этой повести, „по времени п е р в о й попытке сближения нашей литературы с народной жизнью, первой из наших „деревенских историй — Dorfgeschichte“: „Написана она была языком несколько изысканным — не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта — было несомненно. Покойный И. И. Панаев... уцепился за некоторые смешные выражения „Деревни“ и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности. Панаеву

оставалось одно: продолжать читать отрывки из „Деревни", но уже восхищаясь ими, — что он и сделал"[1].

Все эти примеры и факты убедительно говорят, что, несмотря на различие отношений к крестьянским диалектам у разных общественных групп, крестьянский язык несколько далее отступает от сферы непосредственного общения с литературной речью. Между крестьянскими говорами и литературным языком становится язык города в многообразии его классовых, профессиональных и функциональных расслоений.

§ 8. Насыщение литературного языка элементами буржуазно-городского просторечия и профессионализмами.

Социальные диалекты города с 40—50-х годов становятся источником пополнения литературы живой речью. От социального состава буржуазных групп зависела степень близости их городского языка к деревенской, крестьянской речи и степень подчинения их стилей речевой традиции дворянства. Литература в ее основном русле („натуральная школа") теперь ориентируется на быт, на его классовые, сословные профессиональные языковые деления. Задачей литературного стиля делается воспроизведение быта какой-нибудь социальной среды средствами ее языка. Для характеристики новых форм литературного языка и буржуазных изменений в экспрессии дворянских слов можно воспользоваться двумя такими примерами. В 30-х годах входит в литературный язык выражение *бить по карману*. О. И. Сенковский раскрывает социальное наполнение этой идиомы в связи с изображением поведения Булгарина и других литературных промышленников так: „Литературные промышленники, как народ тонкий и просвещенный, находят гораздо кратчайшим прямо засунуть руку в чужой карман и брать из него прибыль без всякого капитала науки и без малейшего труда на обделку какой-нибудь полезной для общества идеи... Такова в коротких словах теория этой промышленности. Но все это еще не объясняет вам странного выражения — *бить по карманам*. Вы скажете, что это выражение не русское, не дворянское. Да кто же вам говорит, что оно было русское или дворянское? Тем лучше, тем лестнее для всех нас, что оно не русское. Впрочем, об этом надобно было бы спросить у какого-нибудь великого грамматика[2]. Вы спросите, да кто же изобретатели этого гнусного выражения? Не знаю. Это не мое дело... История со временем объяснит эту любопытную тайну... Вот в чем состоит... знаменитая система „битья по карманам". Последователи ее, как скоро увидят, что кто-нибудь из книгопродавцев или издателей решился на обширное предприятие, тотчас становятся его притеснителями: он должен предаться в их руки, делать только то, что им выгодно, устранять от участия тех, кого они ненавидят или кому завидуют: не то, говорят и пишут они, мы тебя будем бить по карманам. Это значит придираться ко всему, подхватывать всякую мелкую ошибку в каждой издаваемой им книге и беспре-

[1] И. С. Тургенев, Литературные и житейские воспоминания. Собр. соч., изд. 1898 г., т. XII, стр. 28—29.

[2] В „Словаре Академии Рос." (т. I, 1806 г.) этого выражения нет. В „Словаре церковно-славянского и русского языка" изд. Ак. наук (1847 г.) оно тоже отсутствует.

рывными нападками в журналах терзать его издание с тем, чтобы „уронить“ книгу в мнении людей, не имеющих своего суждения, и „разбить“ издателя. *Уронить, разбить* — это их технические слова. Для большего успеха своих действий они составляют между собою наступательные союзы и правильные компании на акциях, чтобы потом делиться барышами“ [1].

Примером буржуазных изменений в экспрессивных формах речи может служить слово *паркетный*. Оно в буржуазном языке с 20—40-х годов XIX в. получило переносное значение — с своеобразной экспрессивной окраской: вылощенный, подвизающийся на паркетах великосветских гостиных (с оттенком пренебрежения). Круг употребления этого значения был довольно узок. Оно не выходило из границ отдельных фразеологических сочетаний, из которых наиболее частым было *паркетный шаркун*. Выражение *паркетные* или *будуарные дамы* осмеивается Пушкиным как принадлежащее „дурному обществу“. Легкая ирония, которая облекала фразу *паркетный шаркун* в литературном языке дворянства или смежных групп буржуазии (напр., в рассказе П. Сумарокова [2] „Интересная незнакомка“: „*Наняли танцмейстера. Несколько уроков сделали чудо, и месяца через два Агнеса держала себя так ловко, что первый паркетный шаркун не постыдился бы пройти с ней, рука об руку, по летнему саду*“) осложнилась экспрессией завистливого пренебрежения в речи мелкой буржуазии и разночинно-демократической интеллигенции 30—40-х годов. Достаточно сослаться на употребление этого выражения в „Бедных людях“ и „Двойнике“ Ф. М. Достоевского. Нельзя уяснить буржуазно-демократическую экспрессию этого значения слова *паркетный*, нельзя понять социально-полемическую направленность этого выражения, если не вспомнить, какая „классовая“ диференциация была связана с „паркетами“ в дворянско-буржуазном быту первой половины XIX в. В очерке А. Чужбинского „Моншеры“ [3] так описывается различие между гвардейскими „пустозвонами“ из аристократического круга и армейскими щеголями (моншерами):... „Петербургский пустозвон мог быть точно такой, как Балабайкин (провинциальный армейский моншер), мог даже танцовать хуже нашего поручика, но самые глупости говорил как-то мягче, не так ломался, умел подлетать к даме и вообще мог доказать, что ему нипочем паркеты, тогда как иной армейский моншер серьезно боялся паркета, как большой редкости в провинции. Паркет можно было встретить разве у очень богатого помещика, да и то если последний не принадлежал к числу людей, которые придерживались старосветских обычаев; а до какой степени паркеты не были знакомы большинству, можно видеть из того, что многие танцоры и танцорки натирали себе подошвы мелом, из боязни упасть на бале, и если с кем случалась подобная катастрофа, то это нисколько не конфузило, потому что на паркете, между тем растянувшийся на обыкновенном полу подвергался насмешкам“ [4]. Ср. у И. В. Киреевского в ст. „Нечто о характере поэзии Пушкина“ харак-

---

[1] „Библиотека для чтения“ 1838 г., № 1, кн. IV, стр. 28—32.

[2] П. Сумароков, „Повести и рассказы“, М. 1833, ч. II, стр. 223.

[3] „Очерки прошлого“, ч. I, СПБ, 1863 г., стр. 62.

[4] Ср. в „Письме о русских романах“ М. П. Погодина (альманах „Северная Лира“, 1827 г., стр. 262—263): „сколько есть у нас Митрофанушек, и городских и сельских, кои являются на паркете большого света и кружатся на оном без цели и без плана“.

теристику Онегина: „Он не завлечен был кипением страстной, ненасытной души, но на паркете провел пустую, холодную жизнь модного франта“ [1].

Параллельно с изменением экспрессии у слов предшествующей языковой традиции, идет процесс обогащения литературно-книжного языка словами, выражениями, оборотами из разных пластов городского языка. Литературный язык начинает пестреть „заимствованиями“ из разных сословных и профессиональных диалектов. Структура „авторского“ языка, который обычно понимается как норма литературности, сближается с устной речью городской буржуазии и с фамильярно-вульгарными стилями разных слоев мелкого, преимущественного провинциального дворянства. Напр., в рассказе Н. А. Некрасова „Без вести пропавший пиита“ [2] язык авторского повествования содержит такие выражения: *„Иван, поставленный мною в* ***тупическое*** *положение“*; *„поджал под себя ноги, и* ***пошла писать****“*; *„Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось* ***задавать тону****“* и т. п. В рассказе Д. В. Григоровича „Шарманщики“: [3] *„чтоб получить медный грош, а иногда и* ***надлежащее распеканье*** *от дворника“*; „...трудно определить происхождение слова *шарманщик*; тем более трудно, что оно, кажется, родилось на Руси и обязано жизнью простолюдью. Называть незнакомое лицо или предмет без основания, часто даже без очевидного смысла, хотя подчас и характеристически метко, свойственно русскому человеку, который... „за словом в карман не полезет; ему нужно непременно *компанство*, товарищи“ и др. В рассказе В. И. Даля „Петербургский дворник“ еще гуще и разнообразнее смешаны с общелитературными формами книжной и разговорной речи профессиональные и жаргонные слова из языка разных общественных групп: *„...чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников* ***перебоем****“*; *„****навернул*** *гайку“*; *„голодная собака унесла тайком...* ***съедомый утиральник****“*; *„...доставал (горох) из красного, как жар, платка. Такие платки ныне в редкость; они назывались* ***бубновыми****“*; „Григорий был не только коротко знаком со всеми плутнями петербургских мошенников, но понимал отчасти язык их... *„Стырить камлюх“*, т. е. украсть шапку; *„перетырить жулику коньки и грабли“*, т.е. передать помощнику-мальчишке сапоги и перчатки; *„добыть бирку“*, т. е. паспорт; *„увести скамейку“*, т. е. лошадь — все это понимал Григорий без перевода... Однажды... небольшая шайка проходила... от разъезда театра и, увидев товарища, поставленного для наблюдения за *ширмами* (т. е. за карманами) пешеходов, встретила его вопросом: *что клею*, т. е. много ли промыслил. А Григорий отвечал преспокойно: *бабки, веснухи, да лепень*, т. е. деньги, часы, да платок“ [5].

В высшей степени показательно для общего стиля эпохи, что Н. А. Некрасов, заставив дворового человека произнести слово *ерунда*, делает примечание: „Лакейское слово, равнозначительное слову *дрянь*“ [6], а Ф. М. Достоевский настойчиво подчеркивает свои литературные права на слово

---

1 „Московский вестник“, 1828 г., ч. VIII, № 6.
2 Н. А. Некрасов, Собр. соч., М — Л., 1930 г., т. III.
3 Д. В. Григорович, Собр. соч., СПБ, 1896 г., т. I.
4 В. Даль, Собр. соч., Спб., 1897 г., т. III.
5 В. И. Даль, Собр. соч., т. III, стр. 350—354.
6 Н. А. Некрасов, Собр. соч., т. III, стр. 38.

стушеваться, которое он извлек из профессионального диалекта чертежников, придав ему переносное значение. Формы городского просторечия и профессионализмы служат не только характеристическими приметами изображаемой среды, но постепенно всасываются в общую систему литературно-книжного языка, ассимилируются ею.

Таким образом границы литературного языка расширяются, постепенно открывается доступ в литературу разным социально-групповым и профессиональным диалектам, преимущественно городского быта, таким, которые раньше были за пределами литературного языка. Правда, не все буржуазные стили двигаются в эту сторону.

Однако характерно, что в это же время происходит систематическое собирание и широкая литературно-журнальная канонизация и той профессиональной лексики, которая обслуживала обиход помещичьего хозяйства. Именно в эту эпоху (30—40-е годы) появляются своеобразные литературные энциклопедии дворянского быта, в которых довольно полно представлен речевой материал (общественно-обиходный и профессиональный) дворянской среды (напр., книги Д. Н. Бегичева „Семейство Холмских“, „Ольга“, „Быт русского дворянства“ и др. под.). Очень симптоматично также появление в 1843 г. „Опыта терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного“ Вл. Бурнашева. Помещенные в этом словаре 25 тыс. слов, по словам автора „принадлежат к полеводству, луговодству, огородничеству, садоводству, домоводству, домостроительству, скотоводству, овцеводству, коноводству, свиноводству, пчеловодству, птицеводству, рыбоводству, рыболовству, лесоводству, хмелеводству, шелководству, землеизмерению, плотничеству, кузнечеству, столярничеству, бондарничеству, слесарничеству, кожевничеству, кушнерству, портняжничеству, сапожничеству, сукноделию, ткачеству, валянию, солодовничеству, медоварению, салотоплению, воскобелению, свечелитству, пивоварению, свежеванию, хлебопечению, торфо-розысканию, свеклосахароварению, паточному и крахмальному производствам, виноградо-развождению, виноделию, винокурению, смолосадничеству, гончарничеству, саловарению, соледобыванию, рудокопству, металлоплавлению, птицеловству, звероловству, судостроению, судоходству и пр. и пр. и наконец житью-бытью русского простолюдья“ (стр. I — II). Отечественные записки“[1] признали этот труд незаменимым для хозяина-помещика. „Северная пчела“[2] писала о пользе словаря для „неопытного помещика“ или „молодого чиновника, посланного в деревню“, для всех тех, „кто живет в деревне и имеет дело с крестьянами, купцами, фабрикантами, ремесленниками и пр.“, и категорически возражала против замены терминологии „перифразеологией“.

Но значение словаря Бурнашева не исчерпывалось применением его в промышленно-технических целях. Он оказал влияние и на литературный язык, так как кодификация терминов обеспечивала им право на литературное употребление.

Именно в эту эпоху укрепляются в литературном языке такие слова и выражения, нашедшие место в словаре Бурнашева[3] и не бывшие в

---

[1] 1841 г., № 7.
[2] 1842 г., № 121.
[3] Далее в скобках указаны тома и страницы этого словаря.

словарях Росс. акад.: *агулом* (т. е. *огулом*; I, 2); *бакалия* (из новороссийского края; I, 26), *гурьба* (отмеченное в ак. словаре как „старинное“; I, 166); *гусем* или *гуськом* (I, 166); *прикорнуть* (см. *корнуть* — о полегшем хлебе; I, 313); *косая сажень* (I, 318); *мягкотелый* (первоначально о плодах; I, 415); *свести, сойти на нет* (I, 427); *затишье* (I, 235); *натаскивать* (переносно; первоначально охотничье выражение; I, 432); *наутек* (первоначально охотничье; I, 433) и мн. др. под.

Таким образом, границы литературности, установленные старой традицией „дворянских стилей“ конца XVIII — начала XIX в. и в 20-х годах XIX в. несколько раздвинутые в сторону „простонародного“, главным образом, крестьянско-дворянского языка, теперь широко открываются для бытовой речи разных сословных и профессиональных групп города.

§ 9. Возрастающее значение чиновничьих диалектов.

Среди социальных диалектов города наиболее значительным по своему составу, употребительности, многочисленности носителей и по месту в общей структуре городского просторечия был язык чиновничества, служилого люда. Диалекты чиновничьего языка в 30—40-е годы широко вовлекаются в систему литературного языка, особенно повествовательных и публицистических его стилей. Элементы чиновничьего языка в области художественной прозы становятся основным социально-диалектическим материалом, из которого строится повествовательный сказ; они же широко вливаются в литературный диалог. Риторика канцелярского языка не только непосредственно воздействует на литературный язык, но и становится объектом художественной стилизации и пародированья. Напр., в поэме Достоевского „Двойник“ повествовательный стиль комически уснащается особенностями канцелярского письменного и чиновничьего разговорного языков: *„положил ждать“; „**для сего** нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее **часы присутствия**“; “оправдался в **нагоняе**... за нерадение по службе“; „известное своим неблагопристойным направлением лицо“* и мн. др. В рассказе „Господин Прохарчин“: *„неоднократно замечено про разных иных...“* Ср.: *„могуче форменная фраза: **неоднократно замечен** “; „законное возмездие“* (жалованье); *„присоединиться закон ым образом для составления напитка...“* и мн. др. [1]. В рассказе Д. В. Григоровича „Лотерейный бал“: *„тот благотворный нектар, который чиновник окрестил названием „пунштика“; „страстный любитель музыки, театра и вообще изящного, **как-то:** расписных московских табакерок, оружия и статуеток“; „**вопреки долга**, чести, приличия“* и мн. др. Ср. распространение в литературном языке таких слов, фраз и идиом чиновничьего языка: *найти в ком-нибудь, чем-нибудь* (напр., у Григоровича в „Лотерейном бале: *„этим ящиком я успел найти в человеке“); брать чем-нибудь* (напр. у Достоевского; в „Дневнике“: *„чем он именно берет в обществе высокого тона“; „самозванством... в наш век не берут“); „замарать репутацию“; „состряпать дело“; „дело десятое“; „крю-*

[1] Подробнее см. в моей книге «Эволюция русского натурализма», изд. „Academia“, 1929, особенно в ст. «Стиль петербургской поэмы Достоевского „Двойник“.

чок" и т. п. Ср. в „Записных книжках" Гоголя широкое пользование терминологией и фразеологией, относящимися к сфере бюрократического механизма и чиновничьей практики.

§ 10. Язык Гоголя и его значение в истории русской литературной речи XIX в.

Той литературной личностью, которая в эту эпоху (до начала 50-х годов) стояла в центре языковой борьбы, был Гоголь. К нему, к его произведениям тянулись нити от большей части литературно-художественных стилей. Язык Гоголя отдельными своими приемами оказывал решительное влияние и на публицистические стили литературного языка. В языке Гоголя находили опору тенденции и к профессионализации и к демократизации литературного языка. Принципы литературной обработки бытового диалога исходили из стилистической системы Гоголя. Гоголевские образы, фразы, приемы изображения действительности входили в „общую" систему литературного выражения. Правда, не все стороны творчества Гоголя были с точки зрения стиля эпохи равноценны. Так, украинская стихия гоголевского языка встречала сочувственный отклик лишь в творчестве земляков Гоголя (Е. Гребенки, П. Кулиша и др.). Архаические, романтико-риторические и церковно-книжные элементы гоголевского языка и связанные с ними формы идеологии не находили развития в возобладавших стилях литературной речи. „Гоголевское" в аспекте литературного языка сводилось преимущественно к сложным экспрессивным формам комической издевки и иронии, к „неистощимой поэзии комического слога" и к „чудному дару подслушивать устную речь говорящего русского человека и менять ее по характеру, свойствам, мгновенному чувству лиц, им выводимых".[1] Язык Гоголя представлялся наиболее полной системой литературного выражения, включавшей в себя не только стили литературного языка предшествующей эпохи, не только элементы дворянского и крестьянского языка, но и отражавшей сложный поток социально-групповых диалектов города. И вместе с тем — язык Гоголя, как писателя, пришедшего в Россию из другой страны — из Украины, не был целиком скован традициями и нормами дворянской речевой культуры: он пестрел разговорно и письменно диалектическими „неправильностями". Все это ставило язык Гоголя на рубеже между дворянскими и буржуазно-демократическими стилями литературного языка.

Один из современников Гоголя (В. В. Спасов) так характеризовал влияние гоголевского языка на литературную речь своей эпохи: „С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительною бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. Даже любимые гоголевские восклицания: *чорт возьми, к чорту, чорт вас знает* и множество других вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком".[2]

[1] С. Щевырев, Взгляд на современную русскую литературу. Состояние русского языка и слога „Москвитянин" 1842 г., № 2, стр. 180. Ср. также мою книгу «Этюды о стиле Гоголя», 1927 г.

[2] „Русская старина" 1881, г. № 2, стр. 414—418.

Язык Гоголя включал в себя диалекты и жаргоны, близкие к стилям дворянской литературы (ср., напр., областные крестьянские слова, хотя бы в перечислении кушаний: *скородумки, шанишки, пряглы, пряженцы, маслянцы, взваренцы;* ср. *тарабанить, пришипиться, потьма, заклекнуть пошатка, навкрест* и др.; слова из диалекта собачников или охотников, напр., в описании мастей собак: *муругих, черных с подпалинами, полово-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих;* слова из картежного, шулерского арго, напр. в комедии „Игроки", в „Мертвых душах" и т. д.[1], и разные стили городского просторечия, „язык фабричных мастеровых", чиновников, городского люда[2]. Ср. слова и выражения вроде: *налимониться, нарезаться, нализаться, отбрить, откалывать* (танец), *делать выкрутасы, влепить* (слово), *загвоздить* (слово), *подмаслить, хапуга, покропить спину, припустить во все лопатки* и т. п.

Интерес Гоголя к классовым, сословным и профессиональным расслоениям речи настолько велик, что, составляя „Сборник слов простонародных, старинных и малоупотребительных", он стремится точно указать социальную среду употребления слова, напр.: „*увеселитель* — купеческое слово"[3]. Ср. „выражение квартального: „*люблю деспотировать с народом совсем дезабилье*". В записных книжках Гоголя находятся термины, относящиеся к лесу, к плотничеству, к рыбной ловле, к цеху, сословию ремесленников" (медники, кадочники, шерстобои, катальщики войлоков, серебренники и т. п.), к торговле (см. отдел: „хлебная продажа"), к хлебопашеству, к „банчишке", к избе и ее составным частям, к крестьянским ремеслам, к волжскому судоходству, к текстильному производству; „загибанья"; наконец, просто слова, взятые из народного говора или народных песен; „прилагательные", т. е. народные прозвища; „птичьи и звериные крики"; „цветы". Правда, в тех же записных книжках представлены архаические церковно-славянские образы, церковно-риторическая фразеология. Напр.: „*добропесенный глас твоих словес*"; „*неприступным светом осияваешь*"; „*исполнил еси твоя уста, учениче духовного разума*"; „*пращею духа поразил*"; „*духом божественного ведения*" и мн. др.[4] Однако, как писал В. П. Боткин П. В. Анненкову 28 февраля 1847 г., „русская литература брала в Гоголе то, что ей нравилось, а теперь (т. е. после „Выбранных мест из переписки с друзьями") выбросила его, как скорлупу выеденного яйца".[5]

Гоголь ценился преимущественно как разрушитель старых литературно-языковых традиций, как художник-обличитель, творец новых приемов семантического и экспрессивного отношения между словом и предметом, как реформатор художественной речи, содействовавшей ее демократизации. Интересно, что в конце 40-х — начале 50-х годов, когда стали более четко обрисовываться формы буржуазного перерождения

---

[1] Ср. Е. Ф. Будде Значение Гоголя в истории русского литературного языка. „Журн. мин. нар. просв.," 1902 г., № 7.

[2] О. Мандельштам, О характере гоголевского стиля, Гельсингфорс, 1902 г., стр. 254—255.

[3] Н. С. Тихонравов, Заметки о словаре, составленном Гоголем. Собр. соч., т. III, ч. II, стр. 204

[4] Собр. соч. Н. В. Гоголя, изд. 10-е, 1889 г., под ред. Н. Тихонравова, т. VI, стр. 504.

[5] „П. В. Анненков и его друзья", 1892 г., стр. 529—530

литературного языка, социальная характерология гоголевского стиля была объявлена односторонней, не соответствующей действительности. Гоголю, как поэту субъективного переживания действительности, противопоставлялся Островский, как объективный выразитель буржуазной культуры. „Вспомните, каким языком говорят те лица Гоголя, которые не утрированы, — писал Б. Н. Алмазов. — Неужели у него лакеи говорят точь в точь таким языком, каким говорят лакеи; купцы — точь в точь таким языком, каким говорят купцы. и т. д.? Содержание их речей, их мысли совершенно приличны каждому из них, но им дана не та самая оболочка, которую они должны иметь. В их языке мало выражаются особенности сословий“ [1].

Таким образом, язык Гоголя к 50-м годам утрачивает руководящее значение в системе литературно-художественной речи.

§ 11. Дворянская языковая культура 30—40-х годов. Язык Лермонтова.

В 30—40-е годы дворянская культура художественного слова переживала кризис. Слово, язык в художественном творчестве и мышлении аристократического круга литературы были „одеты миражами истории и исскуства“: они стремились воскресить в сознании читателя-дворянина образы разных стилей и культур. „Между словом и простой действительностью — цепь культурных наслоений. Слово прежде всего образует стиль, а стиль выражает идею; прямо же слово не может выражать, так как тогда оно, в понимании данной интеллектуальной культуры, не обработано духовными ценностями, неэстетично, и, следовательно бесcмысленно“ [2]. В дворянских стилях первой четверти XIX в. художественное слово сосуществовало в двух контекстах, их сливая, — в контексте речевого быта, его вещей и форм их понимания и в контексте „изящной словесности“, ее символики, ее сюжетов, ее речевой культуры. Поэтому слово, фраза, выражая те или иные предметные значения, обслаиваясь теми или иными смыслами в композиции произведения, направляя читательское сознание на те или иные „применения“ (allusions, arrières pensées), в то же время символически включали в себя сложные и разнородные сюжеты, темы, были отголосками или сигналами иных, предшествующих художественных структур. В буржуазно-демократических стилях литературно-художественной речи вся эта сфера смысловых форм отпадает. Для них главное в слове то, что оно непосредственно значит, его предметно-бытовая основа; „главное и почти единственное в тексте — мир, события и люди, изображенные в нем, идеи, высказанные прямо и точно сформулированные“. Такое понимание вело к ломке понятия „художественной речи“. Для защиты дворянских традиций в сфере поэтического слова необходимо было усложнить экспрессивно-идейное содер-

[1] Б. Н. Алмазов, Сон по случаю одной комедии. Собр. соч. М., 1892 г., т. III, стр. 581.

[2] Г. А. Гуковский, Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы 40-х годов. Жизнь и похождения Тихона Тросникова. Новонайденная рукопись Некрасова. 1931 г., стр. 375—376. См. также мою статью о Пушкинском стиле в посвященном Пушкину выпуске „Литературного наследства“.

жание самих предметов, которые обозначались словами. Характерно, что Л. Толстой, читая Пушкина, 31 октября 1853 г. записал: „Я читал „Капитанскую дочку" и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то".

Такой попыткой вложить в запас дворянской литературной фразеологии, форм синтаксического построения, средств стиховой организации, риторических приемов, вообще в дворянскую культуру художественного слова более „современную" конкретно-бытовую содержательность, идейную насыщеннность и эмоциональное разнообразие является творчество Лермонтова.[1] В языке Лермонтова налицо все элементы дворянских стилей. Из профессионально-жаргонной лексики он пользуется только игрецкими, картежными (*„рутеркой понтирнуть со славой"; „семпелями плохо"; „надо гнуть"; „карта соника была убита"* и др.; ср. лексику „Пиковой дамы" Пушкина) и военными (кавалерийскими) выражениями (*„не тянул он ногу в пятку"*, *„кобылу серую* ***собрав****"* и др.). Но зато широко представлена французская стихия литературно-дворянской речи в лексике, фразеологии и синтаксисе: *„я* ***взял свои меры****"* (IV, 291 [2]) *„он* ***добр для*** (pour) *меня"* (IV, 20); *„в* ***первой*** *моей молодости"* (IV, 273); *„я* ***ее нашел замужем****"* (III, 332); *„всадники поминутно* ***находились принужденными оставлять*** (IV, 37); *„на постели смерти"* (III, 178); *„кончить жизнь на соломе"* (IV, 9): *„вещи* ***делают впечатление*** *на сердце"* (III, 168); *„****ощупать*** *свои способности и честь"*; ср. французское tâter (III, 213) и мн. др. Ср.: *„подойдя к одному из отверстий, Юрию показалось"* (IV, 77); *„окинув взором комнату и все, в ней находящееся, ему стало как-то неловко"* (IV, 138) и др. Точно так же необыкновенно рельефно выступают в языке Лермонтова все особенности дворянского просторечия — словарные, морфологические; употребительны даже такие, напр., грамматические формы, которые уже исключались в 30—40-е годы из области литературного языка, как род. пад. на *-ов* у им. сущ. среднего и женского роды: *стадов* (I, 16); *толпа мадамов* (V, 125); им. пад. множ. ч. среднего рода на *-ы: седлы, кольцы, вины, знамены, леты, румяны*, и т. п.; формы род. пад. на *-мя* от сущ. имя, время: *„не знал другого* ***имя****"* (II, 153); *„не имел ни* ***время****, ни охоты"* (I, 296); частые формы деепричастий на *-чи: пируючи, сбегаючи, скрываючи* и мн. др. под.

Но зато в языке Лермонтова, особенно прозаическом, нет той архаической окраски, которая характерна для пушкинского языка. Лермонтовская проза освобождена от всякого груза церковно-словянизмов и канцеляризмов (ср., напр., отсутствие таких союзов как *дабы, не токмо, но и...* и т. п., употребительных в пушкинской прозе). „Язык в „Герое нашего времени",— писал современник поэта, — чуть ли не выше языка всех прежних и новых повестей, рассказов и романов"[3]. Но даже в

---

[1] См. о нем кн. Б. М. Эйхенбаума: Лермонтов, Л., 1924 г.

[2] Собр. соч., изд. Ак. наук, 1910—13 г. В скобках указаны тома и страницы этого изд.

[3] Сушков, Московский университетский благородный пансион, стр. 86. Ср. ст. проф. Д. И. Абрамовича, О языке Лермонтова. Соч. М. Ю. Лермонтова, изд. Ак. наук, т. V.

семантически осложненном виде стили художественной речи теряли свое первое место в структуре литературного языка. Они постепенно передавали свое значение стилям публицистической речи.

§ 12. Развитие научно-философской и журнально-публицистической речи.

В 30—40-е годы меняется не только лексическая и фразеологическая система литературного языка, но подвергается перестройке и его семантическая структура. Ищутся новые идеологические скрепы. Происходит перераспределение функций и влияния между разными стилями. Стиховой язык, который был до 30-х годов не только оплотом форм и конструкций высокого слога, но и творческой лабораторией новых средств литературного выражения, в 30-х годах теряет свое значение. Перестраивается само понятие „литературы“. В центре ее становится „беллетристика“, т. е. жанр полупублицистической, полухудожественной прозы, направленной на культурно-политическое и идейно-моральное перевоспитание общества. Постепенно выдвигаются на первый план стили газетно-журнальной, публицистической речи. Поэтому в системе книжной речи для буржуазии, как и для дворянства, в 30—40-х годах с еще большей остротой встает проблема „метафизического“, т. е. отвлеченного, публицистического и научно-популярного языка. Дворянство начала XIX в. en masse искало средств для создания этого языка в семантической системе французского языка. Правда, в 20-е годы в кружках „любомудров“ возник вопрос о философской терминологии, приспособленной к выражению немецкой идеалистической философии Шеллинга. Но широкого литературного признания философические стили любомудров (кроме В. Ф. Одоевского) не получили. Гораздо более глубокое влияние на литературную речь имела та оживленная умственная работа, которая была порождена философией Гегеля в кругах дворянства и разночинной интеллигенции.

Очень остро и тонко характеризует „птичий язык“ этой русско-немецкой философской мысли А. И. Герцен в „Былом и думах“: „Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: *Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте.* Замечательно, что тут русские слова звучат иностраннее латинских. Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему, именно потому, что она жила в академиях, т. е. в монастырях идеализма. Этот язык попов науки, язык для в е р н ы х, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот и теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее. Механическая слепка немецкого ц е р к о в н о-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем, — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, „жизни мышья беготня“, крик не-

годования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и понимание, отношение к жизни, к действительности, сделалось школьное, книжное, это было то ученое понимание простых вещей, над которыми так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля со студентом"[1]. Однако результаты этой работы через посредство журнального языка входили в общую систему литературной речи. В связи с этим в литературном обиходе укрепляются кальки с немецкого языка для выражения отвлеченных общественно-философских понятий: *образование* — Bildung; *мировоззрение* — Weltanschauung (ср. у Аполлона Григорьева: „Важное дело в поэте то, для чего у немцев существует общепонятный и общеупотребительный термин Weltanschauung и что у нас, tant bien que mal, переводится „*миросозерцание*"[2]); *целостность* — Ganzheit; *односторонний* — einseitig; *состоять* — bestehen; *предполагать* — voraussetzen; *призвание* — Beruf; *исключительный* — aussehlisslich; *целесообразный* — zweckmässig; *последовательность* — Folgerichtigkeit; многочисленнные составные слова, первой частью которых является ***само:*** напр., *саморазвитие* — Selbstentwickelung; *самоопределение* — Selbstbestimmung и т. п.[3]. Ср. *бессилие* — Ohnmacht; *очевидный* — augenschein и мн.. др.

С философской терминологией, идущей из Германии или созданной по образцу немецкой, сочетаются слова и выражения, относящиеся к общественно-политическим и социально-экономическим дисциплинам. Странами, откуда черпались эти термины социальной философии и публицистики, были та же Германия и особенно Франция. Характерно произношение и написание суффикса *-изм* через *-исм* в доносе Булгарина на Белинского: „***социалисм***, ***комунисм*** *и* ***пантеисм*** *в России*"[4]. Ср. в письмах В. Г. Белинского: „*во всяком обществе есть* ***солидарность***"[5]; „Что за нищета в Германии, особенно Силезии... Только здесь я понял ужасное значение слов *пауперизм и пролетариат*"[6]; в знаменитом письме Белинского к Гоголю: „*Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в* ***пиэтизме***, *а в успехах* ***цивилизации***, *просвещения,* ***гуманности***;" „*содействовал* ***самосознанию*** *России*"; „*поборник* ***обскурантизма*** *и* ***мракобесия***[7] и мн. др.

Таким образом, идет напряженная работа по выработке „отвлеченного", публицистического, газетно-журнального языка. Создается своеобразный „интеллигентский" общественно-политический словарь. „...Начинают выплывывать „гражданские темы", обсуждению подвергаются уже вопросы не только бытия, но и вопросы „действительности", философские догматы уступают место „убеждениям". Это слово с конца

---

[1] А. И. Герцен, Собр. соч., СПБ, 1906 г., т. II, стр. 311—312.
[2] А. Григорьев, Собр. соч. и писем, П., 1918 г., т. I, стр. 105.
[3] Ср. Bor. Unbegaun, Le calque dans les langues slaves littéraires. Revue des études slaves, t. XII, fasc. 1 et 2.
[4] С. Ашевский, Белинский в оценке его современников, СПБ, 1911 г.
[5] В. Г. Белинский, Письма, т. III, стр. 312.
[6] Там же, стр. 244.
[7] Можно думать, что слово *мракобесие*, забытое в своем первоначальном демонологическом значении (ср. у Даничича. Рјечник из књижевних старина српских, Београд, 1863, стр. 92: *разгнавь мракь тьмныихъ бесовь*), было реставрировано в 20—30-х годах в связи с растущим интересом к древнерусской письменности и „народной словесности".

40-х годов (Белинский) становится термином, характерным для интеллигентского словаря"[1]. Ср. в „Дворянском гнезде" Тургенева терминологию и фразеологию Михалевича: *„Мне хочется узнать, что ты, каковы твои мнения,* ***убеждения****, чем ты стал,* ***чему жизнь тебя научила*** (Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов)."

В процессе литературного распространения и освоения философской и общественно-политической терминологии особенно значительна была историческая роль В. Г. Белинского. В пародиях на язык Белинского обычно приводятся наиболее часто употребляемые Белинским слова, напр., в комедии Куликова „Школа натуральная" (1846 г.):

Вот ***индивидуум****... или простой* ***субъект****,*
Сам заключась в себе, *не двигатель массивный,*
Рельефно*, может быть, сам выступит вперед,*
Но ***пафос****, творчество с ним вместе пропадет...*
Объекта *же* ***принцип*** *в сочувствиях* ***гуманных****...*[2]

Нападки на отвлеченный язык „Отечественных записок", на их „абсолютно-объективно-субъективную" литературу в „Северной пчеле" сопровождались таким подбором философской фразеологии из статей Белинского: *„Господа! рекомендуем! славный товар! покупайте. Тут есть ...и* ***нечто****, в котором заключается* ***все****, и* ***нечто живое, развивающееся в самом себе, из самого себя,*** *и* ***выходящее из самого себя и заключающееся в самом себе,*** *и* ***зародыш борьбы и распадения,*** *и* ***возможность разделения себя на самого себя,*** *после чего квадратура круга — трын-трава"*[3].

В ст. П. А-ва (Квитки-Основьяненка) „Званые гости" приводятся такие философские „словечки" Белинского: „посыпались: *субъективно, объективно, индивидуально, популярно*"[4]. В комедии В. Не — го „Демон стихотворства" (1843 г.) карикатурно нарисован журналист Туманин, являющийся „выражением немецкой философии, которая всегда почти изъясняется языком туманным, неопределенным, надутым". Вот образчик этого языка:

Жизнь улетучилась в созданьи этом дивном
В какое-то ***слитое единство***
И ***в духе творчества субъектно-объективном***
Искусства видно в нем — ***цветенье, торжество!***
Пластичность *образов и* ***формы просветленье***
В ней ***осязательны...***

Б. Н. Алмазов иронически заставлял в своем „Сне по случаю одной комедии" произносить западника речи в защиту „беллетристики" и новой „европейской" терминологии: „Вам неприятна моя самодельщина — *беллетристика*... Этакие ли слова я говорю! Я употребляю слова *инициатива, модерный, суверенитет, шеф, мотив.* Разве можно, говоря об ученых предметах, употреблять такие слова, как *предводитель, причина* и т. п... Надо говорить вместо предводитель *шеф*, вместо причина — *мотив*"[5].

---

[1] Б. М. Эйхенбаум, Лев Толстой, 1928 г., кн. I, стр. 186.
[2] См. мою книгу „Этюды о стиле Гоголя", Л. 1926 г.
[3] „Северная пчела", 1843 г., № 6.
[4] „Современник", 1840 г., № 4, стр. 39—40.
[5] Б. Н. Алмазов, Соч., т. III, стр. 565.

Так постепенно подготовляются стили отвлеченного — журнально-газетного и научно-популярного — языка буржуазии. Они тяготеют не только к философской (идеалистической) и опирающейся на нее общественно-политической терминологии и фразеологии: они вбирают в себя элементы естественно-научной и технической терминологии. Гуманитарное эстетическое образование, господствовавшее в дворянской среде конца XVIII — первой четверти XIX в., разбавляется образованием „реальным“, естественно-научным, промышленно-техническим и политико-экономическим.

„Справочный энциклопедический словарь“ [1] пишет в предисловии: „В последние двадцать лет образование так быстро и повсеместно проникло во все классы нашего общества, что чтение не осталось роскошью, как было прежде, а сделалось необходимою потребностью жизни. Доказательством тому служит необыкновенное развитие нашей журнальной литературы, обнимающей все отрасли человеческих познаний и потому требующей изучения таких предметов, о которых прежде людям, не принадлежавшим к числу ученых, не приходилось и слышать. При постоянном чтении журналов и книг стали встречаться понятия, термины и названия, вовсе не знакомые читателям с образованием только общим“.

Но структура этих новых форм литературно-языковой идеологии, состав и соотношение разных стилей „метафизического“, отвлеченно-книжного языка вполне установились только во второй половине XIX в. 30—50-е годы — это только период брожения и смешения разных социально-языковых стихий.

§ 13. Колебания грамматической системы в 30—50-х годах.

Эта же неоформленность, противоречивая неустойчивость переходной эпохи наблюдается и в сфере грамматики литературной речи. Период от 30-х до середины 50-х годов характеризуется завершением той грамматической нормализации, которая началась в дворянских стилях и которая затем приняла односторонне догматический характер в грамматических работах Н. И. Греча. Если не бояться парадоксов, то надо выставить такой тезис: по мере того как литературный язык в 40—50-е годы теснее сближается со стилями „мещанского“, чиновничьего языка, с разными профессиональными диалектами города, грамматика нормальной литературной речи, особенно журнально-публицистической, осуждая пережитки дворянского просторечия, становится все более книжной. Это противоречие — своеобразная черта переходного состояния, которая в то же время свидетельствует о сильном регулирующем влиянии официально-канцелярской грамматической традиции.

Нормализация грамматических форм продолжает двигаться по пути устранения пережитков дворянского просторечия. Формы, осужденные карамзинской традицией, но еще продолжавшие жить в литературном обиходе, вытравливаются из грамматики [2].

---

[1] СПБ., 1847 г., изд. К. Края.

[2] Ср. некоторый метериал по этому вопросу у Л. П. Лобова, К истории русского литературного языка. Сб. общ. историко-философских и социальных наук при Пермском унив., вып. III.

Так напр: 1. Исчезают к 50-м годам просторечные формообразования типа *время* — род. пад. Ср.: *„не имел* **время**“ [1]; *„со* **время** *побед“* [2]; косвенных пад. от сущ. на *-мя* *„не знал другого* **имя**“ [3]; *„от* **время** *и страстей“* [4] и др.

2. Постепенно устраняются формы им. пад. им. сущ. среднего рода на -*ы*, впрочем, еще нередкие в 30—40-е годы. Ср. у Пушкина: *письмы* [5]; *колесы;* [6] у Вяземского: *яйцы* [7]; у Ден. Давыдова: *кольцы, горлы* [8]; у Марлинского: *явствы* [9] и т. п. Ср. частое употребление этих форм в языке Гоголя и Лермонтова.

3. Запрещен твор. пад. на *-ью* от сущ. женского рода основ на *-а* мягкого склонения вроде: *неделью* (ср. у Пушкина в переписке, в дневнике Вульфа) и т. п.

4. Изгоняются постепенно из письменного языка формы деепричастий на *-учи, ючи* (ср. уже у Греча в „Практической грамматике“ 1827 и 1834 гг.), хотя спорадически они продолжают употребляться (правда, в узком кругу глаголов) и во второй половине XIX в. Интересно, что они, по указанию Л. Толстого, долго сохранялись в разговорной речи разночинцев.

Но наряду с этим выравниванием системы литературного языка, с освобождением его от пережитков простого слога, наблюдается некоторый сдвиг грамматических норм в сторону разговорно-городского языка.

1. Все ширится сфера употребления окончания *-а* в им. пад. сущ. мужского рода.

2. Развивается смешение префиксов, в некоторых глаголах, напр., *в* и *вз*, *въехать*, вместо *взъехать* (но ср. у Пушкина: *„Лошадь взъехала на сугроб“* — „Мятель“; *„Я взъехал на отлогое возвышение“* — „Путешествие в Арзрум“); *вбежать* вместо *взбежать*, *влезть* вместо *взлезть* (у Лажечникова: *„Проворно влезла на стену“* — „Ледяной дом“; у Марлинского: *„Я со вздохом взлез“* и т. п. [10].

3. Нередко проявляются (правда, преимущественно в дворянских стилях) новые отслоения просторечия. Так, проникает в литературный язык из просторечия „еще одна модификация однократного вида *толканул, дерганул*. Это значит: чуть-чуть, едва толкнул, дернул“ [11]. Из этого значения развивается значение мгновенности действия с оттенком некоторой резкости, силы. Сперва эта форма употребляется в „простонародном“ диалоге, но потом укрепляется и в авторском языке. Напр., у Тургенева: *„Голос ее как ножом резанул его по сердцу“* и т. д.

Вместе с тем характерно развитие и усиление целого ряда специфически книжных грамматических форм. Напр.:

1. Формы деепричастий на *-я* сокращаются в числе, замыкаются в

---

[1] А. С. Пушкин, Письмо 1833 г., Переписка, II, стр. 42.
[2] Архив Раевского, т. I, стр. 193.
[3] М. Ю. Лермонтов.
[4] Лермантов, 1831 г.
[5] А. С. Пушкин, Переписка т. II, стр. 23.
[6] Там же, стр. 19.
[7] Там же, т. III, стр. 292, Письмо 1836 г.
[8] Там же, т. III, стр. 329.
[9] Марлинский, т. VII, стр. 235.
[10] Ср. В. И. Чернышев, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 354.
[11] Н. И. Греч, Чтения о русском языке, т. I, стр. 297.

строго определенные грамматические рамки и замещаются образованиями на *-в* (и даже на *-вши*). Н. И. Греч писал: „в глаголах предложных деепричастия производятся от прошедшего, а не от будущего совершенного времени, т. е. должно говорить и особенно писать: *посадив*, а не *посадя*; *вынесши*, а не *вынеся*, *бросив*, а не *брося*, *устремив*, а не *устремя*. Исключения позволительны в глаголах возвратных, напр., *убоясь. возвратясь* и в стихах, для избежания стечения согласных“ [1].

2. Стилистическая ассимиляция причастных форм с общей системой литературного языка повела к случаям образования форм — на *-щий* от глаголов совершенного вида для выражения будущего времени. Напр. у Гоголя: *„человек не* ***предъявящий*** *никаких свидетельств и пашпортов“*, *„приедущий из столицы“* [2].

Другие книжно-грамматические тенденции вполне определились только во второй половине XIX в., и их удобнее рассматривать при изучении стабилизации буржуазно-грамматической системы.

В области синтаксиса предложения следует отметить вымирание в эту эпоху следующих конструкций, унаследованных от книжно-славянского языка: 1. Употребление *быть* с дат. пад. нечленного причастия страдательного залога, как напр.: *„присудил его быть посажену на кол“* [3]; *„протодьякон просил быть оставлену в епархии здешней“* [4]; *„он нашел средство быть выпечатану и даже прочтену“* [5] и т. п.

2. Употребление род. пад. для обозначения действующего лица при причастии страдательного залога. Ср. у Жуковского: *„приглашенный от правительства“*; у Лермонтова *„покинут от друзей“* и т. п.

3 Приглагольный двойной вин. пад., т. е. вин. объекта и примыкающего к нему предикативного определения (чаще причастия), которое теперь начинает облекаться в форму твор. пад. Напр. у Пушкина: *которого привел связанного к себе на двор“* („Дубровский“); *„родительницу привели домой полумертвую“* („Родословная Пушкиных и Ганнибалов“); ср. у Батюшкова: *„видели его сидящего“*; *„узнали его идущего навстречу“* и т. п.

4. Широкое развитие твор. сказуемостного вообще является одним из характерных явлений этой эпохи.

Таким образом, происходившее в 30—50-е годы перемещение границ между книжной и разговорной речью; процесс переоценки и новой регламентации норм „книжности“ и, как контраст, процесс вульгаризации и разговорно-бытовой профессионализации литературного языка отразились и в противоречивых тенденциях грамматических изменений.

§ 14. Изменения в фонетических нормах литературной речи.

В области фонетики прежде всего возникает проблема нормализации фонетического облика иностранных слов. В дворянских стилях произношение иностранных слов или подчинялось бытовым навыкам просторечия

---

[1] Там же, стр. 45.

[2] См. примеры у В. И. Чернышева, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 326.

[3] А. С. Пушкин, Кирджали.

[4] А. С. Пушкин. Переписка, т. III, стр. 45.

[5] А. И. Тургенев, Остафьевский архив, т. II, стр. 325.

или нормам звуковой системы того языка, из которого слово заимствовано. Поэтому в дворянском обиходе наблюдалась двойственность произношения иностранных слов. Некоторые из них успели укрепиться в просторечной форме, напр.: *ярманка, анбар, азарт, азартный, лилея, шлафор*. В других допускались параллельные произношения: *аглицкий* (ср. у Пушкина: *„подобный английскому сплину“* и т. п.), *англицкий* (ср. у Гоголя) и *английнский*; *галдарея* (с оттенком устарелости) и *галерея*; *пашпорт, пачпорт и паспорт* и т. п. Напротив, большинство выражений сохраняло свою иноязычную форму. В речи буржуазной полуинтеллигенции и мещанства не было твердой бытовой традиции произношения варваризмов. Напротив: было резкое колебание между книжным произношением написания иностранного слова — иногда с перестановкой ударения — и между просторечно-бытовым „искажением“ его фонетического облика. Поэтому необходимо было установить некоторое единообразие в нормах произношения. Эта проблема уже была поставлена дворянским обществом в конце XVIII — в начале XIX в., когда происходило „очищение“ литературно-дворянских стилей от просторечия. Теперь выдвигается правило: иностранные слова должно произносить так, как они по-русски пишутся. „Справочное место русского слова“[1] дает интересные факты колебаний в произношении иностранных слов. Напр., *амбар*. Не должно писать: *анбар, анбарщик* (23); *триумф*, а не *триунф, триунфальный* (110); *шампанское*, а не *шанпанское* (123); *амфитеатр*; не должно писать: *анфитеатр* (3); *камфора*, а не *канфора, канфарный* (47); *лампа*, а не *ланпа* (53); *почтамт*, а не *почтант* (88). Ср. *„бомбардир*. Не должно говорить: *бонбардир, бонбардирование“*.

Осуждаются случаи перестановки и диссимиляции плавных и носовых: *пелеринка*, а не *перелинка* (82); *рапира*, а не *лапира* (95); *пантомима*, а не *пантомина*, (80) и т. п.; отвергается произношение *ры* после согласного: *бриллиант*. Не должно произносить: *брылиант, брылиантовый* (12); *кабриолет*. Не должно произносить *кабрылет, кабрылетка* (46) и т. п. Отмечаются явления морфологического искажения иностранных слов: *пропорция*, а не *припорция* (92); *проспект*, а не *пришпект* или *преспект* (93); *фонтан*, а не *фонтал* (115) и мн. др. Ср. еще несколько примеров: *доктор*. Не должно произносить: *дохтор* (32); *желе*. Не должно говорить: *жиле* (38); *иллюминация*. Не должно говорить: *лиминация* (43); *канарейка*. Не должно писать и говорить: *кинарейка* (47); *мануфактура*. Не должно говорить: *манифактура* (58); *министр*. Не должно произносить: *министер* (61); *мундштук*, а не *мунштук* (63); *одеколонь*, а не *лодиколон* или *окидолон* (74); *парикмахер*, а не *парикмахтер* (81); *шоколат*, а не *шеколад* или *шиколад* (124); *скелет*, а не *шкилет* (103); *унтер-офицер*, а не *ундер*, или *ундер-офицер* и мн. др. под.[2].

Любопытны также указания на перестановку ударения: *„Вольтéр*. Не должно произносить: *Вóльтер“* (19).

Необходимо помнить, что в книге „Справочное место русского слова“ предисловие гласит: „В справочном месте русского слова собраны и ис-

---

[1] 1839 г. Изд. 2-е — 1843 г.; в скобках указываются страницы второго издания.

[2] В связи с процессом нормализации фонетического облика варваризмов находится и унификация форм рода в им. сущ., имевших дублетные образования, напр.: *фарс* и *фарса, карьер* и *карьера, комод* и *комода* и др. под.

правлены ошибочные выражения, вкравшиеся в наш разговорный и письменный язык, слова, произносимые неправильно или употребляемые не в точном их значении, и при том не одними простолюдинами, но и людьми образованными. На ошибки простонародья не обращено здесь никакого внимания"... Далее подтверждается, что примеры „выбраны из разговорного языка хорошего общества, из новейших сочинений писателей, занимающих не последнее место в нашей литературе, из журналов и газет" (III—IV). Таким образом, перед нами язык буржуазного общества. В связи с этим приобретают особенный исторический интерес и правила произношения некоторых русских и церковно-книжных слов: *отсрочка*, а не *отстрочка* (78); *понравиться*, а не *пондравиться* (87); *поздравить*, а не *проздравить* (86); *завтрак*, а не *завтрик* (40); *вторник*, а не *авторник* (20); *нынче*, а не *нонче* (69); *жизнь*, а не *жисть* (39); *ужас*, а не *ужесть, про ужести* (111) и др. под.

Очень любопытно, что некоторые правила произношения иностранных и русских слов указывают на рост влияния петербургского произношения. Петербургская чиновничья струя, ориентирующаяся на письмо, на книжное чтение, вливается в фонетику литературного языка[1]. Особенно показательны в этом отношении три категории явлений:

1. Объявляется областным мягкое произношение *р* перед губными и заднеязычными в случаях так наз. второго полногласия: „*верх*. Не должно писать и говорить: *верьх, верьхний, верьховой, верьхом;* правильно: *верх, верхний, верховой, верхом*" (16); „*первый*, а не *перьвый*" (82); „*сперва*, а не *сперьва*" (105).

2. Признается нормальным произношение *чн*, а не *шн*: „*гречневый*. Часто пишут неправильно: *грешневой блин, грешневая каша;* должно писать и произносить: *гречневый, гречневая*" (29). „*Коричневый*. Не должно ни произносить, ни писать: *коришневый*" (51). „*Свечник*. Не должно писать: *свешник*" (101).

3. Канонизуется мягкое произношение *ц* перед *и* в иностранных словах: „*медицина*. Не должно говорить: *медицына, медицынскый совет;* правильно: *медицина, медицинский*" (59); „*цирюльник*. Не должно произносить: *цырюльник, цырюльня*. Правильно *цирюльник, цирюльня*" (120). Петербурское произношение усилило свои притязания на общелитературное значение во второй половине XIX в.

Таким образом, основными процессами истории русского литературного языка в период от 30-х до середины 50-х годов должны быть признаны такие явления: 1) ограничение церковно-славянизмов и их стилистическое преобразование; 2) смещение и смешение границ между системами книжного и разговорного языка; 3) профессионализация и диалектизация литературной речи, преимущественно на основе языка городской буржуазии и технической интеллигенции; 4) распад дворянских литературно-художественных стилей и 5) формирование жанров газетно-публицистической, журнальной и научно-популярной речи и рост их значения.

---

[1] Ср. петербургское *ея* вместо *её*. Ср. у Кошутича, Граматика руског језика, 1919 г., стр. 401.

VIII.

Период господства буржуазных стилей русского литературного языка над дворянскими. Процесс образования системы буржуазно-литературной речи.

§ 1. Понятие буржуазной „литературности“ языка, как антитеза понятию художественности речи.

Во второй половине XIX в. слагается система буржуазно-литературной речи. Она противостоит языку дворянской литературы. Салтыков-Щедрин пользовался, как эффектной антитезой, сопоставлением „клейменого языка“ буржуазной обличительной публицистики со стилем „дворянских мелодий“[1]. Ф. М. Достоевский писал И. Н. Страхову (от 18—30 мая 1871 г.) по поводу творчества Тургенева:... „ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). — Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали). Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове (но уже не помещичьего) — хотя и выражают в безобразном виде“[2].

Внутри художественной литературы обостряются языковые противоречия, и понятие „художественности“ оказывается запредельным, чуждым большей части литературных стилей. М. Е. Салтыков-Щедрин 7 февраля 1859 г. писал П. В. Анненкову: „У нас на Руси художникам время еще не приспело... От художников наших пахнет ябедой и семинарией; все у них плотяно и толсто выходит, никак не могут форму покорить. После Тургенева, против этих художников некоторое остервенение чувствуешь“[3].

Резкий сдвиг в системе литературного языка был связан с отрывом от традиций художественной литературы предшествующего периода. Если со второй половины XVIII в. до 30—40-х годов XIX в. основное организующее значение в структуре литературной речи принадлежало стилям „изящной словесности“ (сперва стиховым, а потом прозаическим), то с половины XIX в. понятие „литературности“ языка отделяется от понятия „художественности“ выражения. Развитие жанров беллетристики, публицистики и научно-популярной статьи, трактата выдвинуло на первый план проблему газетно-публицистического и научно-популярного языка. Уже в

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин, Собр. соч., т. X, стр. 359, 388 и др.
[2] Ф. М. Достоевский, Письма, Гиз. 1930, т. II, стр. 365.
[3] М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма, Гиз, 1925 г., стр 13—14.

„Москвитянине“ И. В. Киреевский писал: „В наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности... Может быть, от самой эпохи так наз. возрождения наук в Европе, никогда изящная словесность не играла такой жалкой роли, как теперь... В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал только периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями. В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов, поэзия — в стихи на случай; история, быв отголоском прошедшего, старается быть вместе и зеркалом настоящего, или доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатом в пользу какого-нибудь современного воззрения“ [1].

Если в эпоху дворянской культуры художественная речь была идеальной нормой, последним пределом „литературности“, если тогда под знаком художественного слова строилось само понятие литературного языка, то во вторую половину XIX в., в период господства буржуазных стилей, система „общей“ литературной речи отделяется от поэтических стилей и становится объектом художественного преодоления и отталкивания. Литературность убивает художественность. Литературность и художественность для некоторых общественных групп становятся почти антонимами. Но, конечно, чаще всего смешение, взаимодействие и разъединение этих двух категорий осуществлялось в структуре самого литературного произведения.

В высшей степени характерны суждения о соотношении между сферами литературного языка и художественной речи у Н. С. Лескова: „Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы... От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто-литературной речи... Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений — довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтиллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Меня упрекают за этот манерный язык, особенно в „Полуночниках“. Да разве у нас мало манерных людей? Вся квази-ученая литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком. Почитайте-ка философские статьи наших публицистов и ученых...“ „Усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога, т. е. владеющих живой, а не литературной речью“ [2]. В том же духе, исходя из других оснований, неоднократно высказывался Л. Толстой об отношении между литературной и живой, безыскусственной речью. В письме к Тищенке Л. Толстой говорит: „Я знаю по опыту, что вещи, писанные простым русским, а не литературным слогом, несравненно понятнее простому читателю, т. е. большинству русских людей. Выраженные простою речью, никакие оттенки не пропадают для читателя, между тем как то

---

[1] И. В. Киреевский, Обозрение современного состояния литературы. Собр. соч., М., 1910 г., т. I, стр. 121 и след.

[2] А. И. Фаресов, Против течения, СПБ, 1904 г., стр. 273—275.

же самое, изложенное литературным языком, пропускается мимо ушей и вызывает даже в простом читателе или слушателе томительное, удручающее впечатление. Вместе с тем и сама по себе та простая безыскусственная речь, которой говорит русский народ, т. е. большинство русских людей, несравненно художественнее и выразительнее всякой другой, напр. той, которой написаны повести Тургенева, „Война и мир“ и т. п. и которой никто на свете никогда не говорил и не будет говорить. Эта искусственная литературная речь употребляется только в книгах и в письмах (по скверной привычке). По скверной же привычке она проникает отчасти и в разговоры между людьми так наз. образованными, но обрывается и становится менее выдержанной в литературном отношении, чем живее интерес разговора“.

Тот же Л. Толстой, испытывая отвращение к шаблонам газетной фразеологии, писал (1884 г.): „Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, только не наш газетный“. Мысли о вреде смешения художественных и дидактико-публицистических форм речи и изображения развивал А. Ф. Писемский в письме к Ф. И. Буслаеву (4 ноября 1877 г.).[1]

§ 2. Отслоения образов художественной литературы в общем литературно-книжном языке.

Однако сопровождавшая это разделение понятий литературности и художественности характеристическая индивидуализация художественной речи не создает преград для взаимодействия между формами художественной речи и разными жанрами и стилями книжного и разговорного языка. Художественная литература теперь мало участвует в создании общих норм литературно-книжного выражения. Но она („изящная словесность“) продолжает пополнять инвентарь литературной речи отдельными словообразами, фразами, изобразительными средствами. Прием цитирования художественного текста, прием ссылок на внушительные формулы, „крылатые и меткие слова“, является одной из излюбленных форм риторического воздействия. Входят в общий литературный оборот цитаты, изречения, словечки из художественных и художественно-публицистических произведений разных писателей. Напр. из соч. И. А. Гончарова: *„вещественные знаки невещественных отношений“* („Обыкновенная история“); *„жалкие слова“* (выражение обломовского Захара); *Обломов* (как символ ленивого сибарита) и т. п. Из соч. И. Горбунова: *„кажинный раз на этом месте“* („На почтовой станции ночью“) Из соч. Сухово-Кобылина: *„ударь раз, ударь два, но не до бесчувствия же“* (слова Расплюева в „Свадьбе Кречинского“). Из соч. Н. А. Некрасова: *„беспокойная ласковость взгляда“* („Убогая и нарядная“); *„на лбу роковые слова“* („Убогая и нарядная“); *„вот приедет барин — барин нас рассудит“* („Забытая деревня“); *„суждены вам благие порывы“*. („Рыцарь на час“); *„от ликующих, праздно болтающих“* („Рыцарь на час“); *„до хорошего местечка доползешь ужом“* („Колыбельная песня“); *„размышления у парадного подъезда“* и мн. др. Из соч. А. Н. Островского: *„асаже“* (выражение из пьесы „Свои собаки грызутся, чужая не приставай“); *„белый арап, белая арапия“* (выражения свахи из комедии

---

[1]) Полн. собр. соч. А. Ф. Писемского, 1895 г. Т. I, стр. CCXLVII — VIII.

„Праздничный сон до обеда"); „*жупел*" (из реплики купчихи Настасьи Панкратьевны в „Тяжелых днях": „Вот, тоже, как услышу я слово *жупел*, так руки-ноги и затрясутся"); „*жестокие, сударь, нравы в нашем городе*" („Гроза"); „*чего моя нога хочет*" („Грех да беда на кого не живет") и т. п. Из соч. Салтыкова-Щедрина: „*административный восторг*"; „*благоглупости*"; „*чего изволите*"; „*головотяпы*" (из „Истории одного города"); „*карась-идеалист*"; „*Колупаевы и Разуваевы*" (типы кулаков; „За рубежом"); „*мальчик в штанах*" и „*мальчик без штанов*" („За рубежом", гл. I, „Разговор в одном явлении"); „*мягкотелый интеллигент*" („Пошехонские рассказы"); „*недреманое око*"; „*эзоповский язык*" и мн. др. Из соч. Л. Толстого: „*с изюминкой*", „*нет изюминки*" (выражение возникло из пословицы: „*не дорог квас, дорога изюминка в квасу*" — Даль, но стало ходячим после пьесы Л. Толстого „Живой труп"); „*образуется*" (выражение камердинера Облонского из „Анны Карениной"); „*от ней все качества*" (от водки: заглавие пьесы Л. Толстого) и др. Из соч. Ф. М. Достоевского: „*бедные люди*"; „*униженные и оскорбленные*"; „*карамазовщина*"; „*чем хуже, тем лучше*" и мн. др. Из соч. И. С. Тургенева: „*дважды два — стеариновая свечка*" (слова Пигасова из „Рудина"); „*дворянское гнездо*"; „*друг Аркадий, не говори красиво*" (пересказ слов Базарова из романа „Отцы и дети"); „*живые мощи*" (заглавие рассказа из „Записок охотника"); „*лишние люди*" („Дневник лишнего человека")[1] и др. Из соч. Г. Успенского: „*власть земли*": „*тащить и не пущать*" (полицейский лозунг; рассказ „Будка") и др. Из соч. А. П. Чехова: „*недотепа*" (выражение Фирса из „Вишневого сада"); „*двадцать два несчастья*" (прозвище Епиходова из „Вишневого сада"); „*лошадиная фамилия*"; „*унтер Пришибеев*"; „*человек в футляре*" и мн. др. Из соч. А. Толстого: „*против течения*" (первоначально из библии); „*то было раннею весной*" и др. (кроме того, публицистика кишела изречениями Кузьмы Пруткова). Из соч. А. Н. Майкова: „*чем ночь темней, тем ярче звезды*" („Не говори," 1882 г.). Из соч. Ф. И. Тютчева: „*мысль изреченная есть ложь*"[2]). Из соч. Короленко: „*бытовое явление*". Из соч. М. Горького: „*бывшие люди*"; „*рожденный ползать летать не может*" („Песня о соколе") и мн. др. Кроме этих отдельных фраз и образов, литературный язык воспринимал от художественных произведений приемы словесной композиции, методы речевой характеристики персонажей из разного социального круга, принципы риторического воздействия и разнородные формы символического выражения.

§ 3. Господствующее положение публицистических стилей.

В связи с изменением состава и функций художественных стилей, в структуре буржуазно-литературной речи решительно перемещается связь

[1] С именем И. С. Тургенева соединялось также представление о создателе термина *нигилизм, нигилист*. Но Тургенев только подновил значение и распространил этот термин, имевший сложную историю до романа Тургенева „Отцы и дети". См. об этом слове заметку М. П. Алексеева в „Сб. ст. по славяно-русской филологии", посвящ. акад. А. И. Соболевскому, изд. Ак. наук, 1930 г.

[2] См. более обстоятельный перечень цитат (в алфавитном порядке) в книге М. И. Михельсона „Ходячие и меткие слова"; С. Займовского „Крылатое слово", но особенно в до сих пор еще, к сожалению, не напечатанном исследовании проф. Сонни (известному автору по рукописи).

и соотношение разных стилей и жанров. Доминирующее положение занимают стили журнально-публицистической, газетной и научно-популярной речи. Их влияние обнаруживается и в языке художественной литературы. Они же становятся основным источником обогащения разговорно-интеллигентского языка. Тот буржуазно-интеллигентский словарь, который начал формироваться в 30—40-х годах, развивается и эволюционирует преимущественно в семантической сфере газетно-журнальной, публицистической речи. Тут же намечаются та диференциация этого словаря, те оттенки словоупотребления, те различия в подборе слов и выражений, в их значениях, в их экспрессии, которыми определяется общественно-идеологическое расслоение, партийная группировка интеллигенции.

В публицистическом языке вырабатываются своеобразные формы семантики, своеобразные фразеологические обороты, носящие отпечаток того, что называлось общественно-политическим „мировоззрением", „политическими убеждениями". История этой публицистической фразеологии отражает эволюцию общественной мысли и правительственного режима. Напр. в 40-е годы укрепляется слово *прогресс* [1]. В конце 50-х годов по царскому распоряжению запрещено употреблять это слово в „официальных бумагах [2]. В „Дневнике" А. В. Никитенки (цензора) под 31 мая 1858 г. есть запись: „Запрещено употреблять в печати слово *прогресс*".

В 50—60-е годы укореняется понятие *среды* в значении: окружающее общество, социальная обстановка (французское milieu) [3].

И. С. Тургенев писал А. Н. Плещееву от 24 сентября 1858 г.: „*Окружающая среда тяготит вас*" [4]. В романе Н. Г. Помяловского „Молотов" (1861 г.) встречается выражение „*среда заела*": [5] — „И тебя вырастила почва". — „А то что же?" — „Это называется *среда заела*". — „А вот и не заела... *Среда... заела*... Новые пустые слова. Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это". В „Филологич. записках" [6] преподаватель И. Николич писал: „Далось также новейшим литераторам слово *среда* для составления крайне нелогичных выражений: *среда окружает, среда давит, живет в тесной среде* и т. д. вместо: *окружает общество, в тесном кругу* и пр". [7]. Ср. у Ф. М. Достоевского в „Дневнике писателя" [8] за 1873 г. в пародической речи адвоката, который защищает мать, в злобе обварившую у своего годовалого ребенка руку

---

[1] В „Карманной книжке для любителей чтения русских газет и журналов", составленой Иваном Ре... ф... цем (СПБ, 1837 г.), слова *прогресс* еще нет.

[2] М. Лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, СПБ, 1904 г., стр. 323.

[3] По П. Д. Боборыкину, слово среда в этом значении употреблялось еще в 40-х годах. См. С. Займовский, Крылатое слово, стр. 335.

[4] „Тургенев и его время" Сб. I под ред. Н. Л. Бродского, Гиз, 1923 г., стр. 304.

[5] В „Словаре церковно-славянского и русского языка" Ак. наук (1847 г.) слово *среда* еще не имеет этого значения. По сравнению с словарем Ак. Рос. здесь прибавлено физическое значение: тело, вещество (т. IV, стр. 212).

[6] „Грамматические заметки", Филологич. записки, 1873 г., вып. I, стр. 9.

[7] Ср. также ст. И. Николича, Неправильности в выражениях русской речи. „Филологич. записки", 1878 г., вып. I, стр. 29—30.

[8] Ф. М. Достоевский, Дневник писателя, Соч., г. т. XI, Гиз, стр. 21—22. Ср. у Салтыкова-Щедрина: „*По природе он совсем не фатюй, а ежели являлся таковым в своем отечестве, то или потому только, что его „заела среда", или потому, что это было согласно с видами правительства*" („За рубежом").

кипятком из самовара: „*Естественно, что под такую минуту, когда злоба от* **заевшей среды** *входит, так сказать, внутрь... она и поднесла руку под кран самовара...*“ И тут же рядом от „писателя“: „*Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей средой*“.

В 70-е годы XIX в. в публицистической речи либералов создается слово *средостение* для эвфемистического обозначения бюрократии (Ср. у Салтыкова-Щедрина в „Письмах к тетеньке“). Характерны такие публицистические выражения, как *увенчание здания* (о конституции в публицистической фразеологии 70—80-х годов); *шкурный вопрос, шкурный инстинкт; направленство* и т. п. Ср. пущенное в ход М. П. Погодиным (по адресу „Современника“ в эпоху редактирования его Н. Г. Чернышевским) выражение *рыцари свистопляски* [1]. В публицистике 80-х годов рождается выражение *либеральная размазня*. Вот как комментирует это выражение один из его любителей: „Оно обозначает очень характерное явление в жизни интеллигентного общества, заключая в самом названии его меткую и злейшую насмешку над ним“ [2].

Через сферу газетно-публицистической речи распространялись и укреплялись в разных слоях читающего общества общественно-политические термины и лозунги [3]. Здесь остро и непосредственно отражалась борьба классов, борьба разных политических идеологий.

§ 4. Эволюция литературной лексики.

В сфере журнально-публицистической и газетной речи продолжается напряженный процесс разработки лексико-фразеологических форм для выражения отвлеченных понятий, процесс обогащения литературного языка новой интеллигентской лексикой и терминологией. В литературную речь входит множество слов, которые до этой эпохи оставались в пределах узкой специальности. Таким образом, границы общего буржуазно-интеллигентского словаря развиваются в сторону разных специальных языков. Нередко такие слова, выполнявшие функцию специального термина в той или иной отрасли науки, в литературной речи обслаиваются новыми отвлеченными значениями. Но и помимо усвоения и распространения технической и научной терминологии (особенно общественно-политической и естественно-научной) возникают из наличного морфологического материала новые слова, преимущественно с отвлеченным значением, или на

---

[1] П. Н. Ткачев, Избр. соч., 1932 г., т. IV, стр. 7. Впрочем, само слово *свистопляска* в его прямом реальном значении было широко известно и в первой половине XIX в. Напр. в „Дневнике“ И. М. Снегирева под 22 ноября 1824 г. читаем: „*Он* (Хитров), *повидимому, был доволен, намекал о переводе его пиесы о свистопляске в Вятке*“ (стр. III). Ср. в „Толковом словаре“ Даля: „*Свистопляска* (вятск.) — тризна по убитым ошибкою вятчанами устюжанам (в XIV в.), пришедшим на помощь и принятым за неприятелей, за что первые прозваны слепородами и *свистоплясами*; в этот день (четвертая суббота от пасхи) свищут в глиняные уточки и дудочки на овраге, у часовни. *Свистопляс* — разгульный тунеядец, шатун“ (изд. 1-е, т. IV, стр. 137).

[2] П. Хохряков, Язык и психология, Казань, 1889 г. стр. 65.

[3] Ср., напр., своеобразное революционное значение слова — *дело, великое дело* в языке революционно настроенной разночинной интеллигенции 60-х годов. Любопытный материал для изучения публицистического языка Н. Г. Чернышевского можно найти в книге Н. Бродского и Н. Сидорова, Комментарий к роману Чернышевского „Что делать“, 1933 г., изд. „Мир“.

старые слова нарастают новые значения. Темп этого лексического роста и основные его проявления будут заметны, если изучить те дополнения, которые внесены в словарь Даля проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ.

К числу таких слов, усвоенных русским литературным языком с 60-х годов XIX в. (если даже исключить очень специальные термины, еще не получившие прав общелитературного гражданства), даже только на три первые буквы алфавита, приходится отнести большую группу варваризмов: *абзац, аборт, абортивность, абсент, абсурд, автотипия, агитировать, аграрный, адюльтер, акомодация, акумулятор, ализарин, алитерация, альбумин (белок), альтернатива, альтруизм, амбулатория, анилин, антецедент, антипирин, антисемит, антисемитизм, аншлаг, апломб, арбитраж, суперарбитр* (слово *арбитр* у Даля указано), *артикулировать, артикуляция, артрит, ахроматизм* (слово *ахроматический* в словаре Даля есть), *бактерия, бетон*, новое значение слова *буржуазия* (в противоположность *пролетариату*), *буржуа, буржуй* (слово, которое встречается в романе Тургенева „Новь"); *вокализм, вокализация, вотум* (доверия), *винегрет* (в переносном значении), *галантность, галантный, дифамация, дифракция, концессия* и мн. др.

Кроме того некоторые слова, отмеченные в словаре Даля, изменили свое содержание, свои значения; немало русских слов возникло после 60-х годов. Напр.: *беспробный* (о золоте), *бессодержательность, бессодержательный* (ср. также отсутствие в словаре Даля слов: *содержательность, содержательный*), *бесформенный, брехунец* (в значении адвокат), *бурбон* (офицер, выслужившийся из нижних чинов — из кантонистов и сдаточных), *внушение* (в психологическом значении, а также в официально-деловом, напр., *получить соответствующее внушение со стороны министерства; внушение* в прямом значении еще в старину проникло в русский литературный язык из церковно-славянского языка [1]); *выдворить* (судебным или административным порядком); *прокатить на вороных* (при баллотировке), *впечатлительность, вскидчивый* (сварливый, вздорный), *вспрыски*, и др. под.; *белоперчаточное фарисейство сытой морали* (при получении доходов с занятий будто бы унизительных для данного сословия или корпорации, напр., для адвоката — барыш от торговли), *белоподкладочник, всесторонний (всестороннее рассмотрение, обсуждение), всесокрушающий, судебно-медицинское вскрытие, выразитель, выразительница* и др.

Очень интересны так же лексические дополнения к словарю Даля, сделанные Я. Шейном [2]: *бесправие, бесправный, бесшабашный* (в значении отчаянный, беспардонный), *благодушествовать, говорильня* (комната, определенная для бесед, разговоров), *наглядный, наглядность* (кальки немецкого anschaulich), *неизменяемость, обезземелить, общинник, объединить, объединение, отожествлять, отожествление, полнозвучный, прародина, праязык, разночтение* (вариант), *разновидность, самообладание, самоуничтожение, содержанка, сосредоточенность, стрелочник* (на железной дороге), *уподоблять, уподобление, уравновесить* и др. под. Точно так же И. Ф. Наумов указал много слов, не вошедших

[1] См. *Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum*, 1862, стр. 98.
[2] П. Шейн, Дополнения и заметки к „Толковому сковарю" Даля, СПБ, 1879 г.

в словарь Даля [1], и некоторые из них являются неологизмами или литературными приобретениями последующей эпохи. Напр., *бронзовый* (в значении дутый, фальшивый; из финансового диалекта: *бронзовый вексель, бронзовый счет), военщина, иеримиада, культ, отмочить* (штуку: сделать, сказать что-нибудь экстравагантное, необычное), *предумышленный; причинность (*Kausalität*), пешедралом, санитар, санитарный, сплавить кого-нибудь* в переносном смысле, *суммовать* (слагать, подводить итоги цифр), *суммация* и др.

Для этих неологизмов XIX в. характерна стилистическая неразграниченность книжно-публицистических, даже научных слов и терминов, иногда составленных по нормам церковно-славянского языка, и форм мещанского бытового просторечия, иногда с провинциальным, областным отпечатком. Книжность смешивается с просторечием. Нормы стилистических делений зыбки, неустойчивы. „Книжными" становятся многие из тех слов, которые в литературном языке предшествующей эпохи причислялись к просторечию, напр.: *быт, бытовой, бытовать, почин* (в значении *инициатива), суть, рознь, строй, отчетливый, дословный, корениться, обрядовый, противовес, самодур*, ср. также: *набросок, накидок* (esquisse), *проходимец* и др.

С другой стороны, в журнально-публицистическом языке возрождаются церковно-книжные, архаистические типы словообразования. Я. К. Грот указывает на образование в 40—60-х годах таких книжных слов, как *научный, проявление, деятель (вместо делатель), даровитый, настроение, творчество, представитель, сопоставление, голосование, плоскогорье* [2], и др. Тот же ученый, разбирая первое издание „Русско-французского словаря" Макарова (1867 г.), отмечает пропуск многих слов, некоторые из которых, „правда, еще новы, но и те уже приобрели или, по крайней мере, более и более приобретают право гражданства". Выстраивается такой ряд книжных новообразований: *водораздел, главенство, законоположение, замкнутость, крепостник, крепостничество, мероприятие, непререкаемый, обусловливать, передвижение, полноправный, правомерный, представительство, пререкание, принудительный, равноправный, самовосхваление, самодеятельность, самообольщение, самоуправление, сдержанность, собственник, численность* [3] и мн. др.

Особенный интерес для историка представляют слова и выражения, связанные с процессом развития капиталистических отношений и из области торгово-промышленной или финансовой терминологии переходившие в систему буржуазно-литературного языка. Таковы, напр., выражения: чьи-нибудь *акции поднялись, упали; ажиотаж; банкрот* (нравственный); *потерпеть крах* [4] (ср. у Н. А. Некрасова:

---

[1] И. Ф. Наумов, Дополнения и заметки к „Толковому словарю" Даля, СПБ, 1874 г.

[2] Я. К. Грот, Филологич. разыскания, СПб. 1876 г., изд. 2-е, т. I, стр. 17—18, 22. Разбор словаря Даля.

[3] Филологические разыскания, т. I, стр. 228.

[4] Ср. в романе П. Д. Боборыкина „Василий Теркин" разговор землемера с помещиком Иваном Захарычем: „Это была бы только отсрочка ... краха ..." — „Вон какие слова употребляет. Крах ... И терпи" — подумал Иван Захарыч. — „Извините ... я называю крахом ..." — „Да, да, нынешнее слово, я знаю..." — „Слово настоящее, Иван Захарыч ..."

Плутократ, как караульный
Станет на часах,
И пойдет грабеж огульный,
И случится крах.

[illegible] „Современники“. „Герои времени“;

надежды, планы лопнули; крупный вклад во что-нибудь, напр., в науку; *выйти в тираж; гарантировать, гарантия;* (ср. у Н. А. Некрасова: „*Антокольский! изваяй. Гарантию и субсидию*“); *дисконтировать* в переносном значении (ср. слова дворянина-дельца Палтусова в „Китай-городе“ П. Д. Боборыкина: „*Если у нас есть воспитание, ум, раса, наконец, надо все это дисконтировать; учесть* (в переносном значении); *дискредитировать; свести счеты с кем-нибудь; запросы; итоги; в итоге* и мн. др. под.[1]. Ср. у Н. С. Лескова в романе „На ножах“: „*Я задумал было и жениться, конечно, не по рассчету и не по прикладным соображениям, однако этому, как кажется, не суждено осуществиться, и я эту* ***статью уже выписал в расход***“.

§ 5. Варваризмы в литературном языке второй половины XIX в.

В процессе борьбы разных систем идеологии, которые находили то или иное отражение в семантике русского литературного языка, — опорным пунктом или объектом отрицания была общественно-политическая деятельность разных групп западноевропейской буржуазии. Поэтому книжная речь во вторую половину XIX в. продолжает вбирать в себя лексические „варваризмы“, обороты, фразы и синтаксические конструкции западноевропейских языков. Я. К. Грот в своем разборе словаря Даля (в конце 60-х годов.) так характеризовал эту тенденцию современного ему литературного языка: „В последние десятилетия, начиная с 40-х годов, по мере того как русское общество научилось придавать вещам более цены, чем именам, — у нас стали слишком пренебрегать чистотой языка и слишком мало стесняться в употреблении иностранных слов и оборотов. Таким образом, в печати появилось множество выражений, искусственно привитых к русскому языку, напр., *рассчитывать на кого или на что; делать кого несчастным; иметь жестокость; предшествовать кому; предпослать что чему; пройти молчанием; разделять чьи-либо мысли, или чувства; прежде нежели сказать; слишком умен, чтобы не понять; иметь что возразить; иметь что-нибудь против*“. По словам Грота, в 60—70-х годах к этим оборотам присоединилось еще много других, напр. *считаться с чем* (tenir compte de quelque chose), *человек такого закала* (un homme de cette trempe), *раз он взялся, — непременно сделает* (une fois qu'il s'en est chargé); *немыслимый* (undenkbar) и пр.

Тенденция к наукообразным, искусственно-интеллигентским формам выражения, густой слой специальной терминологии, ассимилированной стилями научно-публицистического, газетно-делового языка, — все это насыщает литературную речь второй половины XIX в. заимствованиями из западноевропейских языков. Лексические варваризмы, влившиеся в ли-

[1] См., напр., материалы у И. Т. Сакса, Русско-немецко-англо-французский словарь выражений и оборотов, свойственных торговой корреспонденции, М. 1912 г.

тературно-общеинтеллигентскую речь, по большей части относятся к следующим областям: к естественным и социально-экономическим наукам, к общественному быту, промышленности, к политическим, экономическим и юридическим устоям буржуазной гражданственности, к характеристическим определениям личности и к нормам светского поведения. Интересно прислушаться к голосам свидетелей литературного зарождения и распространения этих варваризмов, полным сочувствия или неприязни. В этих пристрастных суждениях беспристрастно и надежно само историческое свидетельство о факте литературной канонизации варваризма.

В брошюре А. Б. „Отчего? зачем? и почему? Оскудение и искажение русской речи“[1], вышедшей повидимому из бюрократических кругов с националистической окраской, рост варваризмов ставится в связь с либеральным движением 60-х годов, „эпохой конвульсивных порывов некоторой части нашего общества, а по преимуществу писательской братии, к чему-то новому, не своему“. „И тут-то, — пишет автор, — под влиянием дарованной благодетельными реформами значительной свободы, мы крепко покумились с западом. Пошла усиленная работа по расковыриванию наших старых язв, явилась обличительная литература, полная страстности и нетерпимости и потому ничего общего с изящной литературой не имевшая. Таким образом сошлись два деятеля для порчи родного языка — это жадное хватание выражений из чужих языков, только в малой части оправдываемое, и ничем не оправдываемое нерадение и даже пренебрежение к началам благозвучия и разработке гибкости оборотов родной речи“ (3—4).

Главным предметом обличений автора этой брошюры является газетно-публицистический язык с его варваризмами. Как примеры свежих варваризмов, выступают слова, „особенно докучливо мелькающие на газетных столбцах, это *инцидент* (случай, событие, приключение, происшествие) и *версия* (молва, толки, слухи)“... „*Эта чета: инцидент с версией*, пристраиваясь ко всяким явлениям сфер парламентских, дипломатических и даже сцен иноземного уличного мордобития, надоедают до омерзения“ (5). „Позже двух предыдущих мелькнуло раз в „Новом времени“ слово: *интервьюировал*“ (6). Ср. у Н.С. Лескова в рассказе „Загадочное происшествие в сумасшедшем доме“: „Поехали за фельдшером, чтобы он шел как можно скорее подать какую-нибудь помощь или, как нынче красиво говорят, „констатировать смерть“. Почти все современники отмечали, с разными оценками и комментариями, как факт, сопутствующий размножению варваризмов, широкое распространение фразеологических шаблонов газетного языка или, как саркастически их называет автор брошюры „Отчего, зачем и почему?“... „избитых выражений газетного пустословия“ (14). Связь этих явлений „в газетном складе речи“ иронически представляется в таком виде: „Своим шаблонным языком став почти в уровень с говором толпы, печать... и полемические состязания ведет во вкусах улицы. Но чтобы удержаться все-таки на высоте авторитета, становится на ходули иностранщины... Русский язык запруживается окончательно разными *измами, ациями* и *ированиями* в им. сущ., *ическими, альными* и другими окончаниями в им. прил., причем и ряды наших глаголов тоже пестрят иноземщиной, втиснутой в строй вместо вытолкнутых вон русских слов“ (15—16). Сюда же примыкает в разборе словаря Даля замечание

[1] СПБ, 1889 г. В скобках указаны страницы этого изд.

Я. К. Грота о „целом легионе глаголов, подобных следующим: *импонировать, изолировать, игнорировать, бравировать, формулировать, вотировать, конкурировать, резюмировать, тренировать*". Этот „разряд слов особенно неудачен, так как тут мы видим иногда двойное искажение: французское слово видоизменено сперва немецкой формой его окончания (*iren*). Чтобы уменьшить безобразие, некоторые стали отбрасывать слог *-ир* и говорить, напр., *формуловать, цитовать*, по образцу более старых глаголов: *атаковать, арестовать, командовать, пробовать*". [1].

Точно также пуристически настроенный автор другой книжки „Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском языке" [2] (некто Н. Г.) жалуется, что чистота языка „крайне исказилась введением в него множества иноязычных, преимущественно французских слов и выражений". Рядом с варваризмами указываются, как балласт газетно-публицистической речи, архаические формы старославянские и старо-русские: „присоединилось еще и другое иноязычие — старо-славянское и старо-русское, не соответствующее безусловной чистоте новейшего русского литературного языка" (6). Заявляется, что всеми этими недостатками наиболее грешат многие произведения так наз. изящной литературы (романы, повести, рассказы и т. п.) и всего более журналы и газеты" (22).

В качестве недавно введенных „неправильных галлицизмов" отмечены такие слова: *игнорировать* (14), *инерция, интеллигенция, интеллигентный* („в смысле высоко образованного рода людей") (14), *интеллектуальный* (14), *конкретный* „*concret* — слово отчасти логическое, отчасти философское, но в русском литературном языке не подлежащее употреблению") (15), *констатировать* (галлицизм... весьма часто употребляемый) (15), *консервативный* (по-русски... *охранительный* или *сохранительный*) (15), *максимальный и минимальный* (16), массовый (с французского слова *masse*, *en masse*, употребляется в смысле *громадный, скученный*, что совершенно неправильно) (16), *пенсион* (с французского *pension*, по-русски — *пенсия*) (18), *сервировать* (19), *рационально, регулировать* (16), *традиция, традиционный*, (20), *фон* (21) и др. под.

Отмечаются также недавно укоренившиеся фразеологические галлицизмы официального языка: *оставить город, место жительства, свой пост* (*quitter une ville, son poste* — „грубые галлицизмы"); *иметь место* (*avoir lieu*); *сделан* вместо *назначен* или *произведен*, напр., *сделан генералом* в место *назначен министром* или *произведен в генералы* и т. п. — „галлицизм и совершенно неправильное выражение, часто употребляемое ныне" (19) и др. под.

На постоянное злоупотребление иностранными словами в деловой, журнальной и газетной речи, как характерное явление литературного стиля эпохи, указывает и П. Сергеич (П. С. Пороховщиков) в своей интересной книге „Искусство речи на суде" [3]. „Мы слышим: *травма, прекарность, базировать, варьировать, интеллигенция, интеллигентность, интеллигент, мотивировать и фигурировать*... Мы встречаем людей, которые по непонятной причине избегают говорить и писать слова: *недостаток, пробел, упущение, исправление, поправка, дополнение;* они говорят: *надо*

[1] Я. К. Грот, Филологические разыскания, т. 1, стр. 17-18.
[2] 1890 г. В скобках указаны страницы этого издания.
[3] П. Сергеич., Искусство речи на суде, СПБ, 1910 г., стр. 13—14.

внести **корректив** *в этот* **дефект;** вместо слов: *расследование, опрос, дознание,* им почему-то кажется лучше сказать: *анкета,* вместо *наука — дисциплина;* вместо: *связь, измена, прелюбодеяние — адюльтер...* Эти безобразные иностранные слова приобретают понемногу в нашем представлении какое-то преимущество перед чистыми русскими словами: *детальный анализ и систематическая группировка материала* кажутся более ценной работой, чем *подробный разбор* и *научное изложение предмета*". Между тем, огромное большинство этих незванных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные: *фиктивный — вымышленный, мнимый, инициатор — зачинщик* [1], *инспирировать — внушать, доминирующий — преобладающий, господствующий, симуляция — притворство* и т. д." Правда, „в современном языке, преимущественно газетном, встречаются ходячие иностранные слова, которые действительно трудно заменить русскими, напр.: *абсентеизм, лойяльность, скомпрометировать*".

Интересно, что варваризмы официально-деловой, общественно-политической, научно-технической и бытовой окраски попадают даже в стиховой язык. Ср., напр., у Н. А. Некрасова употребление таких слов, как *адепт, афера, биржевик, брошюра, вист, гонорар, гуманность, дебаты, дебоширствовать, дивиденд, идеалист, инфузории, иллюстрация, квитанция, колоссальный, консоляция, концессия, коммунизм, нигилист, нотация, публицист, радикал, реальный, резолюция, ретроград, спекуляция, субсидия, такса, тариф, фельетон, эстрада и др.* [2].

Вместе с тем самый выбор иностранных слов, отбор специальной терминологии, ориентация на те или иные формы научного или профессионального языка определялись общественно-идеологическими расслоениями в буржуазно-дворянской среде. Так, Б. М. Эйхенбаум, анализируя философский язык Л. Толстого, указывает, что в 60-х годах происходит „борьба между дворянской и разночинской наукой — не только в методах, но и в самом выборе наук. В этом смысле философский язык Толстого и Урусова, насыщенный математическими и физическими терминами, очень характерен. Все эти *параллелограмы сил, квадраты расстояний, алгебраические уравнения,* и т. п. — вся эта „урусовщина" использована Толстым против разночинцев-„реалистов" с их дарвинизмом и с их стремлением сделать историю отделом естествознания" [3].

Так происходит в связи с идеологической борьбой классов, общественных групп перераспределение функций и авторитета между разными областями научной, профессиональной, технической терминологии. Предметное содержание и сфера употребления варваризмов обусловлены социальной оценкой той или иной категории явлений, всем строем общественной жизни (ср., напр., огромную притягательную силу общественно-политической и производственно-технической терминологии и фразеологии в

---

[1] Ср. в романе П. Д. Боборыкина „Китай-город" разговор между двумя дельцами из дворян:

— У вас есть инициатива.

— Без ученых слов, голубчик!.

— Нет, позвольте его повторить... *Инициатива.* По-русски *почин,* если вам угодно. Собр. соч. СПБ. 1897 г., т. 1, стр. 25.

[2] См. подробней в ст. С. А. Голованенко, Язык Некрасова, „Ярославский край", сб. II, 1930 г. и в книге К. Чуковского, Некрасов. Кубуч, 1926 г.

[3] Б. М. Эйхенбаум, Л. Толстой, кн. II, 1931 г., стр. 358.

современном литературном языке). Поэтому очень существенно вникнуть не только в подбор варваризмов, но и в приемы их употребления и семантического изменения. Напр., для литературного языка второй половины XIX в. характерно „обобществление“ целого ряда естественно-научных „терминов“ вроде: *аберрация* (первоначально — астрономический и оптический термин), *акклиматация* или *акклиматизация*, *агломерат*, *экземпляр* и т. п. Все эти слова, укрепляясь в общей системе книжного языка, обрастают новыми значениями. В сущности, нередко одно иностранное слово, его значения, его экспрессивная атмосфера отражают умонастроение и мироощущение той или иной социальной среды. Напр., В. В. Розанов писал в своей книге „Уединение“ [1]: „В мое время, при моей жизни, создались некоторые новые слова: в 1880 г. я сам себя называл *психопатом*, смеясь и веселясь новому удачному слову. До себя я ни от кого (кажется) его не слыхал. Потом (время Шопенгауэра) многие так стали называть себя и других, потом появилось это в журналах. Теперь это — бранная кличка, но первоначально это обозначало „болезнь духа“ вроде Байрона, обозначало поэтов и философов. Вертер был психопат. — Потом позднее возникло слово *декадент*, и тоже я был из первых. Это было раньше, чем мы... услышали о Брюсове; А. Белый — не рождался“ (94—95).

Ср. у Н. С. Лескова в „Жемчужном ожерелье“: *„Э, говорю, — да ты любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки“ (слово* **психопат** *тогда еще не было у нас в употреблении).*

Употребление иностранных слов находило опору и в официальном языке второй половины XIX в.

§ 6. Взаимодействие между газетно-публицистическими стилями и официальной и стилями канцелярской речи.

Газетно-публицистические, а отчасти и научные стили литературной речи находились во взаимодействии с официальным, канцелярским языком. Во всяком случае, с разными оттенками экспрессии вовлекались в них выражения официального языка. И обратно: официально-канцелярский язык до известной степени впитывал внушения языка прессы. По-видимому, наиболее ярко эта связь публицистических жанров литературного языка с канцелярской, официальной речью (нередко в своеобразной пародийной и сатирической интерпретации ее) отразилась в творчестве Салтыкова-Щедрина [2].

Влияние газетного языка не только содействует распространению книжной фразеологии, штампов публицистической речи, канцеляризмов, но и укрепляет в „общем“ языке некоторые „вольности“ словоупотребления. Так развивается употребление предлога *благодаря* не только по отношению к положительным, но и к отрицательным понятиям. „В печати он попадается в таких оборотах речи, как: *благодаря моровой язве, благодаря зверству турок* и т. п.“ [3].

---

[1] СПБ, 1912 г., стр. 94—95.

[2] См. обшую характеристику языка Салтыкова-Щедрина в ст. С. А. Голованенко, Язык Салтыкова-Щедрина. Труды Ярославского пединститута, т. III, вып. I.

[3] И. М. Николич. Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати, Филологические записки, 1877 г., вып. I. стр. 2.

Нередко, напротив, и сам официальный язык питался фразеологией газетной речи. Так в 70-х годах „модное выражение“ *итти в разрез с кем-нибудь, чем-нибудь*, в смысле: быть противоположного мнения, расходиться во мнениях с кем-нибудь, пошло в ход и пришлось по мысли даже официальному миру“ [1].

Очень интересны иронические выпады современников против „некоторых особенностей официальной литературы, охраняющей и лелеющей еще много архаизмов, вроде: *дабы, кои, поколику, купно, токмо, облыжно, неукоснительно, неупустительно* и др.“ [2].

Из официального же языка шли в литературную речь разночинной интеллигенции такие архаические и церковно-славянские слова и выражения (по указанию брошюры 1890 г. [3]): „*Буде* (будет, т. е. если) — старое приказное русское слово, которому давно уж не место в новейшем русском языке“ (11). „*Вовне* — слово церковно-славянское, употребляемое в духовных сочинениях; в светских же не должно быть употребляемо, вместо соответствующего ему *во внешности*“ (12). „*В бозе* — на церковно-славянском языке; по-русски значит: *в боге*, и, вместо *в бозе почивший*, — правильнее говорить и писать: „*блаженной или покойной памяти почивший или умерший*“ (12). — „*Вящще, вящщий* — слово церковно-славянское, значит: *более, больший*; в светском языке не должно быть употребляемо“ (12). „*Нарочитый, нарочито и нарочный, нарочно*. Первое слово значит знатный, важный, именитый, а *нарочито* — значительно; эти старые слова не следует теперь употреблять; *нарочный* же—посланный с особенным поручением или назначением“ (16—17). „*Поелику* — слово церковно-славянское и стародавнее приказное: в русской речи неуместно“ (18). „*Соборне* — церковно-славянское слово; по русски следует говорить и писать: *соборно*“ (20). „*Совне* — слово, употребительное в духовных сочинениях, не должно быть употребляемо в русском литературном языке, на котором ему соответствует слово *извне*“ (20), — „*Таковый* — слово устарелое; следует говорить и писать: *такой*“ (20). „*Заведующий* — ныне во всеобщем употреблении, но неправильно, потому что это слово происходит от слова *заведывать*, а не от заведовать.“ (14). „*Обоего пола* — неправильное выражение во всеобщем употреблении; есть *мужский* и *женский пол*“; но *обоего пола* нет и быть не может, а потому следует говорить и писать: *обоих полов* (18). „*Отношение* требует союза *к, к чему*, а не *с чем*, как часто неправильно говорится и пишется“ (17—18). „*Прилагать при* — неправильно; следует писать: *прилагать к чему* (18). „*Согласно чему* — неправидьно употребляется ныне; следует: *согласно с чем* (особенно в канцелярском языке)“ и др. под.

В газетном языке наблюдается также распространение выражений. возникших в петербургской бюрократической среде и отзывающихся германизмами. Напр., блюститель чистоты русского языка в 70-х годах за-

---

[1] И. Николич, Грамматические заметки. „Филологические записки“, 1873 г., вып. I, стр. 10. Ср. стилистическую оценку этого выражения со стороны И. Николича: „и дикое представление, и оборот речи очень дикий“.

[2] Н. Г. Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном языке, 1890, стр. 12.

[3] Там же. В скобках указаны страницы этого издания.

мечал: *во внутрь* России; ср. *in's Innere des Reiches;* отсюда по аналогии *из внутри*[1].

Из канцелярской же речи проникают в литературный язык, особенно в газетный стиль, новые типы словообразования. В качестве примера приводился „перл из недр специализованной литературы" — глагол *заслушать: заслушать какой-нибудь отчет, доклад* ***был заслушан***. „Идя далее от этого глагола, имеющего отношение к одному из пяти чувств, — возмущался пурист 80-х годов, — можно варьировать и глаголы, относящиеся к другим чувствам". Иронически рисуется перспектива такого словотворчества: *чертежи, планы были засмотрены... что-нибудь занюхано, защупано, завкушено (зализано)*[2]. Ср. современные лексемы: *зачитать, заснять*: ср. широкое у п о т р е б л е н и е п р и с т а в к и ***за*** в специальных диалектах.

Кроме того, отмечалась (особенно чувствительная для стилей деловой речи) общая неупорядоченность отношений глагола к другим грамматическим категориям, особенно к им. сущ., „отсутствие соответствия между глаголами, выразителями известного действия и состояния предметов, и существительными именами, воплощающими глагольную суть" (19). Напр., глаголы „*вставать и сидеть* имеют свои им. сущ. *вставание* и *сидение*, но *встать* и *сесть* не имеют. *Присест* — приурочивается только к единичным лицам, а в случаях... коллегиального образца нетерпимо... в отношении целого общества *присест* — сохрани бог" (19—20). Точно так же „*нагреть* не соответствует слову *нагревание*. Но вот техника изобрела слово *нагрев* — и отлично" (сюда же относится *обжиг* вместо *обжигания* от глагола *обжечь*). „Вообще, в разных областях технических знаний создалось не мало очень удачных по своей правдивости названий".

Специальные языки и официально-деловые, канцелярские, газетные, публицистические стили особенно болезненно ощущали, по свидетельству современников, „несостоятельность" русской книжной речи „в области соотношений между именем и глаголом". Напр., глагол *заболеть* не имел себе параллели в имени *заболевание*. „Не мало есть глаголов и вида однократного, которые не имеют существительных; таковы: *вздрогнуть, пошатнуть, потухнуть, дернуть, моргнуть*, и т. п." (21). Пародически рассказывалось о молодом канцеляристе, который, надписывая обложки дел, не знал, как озаглавить дело о таком-то утопленнике. „*Прямо* ***об утопленнике таком-то*** *озаглавить нельзя было, потому что этим нарушалась форма,* — *на делах надписывалось обыкновенно:* ***о розыске, о поимке, о препровождении, об отчуждении*** и т. д. *Вот бедняга и ломает голову, как надписать.* ***Об утоплении... об утопе... об утоне... об утопии***... *Нет, все не ладно. Начальник-корнеслов выручил из затруднения, удачно подсказав:* ***об утонутии***" (21—22)[3].

---

[1] Н и к о л и ч, Филологические записки, 1877 г., вып. I, стр. 2 — „*Преподавая два или более языков; три и более преподавателей стараются.* Тут едва ли не заметно влияние склада немецкой речи. По-русски можно сказать не иначе, как только: *преподавая два языка или более* (того); *три преподавателя (трое преподавателей)* и *более* (*того*) *стараются*" (*5*).

[2] А. Б., Отчего? зачем? и почему? Оскудение и искажение русской речи, СПБ., 1889 г.

[3] Ср. полемику по вопросу о количественном росте этой категории отглагольных сущ. в современном литературном языке. См. А. М. П е ш к о в с к и й,

Так в официально-деловых и газетно-публицистических стилях необходимость компактно-аналитического и синтаксически единообразного изложения приводит к размножению неуклюжих, искусственно-книжных слов и формул для выражения отвлеченных понятий. Вместе с тем характерно для конца XIX в. намечающееся в некоторых кругах интеллигенции сознание необходимости более широкого и свободного включения производственно-технической терминологии и фразелогии в систему литературного языка.

На почве взаимодействия официально-деловой и журнально-публицистической речи, в связи с растущей тенденцией к отвлеченно-литературным формам выражения, увеличивается количество отглагольных существительных (преимущественно на *-ание, -ение, -ивание, -евание*). Ср. в языке Гл. Успенского: *„приподнятие и мановение указательным пальцем"; „процесс отворяния крови"; „в том мире, где не имеют другого дела, кроме подставления собственной спины под удары"; „что-то очень похожее... на исчезание, на смерть"* и др. под.; ср. также пародические обозначения канцелярских дел: *„о сдернутии меня с кресла за ногу"; „о зашвырнутии моей калоши из швейцарской благородного собрания в дехтярный клуб"* („Записки маленького человека") [1]. Развиваются описательные фразеологические обороты, связанные с употреблением отглагольных имен. Характерно, что отглагольные сущ. на *-ание* находят широкое применение даже в стихах у писателей гражданского направления, напр., у Некрасова. Это, — главным образом, официальные, книжные или специальные слова, нередко с архаическим или церковнославянским колоритом. Ср. в языке Некрасова: *водворение, назначение, кучение, орошение, утоление, кружение, поругание, борение, бряцание, стенание, стяжение* и др. под. [2] Но литературно-дворянские стили, вне официального круга тем, чуждались оборотов чиновничьей речи.

Количественный рост отглагольных им. сущ. был вызван, между прочим, неотложной нуждой в отвлеченных литературных формулах, в фразеологических единствах для официального или абстрактного обозначения разных видов „деятельности". В официально-деловой, научной, публицистической и газетной речи часто было очень существенно стереть или затушевать оттенок индивидуализирующей, нередко фамильярной, конкретно-бытовой изобразительности и выразительности действия, присущий простой форме того или иного глагола. Для этой цели служили формы описательного актива или пассива [3]. Они составлялись из более или менее абстрактного глагола, выражающего собой оттенок деятельности или действия вообще, т. е. из глагола с почти замершим (в данной связи) конкретным значением, и из зависимого отглагольного им. сущ., которое и раскрывало суть, содержание действия. Напр., *нанести удар* (вместо *ударить*); *нанести рану* (вместо *ранить*), *нанести обиду, оскорбление,* и т. п. (ср. в со-

---

Глагольность, как выразительное средство. Сб. статей, Л. 1925 г. Г. О. Винокур, Глагол или имя. Опыт стилистической интерпретации. „Культура языка", 1929 г. М. Гус, Ю. Загорянский, Н. Каганович, Язык газеты, М. 1926 г. и др.

[1] О чиновничьих элементах в языке Гл. Успенского см. у А. Камегулова, Стиль Глеба Успенского, 1930 г., стр. 86—87.

[2] См. другие примеры в ст. С. А. Голованенко. Язык Некрасова, стр. 215.

[3] Об описательном активе и пассиве см. статью В. Н. Державина в ж. „Руский язык в советской школе", 1931 г., № 1.

временном газетном языке даже: *нанести визит; совершить ошибку, нападение* и т. п.: *произвести кражу, продажу, злоупотребление* и т. п.; *вступить в соглашение, в переговоры, в действие* и т. п.; *вести борьбу, войну, переговоры, беседу, разговор* и др. Эти обороты отчасти шли от церковно-славянской традиции (ср., напр., *одержать победу, нанести вину* в значении: обвинить и т. п.), отчасти явились кальками западноевропейских фразеологических сочетаний (напр.: *принять участие, принять меры, делать впечатление, дать аудиенцию, иметь успех, соприкосновение* и т. п.; но ср. церковно-славянское выражение: иметь желание). Эти обороты усиленно развивались с половины XVIII в. Таким образом, во второй половине XIX в. уже существовавшая и бывшая продуктивной фразеологическая форма расширяет свои функции, приобретает большую силу притяжения. Так, распространяется применение какого-нибудь „вспомогательного“ глагола на всю категорию однородных явлений. Напр., глагол *оказать* в „Словаре церковно-славянского и русского языка“ 1847 г. определяется так: *изъявить, показать* (т. III стр. 56); в словаре Даля прибавляются к этому определению два слова: *обнаружить, высказать*. Примеры: *оказать почтение, милость* (Ак. словарь 1847 г.); *оказать негодование, оказать услугу* (Даль). Этот семантический ряд теперь деформируется, так как слово *оказать* в большей части фраз почти совсем теряет конкретное значение показа, активного обнаружения. Ср. вереницу фраз: *оказать помощь, содействие, услугу, протекцию; оказать давление, действие, воздействие* и т. п.

Распространению этого оборота содействовал также параллелизм активных и пассивных оборотов (ср. *подвергнуть испытанию, наказанию, преследованию, лишениям, пытке* и т. п. — и *подвергнуться испытанию, наказанию* и т п.; *давать, дать применение — находить, найти применение* и т. п. напр., *его способности, наконец, нашли применение* и др.). Ср. также смысловое соотношение параллелей: *влиять, повлиять — испытать влияние, подвергнуться влиянию; содействовать — пользоваться содействием* и т. п.

С другой стороны, описательные фразеологические обороты не только возмещали для некоторых понятий отсутствие прямых форм обозначения (напр., *ввести в заблуждение, дать отпор, впасть в ярость* и т. п.), но и открывали широкие возможности для семантической диференциации значений, для специализации параллельных выражений. Напр.: *предложить* и *сделать предложение* (брачное); *ходить* и *иметь хождение* (о деньгах); *раздражить* и *вызвать раздражение; покуситься* и *совершить покушение; оценить* и *дать оценку* и т. п. Таким образом, выковывались отвлеченные формулы, приобретавшие в той или иной специальной сфере значение термина. Происходило замещение синтетических форм выражения аналитическими — по типу западно-европейских языков.

§ 7. Ответвления западнических традиций дворянской языковой культуры.

Однако ощущение недостатка отвлеченных „светских“ форм выражения в русском литературном языке не ослабевало. Оно было свойственно по преимуществу тем слоям общества, которые были органически связаны с дворянской культурой предшествующего периода и продолжали жить

в смысловой атмосфере западно-европейских литературных языков. „Нашему языку, — писал П. Хохряков, — по милости обилия в нем фонетического реализма, с гораздо большим трудом и меньшим успехом, чем другим европейским языкам, удавалось вырабатывать значения в своих терминах со смыслом настолько общим и вместе с тем определенным, соответственно известным, видовым и родовым понятиям и идеям, чтобы эти термины могли вполне удовлетворять потребностям отвлеченной мысли и практической стороны жизни [1]." Это „недостаточное участие аналитического, интеллектуального элемента в созидании русского языка" (54), неразвитость в нем „аналитических приемов мышления" (46), по мнению автора, выражаются в отсутствии общих, отвлеченных терминов для обозначения необходимейших понятий общежития. Напр., в русском языке нет слова, соответствующего французскому la manière — *манера*. *Замашка* и *прием, приемы* заменить его не могут. „*Замашка* лишь выражает оттенок термина с более общим значением — *манера*". „Термин — *прием*, как носящий на себе, по своему значению также особый частный отпечаток, равно не годится для перевода французского слова" [2]. Другой пример — „французское слово un abord, в смысле доступности для других известного лица... Слово *доступ* не дает надлежащей идеи о нем; так как выражает лишь часть содержания понятия, обозначаемого им... В содержание французского слова входит и представление об отношениях со стороны того лица, к которому открыт доступ (стеснительных или нестеснительных, „легких, удобных, приветливых или наоборот)". Точно так же во французском языке есть пять отдельных слов для обозначения понятия о с л у ч а е в различных его формах: cas, occasion, hasard, accident, incident. Ср. еще близкие к понятию случая оттенки значений слов: conjoncture, rencontre, une fortune, chance. В русском же языке существует только одно слово — *случай* — с видоизменением его — *случайность*. „Хорошо еще, что мы могли позаимствовать из этого богатого запаса кое-что, три слова — *шанс, инцидент* и *оказию* от occasion" [3]. Даже в тех случаях, когда русский язык с первого взгляда поражает обилием соответствий французскому слову, при более глубоком анализе обнаруживается в русских словах отсутствие смыслового оттенка для выражения светской, утонченной расчлененности значений французского языка. Напр. французский глагол lancer переводится четырьмя русскими словами: *бросать, кидать, метать* и *пускать*. Однако во французском слове есть непереводимый на русский язык смысловой оттенок. „Светское общество, или свет, в тесном смысле этого слова, доступен не всякому. Когда не только вводят и водворяют кого-нибудь в свет, но вступление его в последний сумеют так обставить, устроить, и дать ему сразу такой ход, что то лицо приобретает в нем быстрый успех, производя собою заметно выгодное впечатление, выделяющее его перед другими членами светского общества, то французы выражают это словом lancer, говоря, что такой-то человек lancé в свете... Нельзя сказать по-русски: *такой-то человек брошен, кинут, пущен в свет*, а о глаголе *метать* и говорить нечего: он совсем уж тут не годится. Можно еще приблизительно пере-

---

[1] П. Х о х р я к о в, Язык и психология, Казань, 1889 г., стр. 22.
[2] Т а м ж е, стр. 22.
[3] Там же, стр. 6—7.

дать — *пущен в ход в свете*; но выражение *пускать в ход* воспроизводит представление о пускании в ход машины; лучше сказать — *дан такому-то ход в свете*, но чрез это не получится живописной образности, заключающейся в глаголе lancer"[1]. Ср. отсутствие в русском языке „драгоценных" слов для выражения „нравственных и душевных движений", „для расширения нашего умственного горизонта", для передачи понятий, обозначаемых такими словами: l'ascendant, délicieux, l'urbanité, ressentir, das Gemuth, die Sehnsucht, the humbug, the gentry, the sweet heart, the sooth (в смысле правды и нежности), l'entendement, l'hommage, das Werden, die Güldigung, die Gesinnung, die Zaute, hold, l'affection и т. д.[2].

Интересно сопоставить с этими суждениями такой разговор между Калломейцевым и Сипягиной в „Нови" И. С. Тургенева:

— „Позвольте вас спросить, зачем вы это, говоря по-русски, употребляете так много французских слов? Мне кажется, что — извините меня... это устарелая манера".

— „Зачем? зачем? Не все же так отлично владеют родным наречием, как, напр., вы. Что касается меня, то я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных, я дорожу его чистотой. Перед Карамзиным я склоняюсь! Но русский, так сказать, ежедневный язык..., разве он существует? Ну, например, как бы вы перевели мое восклицание de tout à l'heure: „C'est un mot!" *Это — слово?* Помилуйте".

— „Я бы сказала: *это удачное слово*".

Калломейцев засмеялся. — „*Удачное слово*! Валентина Михайловна! Да разве вы не чувствуете, что тут... семинарией сейчас запахло... Всякая соль исчезла..."

Так же и буржуазное газетно-журнальное речетворчество не удовлетворяло те общественные круги, преимущественно дворянские, которые были органически связаны с эстетической культурой предшествующего периода. Для них западно-европейские языки, особенно французский и английский, сохраняли значение идеальной нормы словесного выражения. Из французского языка черпались „аналитические приемы мышления", формы выражения „различных оттенков в отношениях между понятиями и идеями". Французский язык „обостряет лезвие понимания нами явлений внутренней, психической жизни", — писал П. Хохряков[3].

В английском языке привлекал грамматический строй его, представлявший разительную противоположность запутанным, многосложным конструкциям русской книжной речи. Выдвигались, как объект для подражания и заимствования, „дробность и отрывистость грамматических форм, даже отсутствие их, так как в английском языке стоит только одно существительное имя поставить перед другими существительным именем, чтобы оно играло пред своим собратом роль имени прилагательного, не облекаясь для этого в особую форму, а между предложениями, которые во всех других языках связываются относительными местоимениями, последние нередко опускаются, как бы излишняя помеха для быстроты говора"[4]. Однако эта морфологическая „эллиптичность" не мешает английскому

---

[1] П. Хохряков, Язык и психология, стр. 13.
[2] Там же, стр. 32.
[3] Там же, стр. 46.
[4] Там же, стр. 25.

языку свободно выражать „все разнообразие, все тонкости богато развитой мысли“.

Эти рассуждения получают особый смысл на фоне того протеста, той отрицательной оценки, которую вызывала у людей, воспитанных на почве дворянской словесной культуры, искусственная книжность публицистического языка разночинно-демократической интеллигенции.

§ 8. Гипертрофия книжности в буржуазном литературном языке.

В газетных, журнально-публицистических, официально-деловых и научных стилях буржуазно-литературной речи развивается своеобразная манера искусственно-книжного, перифрастического, синтаксически запутанного изложения. Слова и фразы отрываются от своих предметных основ. Между словом и выражаемым понятием, предметом возникает промежуточная сфера условно-описательных приемов изображения. Ф. М. Достоевский в „Дневнике писателя“ дал этому стилистическому явлению такую ироническую характеристику: „Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет: *принеси воды*, а скажет, наверно, что-то в таком роде: *принеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке*. Эта шутка отчасти похожа на правду“[1]. Такого рода „литературность“ выражения была типическим явлением не только в книжно-публицистической речи, но составляла органическое свойство и официально-бытовой реторики буржуазного общества. А. Ф. Кони в своей статье „Приемы и задачи обвинения“[2] рисует защитника, который таким образом определял драку: „*драка есть такое состояние, субъект которого, выходя из границ объективности, совершает вторжение в область охраняемых государством объективных прав личности, стремясь нарушить целость ее физических покровов повторным нарушением таковых прав. Если одного из этих элементов нет налицо, то мы не имеем юридического основания видеть во взаимной коллизии субстанцию драки*“. Не менее характеристичны и приведенные П. С. Пороховщиковым (П. Сергеичем) „примечательные строки“ из законодательных материалов той эпохи: „*между преступными по службе деяниями и служебными провинностями усматривается существенное различие, обусловливаемое тем, что дисциплинарная ответственность служащих есть последствие самостоятельного, независимо от преступности или непреступности данного деяния, нарушения особых вытекающих из служебно-подчиненных отношений обязанностей, к которым принадлежит также соблюдение достоинства власти во внеслужебной деятельности служащих*“[3]. П. Сергеич комментирует стиль этого отрывка: „В этом отрывке встречается только одно нерусское слово; тем не менее, это настоящая китайская грамота. В русском переводе это можно изложить так: *служебные провинности, в отличие от служебных преступлений, заключаются в нарушении обязанностей служебной подчиненности или несоблюдении достоинства власти вне службы; за эти провинности устанавливается*

[1] Ф. М. Достоевский, Дневник писателя, Критические статьи. Собр. соч. изд. Маркса, 1895 г., т. IX, ч. 1, стр. 59.

[2] А. Ф. Кони, На жизненном пути, 1913 г., т. I, стр. 111.

[3] П. Сергеич, Искусство речи на суде, 1910 г., стр. 8.

дисциплинарная ответственность. В подлиннике 47 слов, в переложении 26, т. е. почти вдвое меньше".

Любопытен и другой пример официально-деловой конструкции, указанный П. Сергеичем в „уголовном уложении": *„виновный в опозорении разглашением, хотя бы в отсутствии опозоренного, обстоятельства, его позорящего, за сие оскорбление наказывается заключением в тюрьме"*[1].

В этом искусственно-книжном языке расплываются смысловые очертания слов; утрачивается точность и предметная определенность выражения. Термины отрываются от понятий и вещей. Возникают плеоназмы. Напр., в научном языке самого начала XX в.: *„превыше всяких **человекоуподобительных персонификаций**"; преступных деяний, **окрашенных** религиозным **моментом**"*[2] и т. п.

Эта риторическая штампованность речи вытравляла из „высоких" слов их предметное содержание. Очень интересен совет А. П. Чехова писательнице А. А. Авиловой (1892 г.): „Выкиньте слова *идеал* и *порыв*. Ну их!"[3]

Эта нарочитая книжность проникает из литературного языка в жаргоны и в язык мелкобуржуазной полуинтеллигенции. Иллюстрацией может служить описанный Ф. М. Достоевским в „Подростке" эпизод самоубийства девушки, оставившей записку в таком стиле: *„Маменька милая, простите меня за то, что **я прекратила мой жизненный дебют**"*. Язык этой записки комментируется персонажами романа, и, между прочим, Версилов поясняет: „Выражение, конечно, не подходящее, совсем не того тона, и действительно могло зародиться в гимназическом или... каком-нибудь условно-товарищическом... языке, или из фельетонов каких-нибудь, но покойница употребила его в этой ужасной записке совершенно простодушно и серьезно".

Та же „ложная книжность" двигалась и в язык мещанства, принимая иногда здесь крайне искусственные формы. Н. Телешов в рассказе „Черною ночью", действие которого относится к 90-м годам, изображает жителя глухого городишка, молодого почтового чиновника, местного культуртрегера, склонного к социализму, Прокофьева, который „не умел произносить слов, как их обыкновенно произносят, а выговаривал их так, как они пишутся: не *езык*, а *язык*, не *субота*, а *суббота*, не *харашо* а *хорошо*"[4]. Ср. приводимые А. Ф. Кони в статье „Обвиняемые и свидетели" мещанские, напоминающие язык лесковских героев выражения: *о нанесении раны в запальчивости и раздражении нервных членов"; „о страдании падучей болезнью в совокупности крепких напитков"; „о доведении человека до краегульных решений и уже несомненных последствий"; о невозможности для меры опьянения никакого реомюра"* и др.[5]

---

[1] П. Сергеич, Искусство речи на суде, стр. 9.

[2] Проф. Н. Д. Сергеевский, К учению о религиозных преступлениях. „Журн. мин. юстиции", 1906 г., № 4; П. Сергеич, Искусство речи на суде, стр. 10.

[3] См. замечания о борьбе А. П. Чехова с шаблонами литературного языка в книге А. Дермана, Творческий портрет Чехова, 1929 г., стр. 252—260.

[4] Н. Телешов, Рассказы, кн. II., изд. 3-е, 1919 г. Цитирую по статье А. С. Орлова: О социологии языка русских литературных произведений, „Родной язык в школе", 1927 г., кн. 2.

[5] А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. I, стр. 351.

§ 9. Основные тенденции в употреблении и преобразовании церковно-славянизмов.

Структура газетных, журнально-публицистических а иногда даже литературно-художественных стилей, эволюционируя в сторону искусственной книжности, тяжеловесной и изысканной наукообразности изложения, в то же время вбирала в себя сложные оттенки бытовой экспрессии, непринужденную развязность фамильярно-обиходной речи и окружала этими экспрессивными формами книжные слова. В газетно-публицистическом языке разночинной интеллигенции развивались характерные приемы экспрессивного преобразования церковно-книжных выражений, „снижения“ их, применялись своеобразные методы иронической „вульгаризации“ высокого, официального стиля и принципы морфологического и семантического „скрещения“ книжных и просторечных форм.

Прежде всего, любопытно положение церковно-славянизмов в структуре литературной речи вообще и газетно-публицистических стилей в частности. Выделяются две основных тенденции. За пределами культового языка и опиравшихся на него форм церковной или официально-правительственной риторики церковно-славянизмы представляли неупорядоченную массу лексических и фразеологических осколков, находивших разнообразное стилистическое применение в книжной, а отчасти и в разговорной речи. Таковы, напр., фразы и идиомы: *алчущие и жаждущие; альфа и омега; бить себя в грудь; бросить камень в кого нибудь; не взирая на лица; Валаамова ослица заговорила; вкусить от древа познания; во главу угла; глас вопиющего в пустыне; горнило искушения; грехи юности; на сон грядущий; жертва вечерняя; житейское море; лелеять, хранить, беречь, как зеницу ока; злачное место; злоба дня; знамение времени: избиение младенцев; иже с ним; избрать благую часть; ни на йоту; испустить дух; исчадие ада; каинова печать; камень преткновения; камни возопиют; не оставить камня на камне; кимвал бряцающий и медь звенящая; книга за семью печатями; конь бледный; краеугольный камень; кромешная тьма (ад); внести свою лепту; лицо земли (по всему лицу земному); манна небесная; во мгновение ока; мерзость запустения; метать бисер перед свиньями; вливать вино новое в мехи ветхие, старые; не от мира сего; нищие духом; Ноев ковчег; земля обетованная; не обинуясь; отделять овец от козлищ; отложить попечение; отрясти прах от ног своих; первые будут последними, и последние первыми; петь лазаря; отделять плевелы от пшеницы; запретный плод; плоть и кровь; положить душу за кого-нибудь; в поте лица своего; почить от дел (трудов) своих; поцелуй Иуды; власти предержащие; притча во языцех; пройти сквозь огонь, воду и медные трубы; святая святых; скрежет зубовный; соль земли; сосуд скудельный; суета сует; темна вода во облацех; умыть руки; Фома неверный; ни холоден, ни тепл; хромать на оба колена; чающие движения воды; чечевичная похлебка* и мн. друг. Несомненно, что некоторые из этих выражений не были свойственны дворянским стилям и явились продуктом разночинно-демократического расширения объема „литературности“, напр. *злачное место; избиение младенцев; иже с ним; власти предержащие; притча во языцех; темна вода во облацех* и др.

Церковно-книжные фразы иногда разрывались, вступая в контамина-

цию с другими выражениями. Напр., в словах: *„народная мысль ставила во главу всех отношений религиозную точку зрения“* пурист 70-х годов осуждал выражение: *во главу* (ср. церковно-славянскую идиому *во главу угла*) „вместо того, чтобы сказать *ставила во главе*“ [1].

Другая тенденция употребления церковно-славянизмов была особенно характерна для литературного языка разночинцев и примыкавших к ним революционных и либеральных слоев дворянской интеллигенции. Она состояла в широком применении (часто ироническом и сатирическом) церковно-славянизмов, носивших яркую книжно-архаическую или церковно-культовую окраску, в смешении их с просторечными „вульгаризмами“. Вот примеры из писем М. Е. Салтыкова-Щедрина: *„Статья Анненкова* („О значении художественных произведений для общества“, защищавшая „чистую художественность в искусстве“) *...заключает в себе* ***теорию сошествия св. духа***„ [2]; *„была речь* ***уготовать*** *для Аксакова* ***сеню*** *в Вятке“* [3]; *„Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а* ***духа жива вдохнуть в них не может***“; [4] *„обнимем друг друга и возопием“* и мн. др. У Ф. М. Решетникова в повести „Ставленник“: *„все необходимые вещи* ***для живота и наружного украшения***“; у Н. Г. Помяловского в „Очерках бурсы“: *„много в том месте,* ***злачнем*** *и* ***прохладнем,*** *паразитов“*; в повести „Молотов“; *„из нижних этажей, на улицу, купечество выставило свое* ***тучное чрево***“; у Гл. Успенского: *„принялся работать ею* (шваброй) ***елико*** *хватило сил“; „автор счел нужным* ***елико возможно*** *обесцветить ...оригинальность лица“; и* ***несть числа*** *и меры всему благородству“; „люди могли жить и* ***наполнять житницы***“; *„****вопиял*** *он“* и др. под. [6]. Ср. в романе П. Д. Боборыкина „Перевал“ речь интеллигента-разночинца: *„напоил* ***оцтом*** *гнилого учения душу человека“; „дерзать и посягать“; перестать гоняться за огненными языками...* ***болотных хлябей***“ и т. п. [7].

Процесс „вульгаризации“ церковно-славянизмов поддерживался специфическими приемами морфологического и семантического скрещения и искусственного сращивания книжных и просторечных элементов. Это явление можно иллюстрировать такими примерами. Из Н. А. Некрасова:

Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловоррот.

(„Кому на Руси жить хорошо“.)

Ср. у Д. В. Григоровича в очерках „Корабль Ретвизан“: „Не видал тех оскорбляющих всякое чувство экзекуций, которые некоторые делили

---

[1] „Филологические записки“, 1877 г., в. I, стр. 5.
[2] М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма, Гиз, 1925 г., стр. 4.
[3] Там же, стр. 10.
[4] Там же, стр. 13.
[5] Там же, стр. 12,
[6] А. Камегулов, Стиль Гл. Успенского, стр. 85.
[7] Ср. также в романе П. Д. Боборыкина „Василий Теркин“ речь землемера и лесовода Хрущева: *„я в первый раз во всю мою жизнь не скорбел, глядя на вековой бор, на всех этих маститых старцев, возносящих свои вершины“.* „Любите фигурно выражаться, Антон Пантелеич“, — перебил Теркин. — *„По сладости речи ужели не изволите распознавать во мне косвенного представителя...?“* — „Духовного звания вы?“

даже на разряды и называли: *искросыпательными, зубодробительными и скуловоротными*".

Эти приемы „вульгарно-книжного" сращивания морфем проявляются в таких реставрациях и новообразованиях,как *злопыхательство, злопыхательный* [1]; *благоглупость; очковтиратель, очковтирательство; пенкоснимание, пенкосниматель; зверинствовать* (Гл. Успенский) и т. п. Ср., напр., распространение суффиксов: *-енция* — в фамильярном, ласкательно-уничижительном значении (*распеканция, старушенция, поведенция* и др. под.); *-тура, -отура (верхотура, пехтурой) -истика* (*ерундистика, глупистика;* ср. впрочем, ранее возникшее слово: *шагистика); -логия* (*болтология* и мн. др. под.).

§ 10. Буржуазная смесь книжного с просторечным.

Литературный язык второй половины XIX, в. опираясь на стили газетно-публицистической, официально-деловой, научно -популярной речи как на свою структурную основу, развивается экстенсивно — в ущерб семантической интенсивности, в ущерб глубине и отчетливости смысловых соотношений внутри лексико-фразеологической системы. Стилистические контексты предшествующей эпохи разрушаются. Широта объема понятия литературного языка мешает кодификации стилей. Характерно, что во второй половине XIX в. не было построено системы форм и норм риторического построения и воздействия взамен отвергнутой еще в 40-х годах риторики церковно-книжного и литературно-дворянского языка [2]. „Русское общество научалось придавать вещам более цены, чем именам", отсюда недостаточное внимание к стилистическим варьяциям словесных форм, — так объясняли современники низкий уровень эстетической культуры слова в буржуазном обществе [3]. В буржуазных стилях литературного языка второй половины XIX в. гипертрофия искусственной книжности умещается рядом с демократическим уплотнением и расширением литературной речи.

Очень интересный и показательный, хотя и несколько курьезный, материал для иллюстрации этого „смешанного" книжно-просторечного состояния буржуазной речи можно извлечь из брошюры П. Тиханова „Криптоглоссарий" (представление глагола *выпить*). Здесь собрана лексика и фразеология, вращавшаяся в пределах литературного языка и связанная с представлением о выпивке, о пьянстве. В противоположность дворянской традиции, в которой фразеология пьянства носила отпечаток или простонародности (напр. *нализаться, как зюзя; куликнуть* и т. п.), или военного и картежного арго (напр. *зарядиться, быть на втором взводе, с мухой, под мухой, нарезаться* и т. п.), или же каламбурной нарочитости (*под шефе, фрамбуаз, насандалиться, заложить за гал-*

[1] Ср. отсутствие этого слова в „Словаре церковно-славянского и русского языка" Ак. наук, 1847 г. и в „Толковом словаре" В. И. Даля. Ср. в „Словаре русского языка, составл. „Ак. наук 2 отд. (1907 г., т. II, стр. 2692—2693) примеры из соч. Салтыкова-Щедрина. Но ср. церковно-славянское образование: з л о д ы х а т е л ь н ы й (Д ь я ч е н к о, Полный церковно-славянский словарь, стр. 203).

[2] См. об этом в моей книге „О художественной прозе", в гл. „Из истории риторики".

[3] Я. К. Г р о т, Филологические разыскания, 1876 г., т. I, стр. 17.

стук и др.), в буржуазной речи представление глагола *выпить* осуществляется, с одной стороны, красками городского вульгарного просторечия, нередко с жаргонным оттенком (*ковырнуть, нажраться, надрызгаться, дернуть, дерябнуть, долбануть, дербануть, дербалызнуть, налакаться раздавить мерзавчика, раздавить баночку, хлебнуть малую толику, садануть, тюкнуть, хлобыснуть, царапнуть, хватить* и др. под.), с другой стороны, приемами нарочито книжных, нередко официальных и церковно-славянских перифраз (*вонзить в себя, двинуть от всех скорбей, писать мыслете, нарезаться в достодолжном порядке, разрешить вино и елей, совершить возлияния Бахусу, устроить опрокидон или опрокидонт* и т. п.).

Эта стилистическая незамкнутость контекстов и категорий буржуазно-литературного языка отражается и на структуре толковых словарей этой эпохи. Так в „Малом толковом словаре русского языка" Л. Е. Стояна (1913 г.) к литературной лексике отнесены, напр., такие слова, как *балаболка* —висюлька, брелок; *тарахкалка; белявый* — светлорусый, блондин и т. п. С другой стороны, в „Русском объяснительном словаре" А. Старчевского[1], который должен был, по замыслу автора, заключать в себе одни непонятные слова", чтобы „притти на помощь в этом отношении русскому школьному учителю и учительнице, и дать им возможность справиться о значении не совсем понятных им слов, а равно и слов русского ученого и литературного языка, на котором издаются все наши журналы и газеты и пишутся наши современные ученые и литературные произведения", собраны архаизмы и устарелые церковно-славянизмы (напр., *вспять*), и перемешаны с употребительными книжными выражениями, вроде *всецелый* (236), *всеобъемлющий* (235), *всемерно* (235), *вспрянуть, воспрянуть* (240), *встречный иск* (240), *вспало на ум, на мысль* (238) и т. п.

§ 11. Классовые различия в разговорной речи буржуазного общества.

Разнородные приемы и принципы совмещения и смешения книжных и просторечно-бытовых форм, различия в классовой, социально-групповой природе соединяемых элементов устанавливали резкую грань между дворянскими и разночинно-демократическими стилями литературной речи. Это стилистическое разноречие литературного языка находилось в связи с социальными контрастами бытовой речи. Разговорный и письменный язык крупного дворянства по-прежнему ориентировался на семантику западно-европейских языков, преимущественно французского и английского, и на формы „простонародной", „крестьянской" речи. В языке „Анны Карениой" Л. Н. Толстого рельефно выступают эти черты дворянского стиля. Напр.: „У нее (у лошади) в высшей степени было качество, заставлявшее забывать все недостатки; это качество была кровь, та кровь, которая *сказывается* , по английскому выражению".

„Для Сергея Ивановича меньшой брат был славный малый, с сердцем, *поставленным хорошо* (как он выражался по-французски)".

---

[1] СПБ, 1891 г., вып. I до середины буквы „в". В скобках указаны страницы этого изд.

„Когда он (художник) *поступил в Академию и* ***сделал себе репутацию***...*“* Ср. в речи действующих лиц романа: *„Ах, полно, Долли, все* ***делать трудности***...*“; „Вронский — это один из самых лучших образцов* ***золоченой молодежи*** *петербургской* и т. п. [1].

Характерна примесь к этой лексической и фразеологической массе общеинтеллигентского словаря также специальной терминологии. „Левину было противно самому, что он употреблял такие слова (*стимул*), но с тех пор как увлекся своей работой (теорией хозяйства), он невольно стал чаще и чаще употреблять нерусские слова“.

Не разорвавшаяся еще связь дворянской речи с крестьянским языком во второй половине XIX в. не раз находила в некоторых слоях дворянства даже социально-философское обоснование. Напр., В. Безобразов в конце 50-х годов в статье „О сословных интересах“ писал: „Помещичий класс, как и вообще аристократия, есть высшая степень развития крестьянства. Помещик — потенцированный крестьянин“ [2]. Понятно, что и Л. Н. Толстой в борьбе с буржуазной культурой публицистического слова свободно переносил крестянские слова и выражения даже в „авторский“ свой язык. Напр.: *„мы все в жизни как* ***неуки****-лошади,* ***обратанные*** *и введенные в хомут и оглобли“*. Правда, дворяне, оторвавшиеся от усадебной жизни, а нередко и от национальной почвы, вроде Тургенева, разрабатывали по европейским образцам утонченный язык светского литературного повествования, равно далекий и от наиболее резких провинциализмов крестьянского языка и от „вульгаризмов“ разных стилей буржуазного городского просторечия. Интересно наблюдение проф. Б. М. Соколова, что „Тургенев весьма верно и правдиво воспроизводит речь барской дворни“, бывалых людей, с оттенком „образованности“ и „галантерейности“; что речь тургеневских мужиков местами носит откровенно карикатурный характер, местами — явно „не мужичья“ (ср. Касьян); местами она явно литературна [3].

Впрочем, вопрос о приемах воспроизведения „мужицкой“ речи в художественной литературе не надо смешивать с вопросом об отношении литературного языка к языку крестьянства.

Отношение художественной литературы 50-х годов к крестьянскому языку метко охарактеризовано Н. Г. Чернышевским. В литературных произведениях „мужики заговорили так, что не употребляли ни одной фразы, которая имела бы смысл на обыкновенном русском языке (которым, между прочим, говорят и крестьяне, не имеющие средств объясняться на иных языках), не произносили ни одного слова, не исковеркав его; да и то была еще милость, когда только коверкали обыкновенные слова, а не вовсе отказывались от них, заменяя их неслыханными в народе речениями, заимствованными из „Словаря областных наречий“ [4]. Самый метод включения крестьянского языка в литературно-художе-

---

[1] Ср. статьи А. С. Орлова: Русский язык в литературном отношении — „Родной язык в школе“, 1926 г., № 9 и О социологии языка русских литературных произведений, — „Родной язык в школе“, 1927 г., № 2.

[2] Б. М. Эйхенбаум, Л. Толстой, ч. II, стр. 60

[3] Б. М. Соколов, Мужики в изображении Тургенева. „Творчество Тургенева“. Сб. ст. под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова, М., 1920 г.

[4] Н. Г. Чернышевский, Заметки о современной литературе 1856—1862 гг, СПБ, 1894 г., стр. 95—96.

ственную речь у писателей-„типичников“ ярко обрисован Ф. М. Достоевским: „Современный писатель-художник, дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и пр.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадочкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот нумеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо — он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному... Дословно с натуры списано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец или солдат в романе говорят эссенциями, т. е. как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре“ [1].

Таким образом, и в сфере взаимодействия между литературным языком и языком крестьянства художественная словесность второй половины XIX в. имела важное, но не основное, не организующее влияние. Гораздо значительнее была роль разговорно-речевых традиций дворянского и буржуазного быта.

§ 12. Буржуазно-городское просторечие и крестьянские говоры.

В системе разговорно-бытовых стилей разных слоев буржуазной и разночинной интеллигенции, несомненно, одно из центральных мест занимали демократические формы городского просторечия. Можно привести несколько литературных примеров, иллюстрирующих состав этого просторечия. Очень типичен разговор Анны Карениной с уездным доктором 60-х годов, представленный Л. Толстым в романе в таком виде:

„— *Вы были там? — Я был там, но* ***улетучился*** *— с мрачной шутливостью отвечал доктор*“.

— „*Ну, а как здоровье старухи? Надеюсь, что не тиф. — Тиф не тиф, а* ***не в авантаже обретается...***“

Лексическая сложность разночинно-интеллигентского языка очень отчетливо выступает в речах и репликах Базарова („Отцы и дети“ Тургенева). Тут, рядом с элементами интеллигентского словаря, ориентирующегося на естественно-научную терминологию и идеологию („*разовьют в себе нервную систему до раздражения*“; „*человеческий экземпляр*“; „*я придерживаюсь отрицательного направления в силу ощущения*“; „*этакое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр*“ и т. п.), располагаются формы мелкобуржуазного просторечия с вульгарным оттенком („***обломаю*** *дел много*“; „*русский мужик* ***бога слопает***“; „***для ради*** *важности*“; „*пора бросить эту* ***ерунду***“ и др. под.), враждебные романтической „высокой“ риторике (ср.: „Романтик, сказал бы: *я чувствую, что наши дороги начинают расходиться,* а я просто говорю, что *друг другу мы приелись*“) [2].

Приемы и тенденции просторечного словотворчества иронически демонстрируются Н. С. Лесковым в таком разговоре между нигилистами из романа „На ножах“: „Он нагрубил мне и *надерзил.* — Что это за слово *надерзил*? — А как же надо сказать? — *Наговорил дерзостей.* — Зачем

---

[1] Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1873 г. Собр. соч., т. XI, стр. 90.

[2] П. В. Шаблиовский, Язык Базарова, „Родной язык в школе“, 1629 г., № 9.

же два слова, вместо одного? Впрочем, ведь вы поняли, так, стало быть, слово хорошо...“ И наконец, последняя иллюстрация из брошюры 1890 г., направленной против „неправильностей“ литературного языка, в том числе, против нового слова *халатность*: „*халатность* (отношений, поступков, действий и т. п.) — неприличное слово, вошедшее теперь в большое употребление в неизящную литературу. Так как слово *халат* означает одежду исключительно домашнюю, а в приличном обществе — неприличную, так и слово *халатность* должно, кажется, означать нестесняемость, нерадивость, неряшливость и т. п. поступков, действий, отношений, в литературном же языке его следует признать неизящным и неприличным“ (стр. 21).

Отличия в экспрессии и стилистических формах буржуазно-демократического, „мещанского“ просторечия от „простонародности“ дворянских стилей ярко выступают хотя бы в таком языковом материале из писем актера Ф. А. Бурдина к А. Н. Островскому[1]: „*Эта комедия совершенно* ***замазала рот*** *распускателям нелепых слухов*“ (3); „*Леонид осушает опрокидонты и опорачивает хозяйку*“ (5); „*теперь когда* ***отлупили*** *комитет, он, может быть, ее* (пьесу) *и пропустит*“ (13); „*прикидываться невинностью и* ***играть в целки***“ (15); „***сочинили загул*** *жестокий*“ (19); „*Горе — доля Потехина* ***задала весьма звонкого шлепка***“ (21); „*чем-то* ***шибко подсолили***“ (23); „*Горбунов* ***сшит по рукам и ногам,*** *а это — полное* ***олицетворение личности***“ (40); „*я его* ***протащу*** *сейчас же* ***по всем официальным мытарствам***“ (42); „***публично оплюй*** *их*“ (46); „*стукни их в морду*“ (47); „*у нас очень боятся Семенова и потому слово* ***сдьяволить*** *относится к нему; а наши только подчиняются его* ***дьявольству***“ (59); и мн. др. под.

Просторечие в бытовом и литературном языке разночинно-демократической интеллигенции сплеталось с элементами канцелярского, церковнославянского языка, с искусственной книжностью (ср. хотя бы смешение всех этих элементов в языке Гл. Успенского, Левитова, Ф. Решетникова и др.).

Крестьянский язык включается в разговорно-бытовые стили буржуазии и разночинной интеллигенции лишь в той мере, в какой он сближается с формами „мещанской“ речевой культуры или удовлетворяет буржуазно-эстетическим вкусам. Ф. М. Достоевский в „Подростке“ от лица рассказчика так характеризует это интеллигентски-любительское отношение к крестьянскому языку: „Мне понравился в нем (Макаре Долгоруком) тон, а пуще всего иные словечки, решительно с новою мыслью. Говоря, напр., о том, как солдат, возвратясь в деревню, не понравился мужикам, Макар Иванович выразился: *а солдат известно что —* ***мужик порченый.*** Говоря потом об адвокате, чуть не выигравшем дело, он тоже выразился: а адвокат известно: *адвокат — нанятая совесть.* Оба эти выражения он высказал совсем не трудясь над ними и себе неприметно, а меж тем в этих двух выражениях — целое особое воззрение на оба предмета... Эти предрешения в народе на счет иных тем по истине иногда чудесны по своей оригинальности“. Таким образом, язык крестьян и вообще тех социальных слоев, которые

[1] А. Н. Островский и Ф. Н. Бурдин, Неизданные письма, Гиз, 1923 г. В скобках указаны страницы этого изд.

были далеки от книжной культуры, сливается для разночинной интеллигенции в общее понятие „народного языка“, и в этом „народном языке“ ищутся свежие выразительные средства, как яркий контраст обезличенной и обесцвеченной книжности. Так, П. Сергеич, рекомендуя искать словесных богатств в простонародной речи, восхищается словами: *трудник* (*„такой задушевный был старичок, такой трудник“*, т. е. *труженик*), *затучивало* (о небе, заволакиваемом тучами) [1]. Те же интеллигентские традиции дожили и до эпохи революции. Так, М. А. Рыбникова в своей „Книге о языке“ восторгается народным словом, „правильным, выразительным и метким“ (напр. *опупок* в значени: округлый холм, шишка; или *неличь* — что невзрачно, неказисто и т. п.), считая его „очень любопытным“ [2].

Итак, демократизация буржуазно-литературной речи лишь в потенции была направлена на сближение с крестьянским языком.

§ 13. Стилистические нормы буржуазной демократизации литературного языка. „Толковый словарь“ В. И. Даля.

Лексическая система литературного языка во второй половине XIX в. продолжает притягивать к себе элементы буржуазного просторечия. Усиливается процесс демократизации литературного языка. Слова и выражения, которые в 30—40-е годы просачивались в литературную речь через повествовательный сказ и через диалог, под прикрытием „масок“ литературных героев разного социального положения, теперь растворяются в общей системе форм литературного выражения.

В 1848 г. был напечатан „Опыт русского простонародного словотолковника“ М. Макарова. [3] Здесь к категории „простонародных“ слов еще относились такие слова, которые во второй половине XIX в. уже входили в норму литературного выражения, иногда с фамильярно-непринужденной экспрессией. Напр: *малыш* (268); *мамон* [4] (в значении брюхо, желудок; ср. *мамон набивать*); *мастак* [5] (269); *маклак* (сводчик, плут; 268); *мироволить*; [1] *мироед* (первоначально: голова, староста, бургомистр; 273); *мылить, намылить* (*голову* — в переносном смысле; 280), *мямля, мямлить* [7] (281); *на абум*, т. е. *наобум* (282); *наскок* (в переносном зна-

---

[1] П. Сергеевич. Искусство речи на суде, стр. 22. Интересно для истории изменений стилистической окраски слов, что слово *трудник*, повидимому, книжного происхождения. Ср., напр., Пролог под 6 мая; Акты исторические, изд. Археографической комиссии (стр. 93, 1606 г.) и др. Но ср. также в свадебной песне (Арханг.): *„Разве не трудница была не работница, не берея была красным наливным ягодкам“*. См. Словарь русского языка, составл. 2 отд. Ак. наук“, т. 1, стр. 178. У П. И. Мельникова-Печерского в рассказе „Гриша“ это слово употребляет раскольник: *„Окаянный-от, думает, все больше в образе жены с трудниками борется“*.

[2] М. А. Рыбникова, Книга о языке, 1925 г., стр. 31.

[3] „Чтения в общ. истории и древностей российск. при Моск. унив.“, 1848 г., ч. III, № 9. В скобках указаны страницы этого изд.

[4] В „Словаре Акад. рос. 1806 г.“ слово *мамон* в значении желудок отнесено к „низким“ словам.

[5] В „Словаре Ак. рос.“ слово *мастак* также названо простонародным.

[6] В „Словаре Ак. рос.“ слово *мироволить* тоже считается простонародным.

[7] В „Словаре Ак. рос.“ слово *мямлить* приведено лишь в значении: жевать непроворно и отнесено к словам „низким“.

чении; 289); *натрепаться* (289); *нахрапом* [1]; *наянливый* [2]; *невдомек* (291); *не по себе* (о нездоровье; 291); *неуклюжий* (295); *нюня* (*распустить нюни*) и мн. др.

Но наиболее яркое выражение эта буржуазная демократизация литературной речи нашла в „Толковом словаре живого великорусского языка“ В. И. Даля [3], оказавшем большое влияние на формы литературного словоупотребления второй половины XIX — начала XX вв. В соответствии с литературной практикой Даля словарь его ставил себе задачу „выработать из народного языка язык образованный“ (Напутное слово, т. I, стр. I), доказать, что „живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной, разумной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, каженика“. Вместе с тем словарь Даля широко охватывает профессиональные диалекты буржуазного общества, терминологию и фразеологию „наук естественных и всех ремесловых работ“, отражая „по языку и по понятиям быт разных сословий и состояний, наук и знаний“ (там же, стр. IV). При этом во всех этих сферах словарь Даля преследовал полемические и нормативные цели. Объектом наблюдения был литературный язык, или, по объяснению Даля, „письменный жаргон“ „высшего“, т. е. дворянского и крупнобуржуазного общества, оторвавшийся от национальных „корней“, от „духа народного языка“ и „искаженный“ чужими, западноевропейскими словами и оборотами. Нормы новой „идеальной“, национально-чистой системы литературного выражения отыскивались в живом народном, т. е. мещанско-крестьянском, мелкобуржуазном языке. Впрочем, Даль смотрел на свое собрание „слов, речей и оборотов“, как на материал „для изученья самого духа языка и усвоения его себе, для выработки из него постепенно своего образованного языка“ (стр. V). Вместе с тем словарь Даля не ограничивался инвентаризацией „сокровищ родного слова“: он стремился „развить наперед законы словопроизводства, разумно обняв дух языка“ (стр. VIII). Иными словами: словарь Даля протендовал на роль кодекса законов национально-буржуазного словотворчества. Поэтому в нем „при толкованиях, а иногда и в числе производных слов“ было много таких, „кои доселе не писались, а может быть даже и не говорились“ (стр. X). Кроме „вновь сочиненных слов“, которых, по уверению Даля, не надо было искать „в красной строке или в числе объясняемых слов“ (стр. XII), в словаре множеству живых употребительных лексем приданы составителем новые значения, напр. слову *живуля* — значение автомата (стр. XII), слову *наголосок* — значение резонанса (О русск. словаре, там же, стр. XVII). Таким образом, словарь Даля, стремясь направить литературный язык „в природную его колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов“, указывал буржуазному обществу пути синтеза книжных форм речи с простонародными. Видвигалось шесть таких основных принципов.

1. Принцип замещения варваризмов „высокородного“ языка русскими национальными соответствиями разной

---

[1] В „Словаре Ак. рос.“ слово *нахрапом* отнесено к сфере „низкого выражения“.

[2] В „Словаре Ак. рос.“ слово *наянливый* признано простонародным.

[3] 1863 г. В скобках указаны страницы этого изд.

стилистической окраски. Напр., вместо слова *кокетничать* „выбирайте любое слово, смотря по оттенкам, из десятка: *заискивать, угодничать, любезничать, прельщать, умильничать, жеманничать, миловзорить, миловидничать, рисоваться, красоваться, хорошиться, казотиться, пичужить*; сверх всего этого говорят: *нравить кого, желать нравиться* (О русском словаре, XVII). Даль, в сущности, возражает против такого принципа передачи западноевропейских выражений, согласно которому русские их заместители должны содержать в себе тот же пучок значений и те же стилистические нюансы, что и иностранные оригиналы (Напутное слово, там же, стр. XI). По Далю, проблема перевода сводится к тому, чтобы подыскать национально-русские, преимущественно простонародные выражения, „клички", не смущаясь их экспрессивной и стилистической разнородностью с „чужим речением", и „приняв обусловить выражение, и оно будет именно то" (Напутное слово, XI).

Вот иллюстрации этого метода из словаря Даля: ***акушер*** — *родовспомогатель, родовспомогательный врач, родопомощник; повивальщик, бабич, приемник* (I, 8); ***консерватор*** — *боронитель, сохранитель, охранитель, охранник* (II, 762); ***реальный*** — *дельный, деловой, прикладной, опытный, насущный, житейский* (IV, 78); ***эгоист*** — *себялюб, самотник, себятник, кто добр к одному себе, а до других ему нужды нет* (IV, 606); ***дезертир*** — *беглец, бегляк или беглый, ушлый*, стар. *тягун* (I, 378); и др. под.

Из этих примеров достаточно ясно, что Даль намеренно стирает стилистические грани не только между употребительными литературными словами и лично ему принадлежащими новообразованиями, но и между книжными формами и просторечными. Происходит своеобразная демократическая нейтрализация лексических оттенков. На этой почве под влиянием Даля выросла своеобразная буржуазная традиция интерпретации синонимов [1]; вместо определения оттенков в значениях синонимов составлялся каталог искусственно сближенных слов (ср. словари синонимов Абрамова, Павлова-Шишкина). Но ведь пред Далем стояла общественная задача демократического, „мещанского" нивеллирования стилистических контекстов. „Укажите мне, напр., — говорит он, — где бы вместо *серьезный*, нельзя было сказать: *чинный, степенный, деловой, дельный, внимательный, озабоченный, занятой, думный, думчивый, важный, величавый, строгий, настойчивый, решительный, редкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, угрюмый, насупистый, нешуточный; нешутя, поделу, взабыль* и проч и проч.?" (т. I, стр. XVIII).

„Превосходные, незаменяемые выражения" простонародного языка должны заместить варваризмы и очистить литературный язык от „порчи": „*заимка, хутор* лучше, нежели употребительное у нас *ферма; марево* лучше *миража;* а *путевик* лучше *маршрута; поличие, подобень,* по крайней мере, нисколько не хуже *портрета*, даже *окрутник* и *окрутница* можно употребить вместо *маски*, тем более, что маскою мы называем и самую личину и переряженного" (Соч. В. И. Даля, т. X, 569) [2].

2. *Принцип национально-демократического оправдания элементов литературного языка*. „Надобно подоб-

---

[1] Ср., напротив, тонкость и тщательность диференциации оттенков у синонимов в синонимических словарях начала XIX в.

[2] Ср. „Толковый словарь" т. I, стр. XI, XVII—XVIII.

рать и обусловить русские слова, надобно привыкнуть к русскому складу" (Соч. В. И. Даля, т. X, 545). Поэтому Даль ограничивает церковно-книжные категории словообразования, иронизируя над упорным желанием „ломать все отвлеченные существительные в окончание на *-ость* и *-вость*, окончание, которое в народном языке довольно редко, употребляется только кстати и чаще заменяется короткими и более выразительными словами" (Соч., т. X, 548). Ср. предлагаемые Далем замены: вместо *мертвенность — мертвизна; вместо предохранительный — охранный;* вместо *собственность — собь*: вместо *кругозор — овидь, озор* и т. п. Таким образом, и тут — смесь книжного и „простонародного". Ведь и сам „простонародный" язык принимался Далем не во всей полноте его „природных" элементов и экспрессивных форм, но с отбором и „чисткой", хотя иногда в увлечении Даль заявлял: „Народные слова прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою... они оскорбят разве только изрусевшее ухо чопорного слушателя"[1].

3. Принцип морфологической и семантической ассимиляции и контаминации форм литературного языка с простонародной стихией. „Если вы найдете в народе не много выражений для отвлеченных понятий, то не забудьте, что большая часть прямых и насущных выражений может быть применена к употреблению в переносном смысле, и что изучение это даст вам, во всяком случае, понятие о том, куда и к чему нам стремиться, чего искать, каким образом составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими... Оно сроднит нас с духом языка, даст вникнуть в причудливые, прихотливые свойства его, и даст средства образовать мало по малу язык, сообразный с современными потребностями" (Соч. т. X, 547).

Изгоняя из литературной речи громоздкие составные слова, Даль декретирует их замену новообразованиями с суффиксами: *-ах, -ях, -ух, -юх, -ых, -их, -ан, -ин, -он, -ун, -атка, -итка, -ец, -ица,* и др. (583), или с „придаточными предлогами". „По этому самому и надобно образовать слова из одного только главного понятия о предмете посредством этих окончаний и, если угодно, предлогов; тут столько средств, столько богатства, столько разных оттенков"... „От *молока*, напр., народ составил: *молочник, молочница, молочная* (комната), *молокан, молочай, молоки,* и можно бы без всякой натяжки образовать: *молочняк, молочатка, молочан, молочец* и др." (583—584). Исходя из системы словообразования, присущей простонародному языку, Даль производит все возможные формы от той или иной основы, все допустимые сочетания ее с приставками и суффиксами.

4. Принцип демократической унификации литературного языка, принцип разрушения традиционных стилистических категорий. Простонародная стихия должна стереть границы и преграды между прежними стилями и жанрами литературного языка. По изображению Даля, безупречная „литературность" — понятие негативное. „У нас есть несколько писателей, которые ведут речь свою искусно, сглаживают и скрадывают удачно все недостатки

[1] Словарь, т. I, стр. XVI. Но ср.: „Словарь великорусский должен содержать полное собрание слов очищенного обиходного русского языка, с устранением всего прочего", стр. LI.

литературного языка“ (X, 572). Правда, и „в народном языке недостает многих для нас необходимых слов, потому что там нет и многих понятий“ (548). Отсюда возникает необходимость „понять жизненную, живую силу нашего языка“, а потом создавать новые слова. Одним из средств такого речетворчества является умножение „отростков“ или „одногнездков“ в составе словесного гнезда. Другим средством обогащения языковой семантики служит свободный перевод европейских слов равносильными, „приложенными и примененными“ русскими словами. „Язык наш для потребностей образованного круга еще не сложился: неоткуда взять тех *салонных* — ныне уже не говорят — *гостинных* — выражений, которые от нас требуют...“ Если недостает отвлеченных и научных выражений, то это „не вина народного языка, а вина делателей его...“ Необходимо „образовать такие выражения, по мере надобности, из насущных... Потрудитесь, поневольтесь, прибирайте, переносите значение слов из прямого понятия в отвлеченные, и вы на бедность запасов не пожалуетесь“ (Словарь, т. I, XVII). „Толковый словарь“ Даля ярко отражает эти тенденции буржуазно-демократического словотворчества. Это — словарь, устанавливающий нормы национального выражения в понимании „преобразователя“-книжника с мещанско-крестьянскими симпатиями. Последние два принципа достаточно только назвать.

5. Принцип „чистки“ и отбора простонародных элементов[1].

6. Принцип фонетического, морфологического и семантического „олитературивания“ простонародной лексики. „Если писать все слова на-слух, то теряется всякое разумное, сознательное изучение“ (Словарь, т. I, XLIX). Следовательно, необходимо, этимологизируя областные формы, приспособить их к нормам литературной орфографии и орфоэпии (напр. вместо *тымалка* — *отымалка*), „самим правописанием указать на корень, на происхождение его, на связь с общим русским языком“ (L). Те же соображения заставляют подвергать простонародные выражения литературной обработке в грамматическом и семантическом отношении.

Для характеристики общего процесса демократизации литературной речи, протекавшего далеко не во всех стилях по рецептам Даля, небесполезно привести два-три примера из „нормального“ языка разных авторов, напр., из „Дневника писателя“ Ф. М. Достоевского: „*этот приговор дан* ***зазнамо***“[2] „*вся каторга, как один человек* ***осаживала*** *выскочку*“[3]; из Г. И. Успенского: *не может он не видеть, что кроме почерка у него нет никакой* ***заручки***“; из романа П. Д. Боборыкина „Китай-город“: *ломовой...* ***колошматит*** *свою собственную* ***животину***“; „*диссертацию* ***заколодило***“ и мн. др. под.

§ 14. Процесс наполнения литературной речи профессионализмами и арготизмами.

Городское просторечие, ширясь и умножая свои литературные функции, влечет за собою в стили литературного языка множество слов, идиом

[1] См. о нем в предшествующей главе, § 7.
[2] Ф. М. Достоевский, Собр. соч., Гиз, 1929 г., т. XI, стр. 21.
[3] Там же, стр. 17.

и фраз из разных профессиональных диалектов и жаргонов. Социально-диалектические расслоения языка города теперь острей и быстрей отражаются на жанрах литературного языка. Вследствие этого взаимодействие жанров книжного языка и разновидностей разговорно-бытовой речи становится более резким, напряженным. Диалектизация и профессионализация литературного языка не приводит к его распаду, потому что постепенно отстаивается большой фонд книжных клише, фраз, идиом, композиционных схем, которые делаются специфическими приметами литературности. Процесс наполнения литературной речи идиомами и словами из профессиональных диалектов и из жаргонов, резко обозначившийся в 30—50-х годах, во второй половине XIX в. протекает в иных направлениях и выражается в иных семантических формах. Фабрично-заводские, индустриально-технические диалекты меньше всего принимают участия в этом процессе. Преобладают жаргонно-профессиональные формы, лежавшие ближе к бытовому обиходу и общему кругу интересов дворянства и буржуазии, интеллигенции и полуинтеллигенции. Характерен быстрый темп литературной ассимиляции профессионально-жаргонных выражений и саментической транспозиции их в другую сферу значений. Напр., получает в разговорно-литературном языке широкое применение идиома *втереть очки* (первоначально в шулерском арго обозначавшая процесс втирания лишних очков посредством особого порошка *липка* в так наз. *порошковые карты*) и приобретает переносное значение: в своекорыстных интересах обманывать, представлять действительность не в таком виде, как она есть.

Точно так же переосмысляется на общелитературный лад, получая метафорическое истолкование на основе образов возвышения, верха и вершины как предела благополучия, идиома *итти в гору* (первоначально из карточной игры в горку, процветавшей в мещанских кругах: *гора*, *горка*-кон, банк, который остается на руках у того, кто дольше всех *идет в гору*)[1].

Литературный язык как бы притягивает к себе жаргонные и профессиональные фразы и идиомы из близких ему социально-диалектических сфер. При этом между дворянско-буржуазными и разночинно-демократическими стилями большое различие в путях, методах и направлении профессиональных заимствований. Так, из коннозаводческого арго входит в литературный язык 60-х годов выражение *закусить удила* в связи с развитием конного дела в помещичьем хозяйстве[2]. И. С. Тур-

---

[1] Ср., с одной стороны, каламбурное употребление игорной фразеологии П. А. Вяземским в стих. „Выдержка" (Собр. соч., 1827 г. т. III, стр. 446):

Поищем по себе игорку,
Да игроков под нашу масть:
Кто не по силам лезет в горку.
Тот может и в просак попасть...

с другой стороны, изменившуюся семантику выражения — *итти в гору* в языке второй половины XIX в. См. мою ст. „Русский литературный язык и профессиональная фразеология" (в „Лингвистическом сборнике кафедры русского языка Педагогического института им. А. С. Бубнова").

[2] Б. М. Эйхенбаум, Л. Толстой, кн. II, 1931 г., стр. 168.

Ср. в романе П. Д. Боборыкина „Перевал" описание разговора студентов из богатых купеческих семей о скачках и коннозаводстве: „В ухо... то и дело врывались слова и возгласы: заезд, перебежка, удружил, как оконченный, был оставлен, проминка" (ч. III, стр. 68).

генев писал И. Борисову о Толстом (1868 г.): „*Боюсь, что он вдался в философию и, как это иногда с ним водится, закусил удила и понес бить и лягать зря*".

Из охотничьего языка проникает выражение *мертвая хватка* (первоначально „судорожное сжимание собакой-борзой, бульдогом — своих челюстей при схватке зверя, причем бывают случаи, что собака не может сразу разжать свои челюсти")[1].

Очень характерна сценка, рисуемая П. Д. Боборыкиным в романе „Перевал" и помогающая уяснить происхождение идиомы: *и никаких* (теперь в просторечии прибавляется еще: *гвоздей* или *испанцев*). Разговаривают гвардейский офицер барон Гольц и девушки из дворянских семей: „О чем-то заспорили, и вдруг Мод или сестра ее Мэдж пустила стремительно: „*И — никаких*". Далее объясняется значение этого „возгласа кавалерийской команды": „Девицы и кавалеры употребляют его тогда, когда надо сказать: „*нечего тут разговаривать, это так, или это превосходно*". Пошло это с учений, когда взводу или эскадрону офицер кричит: „смирно, и никаких движений!".

Но любопытно, что в демократическом просторечии эта идиома преобразуется: *и никаких гвоздей*, (или: *и никаких испанцев*!), теряя связь с первоначальным контекстом. Рядом с фразеологией такого социального содержания в литературную речь плывут стремительным потоком жаргонно-профессиональные фразы и идиомы более демократического происхождения. Напр., из воровского арго: *валять дурака*, *задать лататы*, *тянуть волынку*, *жулик* и др. под.; из актерского арго: *этот номер не пройдет* и др. под; из певческого диалекта: *подголосок*[2]; ср:. *играть первую скрипку*; из школьнвго арго: *ни в зуб толконуть*, *провалиться* (ср. немецкое durchfallen), *срезаться* и др.; из бухгалтерского диалекта: *вывести в расход* (ср. у Н. С. Лескова в рассказе „Обман") — в переносном значении и т. п. Ср., с одной стороны, буржуазную фразеологию такого типа: *разменяться на мелкую монету*; *ставить ребром* (*вопрос*; ср. *последняя копейка пошла ребром*); *ударить по рукам*; *отдай все да и мало*; *нагреть руки*; *вылететь в трубу* и т. п.; с другой стороны, метафорические отслоения научной терминологии: *привести к одному знаменателю*; *отрицательная величина; центр тяжести; вступить в новый фазис; в зените славы; достигнуть апогея; по наклонной плоскости и т. п.*

Таким образом, лексико-фразеологическая система русской буржуазно-литературной речи обнаруживает пестроту, неустойчивость, противоречивую сложность и вместе с тем стилистическую недиференцированность своего состава.

§ 15. Изменения в грамматической системе.

Грамматическая система русского литературного языка во второй половине XIX в. также подверглась большим изменениям. Эти изме-

---

[1] А. Д. Далматов, Справочная книжка кавалериста, коневода, спортсмена и любителя лошади, 1921 г., стр. 323.

[2] Ср. у Боборыкина в романе „Китай-город". „Пошли любительские толки о протодьяконах, о регентах, рассказывались, как такой-то церковный староста тягался с регентом, басами, заспорили о том, что такое „*подголосок*".

нения двойственного характера. Буржуазная грамматическая рационализация, осудив „простонародные“ „поместные“ черты дворянской грамматики (вроде им. пад. среднего рода на *-ы -и*, род. пад. на *-е* от им. сущ. женского рода, оканчивающихся на *-а*, и т. п.), однако предоставила свободу таким грамматическим формам с разговорной окраской, которые не заключали в себе резких отклонений от письменного языка, от норм орфографии. Таким образом, намечается процесс национально-демократической нейтрализации грамматических категорий. Но, с другой стороны, неустойчивость стилистических границ между системами книжной и разговорной речи, заложенная в буржуазно-литературном языке тенденция к искусственной книжности научных, публицистических и газетно-журнальных стилей, влиявших на разговорную речь интеллигенции, — все эти причины содействовали развитию новых литературно-грамматических форм на основе старых категорий книжно-„славенского“ языка. Таким образом, обозначается процесс искусственного олитературивания грамматических категорий. Вот основные морфологические изменения этой эпохи:

1 В склонении им. сущ. мужского рода получают еще более широкое применение формы им. пад. множ. ч. на *-а*, захвативши такие группы слов, которые до этого времени устойчиво сохраняли окончание *-ы*, распространившись на слова русские, заимствованные и церковно-славянские — с ударением не только на начальном, но и на серединном и даже на конечном слоге, очень часто относящиеся к категории одушевленности. Напр.: *учителя* (С. Аксаков), *офицера* (Л. Толстой), *профессора*, *инспектора*, *дисканта* (Слепцов) и т. п.[1].

Любопытны протесты против расширения этой категории[2], часто сопровождавшиеся указанием мотивов образования новых форм и характеристикой социальной среды, откуда выходили формы на *-а*. Напр.: „*подали счета*..., *будут дешево печататься адреса*. Торговый люд пустил в ход выражение *счета* как будто для отличия от существительного *счеты* (прибор для производства вычислений), но наука не принимает таких ничтожных соображений и опирается на смысл одной и той же формы в предложении“, пишет грамматик 70-х годов (Николич).

Так книжно-грамматическая рационализация сталкивалась, с одной стороны, с рождавшейся из профессиональных интересов потребностью морфологической диференциации разных значений одного слова и, с другой стороны, с просторечной унификацией форм им. пад. мн. ч. сущ. мужского рода (на *-а*).

2. В категории им. числительных развивается на основе более отвлеченного, „обеспредмеченного“ представления о категории числа процесс математического абстрагирования количественных значений. Он выражается в том, что в обозначениях составных чисел не только все числительные, кроме последнего (т. е. кроме названий простых единиц до десятка), рассматриваются как неизменяемые имена цифр и не склоняются, но и

[1] См. примеры у В. И. Чернышева, Правильность и чистота русской речи, в. II, стр. 52—66 и в ст. L. Beaulieux, L'extension du pluriel masculin e-á-я́ en russe moderne, Mém. de la Soc. de linguistique de Paris, 1913, t. XIII, 3, 201—218.

[2] Характерна жалоба пуриста 80—90-х годов XIX столетия: „*поезда́* вместо поезды ныне во всеобщем употреблении, но совершенно неправильно и неизвестно на каком основании (брошюра Н. Г., Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском языке, 1890 г., стр. 18),

само последнее слово, несущее функции согласования и управления, тоже несколько абстрагируется и ослабляет свою зависимость от глагола и вообще свои синтаксические связи с окружающими словами. Еще в 70-х годах XIX в. это явление вызвало энергичные протесты пуристов. Напр., И. Николич осуждал такие газетные выражения: *решено послать шестьсот сорок две* ***сестры*** вместо: *шестьсот сорок двух* ***сестер***; *главный расход состоял во взносе за двести сорок* ***четыре лица***, вместо: ***четырех лиц***; *сорок три мужчины* вместо: *сорок три человека мужчин; выбыло двадцать один мужчина* вместо: *выбыл двадцать один мужчина; тысячам несчастным* вместо: *тысячам несчастных; одна учащаяся приходится на 273 женщины* вместо: на *двести семьдесят трех женщин; можно принять 104 кандидата* вместо: *сто четырех кандидатов*"[1]. Ср. в другом месте: „Киевский университет приобрел *42 преподавателя*, вместо: *сорок двух преподавателей*"[2].

В том же духе пишет В. И. Чернышев: „У нас иногда врываются в письменный язык из неразборчивого живого странные несклоняемые формы: *свыше шестьдесят домов частью разрушены.* — „Новое время", 25 июля 1914 г., № 13781 (обыкновенно: *свыше шестидесяти*). Числительные количественные частью как будто приближаются к частям речи неизменяемым[3].

Таким образом, понятие количества и числа в литературном языке приобретает все более отвлеченное значение, подвергаясь влиянию математики, которая, как известно, для своих знаков не имеет морфологии, а пользуется только синтаксическими формами, т. е. формами связи, последовательности цифр и знаков.

3. В им. прил. притяжательных на *-ов, -ин*, обозначающих принадлежность какому-нибудь одному определенному лицу, усиливается оттенок качественности, и в некоторых пад., напр., род. и дат. мужск. и ср. рода (ср. давнее совпадение в формах твор. и предл. падежа и членных и нечленных прил.), они принимают формы членного склонения. Напр.: *возле матушкиного кресла* (Тургенев); *пособить сестриному горю* (С. Аксаков) и т. п. Показательно, что Г. Павский в своих „Филологических наблюдениях" (1850 г.) такого типа форм с суффиксом *-ов, -овый, -ин, -иный* не приводит. Ср. протест преподавателя русской грамматики 70-х годов против газетных конструкций вроде: „*не имеющих своего состояния или* ***жениного***"[4].

4. Точно также в категории им. прил. продолжается рост качественных значений у форм причастия не только страдательного, но и действительного залога (ср. прил. *падший*). Напр.: *с вызывающим видом; вопрощающий взгляд; угрожающее положение* и т. п.

5. В связи с усилением значения качества, в связи с расширением значений прилагательности в категории причастий находится образование наречий от причастий. В 70-х годах такие формы как *вызывающе, деморализирующе* и т. п. вызывали резкий протест. И. Николич в ст. „Грам-

---

[1] „Филологические записки", 1878 г., вып. I, стр. 22—23.

[2] Там же, стр. 6. Ср. замечание того же Николича: „*За невозможностью сказать: 22 судьи, 43 старосты* — прибегают к обороту: *22 человека судей, 43 человека старост*" (22).

[3] В. И. Чернышев. Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 196.

[4] „Филологические записки", 1878 г., вып. I, стр. 23.

матические заметки“[1] ополчался на „странные формы топорных наречий из причастий, сфабрикованных по иностранным узорам“: *деморализующе, оппозирующе.* Эти формы, по заявлению автора заметки, „пронизывают нередко наш стройный склад речи, нисколько не нуждающийся в услугах таких непрошенных гостей“. Тот же И. Николич в ст. „Неправильности в выражениях...“[2] пишет: „*Вопрошающе взглянула; вызывающе поддакивала; невыносимо нагло и вызывающе подействовал на него этот вид; любяще говорил; торжествующе сказала она.* Сколько могу припомнить, в произведениях нашей изящной литературы из эпохи карамзинской и пушкинской подобных наречий, произведенных от причастий настоящего времени... мне встречать не приходилось. Это нововведение стало особенно часто утверждаться в сочинениях последних годов“. Напр., у Л. Толстого в „Анне Карениной“: „*умоляюще повторил он*“; „*невыносимо нагло и вызывающе подействовал*“; у Короленко: „*концы усов угрожающе торчали*“ („Заседатель“); у Л. Андреева: „*кричали торжествующе*“; „*заискивающе взглянул*“; „*взглянул испытующе*“ и т. п.[3].

6. Вместе с тем в категории прил. окончательно канонизируется новый „демократический“ разряд слов. Формы прил. на *-ящий -ущий,* возникшие под влиянием причастий и до сих пор употреблявшиеся преимущественно в фамильярном просторечии, в „простонародном слоге“ и в литературной стилизации форм так наз. народной словесности, теперь входят в литературный язык; напр.: *работящий, плодущий, непьющий, завалящий*[4], *знающий, гулящий, злющий, стоющий*[5]; ср. у Тургенева: „*черна, как сапог, и злюща, как собака*“; у Салтыкова-Щедрина: „*по поводу такого-то ничего не стоющего факта,*“ и т. п. Интересно, что Г.Павский в „Филологических наблюдениях“[6] указывает, кроме слова *сведущий* (знающий) и поговорочных *у него глаза завидущи, руки загребущи,* только три формы: *работящий, гулящий и пишущий.* Ср. также устарелое *живущий* (указание Павского): „*живущи разбойники*“ у Лермонтова. Ср. однородные формы превосходной степ. на *-ущий, енный,* напр., *большущий, здоровенный:* „*большущий чайник*“ — у Ф. Достоевского; „*баба здоровенная*“ — у Пушкина (цитируется как простонародное крестьянское выражение); „*здоровенный работник немец*“ — у Л. Толстого; „*здоровенным, даже сиповатым голосом*“ — у Тургенева и др. под.

7. В категории причастий страдательного залога настоящего времени, совмещающей разнородные качественные и глагольные значения, стабилизуются суффиксы *-имый* и *-емый,* т. е. суффикс *-мый* с тематическими гласными спряжения *-и* и *-е* . В связи с этим продолжается начавшееся еще в 30—40-е годы постепенное вымирание книжных форм на *-омый*

---

[1] Филологические записки, 1873 г., вып. 1, стр. 10.

[2] Там же, 1877 г., вып. 1, стр. 3.

[3] В. И. Чернышев, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 346.

[4] Ср. Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М., 1868 г. стр. 111.

[5] В. И. Чернышев, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 174. Ср. также у К. С. Аксакова, Критический разбор „Опыта исторической грамматики русского языка“ Ф. И. Буслаева. Собр. соч., М., 1875 г., т. II, стр. 473,

[6] 1850 г, Рассуждение второе,

(от так наз. „первообразных“ глаголов). Ср. в грамматике А. Х. Востокова (1831 г.) множество образований типа *рвомый, промый, сосомый, жмомый, мномый, кляномый, кладомый, плетомый, чтомый, скребомый, стригомый, жгомый, пекомый, толкомый* и т. п., которые вовсе не употребляются в литературном языке второй половины XIX в. Г. Павский, значительно сокращая этот перечень *(ведомый, плетомый, гнетомый, везомый, несомый, влекомый, секомый, тромый, зовомый, искомый)*, присоединяет примечание: „хотя первообразные глаголы имеют страдательное причастие на *-мый*, но мы редко употребляем его. В случае надобности мы охотнее берем причастие от производных предложных глаголов, выражающих понятие одинаковое с первообразными. Напр., вместо *зовомый, тромый*... охотнее говорим: *называемый, растираемый*“ [1].

8. В газетном и официально-канцелярском языке распространяются формы причастий страдательного залога настоящего времени от глаголов с непереходным значением, вроде: *деньги, **следуемые** за перевозку*. Причины этого явления крылись не только в воздействии французского и немецкого языков, но и в общей неразграниченности, „смешанности“ грамматических функций причастий. Ср. у А. Измайлова: *„об этой будущей, **мечтаемой** книге о горе женщины“* [2].

„Мне доводилось, — пишет И. Николич, — встречать и в передовых статьях газет и в очень известных сочинениях образчики большой неосмотрительности касательно требований нашей этимологии, а именно: *из сумм, **заведываемых** земством; совет, **председаемый** генералом...; деятельность общества, **председательствуемого** таким-то...; разрешено употребить эту сумму, но с тем, чтоб не было **выходимо** из сметного назначения; ставлю **командуемую** им армию в безвыходное положение*“ [3].

9. В категории глагола протекают изменения в формах вида. Так, постепенно сокращается в нормальной литературной речи сфера употребления форм многократного вида. При этом, повидимому, эти формы дольше живут в дворянских стилях и в стилизациях „народной поэзии“. Напр., у Тургенева: *дирывались, зачуевал, вострепещивалось* и т. п.; у Л. Толстого: *затеивал* и др.; ср. в „Декабристах“: „Он твердо знал, что он никакой земли у крестьян не *„завлаживал“*, как было сказано в прошении крестьян“.

Может быть, прав В. И. Чернышев, который ставит в связь утрату богатства, видовых форм „в языке больших городов“ с петербургским влиянием [4]. Канцелярскому языку XIX в. эти формы чужды. Во всяком случае, характерно заявление Н. И. Греча в „Чтениях о русском языке“, что „несбыточные и небывалые формы вроде *бывывало, хаживал* являются продуктом измышлений грамматиков“ [5].

---

[1] Г. Павский, Филологические наблюдения. Рассуждение третье. 1850 г., стр. 128—131. Г. Павский связывает это явление с вымиранием причастий настоящего времени „в первообразных глаголах действительного залога и еще в глаголах из породы *ну*“ (типа *трущий, мокнущий*). Ср. также данные, приведенные в книге В. И. Чернышева, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 343—344.

[2] В. И. Чернышев, Правильность..., вып. II, стр. 328.

[3] „Филологические записки“, 1877 г., вып. I, стр. 8.

[4] В. И. Чернышев, Правильность..., вып. II, стр. 225.

[5] Там же, I, стр. 225 (Чтения, I, 289).

*

По словам ак. А. А. Шахматова, в русском литературном языке XX в. „употребление многократного вида весьма ограничено. Преимущественно... при отрицании в соединении с прошедшим временем: *мы туда не хаживали; куда ворон костей не нашивал*. Однако: *мы к нему частенько захаживаем; видывали мы эти виды*" [1].

10. В категории несовершенного вида глаголов на *-ывать—ивать*, широко развивается внутренняя флексия *-а* (на месте *-о*) у таких слов, которые до этой эпохи сохраняли гласный основы. В разных статьях и брошюрах второй половины XIX в., посвященных изложению „неправильностей современного русского языка", последовательно отмечается широкое развитие флексии основы *-а* вместо *-о* в отыменных формах глаголов несовершенного вида вроде: *уполномачивать, обуславливать, прострачивать*. „Осторожные, во избежании ошибки, пишут: *заработывать, устроивать, удвоивать, удобривать, успокоивать*" [2]. Ср. в ст. И. М. Николича протест против выражения: *заподазривать, заподазривая*: „Под каким углом зрения могли проявиться небывалые глаголы: *подазривать, заподазривать*, ведущие свое начало от простого глагола *зреть*, учащательная форма которого *зирать, зревать*, и ума приложить нельзя" [3]. Ср. примеры: *устраивать свою судьбу; успокаивать его; зарабатывать свой хлеб; обрабатывать огромные незанятые пространства* и др. под. — у Л. Толстого; *задабривать*—у А. К. Толстого; *замораживать* — у С. Аксакова; *заподазривать* —у Тургенева; *затрагивать* — у Короленко и т. п.

11. В глаголах с суффиксом *-ну-* и неизменным ударением на последнем слоге темы [4] (вроде: *дряхнуть, зябнуть, киснуть* и т. п.), в отличие от продуктивного класса глаголов с суффиксом *-ну́-*, *-ну-*, означающих однократность или мгновеннность действия, формы прошедшего времени и причастий прошедшего времени с суффиксом *-ну-* сокращаются в числе и постепенно вытесняются формами без этого суффикса (*поверг, высох* и т. п.).

Ср. у Лермонтова в „Вадиме": „*удар по голове повергнул его на землю*"; у Л. Толстого в „Детстве и отрочестве": „*я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами*" и мн. др. под. [5].

12. В категории деепричастий, с сокращением форм на *-я*, происходит стилистическая переоценка форм прошедшего времени на *-в* и *-вши*. Хотя и предпочитаются в литературном языке формы на *-в*, но и формы на *-вши* получают права литературного гражданства, теряя специфическую окраску просторечия. Напр., у Тургенева: „*накрывши голову армяком*"; у С. Аксакова: „*обомлевши от радостной надежды*"; у Гончарова: „*хорошо протерши лямку*" и т. п. [6]. В связи с ограничением деепричастий на *-я*

---

[1] А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, в. II, стр. 60.

[2] А. Б., Отчего, зачем и почему? Оскудение и искажение русской речи, 1889 г., стр. 14.

[3] И. М. Николич, Неправильности в выражениях. „Филологические записки", 1877 г., № 1 стр. 13.

[4] См. о них у. S. Karcevski, Sistème du verbe russe, Prague, 1927, pp. 70—71.

[5] Ср. В. И. Чернышев, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 244—247; Лобов, Из истории русского литературного языка, Сб. Общ. историко-философских и социальных наук при Пермском унив., вып. III, стр. 173—174.

[6] В. И. Чернышев, Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 333—334.

группа таких форм переходит в категорию наречия (ср. *нехотя, молча, сидя, стоя, лежа, не глядя* и т. п.).

13. Необходимо отметить также изменение функций предлогов и приставок, главным образом, под влиянием грамматической системы немецкого языка. Входят в книжный, а затем и в разговорный кругооборот формы „эллиптического" употребления предлогов, с подразумеваемым существительным. На этой почве создаются грамматические „анаколуфы", так как при соединении двух предлогов, управляющих разными падежами сущ. и относящихся к одному и тому же слову, зависимое имя сущ. не повторяется, а ставится только после одного (обычно второго по порядку) предлога. Напр.: *до и вслед за чем, за и против чего-нибудь* [1]. Приобретая большую синтаксическую независимость от существительных, предлоги сближаются с наречиями и начинают употребляться в функции наречной приставки к формам им. прил. Вот как пуристски настроенный современник описывает и оценивает эти грамматические изменения, сопоставляя их с соответствующими конструкциями немецкого языка (напр., *за и против* — pro et contra; wir sind weder pro noch contra; er kann weder ein noch aus и т. п.): „Свойство немецкого языка присоединять к одному падежу два предлога, впрочем не иначе, как в таком лишь случае, когда эти предлоги сочетаются с одним и тем же падежом (das spricht eher für als gegen mich), совершенно не в духе русского языка... Вровень с этою странностью ничем не оправдываемого произвола в чрезвычайно диких для русского уха и без всякой нужды образуемых как бы сокращениях речи можно привести и другие подходящие случаи весьма неправильного стилистического склада, как-то: *учение производится* ***в до и после обеденное время;*** *околомосковские губернии; это отозвалось падением цифры продажи* ***на около двух тысяч;*** *распоряжения его* ***до и во время сражения*** *были бы еще гениальнее; на со всех сторон двигавшиеся обозы; за в четверо меньшую сумму;* ***панихида по в бозе*** *почившем императоре; до и помимо устава.* Под влиянием такой безразборчивой стилистики не трудно будет договориться, пожалуй, и до того, что в переводе, напр., с немецкого языка: wenn die ärmere Theil der jüdischen Bevölkerung sich mehr und mehr vom Handel ab—und dem Gewerbe zuwenden wird появится оборот: *если еврейское население от торговли от, а к ремеслу привлекут".* [2] Ср. еще примеры наречного употребления предлогов: *„всякое стеснение преподавательской деятельности* ***во-вне*** [3].

Таким образом, при тенденции к сближению с грамматикой разговорной речи, в литературном языке наблюдается постепенно усиливающийся процесс стилистического расслоения грамматических категорий. В научном, публицистическом, газетном, официальном канцелярском языке развивается целый ряд категорий более абстрактного, условного значения.

---

[1] Ср. В. Долопчев, Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи, 1909 г., Варшава, стр. 60, 75.

[2] И. М. Николич, Неправильности в выражениях, „Филологические записки, 1877 г., вып. I, стр. 7.

[3] „Семья и школа", 1872 г., № 2, стр. 208.

§ 16. Борьба между Петербургом и Москвой за нормы „общерусского“ произношения.

В области фонетики этот период истории русского литературного языка характеризуется борьбой Петербурга и Москвы за нормы общерусского литературного произношения. В Петербурге произношение было более „книжным“; оно было более сковано принципами чтения текста, менее связано с этнографическим окружением города[1]. Эта книжность выражалась в отсутствии смягчения твердых согласных при соприкосновении их с следующими мягкими в определенных группах (напр., *ест'еств'енный* — при московском: *ес'т'ес'т'в'енный; у лафк'и* при московском: *у лаф'к'и* и т. п.), в реставрации произношения целого ряда традиционных написаний, не совпадавших с живым звучанием (напр., более частое *чн* на месте московского *шн; кий, хий,* вместо *къи, хъи,* напр., *великий, тихий* и т. п.), в некоторых отклонениях от московских „правил“ аканья (напр., в характере произношения предударного *е*; быть может, в более заднем произношении редуцированного неударяемого гласного не в предударном и не в заударном слоге), в более однообразных формах интонирования[2].

В сущности, вопрос о нормальном литературном произношении остался окончательно не разрешенным, хотя явный перевес был на стороне московского произношения, которое культивировалось и поддерживалось театральной традицией.

§ 17. Литературная речь буржуазии и „низовой“ язык города.

Этой системе литературного языка были противопоставлены, кроме профессиональных и групповых диалектов, обслуживавших сравнительно узкую социальную среду, две широких диалектических сферы: 1) язык крестьянства и 2) язык городских масс, находившийся во взаимодействии с крестьянским языком. Если язык крестьянства являлся объектом внимания и эстетического любования у народнически настроенной интеллигенции, то с „низовым“ языком города велась до революции непрекращавшаяся борьба с 50-х годов, так как элементы его проникали в литературную речь или сближались с ней. Этот низовой городской язык бытовал в сложной по составу и противоречивой по социальному содержанию среде мелких чиновников, мещанства, ремесленников, рабочих. „Неправильности“ этого языка отмечаются соответствующими словарями и приписываются влиянию „обруселых инородцев“. Но в этом огульном объяснении сказывается классовый антагонизм, прикрытый националистической идеологией: некоторые из отмечаемых „неправильностей“ являются общими для всей системы „низового“ языка. Особенности языка городских масс (если их рассматривать с точки зрения норм буржуазной

---

[1] Ср. защиту петербургского произношения и петербургской морфологической системы (без различения книжных и разговорных форм) в рецензии С. П. Обнорского на II ч. грамматики русского языка Рад. Кошутича. „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. наук“, т. XXI, кн. I, 1916 г.

[2] О московской „мелодии“ слова много интересных замечаний. У Рад. Кошутича, Граматика руског језика, изд. Ак. наук, 1919 г. Глава „Акценат“.

„литературности“), кроме своеобразий лексики и фразеологии, которая у разных классовых прослоек имела в пределах этой „низовой“ городской речи резкие отличия, сведутся к таким категориям отклонений от норм языка буржуазной интеллигенции.

I. Особенности фонетические. Они состояли не только в свободном проявлении диалектического произношения и в своеобразиях интонаций. Больше всего бросались в глаза акцентологические отличия в выговоре слов, общих с литературным языком. В области ударения можно отметить такие шесть разрядов явлений.

1. В иностранных словах ударение подвергалось перестановке. Тут могли действовать сложные мотивы аналогического приравнивания к привычным словам и привычным типам ударения. Любопытно, что словари неправильностей [1] с половины XIX в. до конца столетия приводят почти один и тот же список слов: *доку́мент* вместо *докуме́нт; инстру́мент* вместо *инструме́нт; мага́зин* вместо *магази́н; по́ртфель* вместо *портфе́ль; ро́ман* вместо *рома́н* и т. п. Проф. К. Зеленецкий относит сюда также *штрафно́й* вместо *штра́фный: „штрафны́е деньги“* (13): Характерны жалобы судебного деятеля П. Сергеича (П. С. Пороховщикова): „Неправильное ударение так же оскорбительно для слуха, как неупотребительное или искаженное слово. У нас говорят: *возбу́дил, переве́ден, а́лкоголь, астро́ном, злоба́, уме́ньшить, ходата́йствовать, при́говор*“ [2].

2. В книжных словах также нередко наблюдается перенос ударения на другой слог. Напр.; *дея́тельный, дея́тельность* вместо *де́ятельный; де́ятельность; единство́* (Долопчев, 60)*; ходата́йствовать*; *при́говор, до́говор* (П. Сергеич) и т. п.

3. В категории причастий прошедшего времени страдательного залога ударение систематически переходит с окончания или суффикса на основу. Напр.: *вве́дено, приве́дено, приве́денный* вместо *введено́, приведено́, приведённый* (Зеленецкий, 14)*; зане́сено, прине́сено, зане́сенный, прине́сенный* (он же, 14)*; определено и опреде́ленный* (он же, 14)*; переве́дено, переве́денный; полу́чено, полу́ченный; приу́чено, приу́ченный* вместо *приучён, приучённый* (он же, 14)*; приве́зено, вве́зено, све́зено, приве́зенный, вве́зенный, све́зенный* (Зеленецкий, 14—15)*; произве́ден, произве́денный* и мн. др.

4. Точно так же в формах глагола настоящего времени (кроме 1-го лица ед. ч.) от глаголов на *-ить*, с постоянным ударением на окончании, характерна перестановка ударения на основу по аналогии с глаголами типа *заплати́ть — запло́тишь* и др. под. Ср. *зво́нишь, зво́нит, зво́нят* вместо: *звони́шь, звони́т, звоня́т* (Зеленецкий, 13); *повто́рим* вместо *повтори́м* (он же, 14) и т. п.

5. В формах глагола прошедшего времени, преимущественно женского, среднего рода и во множ. ч. также ударение перемещается на основу: *гнал, гна́ла* (Долопчев, 25, 46); *отда́ла* (там же); *дра́лся* вместо *дрался́* (там же, 66) и т. п.

---

[1] Проф. К. Зеленецкий, О русском языке в Новороссийском крае, Одесса, 1855 г., В. Долопчев, Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи, 1909 г., Варшава; И. И. Огиенко, Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской разговорной речи, Киев, 1911 г. В скобках указаны страницы этих изданий.

[2] П. Сергеич, Искусство речи на суде, СПБ, 1910 г., стр. 15—16.

6. На некоторых словах ударение ставится в соответствии с диалектическим, областным произношением их, а не с литературным. Напр., *случа́й* вместо *слу́чай*: по этому *случа́ю* (Зеленецкий, 12); *си́рота* вместо *сирота́* (там же, 14); *по́нять* вместо *поня́ть* (там же, 14); *мо́лодежь* вместо *молодёжь* (Огиенко, 57); *заводско́й* вместо *заво́дский* (Долопчев, 78) и т. д.

II. Морфологические особенности. Кроме тех, которые обусловлены близкостью мелкой городской буржуазии и рабочих к областной, крестьянской основе, наблюдается несколько общих для всего „низового" городского говора типов отклонений от литературно-грамматической нормы. Они располагаются по таким разрядам:

1. Отличия в формах рода им. сущ.: *сажень* — мужского рода вместо женского: *пол сажня дров* (Огиенко); *бланка* вместо *бланк*, ср. родит. пад. множ. ч. *бланок; эполета* вместо *эполет* (там же, 117); *ставня* — *ставень* (там же, 97); *гренка* вместо *гренок* (Долопчев, 50); *блюдечка* — женского рода (там же, 13) и др. под.

2. Отличия в формах числа им. сущ: некоторые слова, утратившие ед. ч. в литературном языке, в просторечии изменяются по обоим числам. Напр.: *брызга; дрязга* вместо *дрязги* (Долопчев, 67) и др.

3. Неограниченное распространение категории им. пад. множ. ч. сущ. мужского рода на *-а*. Эти формы далеко выходят в низовом языке за пределы литературных норм (Огиенко, 70).

4. Смешение склонений, создающее несоответствия литературному языку в формах отдельных падежей, напр., род. пад. на *-ов* от сущ. среднего рода: *блюдечков, местов, делов* и т. п.; *шароваров* (Огиенко, 114), *панталонов* (там же, 71), *похоронов* (там же, 80); *хлопотов* (там же, 109); *на гвоздю* вместо: *на гвозде* (там же, 23).

5. Отличия в формах словообразования им. сущ. и прил. Напр.: *бабский* вместо *бабий; губатый* вместо *губастый* (Огиенко, 26); *лобатый* вместо *лобастый* (там же, 53); смешение *бородастый* — *бородатый* (Долопчев, 15) и др. под.

6. Замена возвратных форм глагола невозвратными, особенно часто в категории причастий: *загоревший сарай* вместо *загоревшийся сарай* (Огиенко, 36); *волноопределяющий* (там же, 18); *вольнопрактикующий* (Долопчев, 30); и наоборот: *млекопитающийся* вместо *млекопитающий* (Огиенко, 56) и т. п.[1]

7. Унификация основы настоящего времени у глаголов с чередующимися согласными основы (*д-ж, т-ч, с-ш, з-ж, к-ч, г-ж*), напр.: *гордюсь* вместо *горжусь; ляжу* вместо *лягу* (Зеленецкий, 28); *погодю* (там же, 28) и др.; *зажгешь, зажгет* и т. п. вместо *зажжешь* (Огиенко, 37) и мн. др.

8. Более свободное смешение классов глаголов *пахать* — *пахаю, пахаешь* вместо *пашу, пашешь* (там же, 72) и т. п.

9. Формы императива: *едь, едьте,* вместо: *поезжай, -те* (Огиенко, 116—117); *подь* и т. п.

10. Формы причастий страдательного залога на *-тый* при соответствующих литературных формах на *-нный: вырватый* (Огиенко, 22), *порватый* (там же, 79) и др.

---

[1] Ср. примеры из современного языка в книге Л. Якубинского и А. Иванова, Очерки по языку, 1930 г.

III. Синтаксические особенности.

1. Некоторые своеобразия в формах управления глаголов без предлогов и при посредстве предлогов, напр.: беспокоиться *про кого, что-нибудь, за кого, что-нибудь* (при более нормальной литературной конструкции — *о ком, о чем*; Огиенко, 11); *радоваться о чем* (вместо *чему-нибудь*; там же, 86) и др. под.

2. Некоторые новые оттенки в значении предлогов или более широкая сфера употребления отдельных значений предлогов по сравнению с литературным языком, напр., предлога *чрез* в значении по причине, из-за (там же, 113) и др.

3. Оборот с род. пад. притяжательного местоимения вместо местоим. личного при сравнительной степени, напр.: *пришел раньше моего (меня), ходит быстрее моего (меня)* и т. п. (Огиенко, 57).

4. Замена дат. падежа числительного вин. падежом после предлога *по* в разделительном значении: Мы запишем *по сорока*, и *по сорок, по шестьдесят, по тридцать* вместо *по сороку, по шестидесяти, по тридцати* (Зеленецкий, 26) и нек. др.

IV. Гораздо более резки и выразительны лексические и фразеологические особенности. Любопытно, что некоторые слова, первоначально относившиеся к языку городских масс, постепенно входят в систему литературного языка еще в течение XIX в. Напр., *столоваться* вместо *иметь стол* (Зеленецкий, 18); *тарахтеть* (о экипаже; там же, 18) *погрузить пшеницу, рожь* и пр.; *погрузка* вместо *нагрузить, нагрузка* (там же, 19) и т. п. Проф. К. Зеленецкий указывает такие лексико-фразеологические приметы „низового“ языка: *крепко* вместо *очень: крепко хочется* (там же, 19); *смирный* вместо *скромный*; *уворовать* вместо *украсть* (там же, 28); *одеть* вместо *надеть; ни к чему* вместо *попусту* (там же, 23); *питущий* вместо *пьющий* (там же, 26); смешение слов *завертывать, развертывать* с словами *заворачивать, разворачивать* (там же, 27); *кушать* вместо *есть* (там же, 28); *утекать* вместо *уходить* (там же, 29); *позавчера* вместо *третьего дня; загубить* вместо *потерять* и нек. др.

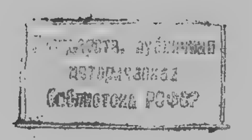
Долопчев и Огиенко значительно пополняют этот список „низовых“ слов, фраз, идиом: *задаваться* в значении: *зазнаваться* (Долопчев, 79); *задевать* вместо *деть* (там же, 30); *завидный* в значении: *завистливый* (там же, 77); *буча* (там же, 19); *губошлеп* (там же, 52); *всего на всего* вместо *всего на все* (Огиенко, 20); *вытворять* в значении: *выделывать* (штуки) (там же, 21); *гладкий* в значении: *толстый* (там же, 23); *дружить с кем-нибудь* (там же, 32); *скидать* вместо *снимать* (там же, 92); *справить* вместо *приобрести, сшить* (там же, 96) и мн. др. под.[1]. П. Сергеич в начале XX в. жаловался: „Наши отцы и деды говорили чистым русским языком, без грубостей и без ненужной изысканности; в наше время, в так называемом обществе, среди людей, получивших высшее образование... читающих толстые журналы... мы слышим такие выражения, как „*позавчера, ни к чему, ни по чем, тринадцать душ гостей, помер* вместо *умер, выпивал* вместо *пил, занять приятелю деньги;* мне приходилось слышать: *заманул и обманил*“ [2].

[1] Ср. материал из соч. Гл. Успенского у А. Камегулова, Стиль Глеба Успенского, стр. 87—89.

[2] П. Сергеич, Искусство речи на суде, стр. 7.

С этим низовым городским языком шла глухая борьба во имя литературности в течение всей второй половины XIX в. — первого десятилетия XX в. История самого этого языка городских масс во многом остается неясной. Трудно учесть, что вносил в него каждый из тех социальных слоев, среди которых он жил. Кроме того, предложенная выше характеристика низового языка сделана исключительно с точки зрения наиболее броских отклонений от норм литературного языка. Если же изучать его в его внутренней структуре, то представится богатая и своеобразная система „общего“ низового языка с его диалектическими расслоениями — общественно-групповыми и профессиональными. Эти языковые пласты, бывшие внелитературными, выступили наружу после революции и приобрели большое значение в организации литературного языка революционной эпохи.

При изучении процессов, произведших в эпоху революции перестройку русской литературной речи, в аспекте современности яснее выступают и иные зревшие в недрах литературного языка второй половины XIX— начала XX вв. стили и тенденции, которые не нашли освещения и отражения в сделанном выше обзоре [1]. Но их исторический анализ целесообразнее связать с характеристикой современного литературного языка.



[1] Ср. А. Селищев, Язык революционной эпохи, 1928 г.; Л. Якубинский и А. Иванов, Очерки по языку, 1930 г. и др. Библиографический обзор литературы по русскому языку после революции см. в ст. Л. В. Успенского, Русский язык после революции, Slavia, Ročn. X, Seš. 2, 1931, стр. 252—287.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

II.

Смешение стилей в русском литературном языке до середины XVIII в. Роль приказно-канцелярского и профессионально-технических языков в этом процессе. Образование новых „буржуазных“ стилей повествования и лирического выражения на западноевропейской основе.

Стр

III.

Нормализация стилей русского литературного языка в половине XVIII в. на национальных основах и разрушение этих стилей западноевропейским (французским) влиянием.

IV.

Процесс образования салонно-дворянских стилей русского литературного языка на русско-французской основе.

стр.

V.

Стилистические противоречия в литературном языке первой трети XIX в.

VI.

Язык Пушкина и его значение в истории русского литературного языка.

Цена 3 р. 60 коп.
Переплет 60 коп.

12 р